

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

М Е М У А Р Ы

Яльмар Шахт

**ГЛАВНЫЙ
ФИНАНСИСТ
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА**



ПРИЗНАНИЯ СТАРОГО ЛИСА

1923–1948

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
М Е М У А Р Ы

**ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
М Е М У А Р Ы**

Hjalmar Schacht

**CONFESSIONS
OF «THE OLD WIZARD»**

THE AUTOBIOGRAPHY OF HJALMAR SCHACHT

**ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
М Е М У А Р Ы**

Яльмар Шахт

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСИСТ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

ПРИЗНАНИЯ СТАРОГО ЛИСА

1923—1948



Москва
ЦЕНТРОЛИГРАФ

УДК 94(430)086

ББК 63.3(0)62

Ш12

Охраняется законодательством РФ
о защите интеллектуальных прав.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.

Серия «За линией фронта. Мемуары»
выпускается с 2002 года

*Разработка серийного оформления
художника И.А. Озерова*

Шахт Яльмар

Ш12 **Главный финансист Третьего рейха. Признания
старого лиса. 1923—1948 / Пер. с нем. Л.А. Игорев-
ского. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2011. — 511 с. —
(За линией фронта. Мемуары).**

ISBN 978-5-9524-4975-6

Яльмар Шахт — один из крупнейших финансистов Третьего рейха, человек, с именем которого многие в Германии связывали свои надежды на стабильную жизнь, и тот, кто обеспечивал нацистов на их пути к власти поддержкой могущественных финансовых и промышленных кругов. Разочаровавшись в гитлеровской политике, Шахт оказался причастным к Июльскому заговору против фюрера, был арестован и содержался в концлагере до окончания Второй мировой войны. Мемуары Шахта — не только описание жизни автора, это мысли гениального финансиста об особенностях его эпохи. Прекрасный журналист и широкообразованный человек, Шахт живо и ярко описывает события, в которых принимал участие, и людей, с которыми его сводила судьба. Среди них Бисмарк, Мильеран, Пуанкаре, Гитлер, Геринг, Рузвельт и другие крупнейшие политические и военные деятели.

УДК 94(430)086
ББК 63.3(0)62

© Перевод, ЗАО
«Центрполиграф», 2011
© Художественное оформление
серии, ЗАО «Центрполиграф»,
2011

ISBN 978-5-9524-4975-6

Не насилие или сила денег
Формируют мир.
Нравственное воздействие, сила духа
Могут его изменить.

Яльмар Шахт

ВВЕДЕНИЕ

День 2 сентября 1948 года был особенно душным. Чувствуя неудобство в меховой шубе, я стоял у выхода из лагеря для интернированных в Людвигсбурге, ожидая, когда придет надзиратель и откроет мне дверь. Жена с моим адвокатом ожидали снаружи. Моя отважная Манси, которая в течение нескольких лет вела отчаянную борьбу за мое освобождение. И вот наконец это случилось. Она приехала за мной на машине доктора Швамбергера. Снова и снова она поднимала руку, подавая неприметно сигнал, который означал: еще несколько минут — и ты будешь на свободе!

Текли мгновения. У ворот появились два молодых фоторепортера, готовые запечатлеть на пленке мой первый шаг на свободе. Я ждал. Фоторепортеры ухмылялись. Они явно сочинили заранее заголовок: «В шубе при температуре воздуха в 25 градусов по Цельсию бывший председатель Имперского банка выходит на свободу из лагеря в Людвигсбурге». Не было никакой возможности дать им пояснения относительно шубы. Что они знали о моем четырехлетнем заключении в застенках гестапо, об американских и немецких судах по денацификации? Могли они знать что-нибудь о состоянии моей одежды под этой шубой?

Мимо прошли двое рабочих и, заинтересовавшись происходящей драмой, остановились, закурив сигареты. Я слышал их разговор.

— Это Шахт, — сказал один из них. — Его вчера оправдали.

— Думаешь, ему позволят выйти? — спросил другой. Он носил голубые брюки из грубой хлопчатобумажной ткани, а

от пояса доверху его прикрывала лишь собственная загорелая кожа.

— Нет, — отвечал медленно первый. — Не думаю, что его выпустят. Найдут ту или иную причину, чтобы снова запихнуть его в тюрьму!

Они поплевали на ладони, подхватили свои инструменты и удалились. Их беседу нельзя было назвать ободряющей. «Глас народа», — подумал я.

Подошел надзиратель, звеня связкой ключей, и торжественно открыл большие ворота. Защелкали фотоаппараты. Кто-то задал мне вопрос. Манси резко оборвала его и повела меня к машине. Я опустился на заднее сиденье рядом с человеком, который несколько месяцев назад был моим защитником в суде.

— Поехали, — сказала Манси, — подалее отсюда...

Не помню, когда я взялся писать свои мемуары, в тот самый вечер или в один из последующих вечеров. Впервые за четыре года, месяц и десять дней я был свободным человеком. С тех пор, как в семь часов утра 23 июля 1944 года за мной пришли агенты секретной полиции, меня швыряли из одного места в другое, как почтовую посылку. Моей судьбой распоряжались какие-то незнакомые мне люди, меня перевозили из одной тюрьмы в другую в легковой машине, самолете и грузовике. Они доставляли меня из камеры на судебные заседания и обратно, кричали на меня, угрожали, говорили мне любезности. Тюремная обстановка везде одинакова. Меня сажали в камеру по обвинению в заговоре против Гитлера. После смерти Гитлера заточили в тюрьму за содействие ему. Люди, ничего не знавшие о моей стране или обстоятельствах моей личной жизни, позволяли себе бездоказательно обвинять меня и мою страну. Они бросали свои избитые обвинения мне прямо в лицо.

Мне стукнул семьдесят один год, и вдруг я снова свободный человек. Жена и дети жили в какой-то хижине в Люнебургской пустоши. Я потерял все, что имел, — деньги, дом, землю, даже лес, который сам когда-то посадил.

Подобная ситуация заставляет человека размышлять. Он начинает думать о будущем, так же как и о прошлой жизни. Будущее меня крайне беспокоило. В молодости я сумел про-

биться наверх. Мог совершить это и во второй раз. В своем семействе мы выросли поздно и сохраняли активность по достижении библейского возраста. Так было с моим дедом, приходским врачом в небольшом северогерманском городке. То же можно сказать о моем отце, который эмигрировал молодым человеком в Америку, через шесть лет вернулся в Германию и стал заново строить свою жизнь. Я не мог поступить иначе. Нет, у меня нет страха перед будущим. Буду работать, не подведу трех родных людей, которые зависят от меня.

Прошлое — несколько другое дело. Могут, конечно, возразить, что четырех лет тюрьмы, концентрационных лагерей, международных трибуналов и судов по денацификации более чем достаточно, чтобы свести счеты с прошлым. Это ошибочное предположение. В ходе расследования у подсудимого нет времени для того, чтобы прийти к согласию с самим собой. Беззащитного, его отдают в руки властей, которые — от тюремного надзирателя до выдающегося государственного обвинителя — ни на мгновение не ослабляют своей хватки. Неуклонно и неослабно они стремятся поймать вас на чем-то, загнать в угол, найти улики против вас. Необходимо сохранять присутствие духа, постоянно быть настороже, чтобы не поддаться на уловки. Постоянно сталкиваясь с разного рода ухищрениями, запугиваниями, уговорами, которые меняются каждый день, вы перестаете быть свободным индивидом, но становитесь мишенью для закона. В этом все дело, и не важно, попадете ли вы в нацистские концентрационные лагеря, в американскую тюрьму как «военный преступник» или в лагеря по приговорам судов по денацификации. В нашей действительности политические трибуналы имеют своей целью захватить свои жертвы врасплох. Глубоко осмыслить свое положение способен только свободный человек.

Через несколько дней после освобождения я прогуливался в лесу у речки. Люблю лес и воду. В моем бывшем поместье (сейчас попавшем в руки русских) были леса, озера с водоплавающими птицами — цаплями, крохальями, нырками, дикими утками...

Солнце село среди буйства красок. На зеркальной поверхности воды отражались рваные облака — красные, оранжевые, желтые. На некоторое время я застыл, наблюдая эту картину, затем сел на скамью.

— Вы не доктор Шахт? — прозвучал рядом голос.

Вздрыгнув, я повернул голову. Какой-то человек — явно незнакомый, — бесшумно приблизившись, теперь сидел рядом со мной.

— Да, — ответил я.

Он протянул руку.

— Весьма рад встретиться с вами, доктор Шахт, — сказал он. — Всегда хотел обменяться с вами рукопожатием.

Мы пожали друг другу руки.

— Чем могу быть вам полезен? — спросил я.

— Ничем, — сказал незнакомец. — Просто хотел воспользоваться случаем поговорить с вами. Вы ведь сейчас свободный человек, не так ли?

— Похоже на то, — молвил я.

Он устроился поудобнее, вынул коробку с сигарами и предложил закурить.

— Это не будет для вас накладно?

— Ничуть, — последовал великодушный ответ. — Сигары — мой бизнес, занимаюсь этим тридцать пять лет. Вы меня не помните?

— Не имею ни малейшего...

— Я видел вас как-то раз... В то время я ездил по делам фабрики, производившей сигары. Сейчас, слава богу, езжу по собственной инициативе. Дела идут неплохо. С введением немецкой марки люди снова покупают...

— Вам приходилось меня видеть?

— Я как раз собирался рассказать вам об этом. — Он передал мне спички. — Это случилось во время посещения мною Имперского банка. Моя фирма пожелала назвать новый сорт сигар вашим именем. Сигары «Яльмар Шахт», председательский сорт, ха-ха-ха!

Его смех расшевелил мою память.

— Вспомнил, — сказал я, — но не помню вашего лица. Вы приходили и предлагали деньги за использование моего имени?

— Совершенно верно, — сказал он. — Это и вам принесло бы большую пользу. Каждую неделю вы получали бы коробку сигар на протяжении всей своей жизни.

— Эта фирма все еще работает?

— Еще как! Дела идут как нельзя лучше! — воскликнул бодро торговец сигарами.

— Жаль, что я отклонил предложение, — произнес я просто для того, чтобы сказать что-нибудь.

— Да, разве не так? — парировал он.

Мы покурили, сидя рядом, еще четверть часа, затем он поднялся, долго и сердечно жал мне руку, потом удалился. Бедняга, говорило выражение его лица, с чем ты остался теперь? Имперскому банку — конец, рейху — конец, председатель банка смещен. Сейчас им не нужен председатель Имперского банка. Взгляни на меня — я всего лишь торговец сигарами, но у меня свое дело, и это лучше, чем председательствовать в Имперском банке. Если бы ты согласился, чтобы эти сигары называли твоим именем, то получал бы сейчас даром коробку каждую неделю.

Именно это он хотел мне сказать. Я отбросил окурок его сигары и закрыл глаза. Неожиданная встреча вырвала меня из настоящего — погнала меня в прошлое, вспоминать о котором снова было нелегко.

Правда, мое прошлое довольно часто связывали с Нюрнбергом, Штутгартom и Людвигсбургom. Люди стремились обеспечить документальным подтверждением, так сказать, каждый шаг в моей жизни. Но было ли прошлым то, что отражено в этих документах, было ли это на самом деле подлинным живым прошлым? В Нюрнберге и на судах по денацификации мои обвинители представляли документы, которые, как им казалось, раскрывали мою прошлую жизнь до мельчайших подробностей. Со своей стороны защита и свидетели представляли другие документы, содержавшие информацию совершенно противоположного характера. Люди, с которыми я во время государственной службы вел резкие, но объективные споры, теперь являлись в суды и свидетельствовали в мою пользу. Такие друзья, как, например, епископ Вурм, старались больше всего. Он вникал в любое выдвинутое против меня дело и демонстративно жал руки свидетелям, которые выступали в мою защиту. Однако эти свидетельства становились мертвой вещью, большей частью юридическим материалом. Ни одна из страниц документа — используемого в мою защиту или против меня — не представляла собой реального прошлого, но была лишь частью его, вырванной из контекста, а следовательно, нереальной.

Я пробежал мыслями почти семьдесят лет своей сознательной жизни. Сколько всего произошло за эти семьдесят лет!

Во время моего рождения новой Германской империи исполнилось семь лет. Ее канцлером был Бисмарк. Ганзейский

город Гамбург еще не входил в Германский таможенный союз. Когда мне было одиннадцать лет, в Германии сменили друг друга в течение года три императора: Вильгельм I, Фридрих III и Вильгельм II. Германия была страной, устремленной в будущее, год за годом ее мощь возрастала. Студентом в Киле я наблюдал строительство нашего флота и грозные стальные формы броненосных крейсеров и линкоров. Когда я женился, через три года после начала XX века, Германия была в зените своего могущества. Еще сохранялась старая система альянсов Бисмарка. Никто не думал, что за непрерывным, устойчивым подъемом Германии в качестве новой колониальной державы таилась скрытая опасность мировой войны. Разве не было бы самонадеянным помышлять о нападении на эту новую Германию? Разве не было справедливым для нас — отставших от народов Европы — сравняться с остальными?

Так это представлялось в то время. Будущее никого не беспокоило. Однако моя мирная супружеская жизнь продолжалась только одиннадцать лет. Затем разразилась война, и через четыре года произошел первый коллапс. Мне исполнился сорок один год, и я занимал должность управляющего банка, когда в рейх вернулись массы немцев, озлобленных, голодных, созревших для революции. Но революция не состоялась или состоялась в бессвязном виде. Император бежал, армию разоружили. Вместо императора Германия получила имперского президента и кабинет партийных министров. Но политические перемены не заслонили от нас того факта, что страна разорена. Обнищание народа, падение курса марки продолжались с неумолимой силой. Путь, который мы прошли после Первой мировой войны, был отмечен такими реалиями, как блокада голодом, продиктованный мир, инфляция. Ровно через пять лет после краха Германии я вовлекся в политику, от которой с тех пор не мог отделаться.

Мне было сорок шесть лет, когда правительство предложило мне пост уполномоченного по национальной валюте, за которым вскоре последовала должность председателя Имперского банка. Это назначение было пожаловано мне президентом Эбертом. Я принял его и стабилизировал марку.

Моя первая жена Луиза подарила мне двух детей — дочь, которой исполнилось двадцать лет во время назначения меня председателем Имперского банка, и сына, на семь лет моложе. Через три года я отмечал с семьей Рождество в Лозанне. Как

обычно, мы украшали рождественскую елку и зажигали свечи. Ребят позвали в комнату, поставили рядом, Луиза прочла им рождественскую историю из Нового Завета. Я возвращался мыслями в Германию. Там впервые за несколько лет тысячи семей наслаждались миром и безопасностью, так же как мы. Работавшие люди получали зарплату, на которую могли приобрести товары. Ее составляли деньги, стоимость которых будет завтра такой же, как и сегодня. В моем кармане хранилось письмо, написанное не особо грамотным проводником спального вагона: «Дорогой доктор Шахт, впервые за несколько лет мы смогли положить под рождественскую елку подарки и должны благодарить за это только вас. Когда моя дочь Мика пришла вчера домой, она напевала: «Кто обеспечил устойчивость марки, не кто иной, как доктор Шахт». Я решил дать вам знать об этом и надеюсь, мое сообщение доставит вам радость. Искренне ваш...» Я получал много таких писем. Люди часто заговаривали со мной на улице и пожимали мне руку. Это были лично незнакомые мне люди, которые выражали благодарность и надежду на будущее с устойчивой денежной единицей...

Все это снова всплыло в моей памяти, когда я сидел на скамье тем вечером. Я пытался представить подлинное прошлое. Кто-нибудь спрашивал меня об этом во время допросов в гестапо? Или напомнил об этом в Нюрнберге и Людвигсбурге? Да, это случалось. Но у меня сложилось впечатление, что ни один из моих обвинителей не имел представления об обстановке в Германии того времени. Они заранее решили искать худшее во мне.

В моей голове вновь отражаются эхом шум от тюремной суеты, вопросы, адресованные мне судьями, адвокатами, прокурорами: что и почему, как это случилось в такое-то время? Вопросы беспрепятственные и несмолкаемые!

Жизнь не остановилась, когда стабилизировалась германская марка. Всего лишь через несколько лет я стал в глазах многих своих бывших друзей самым ненавидимым в стране человеком, который заслуживал немедленного расстрела. Разрушитель немецкой экономики. Капиталист в сюртуке. Мерзкий друг евреев. Коррупцированный нацист. Так, без разбора, меня часто называли многие.

Я поднялся и пошел к жене в наше временное пристанище. Манси (на которой я женился в 1941 году) вопросительно взглянула на меня.

- Что ты делал? — спросила она.
- Сидел на скамейке, думал.
- О чем?
- О прошлом. Сами по себе явились воспоминания.
- Что за воспоминания?
- Воспоминания о прошлом. Крах Веймарской республики, Гитлер, мое второе председательство в Имперском банке, работа министром экономики.
- И что же заставило тебя думать обо всем этом?
- Неудовлетворенность. У меня такое чувство, будто вся юридическая процедура, которой я подвергался в последние четыре года, способствовала лишь сокрытию действительных фактов. Разве это не странно? Четыре года велись одни разговоры, изучались документы, снимались показания, заслушивались свидетели, оспаривались решения, запрашивалось мнение Совета — и каков результат?
- Тебя оправдали, — сказала она.
- Это один аспект дела, — согласился я. — Меня оправдали. Я никогда не сомневался, что меня придется оправдать. Но когда я размышляю обо всем, что было выдвинуто ради моей защиты или обвинения в эти годы, то...
- То что? — спросила жена.
- То мне хочется сесть за стол и изложить на бумаге подлинную историю этой эпохи. Историю эпохи, которую пережил я. Не ту, какой ее видит американский или русский обвинитель, не ту, какой ее видят мои защитники. У них лишь одна цель: они хотят, чтобы подсудимого либо осудили, либо оправдали. Я не хочу быть ни тем ни другим. Хочу свободно высказаться о тех вещах, которые люди замалчивают даже сегодня.
- Хорошо, — сказала она, — почему бы и нет?

Все это происходило в начале сентября 1948 года, сразу после моего освобождения решением суда по денацификации, который сначала приговорил меня к восьми годам каторжных работ. С этого вечера я занялся обдумыванием прошлых событий, насколько позволяло время. Моей первой заботой было, конечно, найти средства обеспечения моей семьи — жены и двух маленьких дочерей, которые постепенно привыкали к своему отцу. Дочь от первого брака жила самостоятельно, но сын Йенс был убит русскими в возрасте

тридцати пяти лет потому, что (как рассказал мне один из его товарищей) он свалился от слабости во время губительного шествия в направлении тюрьмы.

Между тем я написал две книги — «Расплата с Гитлером» (Abrechnung mit Hitler) и «Золото для Европы» (Mehr Geld, mehr Kapital, mehr Arbeit!). Обе они выражают определенную позицию в отношении определенных проблем или касаются определенных периодов моей жизни.

Настоящая книга — нечто иное. Она содержит мысли старика в 76-летнем возрасте об особенностях его эпохи. Я сам сыграл в этой эпохе определенную роль и пытался влиять на нее. Меня часто называли чудотворцем — пусть эта книга станет мемуарами чудотворца. В моем прошлом нет ничего постыдного. Каждое человеческое существо обладает определенными врожденными чертами. Оно может, как говорит нам Писание, употребить свой талант в пользу или зарыть его. Я старался предоставить свои способности в распоряжение страны, которой принадлежу.

Кроме того, я движим стремлением, которое, насколько я помню, было всегда неотъемлемой частью всех моих поступков. Мне хотелось присоединить свой голос к тем, кто стремится развеять ядовитые миазмы, застилающие нашу эру. В ходе моей жизни случались ужасные вещи — завтра могут произойти вещи еще ужаснее, если мы откажемся извлечь уроки из прошлого.

Но, чтобы сделать это, следует ознакомиться с прошлым, следует знать, как произошли эти явления, как они вызревали тайком. С ноября 1923 года я постоянно возвышал голос протеста против излишней роскоши, против оболванивания всей нации, против деспотического партийного влияния, против военного безумия. Из-за моих выступлений, печатных и устных, у меня появилось много врагов. Моя жизнь подвергалась угрозам, на меня нападали с разных сторон. Но в итоге я оказался прав в своих пророчествах и предостережениях. Те же, кто совершали на меня нападки, как оказалось, ошибались.

Вот почему я снова листаю страницы своей жизни с самого начала.

Часть первая

ЮНОСТЬ

Глава 1

СЕМЬИ ШАХТОВ И ЭГГЕРСОВ

Банкир, бытует мнение, ведет легкую жизнь. Сидит в банке и ожидает, когда к нему придут люди и принесут деньги. Затем он вкладывает деньги в прибыльные предприятия, присваивает прибыль в конце года и выплачивает клиентам какие-нибудь мизерные дивиденды. Это самая легкая профессия в мире. Легкая и, следовательно, антиобщественная. Врач, доказывают сторонники этого мнения, кузнец или дорожный рабочий по настоящему работают. Банкир же бездельничает.

В свое время я знал многих банкиров. Некоторые из них были ленивы, большинство же отличались трудолюбием, были высокообразованными людьми, неутомимо работавшими над расширением своего поля деятельности. Это приходилось делать, иначе их банки не смогли бы в конце года выплачивать дивиденды.

Недоброжелатели забывают кое-что другое. Ни одному из них не приходит в голову спросить, откуда берутся банкиры! Вырастают ли они на деревьях, или обучаются в учебных заведениях, или принадлежат к мистическим династиям банкиров? И да и нет. Конечно, существовали и имеются до сих пор семейные династии банкиров — например, Мендельсоны, которые, помимо финансистов, произвели на свет поэтов, музыкантов, художников и ученых. Другие вышли из мелких слоев нашего общества благодаря своему трудолюбию, как директор немецкого Имперского банка, отец которого был посыльным в этом учреждении.

Словом, глупо говорить о банкирах отвлеченно. Всякий человек, так рассуждающий, ставит себя на один уровень с

теми, которые судят-рядят о евреях, неграх, железнодорожниках. В любой профессии есть белые и черные овцы, и мне еще придется сказать кое-что о них.

Мою семью ни в коем случае нельзя считать зажиточной. Когда я родился, мои родители пребывали в бедности. Должны были пройти многие десятилетия, прежде чем отец почувствовал, что стоит на твердой почве. Насколько я помню, моим родителям приходилось сражаться с тяжелыми финансовыми проблемами, которые омрачали всю мою юность.

Долгое время я не знал, кем хочу быть. Начал с изучения медицины, переключился на германистику и закончил политической экономией. Добился степени доктора на факультете философии. Никакая фея не пророчила у моей колыбели, что однажды я стану председателем Имперского банка.

В любом случае этого не могло случиться, поскольку в доме Шахтов не было такой вещи, как колыбель. Наоборот, когда акушерка приняла меня, шлепнула по заднице, обмыла и завернула в заранее приготовленные пеленки, я был помещен в «ослика», поставленного в спальне моих родителей. «Ослик» представлял собой деревянную раму на опорах с куском парусины, растянутым между двумя длинными перекладинами. Именно в такую шаткую штуковину меня положила акушерка из Тинглефа в Северном Шлезвиге 22 января 1877 года. Ночью был сильный снегопад, и отцу пришлось подняться на рассвете, чтобы расчистить дорожку в дом для нее и врача.

Отец женился пятью годами раньше. Брачная церемония проходила в Епископальной церкви в Нью-Йорке, на углу Мэдисон-стрит и Пятой авеню. Это был брак по любви. Родители впервые встретились в небольшом городке Тондерн. В то время он был студентом — не слишком обнадеживающий кандидат на женитьбу для представителей среднего класса. Но когда он сдал экзамены, то взял быка за рога. Он сделал то, что делали многие немцы в то время: эмигрировал в Америку и получил 11 декабря 1872 года американское гражданство.

Однако отец не забыл девушку в Тондерне. Найдя работу в немецкой пивоварне в Нью-Йорке, он написал ей письмо с предложением приехать к нему.

Матери был двадцать один год, отцу исполнилось двадцать шесть лет, когда они поженились. Это был типичный брак

представителей среднего класса, хотя и состоявшийся в несколько драматичных условиях.

Мать пересекла океан на пути в Нью-Йорк в одном из тех устаревших пароходов, которые еще можно увидеть на старинных гравюрах. У него в середине высится дымовая труба, впереди и позади — мачты, верхняя палуба завалена тюками товаров, ниже — обширная палуба третьего класса, на которой размещались несчастные путешественники, не имевшие достаточных средств для поездки в каюте.

В возрасте семидесяти четырех лет моя мать описала свою рискованную поездку. Ничто не отражает яснее огромные перемены, происшедшие в мире, чем сравнение между рейсами в Америку тогда и сейчас.

Мать, младшая дочь моих дедушки и бабушки, только что отметила свой двадцать первый день рождения, когда получила вызов в Америку. Ее собственная мать дала согласие на воссоединение с женихом только при условии ее сопровождения старшим братом. К счастью, у нее было несколько старших братьев. Ей добавили также верную служанку из земли Шлезвиг-Гольштейн. В дорожном сундуке с ее приданным и бельем было также муслиновое свадебное платье с настоящим кружевом. Кроме того, она взяла с собой небольшое миртовое дерево, с которого намеревалась собрать ветки для свадебного венка.

С такой экипировкой три пассажира, ищущих приключений, сели на пароход «Франклин» в Копенгагене. Судно принадлежало не так давно образовавшейся судоходной фирме в Штеттине, вознамерившейся учредить судоходную линию из Европы в Америку. Но еще в Копенгагене пароход задержался на две недели из-за шторма на Балтике. Когда спешно завершили погрузку провизии и угля, какой-то кочегар упал с борта в пространство между пароходом и пирсом. Спасти его было невозможно. Ко всему прочему, они вышли в море 13 октября. (Это первое из несчастливых чисел «тринадцать», которые позднее сыграли определенную роль в моей жизни.)

Шторм в проливе Ла-Манш вынудил капитана идти вокруг Северной Шотландии, где пароход попал в туман и оставался несколько дней в Атлантике, почти без движения, с жалобно гудевшим гудком. Мать и брат располагались в единственной каюте первого класса вместе с девятью другими пассажирами, включая учителя и жену торговца, с которой

она подружилась. Кают второго и третьего классов на пароходе не было. Зато палубу третьего класса занимали три сотни пассажиров.

Во время всего путешествия миртовое деревце сохранялось в целости и безопасности под открытым небом. Оно расцвело и благоухало в морском воздухе — добрый знак для счастливого окончания опасного путешествия.

Очень скоро пассажиры на борту парохода заметили, что груз уложен плохо. Корабль непомерно кренило и качало могучими волнами Северной Атлантики. На вторую неделю выяснилось, что на борт было взято недостаточное количество питьевой воды. По приказу капитана палубным пассажирам выдавали дистиллированную морскую воду вместо хотя бы малого количества свежей воды. Вероятно, из-за ненормальных санитарных условий на борту вспыхнула эпидемия холеры. Она распространялась с пугающей быстротой и унесла жизни тридцати пяти палубных пассажиров. По ночам обитатели каюты первого класса дрожали от ужаса, когда слышали, как сбрасывают в море тела покойников, завернутые в парусину. В это время мать пережила страшные душевные муки, поскольку ее служанка находилась среди палубных пассажиров.

Во время кульминации трагедии в каюту вошел помощник капитана и попросил оказать помощь шестилетнему мальчику, входившему в семью эмигрантов из Ютландии. Его отец, мать, три брата и сестры умерли от холеры, а одежду мальчика сожгли в целях предупреждения инфекции. Моя мать передала ему белье и шерстяные вещи из своего сундука с приданым. Женщины из каюты сшили для мальчугана новую одежду и взяли его в каюту, где его веселый нрав весьма забавлял ее обитателей.

Но бедствия на этом не закончились. «Франклин» «экономил» не только питьевую воду, заканчивалось также топливо. Возникла необходимость пустить на топливо деревянные сиденья на палубе. В последние недели перед прибытием в Новый Свет все пассажиры довольствовались стаканом воды в день. Когда наконец стали давать сбой двигатели и вышел из строя компас, гордое судно «Франклин» из Штеттина двинулось наугад в западном направлении, как это сделал старина Колумб, пустившийся в плавание с целью открытия нового континента.

Так продолжалось до 2 декабря 1871 года, однако название порта, в который они вошли, было не Нью-Йорк Соединенных Штатов, но канадский Галифакс. Надежды пассажиров разбила портовые власти, не пожелавшие распространения холеры в Канаде. После этого был совершен мятежный акт. Когда к берегу отправилась лодка, чтобы запастись топливом и провизией, один из пассажиров перепрыгнул через борт, поплыл за лодкой и благополучно достиг берега, где рассказал репортерам обо всех подробностях кошмарного путешествия. В результате мой отец впервые узнал о суровых испытаниях своей невесты из прессы.

Но даже тогда, когда «Франклин» наконец подошел к Нью-Йорку, отправившись из Галифакса, отец не смог встретить мать. Наоборот, власти Нью-Йорка были так напуганы кораблем с холерой на борту, что пригрозили обстрелять его, если он не удалится как можно дальше, на рейде. Старый военный корабль «Хартфорд» принял пассажиров «Франклина» и содержал их в карантине в течение трех недель. Лишь благодаря добрым услугам портового врача, который отнесся сочувственно к пассажирам, они могли переписываться друг с другом.

Моей матери пришлось перебираться на борт «Хартфорда» через иллюминатор каюты. Во время некомфортабельного перемещения с одного судна на другое она крепко держалась за миртовое деревце, которое пострадало меньше всех во время морского путешествия. Она провела рождественский праздник вместе с братом и служанкой из Шлезвига вдали от отца, на рейде Нью-Йорка. За день до того, как они наконец освободились от весьма приятного в других обстоятельствах заключения на «Хартфорде», кто-то случайно оставил открытым бортовой иллюминатор, и миртовое деревце замерзло. В результате моей маме пришлось, как и всем американским невестам, надеть на брачную церемонию 14 января 1872 года флердоранж.

В Штатах мои родители оставались еще пять лет. Затем тоска по Германии настолько усилилась, что мой отец решил вернуться на родину. На его возвращение домой, видимо, повлияло несколько причин. Он оставил Германию незадолго до Франко-прусской войны. К тому времени, как к нему присоединилась мать, в Германии уже произошли большие перемены. Образовалась империя, а вместе с ней в последующий

период происходил экономический рост. Зачем оставаться в Америке, когда родина предков вдруг предложила так много возможностей?

Идея возвращения не давала ему покоя. Она преследовала его, когда он сидел за столом, оценивая причитающиеся платежи, когда встречался с другими немецкими эмигрантами в клубе, когда ходил в немецкую церковь по воскресеньям. Пять нескончаемых лет. Осенью 1876 года он наконец решился. Бросил работу, подав заявление о своем увольнении, купил билеты на пароход и вернулся в Германию со своей семьей — теперь троим: он сам, моя мама и старший брат Эдди.

Нет, он уехал не потому, что сомневался в возможности добиться успеха в Америке. Его явно влекла на родину ностальгия.

Во время обратного путешествия моя мама сообщила ему, что семья вскоре увеличится до четырех человек. На это он заметил, как делают все мужья в таких случаях: «Мы выдержим! Три или четыре — какая разница? Придумаем что-нибудь...»

Таким образом, я могу по праву считать себя отпрыском двух континентов, отделенных друг от друга акваторией океана в три тысячи миль.

Мое полное имя — мэр Тинглефа в Северном Шлезвиге покачал головой, когда вносил его в свою регистрационную книгу, — Яльмар Горас Грили Шахт.

Яльмаром я обязан своей бабушке Эггерс, которая уговорила отца в последнюю минуту присоединить его к имени «Горас Грили», так чтобы у меня имелось, по крайней мере, хоть одно приличное христианское имя!

Из-за этих трех имен меня поочередно принимали за американца и шведа. В Германии меня больше знают как Яльмара, английские друзья обычно называют меня Горасом. В период Соппротивления в Берлине ближайшие друзья упоминали мое имя как Гораз. В 1920 году одна популярная газета выступила с претензией на лучшее знание моей генеалогии. Она заявила, что моим настоящим именем было не Яльмар Шахт, но Хаим Шехтель, что я являюсь евреем из Моравии, — ну что тут скажешь? Несмотря на мои иностранные христианские имена, я был и остаюсь немцем.

Расскажу, откуда мой отец взял эти три любопытных имени. Во время своего семилетнего пребывания в Штатах он не

только был старшим клерком, бухгалтером и бизнесменом, но также питал острый интерес к общественной жизни Соединенных Штатов, которые в то время переживали последствия Гражданской войны. Он особенно почитал американца безупречных качеств, кандидата в президенты и друга Карла Шурца — Гораса Грили. Этот либеральный североамериканский политик, которому установлен памятник в Нью-Йорке, основал газету Tribune, позднее известную как нью-йоркская Herald Tribune. Отец, считавший Гораса Грили примером безупречной личности, решил, что следующий сын будет назван именем его кумира. Тот факт, что он уже не жил в Америке во время крещения своего сына, не беспокоил его ни в малейшей степени.

В возрасте семидесяти пяти лет я работал советником по финансовым вопросам в четырех странах Ближнего и Дальнего Востока (в Индонезии, Иране, Сирии и Египте). В этой связи американский еженедельник Time опубликовал статью, сравнивающую меня со старым провинциальным врачом, который предписывает пациентам хорошо проверенные, сильнодействующие средства — экономию и тщательное планирование. Подпись под фотографией, где я стою между генералом Нагибом и своей женой, гласила: «Ступай на Восток, старик».

Многие читатели, возможно, не совсем поняли двойной смысл этого напутствия, которое представляет собой игру слов. Семьдесят лет назад один американский политик призвал молодых людей, мающихся без дела в восточных портах Нью-Йорк и Бостон, отправиться на запад Америки, на необозримые территории, открывающие огромные возможности для смелых первопроходцев. Его лозунг, получивший широкую известность, гласил: «Ступай на Запад, молодой человек». Этого политика звали Горас Грили.

Не знаю, сколько раз встречался с этим великим политиком мой отец. Не знаю также, почему он не последовал его совету и не отправился на американский Запад вместо возвращения на родину. Определенно это не имело отношения к нехватке отваги. Скорее всего, он просто ощущал себя немцем и считал, что изменившиеся условия Германии представляли большие возможности, что его детей следует воспитывать в Германии.

Итак, мы вернулись. Вероятно, моя мама тоже томилась ностальгией. Когда позднее она вспоминала об этих пяти го-

дах, то всегда добавляла, что американский климат ей не подходил. Северяне плохо переносят лето в Нью-Йорке.

Дети редко интересуются мотивами, которые побуждают их родителей совершать те или иные действия.

Когда я прочел эти слова в Time, то вдруг заинтересовался, что бы со мной стало, если бы в зиму перед моим рождением отец выбрал направление на Запад, а не на Восток? Занимался бы я банковской деятельностью? Или получил бы воспитание на какой-нибудь ферме Среднего Запада и пошел по стопам бесчисленных немецких колонистов, которые обосновались в Новом Свете как земледельцы?

Возможно, читатель громко рассмеется при мысли о том, что председатель Имперского банка мог стать фермером в Мичигане! Эта мысль, однако, отнюдь не беспочвенна. Все мои предки по отцовской линии, вплоть до последних поколений, были крестьянами. Я происхожу из крестьянской семьи района Дитмаршен земли Шлезвиг-Гольштейн.

Крестьяне Дитмаршена не совсем крестьяне. Вот что говорится в старинной хронике: «Житель Дитмаршена полагает, что он крестьянин! Он больше походит на местного помещика!»

Семья Шахтов первоначально жила в старой провинции напротив ганзейского города Гамбург. Следовательно, вначале мы обитали на левом берегу Эльбы. Затем переправились через реку и двинулись на север во Фрисландию.

Один из моих предков имел от четырех жен двадцать четырех ребенка и умер в возрасте ста двадцати четырех лет. Члены семьи отличались силой, упорством и любовью к земле...

Время от времени я достаю из своей библиотеки старую объемистую книгу, содержащую описание жизни этих крестьян, хронику постоянной борьбы человека с океаном. Обитателей Нижних болот прозвали крестьянами-«лопатниками». Они постоянно воздвигали дамбы своими длинными лопатами (специально приспособленными для работы в вязкой глине), чтобы предотвратить нашествия на их поля ненасытного бога Нептуна. Их существование отнюдь не всегда было безмятежным. Случалось, одно поколение могло собирать без помех урожай с того, что посеяло. Однако следующее поколение непременно сталкивалось с весенним наводнением или прорывом дамбы. Мыши прогрызали стены. Изменения фаз Луны и западные штормы поднимали уровень Северного

моря выше отметки уровня полной воды. Вот отрывок из хроники: «Фермер с семьей спасались на крыше неделю. Две женщины, двое ребят и семнадцать голов скота утонули». Продолжалась бесконечная борьба, которая породила неразговорчивых, осторожных и суровых людей. Если им не было суждено утонуть, то они доживали до глубокой старости.

— Чего ты хочешь? — спрашивал я себя в прежние годы. — Не думаешь ли ты, что твоим предкам жилось легче? Как часто, должно быть, случалось, что семидесятилетнему земляку приходилось переносить бедствия и видеть, как тонут его дети и внуки, а поля превращаются в грязную, заиленную, бесполезную землю. Он никогда не сдавался, но преодолевал горе и начинал все сначала.

И еще одна особенность поражает меня в этом наследии: в домах северян невозможно обнаружить внешних признаков сентиментальности. Постоянная борьба с болотами требовала от их обитателей высочайшего самоконтроля. Среди них редко выражение эмоций, чувства скорее скрываются, чем проявляются. Но сокрытие чувств вовсе не означает их отсутствия.

Те, кто был поверхностно знаком со мной, как правило, характеризовали меня как упрямого и черствого человека. Они просто не могут вообразить, что такой внешне замкнутый человек, как я, может иметь такую вещь, как сердце. Я сожалею, что произвожу такое впечатление, но измениться не могу. Человек не только то, что он собой представляет, — он несет в себе невидимое наследие длинного ряда предков.

Первым нарушил традицию сельскохозяйственного труда и многочисленной семьи мой прадед. Не знаю, почему он покинул дом: во всяком случае, прадед отправился в Бюсум и открыл мелочную лавку. Он стал *коупманом* (мелким лавочником), как их называют в наших местах.

Бюсум лежит на равнине. Морское побережье окутывает туман. Над песчаным побережьем голосят чайки. Здешние жители — фермеры, сеющие пшеницу, угольщики, скотоводы. Крестьяне Дитмаршена, возможно, медлительны, но сообразительны, находчивы и полны здравого смысла. Они не позволяют перехитрить себя.

Мой прадед вел дело так успешно, что смог послать своего единственного сына, моего деда, учиться в колледж. Дед был самым старым из Шахтов, которых я видел лично. Он

был приходским врачом во Фридрихштадте. Дед был подлинным выходцем из крестьянства Дитмаршена — голубоглазый, с густыми бровями и округлой бородкой. Отличался высоким ростом, широкими плечами и уверенностью в себе. О нем ходило в округе много занимательных историй.

Каждый, кто интересовался историей Английской революции во время Кромвеля, знает, что означает понятие «нонконформист». Конформисты — люди, которые соглашаются следовать современной тенденции. Нонконформисты представляют собой полную противоположность этим людям. Они нетерпимы к власти, навязанной извне. Они признают политику, поставленную на службу не корыстных, но гражданских целей.

Все истории о моем деде Шахте связаны с его нонконформистским характером. Он изучал медицину сначала в Копенгагене, затем в Киле. Это происходило в бурные 1830-е годы, и вполне естественно, что мой дед принимал участие в студенческих политических акциях. Ему пришлось бежать из Кили, и он получил степень доктора медицины в Ростокке.

В 1850 году, когда он уже прочно утвердился на поприще практикующего врача в Зюдерштапеле, этот город стал объектом военных споров между Шлезвиг-Гольштейном и Данией. Зюдерштапель неоднократно переходил из рук в руки, и каждый раз муниципальным властям приходилось представляться в ратуше и давать клятву верности новому правителю. Дед делал это дважды. Затем он потерял терпение. В третий раз, когда прибыл посыльный, чтобы отвести его в ратушу, он обнаружил деда стоявшим перед дверью с заряженным револьвером.

Посыльный отбарабанил вызов на местном диалекте:

— Теперь, доктор, вам следует идти в ратушу и присягнуть.

Мой дед оглядел любовно свой револьвер и ответил густым басом:

— Я сыт по горло хождениями туда. Если кто-нибудь еще вступит за дверь моего дома, то получит пулю в лоб!

Посыльный запомнил эти слова, вернулся в ратушу и пересказал все, что слышал. Мэр почесал голову и освободил доктора от дальнейших церемоний присяги.

Дед не менялся до конца своих дней. Менее способный бизнесмен, чем его отец, он тем не менее сумел завоевать

уважение и любовь своих ближних. Но он всегда нуждался в деньгах, за что должен винить только себя. Если пациент не настаивал на более щедрой оплате, дед посылал ему счет, в котором каждый рецепт имел одинаковую стоимость десять грошей. Я лично видел такой странный счет в 1892 году, когда навещал деда во время эпидемии холеры в Гамбурге. Мы ходили в дом зажиточного торговца, страдавшего от ревматизма. Дед осмотрел его, порекомендовал линимент, горячие компрессы и выписал рецепт на обезболивающие таблетки.

— Сколько это стоит, доктор? — спросил пациент перед нашим уходом.

— Десять грошей, — ответил дед.

— Но ведь этот тип купается в деньгах, — посоветовал я ему позднее, — тебе нужно установить настоящую цену.

Дед шагал рядом, осанистый, с трубкой в зубах.

— Ты не понимаешь, — сказал он. — Врачевание не просто бизнес.

Однако «10-грошовая политика» была тем более сомнительной, что он лечил бедных пациентов без взимания даже этих денег. Поэтому дед так и не разбогател и содержал семью в весьма скромном достатке. А семья была никак не маленькой — два ребенка от первого брака и девять от второго. Но врач следовал притче о полевых лилиях. Они ведь вырастают как-то. И дети как-то выросли. Неизвестно, кем стали дети от первого брака. Из восьми же сыновей от его второй женитьбы на дочери священника пять эмигрировали в Америку и неплохо там устроились.

Главным подарком деда сыновьям стали звучные и разнообразные христианские имена, которыми он их наделил, не посоветовавшись с женой. Данное моему отцу имя при крещении дает хорошее представление об этой процедуре.

— Как назвать ребенка, доктор? — спросил деда священник Зюдерштапеля, когда они стояли у купели, в то время как моя бабушка сгорала от любопытства.

Дед прочистил горло и стал перечислять:

— Вильгельм, Людвиг, Леонард, Максимилиан...

— Ты закончил? — прервала его бабушка.

Дед, которому помешали, замолчал в обиде, и моему отцу были оставлены на выбор четыре имени.

Бабушка никогда в жизни не называла своего мужа по его христианскому имени. Просто звала его Шахт. Обычно так

обращаются жены к своим мужьям. Она была добросердечной, непритязательной женщиной с уровнем образования, который в то время обнаруживался почти исключительно среди пасторских дочерей.

Я уже упоминал, что обязан своим именем Яльмар вмешательству бабушки Эггерс. Выбор ею имени не был случайным. Одним из ее сыновей был Яльмар, барон фон Эггерс.

Девичье имя моей матери было Констанца Юстина София, баронесса фон Эггерс. Она родилась 6 июня 1851 года в Дирхавегаарде близ Колдинга. Ее брак с моим отцом обеспечил семье Шахтов новое родство.

Эггерсы вели происхождение из старинного рода в Гамбурге. О них было написано четыре увесистых тома, у меня же мало желания воспроизводить бесконечные родословные деревья семьи.

Ганс Эггерс мое имя,
Советник Гамбурга, известный своей доблестью.
На моем щите белые розы,
На моих доспехах не может быть ни единого пятнышка.

Такова надпись на старогерманском языке под портретом знаменитого предка матери. На картине он изображен в кольчуге и шлеме, тунике с поясом из драгоценных камней, двуручным мечом, копьем с вымпелом и заостренным книзу щитом с теми самыми белыми розами.

Потомки Ганса Эггерса постоянно упоминаются в истории этого ганзейского города. Среди них советники, старейшины, купцы. Один из них умер во время эпидемии чумы 1695 года, другие подались на восток. В девятом поколении Хеннинг, священник в Зюдерау, дал начало семейной ветви в Шлезвиг-Гольштейне, из которой происходит моя мать.

Эти Эггерсы из Шлезвиг-Гольштейна наиболее преуспели, поскольку их возвысили сначала до обычных дворян, а затем до потомственных пэров. Однако другие ветви не оставались в долгу. Едва ли найдутся профессии и службы, от церковного советника до живописца и генерал-майора, в которых не отличились бы один или несколько родственников Эггерсов. Благодаря брачным связям семья также оставила след в физике в лице Эрстеда, в изящных искусствах — в лице Шар-

лотты Буфф (бессмертной Лотты в «Страданиях юного Вертера» Гете), которая, как известно, вышла замуж за Кестнера. Ее внучка вышла замуж за Эггера в середине XIX века.

При жизни моей матери семья Эггеров уже прошла зенит своей славы, воплощением которого стал Христиан Ульрих Детлев, потомственный барон фон Эггерс, доктор права, советник датского короля, генерал-губернатор Киля, военачальник ордена Даннброг и т. д. Но и у него следы физического вырождения были уже налицо. До пятилетнего возраста он не выучился ходить. Был одарен с детства, молчалив, задумчив, с жадной жаждой знаний и страстью к учению и одновременно с непреодолимой тягой к военной профессии. Как не провести параллель в данном случае между этим человеком и такими историческими фигурами, как молодой Блез Паскаль или принц Евгений, которому французы отказали в военной карьере только потому, что он был слишком утонченным, и который поэтому перешел на службу к австрийцам!

Христиан фон Эггерс блистал в свое время, мировой гений, который встречался со всеми знаменитостями эпохи. Он неустанно путешествовал по всей Германии, представлял страну в зарубежных монарших дворах. И вот замечательный пример для всех тех, кто верит в историческую преемственность, — в своей родной Дании он осуществил финансовую и денежную реформу. Что и говорить, финансовая стабилизация в семейной крови.

Вместе с графом Андреасом Бернсторфом он добивался освобождения крестьян от крепостной зависимости. Несмотря на астму, головные боли и бессонницу, выработал рабочий график и неукоснительно его придерживался. Через ночь он работал ночь напролет за своим письменным столом. Лечил головные боли кровопусканием. Человек железной воли, он компенсировал недостаток физической силы неукротимой энергией. Умер за рабочим столом, занятый написанием очередного труда, в 1813 году. Дания ему многим обязана.

Он был моим прадедом, та же степень родства связывала меня с лавочником Бюсума по отцовской линии. Иногда я гадаю, что бы случилось, если бы эти два господина когда-либо встретились. Вполне можно вообразить, как мой прадед, потомственный барон, проезжает по Бюсуму в карете, которая теряет колесо как раз перед местной лавкой. Желая уто-

лить жажду, он заходит к лавочнику Шахту, который стоит в дверях, в рубашке с длинными рукавами и фартуком, завязанным на поясе.

— Добрый день, приятель, — приветствует будущий прадед Христиан фон Эггерс прадеда Шахта. — У тебя милая лавка.

Прадед Шахт снимает свою небольшую черную шапочку и отвечает:

— Чего изволите купить?

— А что у тебя есть?

— Коробка сигар «Вирджиния», — отвечает Шахт.

— Я не курю, — замечает барон.

— Очень жаль, — огорчается торговец.

Затем они стоят и смотрят друг на друга. Потомственный барон и мелкий лавочник из Бюсума. Один вершит политику Европы, изменяет законы, правовую систему, положение крестьян, финансы. Другой заботится о том, чтобы жители Дитмаршена не испытывали недостатка в соли и табаке. На самом деле оба господина не так далеки друг от друга. Разница между ними лишь в образе жизни. Один беспокойный, его влекут повсюду многочисленные обязанности, амбиции, жажда знания. Другой спокоен — его единственная забота состоит в том, станет ли его сын первоклассным врачом. Один стоит на горной вершине, где ветер обжигает и истощает силы. Другой живет в долине, довольный своей судьбой, озабоченный будущим сына. Станут ли общаться представители низкого и благородного сословия... Нет, такая встреча маловероятна.

Как бы посмеялся мой прадед из Бюсума, если бы кто-то сказал ему:

— Твой внук будет ухаживать однажды за внучкой этого человека!

— Ха-ха-ха, — ответил бы он громовым смехом. — Не плохо! Повтори это еще.

Сын Христиана фон Эггерса, мой дед, шеф полиции в Шлезвиге, оставил девятерых детей без обеспечения. Пропал могучий импульс, который руководил семьей. Все потомственные бароны фон Эггерсы нашли свои ниши, но они больше не определяли политику Европы. А младшая дочь Констанца последовала за молодым учителем в Америку и там вышла за него замуж.

Глава 2

ТРИ ГОРОДА, НАЧИНАЮЩИЕСЯ С БУКВЫ «Х»

Тинглеф, где я родился, является большим селом к востоку от Тондерна, расположенного в районе смешанного немецко-датского населения. Когда я побывал там в 1920 году в связи с плебисцитом, оказалось, что Тинглеф — самый северный населенный пункт с большинством немецких жителей. После того как мы проиграли Первую мировую войну, союзники передали эту территорию за так называемой «линией Клаузена» Дании. Таким образом, сегодня мое родное село принадлежит Дании.

Мой отец учился в частной школе Тинглефа. Дом, в котором мы жили, стоит до сих пор. Неприметный дом среди точно таких же домов.

На следующий год мы оставили селение и отправились на юг, в город Хайде в Дитмаршене, таким образом вернувшись к своим истокам, ибо Шахты были дитмаршенцами и в течение всех Средних веков Хайде был в фокусе дебатов о крестьянской республике. Отец протиснулся с профессией учителя и стал редактором газеты Heide News. Кроме того, поскольку работа журналиста не приносила достаточного дохода, он служил бухгалтером у герра Видаля, богатого торговца тканями, который владел также Heide News. И наконец, он с явной неохотой определил мою маму на работу в галантерейный магазин, где она продавала разнообразные товары — кружева, ленты, нитки. Верно, это дело не было престижным, но оно приносило доход, и мама занималась им, чтобы помочь отцу.

Это были неблагоприятные годы. И в отличие от библейского временного отрезка, наш продолжался более семи лет и заставил нас со временем поменять три города, начинавшихся с буквы «Х», — Хайде (Heide), Хузум (Husum) и Гамбург (Hamburg в традиционном переводе на русский звучит как Гамбург. — *Пер.*).

Газета Heide News имела либеральное направление и отличалась большой оригинальностью. Трудно описать деятельность такой газеты в 80-х годах XIX столетия. Современные провинциальные газеты получают почти весь свой материал, за исключением местных новостей, в готовом виде для печати и часто в матрице от агентств и газетных концернов, готовящих передовицы и основные статьи. Они не выражают независи-

мого мнения. И в Heide News много места отводилось городским новостям — церковным службам, ситуации на рынке, сообщениям об уровне воды и несчастных случаях, праздниках, а также некрологам. Но рядом с этими новостями публиковалось много совершенно независимых мнений о политике в целом, культуре, литературная критика. Все это выходило из-под пера редактора. Избитые, массовые идеи еще не могли задушить личную точку зрения.

Ни в какой другой период своей жизни отцу не выпадал такой же благоприятный шанс продемонстрировать свою находчивость, остроумие и знание жизни разных стран. Он обладал разносторонними способностями и имел лишь тот недостаток, что сторонился общества. Из-за склонности к уединению, возможно некоторой стеснительности, он, видимо, не вписывался в ту социальную среду, к которой привыкла моя мама. С другой стороны, в Хайде, в привычном окружении, среди людей, его понимающих, он чувствовал себя как дома.

Тупость местных обывателей, должно быть, нередко действовала отцу на нервы. Его комментарии о встречах городских чиновников часто носили едкий и саркастический характер. Итак, Heide News занимала свою независимую позицию (то есть позицию моего отца), и общественность это удовлетворяло. В конце концов, мы жили в Шлезвиг-Гольштейне, немецкой провинции, которая находилась в постоянном брожении из-за датского национализма. Кроме того, «либералы» составляли большинство. На территории, где жизнь людей зависит от кормления и разведения скота, а также торговли им, почти каждый человек целиком настроен против бюрократии и за свободную экономику.

В откликах на журналистскую деятельность моего отца недостатка не было. Ему писали районные советники, представители духовенства и литераторы. Это влекло за собой объемную переписку.

Поскольку мне было всего пять лет, когда мы покинули Хайде, мои воспоминания об этом периоде, естественно, несколько туманны. Смутно помню дом, где мы жили, — темный коридор, ведущий к черному ходу. Раз, пройдя через заднюю дверь, мы оказались в мамином саду, где всегда росли цветы, овощи и прочее. Бывало, я играл с кудрявыми сыновьями герра Видаля, пока не утомлялся, а потом бежал в

галантерейный магазин к маме. Она показывала мне некоторые из своих драгоценностей, позволяла рыться в своей шкапулке и «помогать» на кухне.

Один случай в Хайде надолго остался в моей памяти. Мне было почти пять лет. В конце нашего длинного огорода стояло небольшое деревянное строение, возможно бывшая конышня. Теперь, однако, там жила старая бездетная вдова, влача в качестве поденщицы жалкое существование, хуже нашего. Я боялся этой женщины, поскольку она по внешнему виду походила на ведьму, изображение которой я видел в книжке сказок. Но как-то раз меня разобрало любопытство. Случилось так, что однажды я увидел, как она ест толстый кусок ржаного черного хлеба. Я обратил внимание на то, что лишь небольшой уголок хлеба был намазан маслом.

— Вы едите хлеб без масла, — сказал я.

— Да, дитяtko, — ответила старуха. — У меня нет денег, чтобы купить масла на весь кусок. Но, гляди, я намазала масло на уголок и теперь ем хлеб с другой стороны. Каждый раз, откусывая хлеб, я жду, когда дойду до этого уголка с маслом. Этот последний кусочек будет так вкусен.

Через несколько дней отец рассказал историю, очень похожую на случай со старухой. Чтобы вникнуть в ситуацию, нужно понять, что Хайде считался знаменитым рынком скота, самым большим во всей провинции. Небольшая церквушка, расположенная на краю рынка, на самом деле казалась заброшенной.

Весной крестьяне Дитмаршена покупали молодой тощий скот с бедных растительностью пастбищных земель. Этот скот набирал нужный вес на обильных лугах болотистого края и осенью был готов для забоя и продажи на рынке. В рыночные дни в Хайде было столпотворение людей и коров. Торговые агенты, оптовые закупщики-мясники из Гамбурга и соседних крупных городов съезжались в гостиницы, осматривали скот в загонах и заключали с фермерами сделки. В мастерстве торговаться и считать фермеры показывали себя не меньшими знатоками, чем в умении вести свое хозяйство.

После завершения сделок все устремлялись по вечерам в трактир, где от души веселились, обсуждая перипетии и события прошедшего дня. Разумеется, отец должен был отражать это в газете. Как-то раз он пришел вечером домой и рассказал о веселой пирушке фермеров и скототорговцев.

— Их карманы оттопыривались от денег. Они звенели монетами, когда пили и хвастались. И что, ты думаешь, они пили? — обратился он с вопросом к жене.

— Пиво или грог, — сказала мать.

— Ничего подобного. Этих господ устроило одно лишь шампанское.

Но не просто шампанское вызвало его негодование. Один из скототорговцев, а может, и фермер — нахальный, самодовольный парень — решил, очевидно, что не сможет лихо потратить свои деньги на одну выпивку. Опьяневший до крайней степени, но все еще желавший избавиться от наличности, он послал за батареей бутылок с шампанским. Затем он поднял свою увесистую палку и одним ударом снес горлышки всех бутылок.

Мама покачала головой в знак неодобрения. Затем она уложила нас спать. Взяла небольшой стакан с водой, в которую налила несколько капель масла. Накрыла стакан сверху пробкой с фитилем и зажгла фитиль. Это был наш ночной светильник, который горел до утра. Когда бы мы ни просыпались среди ночи, крохотное пламя всегда отбрасывало таинственный голубоватый свет на белые стены нашей спальни.

Отец, несомненно, улучшил свое положение, когда принял предложение Видаля редактировать Heide News. К сожалению, этим улучшение началось и закончилось. Он напряженно работал в газете, внося в нее живость, юмор, интеллект и сарказм. Но ни объем рекламы, ни тираж не показывали признаков роста. Когда через четыре года он понял, что рассчитывать на изменение к лучшему не приходится, то стал подыскивать себе новую работу. Нашел он ее в Хузуме у еврея по имени Голд, который нуждался в менеджере для своего мыльного завода.

Так мы переехали в Хузум — «серый город у моря», как охарактеризовал его поэт Теодор Шторм. Поэт жил в этом городе, занимая в течение нескольких десятилетий должность окружного судьи, и ушел на пенсию несколькими годами раньше. Это был величественный старец с убеленными висками, которого любили и которым восхищались во всей Германии за прелестные поэмы и тонкую, выразительную прозу.

Хузум и Шторм образовали неразрывную связь в моем сознании по многим причинам. Оба они меланхоличны, таинственны и отчасти консервативны.

Держась за мамину руку, я ходил по мостовым, гладко отполированным морозящим дождем, и с восхищением оглядывал дома с острыми крышами, возвышающиеся ступенями по обеим сторонам улиц. Особенно зачаровывала меня маленькая резная башня на ратуше.

Однажды мать привела меня в начальную школу Хузума, где я учился целый год. Я был здоровым пятилетним ребенком. Не было никаких причин медлить с изучением азбуки. Потому я каждый день надевал шапку и шел в школу с ранцем. Вместе со школьными приятелями играл у порта и зачарованно смотрел на корабли, прибывавшие из неведомых стран.

Между тем отец облачился в голубой фартук производителя мыла и занялся администрированием. Всякий раз, когда мама водила нас, детей, повидаться с ним на мыльном заводе, она возвращалась домой немного подавленной. В рабочих помещениях пахло прогорклым жиром, там было холодно и оставалась слизь от мыла. Жир в бочках вызывал отвращение, огромные емкости с едкими растворами, полопавшиеся мешки с каустической содой, чаны, в которых кипели мыльные массы вместе с глицерином, — все это выглядело чужим, необычным, опасным и несколько угнетающим. Даже склянки с духами, которые добавлялись в мыльную массу, когда процесс завершался, не могли примирить маму с мыльным заводом. Она не любила работу отца, поскольку видела, что он ее не любит.

Отец чувствовал что угодно, только не радость от работы. Долгое время он не понимал, что человек, способный написать первоклассную политическую статью, может быть никудышным производителем мыла и что одна работа ни в коей мере не является такой же, как другая. Он не понимал, что занимаемая должность хотя и по силам ему, но совершенно не отвечает его наклонностям.

Имеются разные суждения о том, что происходило в период 1882—1883 годов, но, как бы то ни было, мыльный завод обанкротился. Нанимал ли Голд моего отца только для того, чтобы иметь под рукой козла отпущения? Был ли отец виновен в плохом сбыте мыла, производимого в Хузуме? Разорилась ли фирма сама по себе, без содействия отца? Не знаю.

Мне известно только то, что в один из дней двери этого мерзкого предприятия закрылись навсегда и нам снова пришлось срывать с насиженного места. В этот раз мы отправились в ганзейский город Гамбург.

Мы въехали в Гамбург — в город, где мои предки (но не предки моего отца) занимали высокое положение, — так сказать, с черного хода. В то время мне было всего шесть лет.

Гамбург всегда был крепким орешком. Его жители знают цену деньгам. Там соседствуют миллионеры и голодный люд. В Гамбурге социальные различия были глубже, чем в других немецких городах. Судовладельцы, мелкие торговцы, главы крупных контор старого образца составляли богатые слои. Докеры, портовые грузчики, канатные мастера, поденщики, подсобные и временные рабочие входили в разряд бедных.

Мы прибыли в Гамбург без гроша, оставив позади, в Хузуме, мыльное дело. Перспективы для отца не были радужными. Он странствовал по миру тринадцать лет и уже десять лет был женат. Мой брат Олаф начал ходить, Эдди должен был пойти в среднюю школу. В 1883 году мы прибыли в Гамбург в тревожное время для нашей маленькой семьи.

Маме пришлось мобилизовать всю свою отвагу и веру, чтобы выдержать неудачи и неприятности первых лет проживания в Гамбурге и, кроме того, поддерживать морально своего мужа.

Отец крайне нуждался в такой поддержке. В молодые годы он был неутомимым странником, не способным долго оставаться на одном месте. Его прадед все еще принадлежал к фермерскому сообществу. Его дед вложил долю наследства, переданную ему братьями, в универсальный магазин, где эта доля возросла. В определенной степени дед моего отца обосновался прочно. Он смог найти достойное применение своим способностям, и, поскольку у него был лишь один сын, он отправил его в самостоятельную жизнь вполне обеспеченным. Мой дед учился в колледже, набирался опыта и тратил деньги, оставленные отцом, лавочником Бюсума, не задаваясь вопросом, откуда он их получил. Не утруждал он себя особенно и обеспечением своих сыновей. Им пришлось начинать с нуля, но в этот раз без связей среди фермеров и надежного бизнеса.

Положение моего отца и семи его братьев было, следовательно, в тысячу раз труднее, особенно когда понимаешь, что они вышли из образованной семьи. Их отец был врачом,

мать — дочерью священника. Они переросли крестьянство, но у них не было связей среди образованных людей, которые могли бы помочь. Все это во многом объясняет неугомонность, которая выработала в отце привычку странствовать.

Я кое-что унаследовал от этой неугомонности. У меня тоже достаточное количество подвижности в крови, как и у Эдди, который объехал половину мира и долгое время работал врачом в Асуане, в Верхнем Египте. Но мы также обязаны отцу тем, что эта неугомонность, вместо создания препятствий, напротив, способствовала нашей карьере. Отец заложил основы новой семьи Шахт. Он преодолевал большие препятствия на жизненном пути, и никто, кроме мамы, не давал ему советов и не оказывал помощи.

Первое время пребывания в Гамбурге мы жили в задней части одного дома, расположенного на окраине. Окна выходили на площадь. Когда не учились, мы играли в заасфальтированном заднем дворе дома. Первое время соседские дети смотрели на нас косо. Мы все испытали в полной мере — насмешки, вызовы на драку и, наконец, синяки. В заключение произошла славная потасовка. Когда мы наконец вошли в состав компании, сложившейся в этом квартале, то смогли выбираться для игр на улицу в районе Хайлигенгайстфельд или играли во дворе.

В то время автомобили еще не превратили улицы в смертельные ловушки. Только отзывался эхом цокот копыт по мостовой, когда проезжала подвода пивовара, которую тащили могучие лошади с укороченными хвостами и небольшими наушниками. Или порой ехал омнибус, предшественник работающего на электричестве трамвая, которого тогда еще не было. Он представлял собой автобус на конной тяге и пяти колесах. Четыре из них катились по земле, в то время как пятое колесо двигалось по рельсу и сообщало неуклюжему сооружению устойчивое направление движения. Иногда мы, мальчишки, клали на рельс тяжелый камень. Тогда омнибусу приходилось останавливаться, водитель поднимал колесо домкратом высоко над землей, переезжал камень и снова опускал колесо.

Таковы были добродушные шалости тех дней. Надо сказать, что водитель не выглядел столь добродушным. Он ругал безвестных хулиганов, которые сыграли с ним такую подлую шутку.

Однажды отец вернулся из города в приподнятом настроении. После многих безуспешных попыток он нашел наконец

работу бухгалтера в крупной компании по импорту кофе Schmidt-Pauli.

Между тем Эдди выдержал вступительные экзамены и поступил в первый класс знаменитой гамбургской классической гимназии Йоханнеум. Должно быть, отцу доставляло большое удовлетворение то, что его старший сын смог посещать это блестящее заведение. Остается тайной, как он умудрялся ежемесячно вносить плату за учебу сына в школе. Но он умудрялся, и каждое утро Эдди уходил из дома за пятнадцать минут до начала занятий и проходил пол-Гамбурга, чтобы приобрести новые знания.

Вечером отец полностью посвящал себя нам. Он рассказывал о технических изобретениях, великих ученых, истории, коммерции и мировой экономике. Отец говорил, например:

— Появились поезда с небольшими зубчатыми колесами. Зубчатое колесо катится по третьему рельсу между двумя другими. Для чего ты думаешь, мать, это делают?

Мама пожимает плечами.

— Может, для того, чтобы колеса лучше тормозили, — отвечает она. — Поезда мчатся так быстро!

— Вздор! — восклицает отец. — Это делается для того, чтобы поезда поднимались в гору.

— Зачем поездам подниматься в гору? — интересуется Эдди.

— Они хотят ездить везде, — объясняет отец. — Техническая мысль не останавливается ни перед чем, стремится распространиться повсюду. Такова человеческая природа. Когда-нибудь мы сможем даже летать.

— Летать! — восклицали мы.

— Люди уже летают на воздушных шарах, — продолжал отец. — Они делают огромную оболочку, заполняемую водородом, который легче воздуха. Таким способом человек может подняться прямо к облакам. Если к этому приспособить мотор с управляющим рычагом, то можно лететь куда угодно...

Однако полосы неудач для отца не кончились. Да, он получал приемлемую зарплату в компании Schmidt-Pauli, но это зависело от успеха дела. К несчастью, его-то как раз и не доставало.

В 1885 или 1886 году в Гамбурге завершилась сенсационным провалом крупномасштабная игра на поставках кофе.

Потребление этого популярного напитка устойчиво росло с войны 1870 года, и фирма Schmidt-Pauli стала играть на рынке на повышение цен. Но тенденция на повышение не удержалась, и компания оказалась неспособной выполнить свои обязательства. Она была вынуждена уволить почти весь свой персонал, включая моего отца.

Нам снова пришлось затянуть пояса. Месяцами отец ходил то в одну фирму, то в другую в поисках подходящей работы. Он перебивался случайными заработками, но они составляли лишь капли в море. Наш доход никак нельзя было назвать достаточным. Мы жили буквально впроголодь.

Хорошо помню свой восьмой день рождения в этот период. В доме поддерживался обычай дарить ребенку на день рождения столько апельсинов, сколько ему лет. Однако этот год, должно быть, оказался для нас особенно трудным, во всяком случае, наутро своего дня рождения я получил только два апельсина и монету достоинством в пятьдесят пфеннигов.

— Сбегай купи уголь по пять пфеннигов, — сказала мама и положила деньги на стол.

Молча я взял ведро и монеты, потащился к продавцу угля, который обосновался в подвале. В сумрачном помещении он разговаривал с двумя женщинами. На перевернутом вверх дном ящике горела свеча. У стены были свалены связки дров, а в задней части подвала помещался угольный склад.

— Привет, снова пришел за углем? — спросил торговец, прервав свой разговор. Текущие капли пота оставили широкие полосы на его черном лице. На голове он носил мешок, вроде капюшона.

— По пять пфеннигов, — сказал я.

Он убрал в карман мелочь, которой хватило бы на два стакана вина, и наполнил ведро колотым углем.

— Кто это? — спросила одна из женщин, когда я уходил.

— Один из детей Шахта. Его отец работал в Schmidt-Pauli. Они закупили так много кофе, что не могут от него избавиться. Да, это были трудные времена.

Однажды вечером отец вернулся после продолжительных блужданий по Гамбургу в приподнятом настроении. Он ворвался в гостиную, швырнул пальто на кресло, схватил в охапку маму и поцеловал ее. Это само по себе было редким

случаем в нашей несколько сдержанной семье, где обычно не целовались.

— Мать, — сказал он с явным воодушевлением, — я кое-что нашел!

Мама прижала руки к груди и воскликнула:

— Что ты нашел?

— Должность, где найду применение своему американскому опыту. Должность с невысокой оплатой, но хорошими перспективами.

— Как называется фирма?

— Буду работать бухгалтером в страховой компании American Equitable Life Insurance, — ответил отец.

Equitable Life Insurance, или просто компания Life Insurance, — кто как ее называет. С этого вечера название предприятия ласкало мне слух. Потому что в этой компании мой отец обрел то, что искал и к чему стремился во время своих безнадежных хождений по Гамбургу, стучась то в одну, то в другую дверь и получая отказ. Именно в этой компании он нашел должность на всю жизнь, нашел свою нишу.

Он поступил на службу в компанию, где с ним достойно обращались, согласно обещанию, выраженному в названии фирмы (equitable значит «справедливый». — *Лер.*). Он работал здесь тридцать лет, продвигаясь шаг за шагом по карьерной лестнице и зарабатывая больше денег, пока в преклонном возрасте не стал генеральным секретарем берлинского офиса компании... Примерно в это время он построил небольшой дом в Шлахтензее, и разве не естественно, что его назвали «вилла Эквитэбл»?

Конечно, сообщение отца не потрясло основы мира. Но я был достаточно проницательным, чтобы понять, что оно значило для семьи.

Эдди смог продолжать учебу в Йоханнеуме, и там, конечно, нашлось бы место для меня. Теперь семья была надежно обеспечена, мы могли рассчитывать на ежемесячную зарплату. Можно было даже позволить себе копить деньги. Великолепное сообщение!

19 августа 1887 года умерла в гамбургском доме моих родителей бабушка Эггерс. Я отчетливо помню траурную церемонию, катафалк в зале прощания, темный гроб, родственников, которые пришли отдать последний долг своей матери.

Бабушка родилась в Итцехо, к северу от Гамбурга. Ее отец был обычным зажиточным торговцем из среднего класса, его звали Эверс. Она встретила с Фридрихом фон Эггерсом в доме родителей. Единственный сын знаменитого Христиана Ульриха Детлева, он был ей хорошей парой. В годы совместной жизни с ним она родила девять выживших детей, среди них — шесть сыновей. Но когда бабушке перевалило за семьдесят, она стала жить не у богатых сыновей, а у младшей дочери Констанцы, хотя та была явно менее обеспечена и в ее доме было меньше удобств для старушки, чем в любом доме братьев и сестер дочери. Полагаю, что Констанца была любимицей матери. Возможно также, что моя бабушка стремилась вернуться в привычную мелкобуржуазную среду, из которой вышла. Каковы бы ни были мотивы, она однажды явилась к нам в Гамбурге, когда мне было девять лет, и оставалась с нами до самой смерти.

К этому времени мечты отца осуществились: мы жили в прекрасных комнатах и считались квартиросъемщиками из состоятельных слоев. Дни проживания на задворках дома кончились. Это не означало, однако, что мы могли купаться в роскоши. Зарплата отца оставалась еще невысокой. Eguitable Life Insurance давала надежную работу, но она отнюдь не представляла собой золотую жилу.

В своем воображении я могу воссоздать ясную картину нашего дома того времени. Он был обставлен весьма просто: половицы на крашеном полу, один-два цветных эстампа на стенах, застекленный книжный шкаф с любимыми книгами отца (конечно, классика) в переплетах с золотым теснением. Мне запомнились, в частности, произведения Шекспира, стоявшие вслед за томами поэзии Гете, Шиллера, Гейне, пара романов Диккенса, который в то время еще не считался классиком, но был чрезвычайно популярным, и несколько книг издательства Таухница. Вечерами отец брал книгу с полки шкафа, читал нам вслух поэмы, отрывки из пьес и обсуждал с нами прочитанное. Потребность в хороших книгах он испытывал всю жизнь. Музыка его интересовала меньше, ее больше увлекались Эггерсы.

Ушло время, когда мы покупали уголь по пять пфеннигов. По крайней мере, в гостиной, где мы с Эдди жили и готовили свои домашние задания, было всегда тепло. Малютка Олаф дремал в углу комнаты.

Служанки у нас все еще не было. Вся работу приходилось делать маме. Она готовила пищу, штопала одежду, стирала, убирала комнаты. Даже сейчас я не могу представить, как ей удавалось справляться с этим и сохранять бодрое и добродушное настроение. Тогда мы воспринимали это как само собой разумеющееся. Она вставала утром раньше всех, готовила кофе для отца и двух школьников. Когда мы возвращались домой, комнаты были прибраны, кровати застелены, в гостиной горел яркий свет, обед приготовлен. Что мы ели? Тогда мы питались просто: лепешки из гречихи, большие клецки и кровяная колбаса, грубый черный хлеб, не очень отличающийся от того, что ели спартанцы. Простая пища полезна и питательна, она была у нас в изобилии.

Мы даже не знали, что представляет собой изысканная еда, пока на нас, детей, не произвел сильное впечатление один случай. Речь идет о семейном сборе Эггерсов, который произошел весной 1887 года, примерно за шесть месяцев до смерти бабушки. Наша семья, вероятно, не особенно заинтересовалась бы этим торжеством, если бы с нами не жила бабушка. Тот факт, однако, что она происходила из баронской семьи, послужил косвенной причиной организации в Гамбурге торжества в ее честь.

Сорок с лишним человек сидели за столом в ресторане гамбургского отеля, пируя, выпивая и слушая тосты. Время от времени в зал пускали детей. Помнится, мужчины курили очень много.

Та семейная встреча привлекла большое внимание общественности. Мне кажется, что гамбургцы считали ее довольно нелепой. В конце концов, мы жили в ганзейском городе, который с XIII века был известен своим буржуазным сословием и аристократия которого избегала кичиться титулами. Злые языки не замедлили посудачить насчет баронов, выставляющих себя напоказ. Позднее в Гамбурге распространилось присловье об «этих Эггерсах и их заносчивости».

Во всяком случае, в памяти осталось грандиозное торжество, модно одетые люди и в моей памяти, в частности, сцена с моей мамой среди родственников. В то время ей было тридцать семь лет, и, разумеется, она выглядела прекраснее всех присутствовавших женщин. У нее были красивые, точечные черты лица, темные волосы, в которых уже виднелись седые пряди, большие выразительные черные глаза. Она вы-

глядела среди родственников красивой и доброй, временами вступая в оживленный разговор, но большей частью слушая. Ее все любили, и я ужасно гордился ею.

Голос у мамы был тихий, но очень красивый и певучий. Когда ей казалось, что повседневные обязанности ее придавили, она пела свою любимую песню: «Уповай на Господа, душа моя, не падай духом; вверяй все Ему, Он придет к тебе на помощь...» Но она пела не только религиозные песни.

— Спой нам, мама, — просили мы, когда опускалась темнота и мы заканчивали домашнюю работу.

Ее не надо было долго упрашивать. В то время каждый, кто любил музыку, обеспечивал себя ею сам. Мама была музыкальной по природе. Пение являлось для нас одновременно отдыхом. Пели немецкие, диалектные, датские песни. Когда пела мама, мы молча слушали. И несколько часов спустя, лежа в постели, мы иногда мычали: «Маленький Оле со своим зонтиком...» (одна из датских песен).

Мама одинаково хорошо говорила на двух языках. Датский она выучила раньше немецкого, что неудивительно, учитывая ее происхождение как внучки датского советника. Но лишь спустя полвека я узнал, как глубоко в ней укоренилась датская природа. В 1935 году на смертном одре в берлинском Шлахтензее она стала что-то бормотать. Врач и медсестра клиники уставились друг на друга в недоумении. Она повторяла молитву по-датски.

В то время мне было почти шестьдесят. Всю жизнь я говорил со своей мамой по-немецки. Но память о датском доме оказалась сильнее привычки всей ее жизни. Ее последние слова говорили о том, что она снова вернулась туда, где родилась.

Глава 3

ТРИ ИМПЕРАТОРА В ОДИН ГОД

В возрасте от шести до девяти лет я посещал подготовительную школу при педагогическом колледже. Приходилось преодолевать долгий путь до школы, который не стал меньше, когда в девятилетнем возрасте я выдержал вступительные экзамены в классическую гимназию Йоханнеум, славившуюся по всей Германии. Она была основана в 1529 году, когда классическое образование в стране достигло зенита.

Вступительные экзамены в Йоханнеуме проходили в пост 1886 года, как раз после моего девятого дня рождения. Разумеется, родители отвели меня в это старинное здание в сопровождении брата Эдди, гордо демонстрирующего свою школьную кепку и переполненного добрыми советами. В большом вестибюле мы увидели других родителей со своими детьми. Все они выглядели очень серьезными и тихо перешептывались, словно присутствовали на похоронах или смертной казни.

Наконец вышел директор и повел нас — без родителей — в большое помещение, где нас экзаменовали в течение четырех часов по всевозможным темам. Поступление в Йоханнеум было непростой задачей.

Мой биограф доктор Франц Ройтер описывает итог моей сдачи экзаменов таким образом: «На экзамене по арифметике в шестой (самый младший) класс Шахт отличился в худшую сторону от всех претендентов на поступление в гимназию...» А Норберт Мюлен (о котором пойдет речь позже) в своей книге «Волшебник Шахт» пишет: «По арифметике он получил низкую отметку. Необычный случай для будущего корифея финансовых расчетов...»

К счастью, я поднялся над средним уровнем при сдаче других предметов, поэтому все равно поступил в гимназию.

Если бы позже я занялся правом или теологией, никто бы и не вспомнил об этом экзамене 1886 года. Но в нынешнем положении меня до сих пор попрекают им. «Банкир, который путается в цифрах, — говорят они. — Как это возможно?» В таких случаях я рассказываю анекдот о знаменитом математике, который был вынужден пользоваться логарифмической линейкой. «Девять разделить на три, господа, — говорил он, — это будет — секундочку — два, запятая, девять, девять, девять... Скажем, приблизительно три!» И несмотря на это, он действительно был исключительно хорошим математиком.

Несмотря на низкие оценки по математике, меня нельзя назвать совершенным неудачником в карьере банкира или председателя Имперского банка. Контроль и управление банком — это не то что бухгалтерская работа. Первая работа предполагает профессиональные знания совсем другого рода: знание психологии и экономики, здравый смысл, способность принимать решения, а больше всего — умение постигать сложности и природу кредита.

Когда в школе узнали мой адрес, я очень быстро понял, что богатые жители Гамбурга в районе Санкт-Паули не живут.

— АЙМСБЮТТЕЛЬСКОЕ ШОССЕ? Что это за район? — спрашивали мои одноклассники из более состоятельных семей.

Я не знал, как ответить, и тот факт, что наш адрес не соответствовал ожиданиям, вызывал во мне неловкое чувство. Хотя я входил в число отличников, это не избавляло меня от пренебрежительного отношения, и лишь после перехода в старшие классы мне удавалось производить на других какое-то впечатление.

Отец напрягал все силы, чтобы мы с Эдди учились в Йоханнеуме. Мы знали, что из-за нас он не ходил в театр, не пил вино и позволял себе лишь одну сигару в день, да и то самых дешевых сортов. Наша домашняя жизнь отличалась спартанской простотой. У нас, детей, не было карманных денег на развлечения, что же касается одежды, то она, конечно, не соответствовала последней моде.

— Тот, кто хочет чего-нибудь добиться в жизни, должен научиться пренебрегать неважными вещами, — говорил порой отец.

Вряд ли мы понимали в то время, как огорчала его эта сентенция. В конце концов, он мог бы легко следовать примеру своего собственного отца и особо не утруждать себя заботами о будущем сыновей.

Возможно, постоянный отказ от удовольствий и развлечений подействовал на его характер и ожесточил его. Если дело обстояло так, то он страдал от этого больше, чем мы. Во всяком случае, его никогда не покидала страсть к литературным беседам, разговорам о политике, торговле и технике. Как обычно, он беседовал с нами по вечерам и внимательно следил за нашими успехами в школе.

Для каждого мальчишки приходит время, когда он хочет носить брюки. У него ломается голос, он начинает быстро расти, и его длинные ноги смущают его. Где-то внутри его существует объект его обожания — идеальный образ молодого господина. И этот его герой носит модную прическу, облегающие брюки, иными словами, ведет себя как взрослый.

Так я начал приставать к родителям, говоря им, что являюсь одним из лучших учеников в классе, где другие мальчишки

уже постоянно ходят в брюках-дудочках! Настало время надеть брюки и младшему Шахту!

Первая пара брюк стала жестоким ударом по моему самолюбию. Отец пошел со мной в магазин одежды и после долгих поисков выбрал брюки из добротной, не имевшей сносу дешевой ткани. Вы знаете, что это за ткань? Да, это английское изделие, но, конечно, не самый лучший образец английской ткани. Она груба, ворсиста и похожа на войлок. «Гладких» мест на ней не предполагалось, пока они не появятся после носки на коленях или ягодицах.

Я надел брюки и отправился в школу. Результат оказался не тем, на который я рассчитывал. Одноклассники увидели меня и принялись хохотать — Шахт носит дешевые брюки!

Вся моя радость от обладания брюками улетучилась. С тем большим упорством я учил неправильные глаголы, сферическую тригонометрию и странствия Одиссея.

Возможно, мои учителя чувствовали это рвение. Они были великолепными наставниками. Вовсе не пустомели, но добросердечные человеческие существа.

В то время в Йоханнеуме работал человек, пользовавшийся большим уважением среди учителей и учеников. Это был профессор Герман Шуберт, примерно лет сорока, математик, уроженец Потсдама. В возрасте двадцати семи лет он был удостоен большой золотой медали датской Академии наук за работу «Характеристики пространственных кривых третьего измерения». Позднее он был редактором «Сборника Шуберта», серии публикаций учебников по математике и математической физике для студентов.

Шуберт был одним из последних математиков гуманитарного направления: следующее поколение математиков уже включало такие имена, как Планк и Эйнштейн, после которых универсальную концепцию гуманитарных математиков заменили практические математики, технические специалисты и ученые в области естественных наук.

Но мы, конечно, не могли предвидеть этого. Гимназия была автономным заведением. В центре внимания находились такие дисциплины, как иностранные языки, история, религия, литература. Математика, физика, химия, естественные науки составляли, так сказать, внешний круг обучения. Меня интересовали, главным образом, гуманитарные науки,

другие дисциплины — меньше. В этом направлении я и двигался, учась в старших классах, так же как и Эдди.

Но я не стремился выдвинуться. Такие замечания в моей школьной характеристике, как «сообразительный ученик, но не выше среднего уровня даже среди одноклассников», возможно, имеют отношение к тому случаю с брюками из дешевой ткани. Полагаю, мое уединение было реакцией на социальные различия.

Сыновья из семей «высшего сословия» состояли в закрытых яхт-клубах, разбросанных по берегам Альстера (приток Эльбы). У них были собственные лодки, они посещали танцевальные классы, носили с ранних лет модные сюртуки, а летом ездили с родителями в Швейцарию, Италию и Норвегию.

Другие гимназисты были далеки от такого рода образа жизни. Если нам было летом слишком жарко, то мы покупали за пять пфеннигов билет на пароход или нанимали за десять пфеннигов отдельную кабину с ванной в государственных банях. Это доставляло нам большое удовольствие и укрепляло здоровье, но все же отличалось от отдыха сверстников из высших слоев!

Социальный контраст более всего проявился во время моих выпускных экзаменов. В то время было принято, чтобы гимназист приходил на экзамен в сюртуке и сорочке, поэтому мне пришлось искать способ приобретения этих необходимых аксессуаров. Проблема разрешилась благодаря тому, что экзамены проводились два дня подряд. Я должен был сдавать их на второй день. Один сверстник моей комплекции сдавал в первый день. Когда он выдержал свое испытание, я облачился в его одежду и пришел на экзамены в свою очередь.

Не могу выразить то, до какой степени я обязан классическому гуманитарному образованию в Йоханнеуме. Оно позволило мне не только ознакомиться с основными событиями истории Древнего мира, эпохи Возрождения, классицизма и романтизма, но, сверх того, постигнуть дух и характер этих эпох. Оно наполнило мою жизнь чувством гармонии, подлинной терпимостью и способностью понимать события своего времени. Оно научило меня встречать успехи и неудачи с позиции здравого смысла, выработало во мне стойкость и непоколебимую веру.

По случаю празднования 400-летия основания Йоханнеума в 1929 году я смог выразить ему благодарность, учредив фонд, доход от которого позволял двум выпускникам провести некоторое время за границей. К сожалению, этот фонд стал жертвой инфляции.

Решающие годы моей жизни выпали на период между 1888 и 1892 годами, между одиннадцатым и пятнадцатым годами моей жизни.

В 1888 году в Германии правили три императора, один за другим. В октябре того же года Гамбург включили в Германский таможенный союз.

В 1892 году Гамбург поразила страшная эпидемия холеры — последняя эпидемия такого размаха в империи. Несколькими месяцами ранее мои родители переехали в Берлин.

До этого времени у меня не было реального представления о власти и значении императора Германии. Вильгельм I, седой патриарх, пребывал в Берлине. Я смутно помнил, что императора тяжело ранили в 1876 году, когда кто-то покушался на его жизнь, что его сын Фридрих взял на шесть месяцев бразды правления страной. Тот самый Фридрих воплощал надежды на расширение свобод средних классов. Вильгельм I и его канцлер Бисмарк, возможно, были выдающимися, мудрыми, но в то же время умеренными во внешней политике государственными деятелями. Какая польза от внешней политики, говорили многие немцы, когда оставались нерешенными внутренние проблемы?

Ожидалось, что преемник Вильгельма I предоставит средним классам большую долю в управлении страной, обеспечит более либеральный курс во внешней политике и заменит наследственные привилегии знати буржуазными учреждениями.

То, что эти ожидания не основывались на коренных различиях в мировоззрении, или «философии жизни», между населением и властями, несомненно. Возможно, в Германии вообще не возникло бы понятия «философия жизни», если бы история развивалась в ином направлении. Но неблагоприятные события «года трех императоров» повлекли за собой то, что распространилось на целое поколение. Германия шагнула из эпохи консерватизма прямо в эпоху социализма. Ли-

берализм, который Бисмарк однажды назвал «ранним посевом социализма», вовсе не выступал на политическую арену. Либеральный период последовал бы за достижением необходимого компромисса, как, например, в Англии. Новые политические тенденции развивались постепенно. Обнаружилось связующее звено между правящей аристократической династией и марксистскими массами.

Либералы надеялись, что все это постепенно уйдет во время правления кронпринца Фридриха, который неоднократно заявлял, что он прогрессивный мыслитель, готовый преодолеть узкий кругозор старого императора. Тридцать лет либерального развития избавили бы Германию от внутренней политической напряженности (в результате ускоренной индустриализации) и вывели бы из среды средних классов плеяду политических лидеров.

Именно в 1888 году я впервые услышал слово «рак». Говорили, что император Фридрих страдает раком горла, но мы не имели представления, чем это чревато.

Сегодня значение слова «рак» понимает каждый ребенок. Мне же помнится, что страшное, зловещее слово засело в моем мозгу на долгое время. Хотелось узнать, как выглядит «рак» в горле императора.

Год начался с публикации в газетах ежедневных бюллетеней, касающихся плохого состояния здоровья его величества императора Вильгельма. Взрослые мрачнели, когда читали эти бюллетени. Вильгельму был почти девяносто один год, когда он умер. Когда десятью годами раньше не удалось покушение анархиста Шиллинга, восьмидесятилетний правитель завоевал любовь нации. Его военное прошлое (заноза в теле для многих демократов) было забыто, так же как его меры против немецких революционеров 1848 года. Народ увидел его таким, каким он был на самом деле, — не гений, но патриарх на имперском троне, спокойный, мудрый старик, который хорошо знал, как реализовывать советы людей, которым он доверял. Когда он умер в марте 1888 года, был приспущен наш школьный флаг, его оплакивала вся страна. Трон отца унаследовал император Фридрих III. Мой отец возлагал на него большие надежды.

В то время я ничего не смыслил в политике. Все мне казалось идеально устроенным. Когда умер один император, его сменил другой. Очевидно, императоры никогда не вымрут.

Но я помнил разговор с отцом одним летним вечером в этом году. Как обычно, мы все сидели за столом. Небо за окном пылало яркими красками заката. Мы слышали, как мама на кухне звенит посудой, которую только что вымыла.

— Из Берлина плохие вести, — сказал вдруг отец Эдди и мне. — Рак горла императора ухудшается — говорят, болезнь неизлечима...

— Кто займет трон после него? — спросил я.

Отец воспользовался возможностью прочесть нам небольшую лекцию о законах престолонаследия Гогенцоллернов с переходом на законы престолонаследия европейских династий. Внезапно он замолк и выглянул из окна. Он явно забыл о том, что говорил мгновением раньше.

— Слишком поздно, — вдруг молвил он, — слишком поздно.

— Что поздно? — спросили мы.

— Слишком поздно взшел на трон император Фридрих, — сказал отец. — Старому императору было девяносто лет. Если бы он оставил трон пятнадцать лет назад... Тогда императору Фридриху было чуть больше сорока лет — самый подходящий возраст для правителя.

Через несколько дней снова были приспущены флаги: император Фридрих тоже скончался. В этом же году трон занял третий император — Вильгельм II.

Событие вызвало много откликов. «Три императора, — говорили оптимисты. — Подумать только, на что мы способны. Если нужно, мы можем произвести три императора в один год...» Пессимисты не считали, что этот роковой год является подтверждением германской мощи. Их реплики в основном были сродни замечанию моего отца.

На этот раз оснований для беспокойства за здоровье нового монарха не было. Правда, некоторые мои одноклассники заметили, что одна рука императора короче другой, но картины, которые теперь развесили во всех книжных магазинах, изображали его пропорционально сложенным, представительным молодым человеком, рыцарем без страха и упрека, с сияющими глазами и прекрасными темными усами. Он обладал типичным для Гогенцоллернов высоким, чуть покатым лбом, а на шее носил золотую цепочку с крестом и короной. Я рассмотрел его беспристрастным взглядом юноши и решил, что он выглядит лучше, чем его отец и дед. Об этом я сказал

отцу во время обеда. Тот поднял голову и окинул меня несколько насмешливым взглядом.

— Итак, он тебе нравится! — воскликнул отец. — Ну-ну. Он мог бы быть твоим старшим братом!

Это было преувеличением. Когда Вильгельм II взошел на трон, ему исполнилось двадцать девять лет. Только гораздо позже я понял, что двадцать девять лет слишком мало для такого ответственного поста, который был занят накануне вечером человеком с молодецкими усами.

Одним из начальных государственных актов молодого императора по восшествии на престол стала закладка первого камня в фундамент свободного порта, благодаря которому Гамбург был включен в Северогерманский таможенный союз.

Вплоть до 1888 года Гамбург оставался с точки зрения таможенных сборов зарубежной территорией. Это давало его жителям то преимущество, что все продовольствие из-за рубежа поступало в город по международным, дешевым, конкурентным ценам. Однако это вредило торговле, потому что трудно было мобилизовать покупательную способность Германской империи из-за тарифных барьеров. Огромная масса населения, занятая в коммерции, промышленности или транзитной торговле, не могла воспользоваться низкими ценами на продовольствие, если не могла заработать необходимые деньги посредством соответствующего уровня производства и продаж.

Разумеется, каждый, включая соседей Пруссии, использовал по мере возможности налоговые льготы. Небольшое количество товаров разрешалось ввозить беспошлинно из свободной зоны в рамках так называемой приграничной торговли, и граничившие с Пруссией города, такие как Алтона и Оттенсен, получали выгоду от этого. Когда бы мы, дети, ни посещали тетю в Оттенсене, нам приходилось идти вместе с соседскими детьми за покупками в ближайший бакалейный магазин Гамбурга. Затем, сделав покупки, мы гордо шествовали обратно через разграничительную линию к служащим таможни, показывая четверть фунта кофе, сахара, чая и прочего, что разрешалось пронести без пошлины. Мы не находили в этом ничего странного и не имели никакого представ-

ления о существовании столь широко обсуждаемой таможенной проблемы.

Дядя Видинг, однако, имел весьма четкое представление о ней. (Это был старый друг семьи, которого мы «приняли» как дядю.) Он хотел как-то жениться на девушке из семьи Эггерс — сестре моей мамы Антуанетте. Но та отвергла его предложение и вышла замуж за датского государственного советника Эрстеда, племянника знаменитого профессора физики. Дядя Видинг никогда особо не расстраивался. Простодушный и добрый, он согласился с ролью обожаемого дяди детей сестры своего кумира. Он часто навещал нас, проявлял живой интерес к нашим успехам в учебе и дарил нам яблоки и печенье, которые извлекал из кармана пальто, как только входил в дом. Он называл маму «малышкой» и вел длинные беседы с отцом. Их любимыми темами были литература и так называемое «благополучие города», местное выражение, использовавшееся в то время жителями Гамбурга для характеристики того, что мы, более умудренные, называем сейчас «городской политикой».

Дядя Видинг был владельцем магазина и имел дело с английскими чулками и трикотажем. Он отличался честностью, был хорошо образованным и душевным человеком, но также принадлежал к когорте тех весьма искушенных в логике лиц, которым трудно понять, что люди не всегда поступают согласно велению разума. Он состоял в либеральной партии. То есть присоединился к тем людям, которые достаточно сильны в теории, но на практике редко имеют много последователей, потому что массы воспринимают вещи не так, как они выглядят в теории, а так, как они действуют на них в реальности. Теоретически правильная вещь, однако, редко впечатляет. Впечатляющая вещь — крайность, экстравагантность. Она лежит за пределами логики, разума и обыкновенности.

Включение Гамбурга в Германский таможенный союз было первым важным политическим событием в моей жизни. Однако для дяди Видинга оно явилось финансовым ударом. Его английские чулки подорожали из-за пошлины. Им пришлось конкурировать с изделиями Саксонии. Тем не менее Видинг безгранично верил в свой британский трикотаж. Он считал трикотажные изделия из Хемница низкокачественной подделкой, но не мог помешать их улучшению с каждым годом и достижению ими в конце концов превосходства в ка-

честве и внешнем виде над английскими товарами. Бизнес Видинга неудержимо катился к разорению. Наконец он решил и уведомил клиентов, что магазин Юлиуса Видинга навсегда закрывается. Он не пожелал приноравливаться к новым методам ведения дела. С этих пор он перебивался своим доходом и принципами — скромное, но спокойное существование.

Мне посчастливилось занять удобное место во время церемонии закладки первого камня в строительство нового порта. Отец одного из моих сверстников был оптовым торговцем мясными изделиями и жил у дороги между внутренней бухтой и таможенной канала. С площадки над ступенчатым входом в дом открывался прекрасный вид на сцену действий. Магазин торговца постоянно посещали докеры. Каждый день после полудня, между четырьмя и пятью часами, мясник повязывал вокруг пояса чистый бело-голубой фартук, брал большой поднос с сосисками и нес его клиентам в магазине. Из гостиной мы видели и слышали, как он продает горячие сосиски и шутит на местном наречии с рабочими.

Это был романтический уголок старого Гамбурга, где сходились море и суша. Повсюду причалы, молы, швартовые тумбы, баржи, лодки, корпуса старых кораблей и маленьких колесных пароходов.

15 октября 1888 года император Вильгельм II должен был заложить знаменитый первый камень в угловую башню моста через Зандторкай. Можно представить себе возбуждение четвероклассника в связи со всеми приготовлениями к этому событию. Меня ни в малейшей степени не интересовали постоянные предостережения взрослых относительно гавани. Главным было то, что приезжает настоящий император и я увижу его совсем близко собственными глазами!

За несколько часов до церемонии жители Гамбурга потянулись в направлении Маттентвите и улочек Старого города, чтобы посмотреть, как проедет мимо германский император. Буржуа в темных костюмах вели за руку детей. За ними шли жены с зонтиками.

Наконец мы увидели почетных гостей во фраках и цилиндрах. Издалека слышались приветствия, цокот копыт по Маттентвите. Затем появилась карета с упряжкой из четырех лошадей, в которой сидел 29-летний император в парадной форме. Он кланялся с серьезным видом направо и налево.

Не помню содержания речей в этот полдень. Мое внимание поглотил император, стоящий перед мостом через Зандторкай, выпрямившийся и серьезный. Видимо, его удивили странные названия улиц и причудливый, грубый выговор немецкого языка, которым отличались представители местных властей. На меня произвели сильное впечатление его великолепный мундир и весь внешний вид.

Наконец ораторы стали выражать добрые пожелания. Они подчеркивали важность данного исторического события, не забыли почтить правящую династию, упомянуть старый ганзейский город и многое другое. Кто-то вручил императору молоток. Он взял его, поднял и трижды ударил по камням, которые мастера предварительно установили в башне на мосту.

Эти три удара сохранились в моей памяти на долгие годы. С момента, когда они прозвучали, Гамбург лишился своего права беспошлинной торговли и был включен в более крупный таможенный союз — через восемнадцать лет после войны с Францией, из которой выросла империя.

С этого дня я смотрел на мир другими глазами. Существует большая разница между слухами об императоре и непосредственным лицезрением его во плоти. Власть — пустое слово, пока не увидишь ее конкретное проявление. Таким проявлением был первый камень, заложенный в строительство свободного порта Гамбург. Неожиданно мне открылось значение слова «политика». Я понял, почему люди вроде дяди Видинга волновались, когда обсуждали политику. Я впервые прикоснулся к более широкому миру.

Чтобы понять последующее влияние на Гамбург этого торжества, достаточно лишь проследить историю одной-единственной судоходной компании.

Hamburg-Americanische Paketfahrt AG (для краткости HAPAG), основанной в 1847 году, пришлось уменьшить свой капитал в 1877 году с 22 миллионов 500 тысяч марок до 15 миллионов, перегрузив себя обязательствами в ходе конкуренции с Adler Line. В 1886 году, за два года до торжеств, связанных со свободным портом, пассажирскими перевозками занялся Альберт Баллин. Это был весьма способный человек, сын еврея, агента судоходной компании, занимавше-

гося заказами на рейсы для эмигрантов. Но даже сам Баллин не смог в одиночку восстановить могущество НАРАГ, которого компания достигла в течение предыдущих двадцати четырех лет.

В 1891 году были организованы еженедельные скоростные рейсы НАРАГ в Нью-Йорк и введены зимние круизы для туристов. В 1894 году введены в эксплуатацию крупные лайнеры ряда П (все названия этих судов начинались с буквы «П» — «Пруссия», «Персия», «Патриа», «Финикия» (по-немецки Phoenicia), «Палатия»). Эти пароходы строились для перевозки как грузов, так и пассажиров.

В период между 1897 и 1900 годами НАРАГ купила линии Гамбург—Калькутта и Гамбург—Кингсин, а также судоходную компанию De Freitas с бразильской линией. В 1900 году был сдан в эксплуатацию новый скоростной лайнер «Дойчланд», развивавший скорость 23,5 узла. К этому добавились в 1905 году грузовые и пассажирские суда класса «Императрица Августа Виктория» (водоизмещением 25 тысяч тонн).

В последние несколько лет перед Первой мировой войной сошли со стапелей один за другим три гиганта класса «Император»: сам «Император», «Фатерланд» и «Бисмарк», каждый водоизмещением более 50 тысяч регистровых тонн.

Число океанских судов одного этого типа возросло с 26 до 194 с ростом общего тоннажа с 71 тысячи до 1 миллиона 370 тысяч. С 500 тысяч кубических метров товаров ежегодные закупки теперь возросли до 8 миллионов 300 тысяч, и вместо 48 тысяч пассажиров в год лайнеры перевозили теперь в целом 463 тысячи. Десятикратный рост.

Я поддерживал знакомство с Альбертом Баллином, который был председателем НАРАГ, с 1899 года до конца Первой мировой войны. Через два года после краха Германии он покончил жизнь самоубийством.

Громадный прогресс и рост Гамбурга благодаря включению в рейх вскоре стали очевидны для всех. Внешняя торговля, промышленное развитие и самоуправление стали теперь триединым лозунгом, который превратил ганзейский город на северном берегу Эльбы во второй крупнейший город Германии и один из крупнейших портов мира.

Когда через четыре года фирма Eguitable решила перевести свой офис из ганзейского Гамбурга в имперскую столицу Берлин, мой отец тоже переехал туда.

Это открыло новую главу в нашей жизни. Отцу с матерью пришлось привыкать к совершенно новому образу жизни. Я же решил остаться в Йоханнеуме Гамбурга и с этой целью договориться о питании и проживании в семье одного врача в Веделе, в окрестностях Гамбурга.

Глава 4

ХОЛЕРА В ГАМБУРГЕ

Грузовой фургон с мебелью, кухонными принадлежностями и прочим двинулся с места. Его тащили дюжие першероны серо-стальной масти с забавными пучками волос на копытах и брюхе. Отец, мать и Олаф отбыли поездом Гамбург—Берлин. Брат Эдди изучал медицину в Киле и полностью предался анатомии, веселым компаниям и привлекательным блондинкам. Я остался в Веделе близ Гамбурга.

Каждое утро я ездил поездом в Гамбург — поездка на час с четвертью — и возвращался вечером. Из окон своего купе я видел великолепные виллы в Бланкензее, принадлежавшие разным судовладельцам, и белые паруса яхт, курсирующих по нижней Эльбе.

Эти живописные картины не вызывали у меня восторга из-за хозяйки дома, которую подыскиали для меня родители. Она была скрягой, мачехой двум дочерям одного несколько тучного врача, друга моего отца в студенческие годы, жена которого умерла несколько лет назад.

Когда родители переехали в Берлин, они взяли с собой старшую дочь врача, а я остался на попечении его семьи в Веделе, чтобы продолжать учебу в Йоханнеуме. В результате такого обмена отпрысками я подружился с «неродной сестрой», и эта дружба продолжается по сей день.

Врач мне не мешал. Это был добродушный человек, которому не было нужно ничего, кроме прогулок в своей двуколке, запряженной пони. Когда я был дома, он спрашивал:

— Яльмар, как насчет того, чтобы прокатиться?

Я всегда соглашался, и мы вдвоем объездили всю округу.

— Дома не очень весело, — вздыхал он, когда мы подъезжали к заманчиво выглядевшему трактиру. — Давай зайдем, выпьем пунша.

Мы выпивали одну или несколько чашек в зависимости от самочувствия и ехали дальше.

Жена врача не утруждала себя заботой обо мне, но я с этим смирился. Я уже учился в старших классах гимназии, преподаватели обращались ко мне в третьем лице, как было принято в Германии среди взрослых. В дополнение к обязательным латинскому и греческому языкам я выбрал иврит в качестве факультативной дисциплины. Я не знал, займусь ли когда-либо теологией, но изучение этой дисциплины явно было нелишним. Позднее мы часто повторяли шутливо, что иврит ни в коем случае не является лишним в банковской карьере.

Верно, что иногда условия жизни в доме врача казались мне невыносимыми. Но с другой стороны, в нем был магнит, который удерживал меня, — младшая дочь.

Она не была моей первой любовью. Я пережил это чувство еще в пятом классе гимназии. Моей первой любовью была кузина из Нижней Саксонии, которую я увидел в возрасте пятнадцати лет во время свадебного торжества. Она так мне понравилась, что через шесть месяцев я отправился пешком за пятьдесят километров, чтобы увидеть ее снова.

Дочь врача вызывала несколько иное чувство. Его можно было бы определить как платоническое. Я писал ей стихи, но скрывал свои чувства. Мои мысли разрывались между ней и велосипедом, который я надеялся купить на деньги, заработанные частными уроками. Но прежде чем я мог совладать со своими чувствами, ужасная эпидемия холеры в Гамбурге опрокинула все мои планы.

Десятью годами раньше Роберт Кох, которого Германия в то время чествовала как своего героя, обнаружил холерный вибрион.

Видеть изображение холерного вибриона в газетах и наблюдать, как целый город становится его жертвой, — большая разница. Тем летом никто в Гамбурге и подумать не мог, что обстановка в городе настолько ухудшится. Однако, очевидно, какой-то путешественник из Индии занес бациллу холеры, и она распространилась в городе. В вопросах санитарии Гамбург в то время сильно отставал. В то время Старый город был перенаселенным. Старые жилые здания, часто с одним-

двумя туалетами на нижнем этаже и неудовлетворительной дренажной системой — стоки часто попадали прямо в Эльбу без всякой канализации, — представляли идеальную возможность для эпидемии. Более 10 тысяч жителей Гамбурга стали жертвами неудовлетворительного, одностороннего администрирования властей, которые уделяли слишком много внимания бизнесу и слишком мало — коммунальным услугам. В период между огромным пожаром 1842 года и бомбардировками союзной авиацией 1943 года в городе не случилось такой же ужасной катастрофы.

Особенно пугало внезапное распространение эпидемии, подобное взрыву. Только вчера я ездил в город из Веделя, писал на греческом языке сочинение и вернулся после полудня в дом врача без малейшего представления о грозной опасности, которой в тот момент уже подверглись тысячи людей. На следующее утро я набил свой школьный ранец, натянул на голову голубую шапку и отправился по неровной мостовой к железнодорожной станции. Увидев меня, начальник станции сделал знак подойти ближе.

— Так, Шахт, полагаю, ты хочешь ехать в Гамбург?

— Да, — ответил я.

— Этого не нужно делать, — сказал он.

— Почему?

Начальник станции чуть подался вперед с помрачневшим выражением лица.

— В Гамбурге холера, — прошептал он. — Все школы закрыты до дальнейшего уведомления. Нам велели возвращать назад учащихся, едущих в город.

Я подобрал свой ранец и быстро вернулся домой.

— Что теперь делать? — спросил врача.

Он взглянул сначала на жену, потом на меня. Я понял намек. Пошел в свою комнату и собрал свои вещи в узел, не более объемистый, чем сумка гамбургского плотника. Затем спустился по лестнице, попрощался с семейством врача и сказал, что вернусь, когда откроют школы. Мой адрес: доктор Шахт, Фридрихштадт. Попросил их о любезности написать мне, если они услышат об открытии школы.

Вскоре я шагал в направлении Утерсена. Минуя Гамбург и холеру, я брел по сельской местности мимо тучных пастбищ и жалко выглядевших полей, мимо болот и холмов. Сознание того, что мне не придется посещать гимназию в течение не-

скольких недель, превалировало над страхом перед бедствием, постигшим город. Юность эгоистична.

По существу, это была ужасная беда. Больницы и срочно развернутые военные госпитали очень скоро переполнились умирающими людьми. В консультационные центры непрерывными потоками шли матери с детьми, дочери с отцами, мужья и жены с просьбами о помощи, которую не могли оказать власть имущие. Поражались болезнью жители целых улиц, где инфицированная вода проникала сквозь прохудившиеся трубы, в то время как на соседних улицах не заболел ни единый человек. Возможно, какие-то неизвестные переносчики беды были причиной того, что улицы и кварталы, до сих пор не затронутые эпидемией, вдруг становились новыми очагами болезни, распространявшейся, как лесной пожар. Мобилизовали и направили в город санитарные поезда со всей Германии. Молодые врачи со всего рейха устремились в Гамбург и с беспримерным мужеством отдались борьбе с азиатским злом. Свои услуги предложили медсестры из крупных благотворительных организаций. Многие из них заразились болезнью, немало умерло.

Эпидемия продолжалась три месяца. Понадобилось шесть недель, чтобы взять ситуацию под контроль и вновь открыть школы. Между тем 10 тысяч жителей Гамбурга умерли от холеры. В течение шести недель я проживал во Фридрихштадте у своего деда.

Я прибыл в Фридрихштадт-на-Эйдере поздним вечером. Это напоминало возвращение домой. Я уже дважды проживал у деда: один раз, когда мы еще жили в Хузуме, а второй — когда мне было двенадцать лет. Я знал, что в этот промежуток умерла моя бабушка, которая вызывала у меня обожание. Дед же еще был жив. Несмотря на свои семьдесят девять лет, он почти не изменился и сохранял активность.

— Ах, это ты, паренек, — единственное, что он вымолвил в знак приветствия.

Такая манера разговора была типичной для нашей семьи. Фризы — люди спокойные, полностью погруженные в реальную жизнь. Если родственник появлялся в доме, значит, у него были для этого основания. Не допускалось никаких длинных расспросов.

Экономка, готовившая для меня комнату, с подозрением оглядела небольшое количество нижнего белья, которое я привез. Я умылся и побежал вниз по лестнице к деду, который ждал меня за столом для ужина. Разумеется, я сразу же сообщил ему о холере. Он воспринял эту весть с огорчением. Ведь дед был врачом, и ему не надо было иметь богатое воображение, чтобы представить, чем стала эпидемия холеры для узких, грязных кварталов старого Гамбурга. Кроме того, он опасался, что страх перед болезнью доставит ему много дополнительной работы. И он был прав.

Город Фридрихштадт расположен всего лишь на три метра выше уровня моря. Король Дании Фредерик III позволил датским арминианам селиться здесь, когда те отреклись от учения Кальвина о предопределении. Позднее к ним присоединились последователи других церквей — реформаторы, меннониты, ремонстранты. Даже католики, преследовавшиеся в протестантских странах, нашли здесь убежище. Не могу забыть воскресные утра, когда воздух наполнялся звоном различных колоколов, звавших верующих на молитву. Не важно, насколько расходились проповеди в церквях, колокола говорили на одном языке и гармонировали друг с другом.

Гуманность Фредерика III хорошо окупилась. Фридрихштадт обязан арминианам своим датским обликом, который сохранился до сих пор: идеально прямые каналы с берегами, аккуратно выложенными камнями или торфом, небольшими мостиками, цветниками и оградами. Кроме того, город Фридрихштадт расположен посреди настоящих фризских болот.

Никогда я не ценил так свой северогерманский дом, как в эти шесть недель, проведенных на реке Эйдер.

Несмотря на преклонный возраст, дед оставался практикующим врачом церковного прихода. Годом раньше его назначили инспектором здравоохранения, но он не знал, что делать с этим званием. Что, вообще, значит «инспектор здравоохранения»? Для пациентов он до самой смерти в возрасте восьмидесяти пяти лет оставался врачом церковного прихода.

Юноша в шестнадцать лет смотрит на мир другими глазами. То, что я не понимал во время посещения этого дома четыре года назад, теперь ощущал вполне отчетливо. Это был мой настоящий дом, а дед был связующим звеном между прошлым и настоящим. Он родился в год Лейпцигской битвы, и перед его глазами прошел почти целый век. Благодаря своей

крепкой породе он, невзирая на возраст, продолжал лечить своих пациентов, а закончив трудовой день, облачался в грубый твидовый костюм и ходил целый час в роще, которая росла вокруг рынка, попыхивая своей длинной курительной трубкой и отвечая добродушным ворчанием на приветствия горожан. Мне кажется иногда, что я унаследовал свою силу духа от этого деда, хотя в моем случае прибавилась изрядная доза темперамента Эггерсов, отсутствовавшая у деда. Во всех своих делах он сохранял спокойствие и осмотрительность, никогда не волновался и не впадал в панику.

Я, конечно, помогал ему в его работе. Это было гораздо интереснее, чем сидеть на занятиях в Йоханнеуме и чертить графики тригонометрических функций. Кроме того, здесь было больше гуманизма.

Часть его обязанностей как приходского врача состояла в том, чтобы уберечь территорию устья Эйдера от проникновения лиц, которые могли в определенных обстоятельствах занести холеру из Гамбурга. Я уже не помню, какие меры он для этого принимал. Существенным фактором, однако, был его огромный опыт работы в медицине. Несмотря на то что он не мог действовать в соответствии с самыми современными методами санитарии, в его район тем не менее холера занесена не была.

Помню, как однажды в его кабинет вошел тяжелой поступью круглолицый и рыжеволосый скототорговец из Гамбурга. Его осмотрели и выдали справку об отсутствии болезни. Расслабившись, он глубоко вздохнул, склонился над письменным столом деда и доверительно пояснил, почему боялся этого визита.

— Понимаете, доктор, — сказал он, — я приехал сюда по делам.

Дед слегка прищурился.

— Прекрасно, занимайтесь своим делом, — напутствовал он скототорговца. — Но помните то, о чем я вас предупреждал. Заключать сделки с фермерами Эйдершtedта — нелегкое дело. Здесь побывали многие скототорговцы, но через некоторое время упаковывались и уезжали. Фермеры приобретали их личность, а они — горький опыт.

Во время прежних визитов я узнал от деда некоторые подробности нашей семейной истории. В этот раз мне показалось, что ему захочется рассказать что-то о районе и людях,

которые здесь поселились. На протяжении шести недель я получил все сведения о семье, которыми располагаю. Кроме того, дед интересовался моими успехами в учебе и спросил, чем я хочу заниматься. Я откровенно признался, что пока не знаю. Возможно, займусь медициной, как Эдди, может, найду что-нибудь еще.

Дед не стал расстраиваться.

— Мы, Шахты, созреваем поздно и потом долго живем, — сказал он. — Вскоре ты найдешь то, чего хочешь. Умному человеку нужно поразмыслить!

Меня очень манил большой книжный шкаф деда, где я обнаружил полное собрание пьес Геббеля. Некоторые из них мы изучали в гимназии. И неудивительно, ведь первая пьеса драматурга, «Юдифь», была написана в Гамбурге. Дед заметил, что я держу эту книгу в руках, взглянул через мое плечо и потыкал ее страницы длинным мундштуком своей трубки.

— Я хорошо знал его, — сказал он.

— Кого? Геббеля? — недоверчиво спросил я.

Он кивнул:

— Именно. Он был сыном каменщика из Вессельбурена — того, что между Бюсумом и Хайде. В то время я практиковался в фармакологии в аптеке Вессельбурена и случайно посетил его дом воскресным днем. Тогда и познакомился с ним. Бедняга писал церковные пьесы в Вессельбурене. Он очень хотел выучить латинский язык, чтобы читать римских писателей. Я почти год занимался с ним.

— Ты занимался с Геббелем латинским языком?

Дед снова кивнул.

— В то время его имя не упоминали так часто, — продолжил он, — и никто не предполагал, каким он станет в будущем. Бедняга был самолюбив и выражался высокопарно. Но умен, очень умен. Позднее писательница из Гамбурга, Амалия Шоппе, взяла его с собой, чтобы он занялся реальным делом. И он занялся, но не думаю, что почувствовал себя счастливым. Он был из тех людей, которые полагают, что все могут. Но это не так. Посмотри на нашу семью — понадобилось два поколения, чтобы я стал обычным семейным врачом. Так все происходит в этом мире. Но Геббель хотел получить все сразу. Он часто писал мне. Письма были очень высокопарными, как и он сам. Но очень, очень умный. И великий драматург...

Я никогда не думал, что мой старый, суховатый на вид дед мог быть тесно связанным с поэзией. Где те письма от Геббеля? Сохранил ли он их?

— Они где-то среди хлама на чердаке. Можешь поискать, если хочешь. Я не выбрасывал их.

Я взобрался на чердак и стал просматривать старые коробки и сундуки. Там должны быть связки писем с теперь уже выцветшими чернилами. Наконец я нашел то, что искал. Это были письма Фридриха Геббеля моему деду, написанные, когда он учился в Копенгагене. Они были ровесниками.

Письма великого драматурга глубоко тронули меня. Следует помнить, что, когда Геббель писал их, он был совершенно неизвестен публике, был молодым человеком, перед которым открывался большой мир, но без перспектив. Тем не менее его письма содержат высказывания, подобные следующему, которое стало моей путеводной звездой:

«Если нам нельзя быть вместе, если меня поглотили широчайшие круги, а ты вращаешься в узком кругу, я все-таки выражу верность и преданность своего существа в произведениях души и интеллекта. Ты же всегда будешь желанным гостем на этом пиршестве — возможно, не слишком для тебя обременительном, — тем более что ты видел дерево, когда оно было еще почкой, и обонял его резкий (хотя и чистейший) аромат».

Дед, должно быть, заметил мой особый интерес к письмам, а также к экземпляру *Dithmarehen Messenger*, опубликовавшей первые опыты пера Геббеля. Этот экземпляр я тоже разыскал на чердаке. Поэтому, когда я однажды получил письмо из Йоханнеума, уведомляющее о возобновлении занятий в гимназии, дед подарил мне все, что мне удалось найти на чердаке. Я поблагодарил его, упаковал свои вещи, простился и отправился назад в Гамбург. Старик остался стоять в дверях в своем твидовом пальто, держа в руке длинный мундштук своей трубки. Больше я его не видел. Через шесть лет он умер в своей постели. Трубка, еще не потухшая, выпала из его руки.

Я вернулся в Гамбург, где многие мужчины носили траурные повязки на руках, а женщины — черные вуали. В городе велись оживленные дискуссии. Сенат винили в том, что он проявил недостаточную заботу о благосостоянии горожан.

В доме врача в Веделе я увиделся с хорошенькой дочерью, тучным папой и сухопарой мачехой. Снова вернулся бедный рацион питания. Я с тоской вспоминал обильный стол деда, большие куски жареного мяса с хрустящей корочкой, горячие плоские лепешки на завтрак, морской язык, камбалу и палтуса, которых жарила в масле экономка.

Я возобновил посещение занятий и частные уроки. Наконец скопил достаточно, чтобы заказать велосипед. Он обошелся мне в 250 марок, огромную сумму на то время. Не так давно моя мама содержала дом на такую сумму более месяца. Но мир переживал экономический подъем, повсюду крутилось много денег. Прогресс был паролем, заработки увеличивались день ото дня. Менеджер велосипедного магазина записал в книге заказов: «Яльмар Шахт, студент, скопил деньги на велосипед частным репетиторством». Я не мог и вообразить, что фирма «Опель» однажды раскопает эту книгу и опубликует эту запись в целях рекламы. Но это произошло не раньше 1936 года...

Всякий любитель природы поймет, что значил велосипед для шестнадцатилетнего подростка. Я совершал поездки на большие расстояния в Нижнюю Саксонию и Мекленбург, вверх и вниз по Эльбе. Затем наступила зима. Теперь мой велосипед не мог облегчить тяжесть моего существования в доме врача в Веделе. Моя комната не отапливалась, в питании не хватало калорий. Мое раздражение нарастало из-за того, что каждое утро вода для умывания покрывалась толстым слоем льда. Поездки за город с врачом становились все более частыми, и многие из них сопровождались долгими посиделками в трактире и интересными разговорами за бокалами пышущего паром пунша.

Моя любовь к пуншу восходит к тому времени, и серая кобыла врача не меньше ценила передышки, которые давали ей наши посещения трактира. Если во время поездки врач пытался проехать мимо деревенского трактира, доброе животное не позволяло ему это сделать. Кобыла игнорировала поводья, останавливалась у входа в заведение, и нам ничего не оставалось, как войти внутрь и выпить порцию пунша. Врач был умным человеком, не лишенным интересных мыслей. Во время наших совместных поездок он всегда сохранял хорошее настроение.

— Какая разница между возвышенностью и болотами? — как-то спросил его я.

Он подмигнул:

— Скажу тебе, мой дорогой студент, вот что. Если я еду по Гетлингену и моя серая кобыла что-нибудь уронит, ни одна душа не обратит на это внимания. Но если это случится в Хольме, из домов с обеих сторон улицы выбегут фермеры с метлами и совками и будут кричать: «Это мой навоз!»

Зимними вечерами я исписывал страницы стихами, посвященными своей возлюбленной, дочери врача. Но тщетно. Бессердечная девушка отказывалась воспринимать меня всерьез и смеялась над моими поэмами. Однажды она, воспользовавшись случаем, заперла меня в одной из комнат. Это уже было слишком. У меня больше не было причин оставаться в этом доме. Я уведомил о своем уходе под предлогом того, что моя хозяйка дала мне для школьного завтрака бутерброд с коркой заплесневевшего сыра, и покинул дом. От своего знакомого я узнал, что часовщик с женой, проживавшие на улице Святого Георга, желают взять на проживание гимназиста.

Глава 5

ВСТРЕЧА С БИСМАРКОМ

Хотя теперь гимназистам старших классов приходится заниматься дифференциальным исчислением и органической химией, мне кажется, что нам, шестиклассникам, жилось не легче. В мое время школа вела специальный журнал, регистрирующий поведение старших подростков. Они были уже не маленькими и должны были вести себя как взрослые.

Серьезные, подтянутые, одетые в темные костюмы и белые шелковые шапки, мы ежедневно приходили в большое здание на улице Шпеерсорт. Но наша серьезность была порой обманчива. Это стало очевидным, когда нашего прежнего директора Гоша сменил новый человек, на которого, должно быть, оказали воздействие свежие влияния в консервативной педагогике. Новый директор, Шульте, был прекрасным педагогом, только чуть более энергичным, чем следует. Гимназистов старших классов, ранее воспитывавшихся под руководством Гоша, сильно раздражала его энергия, и они решили проучить его. Должна была состояться вечеринка в честь старшеклассников 1893 года, сдавших выпускные

экзамены. На этой вечеринке зачитали юмористическую газету *Bierzeitung*, специально подготовленную по случаю торжества. В газете Muly (прозвище выпускников гимназии, сдавших заключительные экзамены перед поступлением в университет) едко высмеяли гимназию и ее директора. Новый глава гимназии не принял сатиру и покинул вечеринку явно с глубокой обидой.

Лично мне нравилась учеба под руководством профессора Шультеса. У меня были многочисленные и разнообразные интересы в области отвлеченных наук, а также любовь к новейшей истории, географии, иностранным языкам и литературе. Шультес знал об этом. Он поощрял интерес гимназистов ко всему необычному. Бывало, задавая вопрос, не относящийся к данному предмету, он смотрел на меня сквозь очки и говорил: «Ну, Шахт, ты знаешь это!» Иногда я знал ответ, и тогда он удовлетворенно улыбался. Мы хорошо ладили друг с другом.

В эти годы я многое узнал также от дяди Видинга, которого часто навещал по воскресеньям. Мы прогуливались вдоль реки или выезжали на прогулку за город.

Юношей дядя Видинг — уроженец Гамбурга — участвовал в сражении под Идштедтом. Сегодня немногие знают об этой битве. Она решила исход распрей между Шлезвиг-Гольштейном и Данией. Прусский генерал Виллизен был разбит превосходящими силами датчан и был вынужден отступить. Все это происходило у небольшой деревушки Идштедт на большой дороге между Шлезвигом и Фленсбургом.

Дядя Видинг сражался на стороне проигравших. Но прежде чем битва была окончательно проиграна, он совершил то, что делали до него миллионы других: он убил датчанина.

Он воспринял этот трагический инцидент близко к сердцу. Дядя Видинг был гражданским человеком до мозга костей и не задумывался над тем, что может случиться, если он наденет военный мундир. Это случилось в битве под Идштедтом. Дядя сражался, как и другие, одержимые боевым ражем, отчаянно, целился и стрелял из ружья.

«Я увидел в прицеле датчанина. Видел, как моя пуля попала в него, видел, как он падает замертво. В тот же момент я осознал: ты убил человека, другое человеческое существо, созданное по образу и подобию Божьему, — по твоему подобию...»

Дядя Видинг никогда бы не убил человека по собственной воле. Он был спокойным, добродушным, всегда готовым прийти на помощь человеку и животному. Какого рода противоестественное смятение ума должно было произойти, чтобы заставить такого человека убить другого в пылу сражения? Что это было вообще за сражение?

Несмотря на меткий выстрел дяди Видинга, кампания была проиграна. Но даже после этой кровавой жертвы граница между Германией и Данией фактически не была установлена. Она постоянно передвигалась политиками и, возможно, будет передвинута даже в наше время.

Не думаю, что многие люди смотрят на международную историю так, как дядя Видинг. Несомненно, дядя Герман Эггерс, лейтенант, не испытывал никаких угрызений совести в отношении неприятелей, которых уничтожил в войне 1870 года. Люди стали принимать во внимание многие вещи — технический прогресс, международные рынки, чудовишной мощи флоты и огромные запасы сырья.

Со времени этих прогулок с дядей Видингом я, со своей стороны, отвергал мысль о том, что мировые проблемы можно решить при помощи насилия.

То время часто называют временем «потерянных поколений». Первым потерянным поколением нового времени были, без сомнения, либералы, которые лишились всех своих возможностей из-за событий рокового 1888 года. К числу этих либералов я отношу дядю Видинга.

На время моей учебы в шестом классе приходится еще одна встреча — на этот раз с человеком, который во всех отношениях являлся антиподом моего доброго дяди. Я вспоминаю о факельном шествии, устроенном в 1893 году старшеклассниками в честь почетного князя Отто фон Бисмарка.

Поскольку строительство свободного порта и таможенный союз с империей принесли Гамбургу большую выгоду, горожане питали искреннее и глубокое уважение к канцлеру, которое еще больше усилилось, когда Вильгельм II бестактно отправил Бисмарка в отставку в 1890 году.

1 апреля 1893 года Бисмарку исполнилось семьдесят семь лет. В течение почти пятидесяти лет он оставался гениальным политиком, какого с тех пор больше не было. Он создал империю, частью которой мы стали, — при помощи императора, который никогда его не подводил.

Ученики классов, которые должны были принять участие в церемонии, уже отправились после полудня пароходом в Фридрихсру. Каждого снабдили факелом на сосновой смоле. Когда наступили вечерние весенние сумерки, они сформировали колонну по четыре и приготовились идти маршем. В это время я был дежурным по классу и в качестве такового нес ответственность за прохождение своего отделения. Думаю, это был единственный случай в моей жизни, когда я имел полувоенное звание. Первоначально планировалось выдать старшим отделений магниевые факелы, но затем от этой идеи отказались, поскольку яркий белый свет этих факелов мог ослепить старого господина и испортить общее впечатление от шествия. Поэтому мне, помимо факела на сосновой смоле, пришлось нести неиспользуемый магниевый факел.

Наконец стало достаточно темно, и огромная процессия гимназистов, подобно гигантской змее, двинулась в направлении входных ворот Фридрихсру. Горели факелы, и колонна, похожая на многоножку, топала по гравию.

Я оглянулся назад и увидел лица одноклассников, окутанные дымом, подсвеченные мелькающими красными бликами от горящих сосновых факелов. Затем посмотрел вперед и увидел канцлера.

Он был одет в мундир хальберштадтских кирасиров и стоял прямо под аркой. Левая рука покоилась на эфесе сабли. Временами он поднимал правую руку в знак приветствия. Слева на его груди сиял Железный крест 1-го класса. Пуговицы его мундира отражали свет факелов, а темная ткань почти полностью растворялась в окружающей тьме.

«Железный канцлер», — произнес кто-то сзади, и я навсегда запомнил это определение. Он стоял, вытянувшись во весь рост, втиснутый в мундир, с глубокой бороздой между густыми бровями. Его асимметрично расположенные глаза под тяжелыми веками глядели на гимназистов зорко и строго.

В дальнейшем мне приходилось видеть много картин с его изображением, но ни одна из них не могла сравниться с той картиной, что врезалась мне в память.

От старика исходила невероятная серьезность, словно он предвидел, каким обременительным и темным будет будущее, как мало оснований связывать надежды с наступающим веком. Через несколько десятилетий, когда значение этой эпо-

хи прояснилось четче, я снова и снова вспоминал пронзительное, мрачное выражение зорких глаз канцлера. Что мог сказать нам его взгляд? Напомнить о долге, предостеречь, призвать к тому, чтобы мы не позволили безалаберно погубить его дело?

В тот же вечер я вернулся в Ведель из Бланкензее. Последний пригородный поезд ушел задолго до того, как мы вернулись в Гамбург, — мне предстояло еще топтать ногами полтора часа.

Я поплелся вдоль Эльбы, погрузившись в воспоминания. Они не были связаны с императором Вильгельмом II, который поразил меня своим внешним видом всего несколько лет назад. Не думал я и о веселом, добродушном дяде Видинге. Я не мог думать ни о ком другом, кроме как о князе Бисмарке.

На одно мгновение мне, старшему по отделению, показалось, что старик смотрел на меня одного, что мы с ним наедине. Только на мгновение. Затем я прошел мимо, и другие участники шествия глядели на князя, думая, без сомнения, что он смотрит лично на каждого из них.

Я отчаянно стремился что-то сделать, чтобы выразить свое восхищение канцлером. Внезапно ощутил твердый предмет в руке. Взглянул и увидел незажженный магниевый факел. Повинуясь импульсу, нащупал спички, зажег факел и поднял его высоко над головой, шагая вдоль высокого берега Эльбы.

Подо мной гудели сирены кораблей, мелькали зеленые и белые огни, лопасти били по воде, которая шипела и пенилась. Я шел своим путем, отдавая светом факела личную дань восхищения князем Отто фон Бисмарком, о чем он никогда не будет иметь ни малейшего представления.

Матросы на Эльбе подумали, вероятно, что выпустили какого-то лунатика, который намеревается дезорганизовать речное судоходство своим идиотским факелом. Ну и пусть так думают! Они и представить не могли, как воспламенилось сердце шестнадцатилетнего гимназиста обожанием старого полубога — действительно великого старика.

Через два года мой класс готовился к выпускным экзаменам. Поскольку администрация гимназии не желала никаких провалов, всех учеников, внушавших сомнения, предупредили о необходимости записаться на экзамены заблаговременно

в шестимесячный срок. Таким образом, все девятнадцать из нас сдали экзамены.

Как уже упоминалось, мы сдавали экзамены группами в течение двух дней. Кому удавалось сдать письменный экзамен, тот освобождался от устного. К счастью, так случилось с моим экзаменом по математике, который я успешно сдал в письменном виде, что доставило мне большое удовлетворение. Я был также освобожден от устного экзамена по ивриту.

Наконец наступил день, когда я оказался за стенами гимназии с аттестатом в руках. Я пошел в ближайшее отделение телеграфа и послал домой телеграмму: «**ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СДАЛ УСПЕШНО. ЯЛЬМАР**». Затем занялся упаковкой вещей и отсылкой коробок и чемоданов на станцию. Моя чудная чета часовщиков всплакнула и сердечно меня поздравила. Они сказали, что через несколько лет я обязательно буду зваться доктором наук. В этом, по их мнению, заключалась суть получения образования.

У меня не было никакого представления о том, что случится в ближайшие несколько лет. Мой классный учитель Фрич спросил меня за несколько дней до экзаменов, кем я собираюсь стать. Я ответил шутливо:

— Профессором, как вы, профессор.

Фрич понимал шутки. Он посмотрел на меня и покачал головой, улыбаясь:

— Не думаю, что ты стремишься к этому...

Он был прав. Я не стремился стать профессором. По-прежнему я не знал, кем хочу быть. Но я сдал экзамены и ехал поступать в университет. Уехав поездом в Берлин в вагоне четвертого класса, я был исполнен уверенности и оптимизма.

По прибытии отец несколько умерил мой энтузиазм. Он поздравил меня с успешным окончанием гимназии и добавил сухо:

— Тебе не нужно было посылать телеграмму. Открытки за два пфеннига было бы достаточно!

— Вильгельм, это же были выпускные экзамены, — напомнила мама.

Но отец думал по-другому.

— Вздор! Мне с самого начала было ясно, что сын сдаст экзамены. Не было нужды нестись к телеграфу так, словно рухнули небеса...

Глава 6 В УНИВЕРСИТЕТЕ

Приехав впервые в 1892 году в Берлин, мои родители арендовали дом в Шарлоттенбурге. В двух шагах от дома расстилалось поле, где щипали траву коровы. За пять пфеннигов здесь можно было купить стакан парного молока. Теперь место, которое прежде было обычной сельской местностью, занял Зоологический сад.

Отец, когда смог себе это позволить, купил небольшую виллу под Берлином, в Шлахтензее, которая уже давно вошла в черту города. Я еще помню флагшток перед домом со звездно-полосатым американским флагом. Отец приобрел американское гражданство, когда был в Нью-Йорке, и был настроен либерально, поэтому ему нравился флаг.

Здесь я провел пасхальные каникулы в 1895 году и обсуждал с родителями и Эдди, какую мне выбрать специальность. Маме хотелось, чтобы я стал теологом, но у меня не было склонности к этой профессии.

Эдди, студент-медик пятого курса университета, уговаривал меня последовать по его стопам. Я не был вполне уверен, что это действительно моя стезя, но решил попробовать пойти по ней.

В течение трех лет я жил в Гамбурге самостоятельно (вплоть до окончания гимназии), и у меня выработалась тяга к независимости. К этому имело некоторое отношение суровое воспитание в Йоханнеуме. Отец был очень доволен. Он положил мне скромное месячное денежное содержание и, в отличие от многих других отцов, не пытался вмешиваться в мои планы на будущее. Впоследствии также, когда я часто менял один факультет на другой и выбирал предметы, полярно противоположные друг другу, он неизменно проявлял глубокое понимание моих мотивов и позволял мне идти своим путем.

«Осматриваться и выбирать то, к чему тебя влечет, позиция правильная», — говорил он мне.

Поэтому, когда закончились пасхальные каникулы, я оседлал свой велосипед и отправился вместе с Эдди в Киль, где зарегистрировался в качестве студента-медика. Киль, столица земли Шлезвиг-Гольштейн, фактически был нашим родным университетом.

Родители оставались в Берлине с двумя младшими детьми. Олаф был неугомонным юнцом, немного упрямым и не всегда честным. Вильгельм, самый младший сын, был маминым любимчиком. Он был самым привлекательным и наиболее душевным из всех ее детей.

Моя университетская жизнь началась не так, как я ожидал. Эдди был беззаботным малым, весьма образованным и нечувствительным к «переживаниям» по поводу экзаменов, но крайне охочим до женщин. Время от времени одна из чаровниц заигрывала с ним, и он оказывался в трудном положении. Но это длилось недолго. Эдди шел по жизни легко.

Внешне мы были очень похожи, и Эдди пользовался этим. Когда, например, Эдди назначал свидания одновременно двум девушкам, то посылал меня на встречу с одной из них, а сам встречался с той, которую находил, видимо, более привлекательной.

Я изучал гистологию и остеологию (науки, изучающие ткани и кости) и начал знакомиться со строением человеческого тела. Но, как я ни старался, мне не удавалось выработать в себе интерес к этому предмету. Пока мы довольствовались в гистологической лаборатории помещением частиц ткани в парафин и разрезанием их на тончайшие слои, это я еще мог выносить. Когда же наступила пора исследовать приготовленные нами образцы под микроскопом и определять, имеем ли мы дело с продольной или поперечной системой, со слизистой оболочкой или подслизистой основой, я не выдержал. Как бы я ни исследовал образцы ткани, один казался мне таким же, как другой.

У меня появились другие увлечения. Проснулся прежний энтузиазм, который поддерживал меня еще в Веделе. Я начал писать стихи и, вкуче с изучением медицины, стал углубляться в историю литературы.

Все это звучит довольно нелепо. Но в первые годы учебы в университете я практиковался во многих дисциплинах, пока наконец не остановился на политической экономии. Мои шестимесячные семестры можно представить таким образом.

Лето 1895 года: Киль — медицина, немецкая филология, история литературы. Зима 1895/96 года: Берлин — немецкая филология, теория литературы, журналистика. Лето 1896 года:

Мюнхен — политическая экономия и немецкая филология. Зима 1896/97 года: Лейпциг — журналистика, политическая экономия. Лето 1897 года: Берлин — политическая экономия, риторика. Зима 1897/98 года: Париж, Франция, — социология. Лето 1898 года: Киль — политическая экономия. Зима 1898/99 года: Киль — политическая экономия. Лето 1899 года: Киль — подготовка к соисканию степени доктора политической экономии, доктора философии (магистра гуманитарных наук).

За четыре с половиной года я учился в пяти различных университетах. В течение первых семи семестров я менял университет каждый семестр (каждые шесть месяцев) и изучал дисциплины, почти не связанные друг с другом.

Я всегда завидовал тем молодым людям, которые из школы поступали прямо в университет, изучали полдюжины дисциплин и сдавали один или два экзамена с молниеносной быстротой. Однако обычно после такого убедительного проявления своих способностей они теряли энергию, исчерпывали себя. Удовлетворив свои амбиции, они довольствовались тем, что погружались в комфортное буржуазное существование. Они доказали, что отвечают требованиям нашей цивилизации. Мы узнаем о них потом лишь тогда, когда в газетах появляются посвященные им некрологи.

Знать, что хочешь, и уметь стремиться к своей цели необходимо даже при наличии многих возможностей, предоставляемых современным университетом в плане советов первоклассных специалистов, старых друзей и полезных связей. Всего этого мне недоставало. Я стоял один в большом холле и всматривался в объявления на черной доске: одни из них что-то значили для меня, другие не значили ничего. Мне потребовалось много времени, чтобы обнаружить факультет, аудиторию и профессора, которых я искал. Я не знал даже, что ищу, лишь нащупывал свой путь. Были ошибки и просчеты. На это ушло много времени, но оно не пропало зря.

Первый семестр был очень веселым. Один из моих друзей происходил из семьи винооторговца. Отец прислал ему бочонок мозельского. Мы взяли с собой бочонок, корзинку клубники, сахар, бокалы и отправились паромом в Хейкендорф на побережье Кильского залива. Там мы поплавали и приготовили замечательный клубничный пунш. Когда мы сели на последний пароход, отходивший из Хейкендорфа в 8 ча-

сов, ни один из нас не мог идти прямо. По какой-то непонятной причине я нес пустой бочонок вина под мышкой и старался его не уронить. Первое, что мы сделали по прибытии в Киль, — это довели до дома мертвецки пьяного компаньона. Я стоял с бочонком под мышкой, прислонившись к садовому забору. Внезапно откуда-то появилась ватага ребят, которые окружили меня и стали хохотать. Стоя у забора, я тоже стал смеяться и совершенно не понимал, над чем мы смеемся. Только на следующее утро хозяйка съемной квартиры просветила меня — оказывается, забор был только что выкрашен в ярко-зеленый цвет! Хозяйке пришлось сводить зеленые полосы с моего пиджака бензином, сопровождая свою работу крепкими выражениями!

Не менее памятной была другая поездка, которую совершили мы с Эдди где-то в конце первого месяца нашей учебы. Мы оба совершенно поиздержались и решили повидать нашего дядю Яльмара фон Эггерса, владевшего сахарным заводом в Нюкебинге на острове Фальстер. Мы поехали на велосипедах в Любек, сели на пароход, совершавший рейс на Фальстер, и там удобно устроились, имея при себе сумму денег, едва хватавшую на проездные билеты.

Однако рейс продолжался всю ночь, и мы проголодались. Эдди пошел на разведку в направлении салона и вернулся с вестью о том, что за разумную цену можно было купить знаменитый датский шмеребрэд (бутерброд).

— Но у нас деньги только на проезд, — возразил я.

Эдди пожал плечами.

— Давай все-таки поедим, — сказал он беспечно. — Капитан наверняка знает дядю Яльмара, он подождет с оплатой, пока мы доедем до Фальстера.

В конце концов, это звучало достаточно разумно, капитан не мог просто выбросить нас за борт.

Мы прошли в салон, ели шмеребрэды и пили пиво. В конце концов мы наелись и наши кошельки опустели. Мы пошли к капитану, представились как племянники герра фон Эггерса и заверили его, что дядя Яльмар оплатит стоимость проезда. Капитан, знавший дядю, не возражал.

По прибытии мы обнаружили, что дядя Яльмар собирается на скачки. Он пригласил нас сопровождать его, и мы с удовольствием приняли приглашение. К несчастью, о капитане, ожидавшем оплаты нами своего долга, мы забыли.

Когда дядя Яльмар узнал о том, что мы сделали, то весьма расстроился. Он передал капитану плату за нашу поездку на Фальстер, дал нам ровно столько денег, сколько хватило на обратный проезд в Киль, и холодно с нами попрощался.

В лучах утреннего солнца мы стояли и безмолвно смотрели друг на друга. Затем зашагали к гавани, сели на пароход и вернулись в Киль, весьма обескураженные холодным приемом дяди.

— Я полагал, что наш аристократический родственник примет нас теплее, — глухо молвил Эдди.

— Если бы ты не трескал все эти бутерброды и пиво, дядя отнесся бы к нам дружелюбнее, — заметил я. — Но не начинать же по прибытии выпрашивать деньги — это выглядело бы неприлично.

— Ладно, не стоит сокрушаться, — проворчал Эдди. — Эти бутерброды и пиво составили лучшую часть нашей поездки.

Сказать по правде, он был недалеко от истины!

В июле 1895 года в Киле произошло событие, едва ли менее памятное, чем закладка первого камня в строительство нового порта в Гамбурге. Речь идет об открытии канала Балтика — Северное море имени не менее авторитетной персоны, чем Вильгельм II. Его назвали каналом кайзера Вильгельма в честь деда императора, который, перед тем как умер годом раньше, санкционировал строительство шлюза в Киль-Холтенау. Отсюда канал пересекает всю страну, заканчиваясь в Брунсбюттельгог на Эльбе.

На открытии присутствовали военные корабли десятков стран. Германский флот был при полном параде, экипажи кораблей в парадной форме. Весь Киль пламенел флагами. По бухте сновали катера с именитыми гостями на борту, одетыми в морскую, с золотыми аксельбантами форму, на пирсе выстроился почетный караул из военных моряков. Германия, озаботившаяся в последние годы строительством военноморского флота, праздновала в Киле событие, имевшее далеко идущие политические последствия. Для самих немцев открытие канала означало прежде всего то, что отныне Киль был непосредственно связан с эскадрами кораблей, которые действовали в оперативном треугольнике Северного моря. Немецким судам больше не нужно было пробираться через

Скагеррак и Каттегат. Они больше не зависели от благожелательного нейтралитета Скандинавских стран. Порт Киль стал, таким образом, второй базой германского военно-морского флота.

Новый канал имел также огромное торгово-политическое значение. В 1913 году, через восемнадцать лет после открытия, в последнем мирном году, за двенадцать месяцев через канал имени кайзера Вильгельма прошли грузы весом в 10 миллионов чистых регистровых тонн. В 1929 году их общий вес составил более 21 миллиона тонн. В том же году (1929) общий вес грузов, прошедших через Панамский канал, составлял в среднем 30 миллионов тонн, а через Суэцкий канал — 28 миллионов тонн. Канал имени кайзера Вильгельма отставал от них, таким образом, не слишком сильно...

Естественно, мы бродили всю неделю вокруг бухты, удивляясь необычному виду иностранных моряков, стараясь определить, каким странам принадлежат различные военно-морские флаги, пытаясь разгадать с растущим любопытством странные сигналы, подаваемые зарубежными кораблями, днем — сигнальными флажками, ночью — сигнальными лампами по азбуке Морзе. Это были славные мирные годы. О войне никто не думал. Мы спотыкались о железные заклепки на корабельной палубе и слушали разъяснения наших гидов (которые, подозреваю, пичкали нас всякой ерундой, сохраняя серьезные лица). Мы с изумлением глазели на стволы орудий большого калибра, торчавшие из громоздких башен новых дредноутов. Но мы не предполагали ни на мгновение, что они будут использоваться всерьез. Сама мысль об этом казалась нелепой. Мир быстро развивался. Каждый год был свидетелем нашего продвижения на шаг вперед. Уже использовались двигатели внутреннего сгорания, первые лампы накаливания. Люди вели разговоры о дирижаблях — воздушных судах, появление которых предсказывал мой отец при свете парафиновой лампы в нашем гамбургском доме. Казалось, мир был озабочен исключительно производством чудесных вещей, которые изобретались год за годом технической и научной мыслью.

Но мыслей о войне не было...

Тем же летом я пустился в далекую велосипедную поездку в Ютландию и посетил сестру моей матери — ту самую, которая когда-то отказалась выйти замуж за дядю

Видинга. Тетя Тони вышла замуж за датчанина по фамилии Эрстедт, государственного советника и городского главу. На обратном пути я проехал по всем тем местам, где жили и отражали набеги с Северного моря мои крестьянские предки Шахты.

Надо сказать, что это была не праздная прогулка. По пути я принял решение относительно своих планов на будущее. По возвращении в Киль попросился с медициной, изучил список лекций и стал посещать курсы по общей истории литературы. Чтобы заняться делом в оставшиеся дни этого лета, я извлек письма, которые имел при себе с того времени, как был гостем деда во Фридрихштадте, — переписку между Геббелем и будущим врачом Шахтом.

Я просмотрел все эти бесценные бумаги и упорядочил их, написал соответствующий комментарий и послал в *Magazin für Literature* — в то время ведущее издание, — который вскоре опубликовал мою работу.

Подлинные письма Геббеля получили широкое распространение и нашли свое место в архиве Гете—Шиллера в Веймаре. Работа для журнала пробудила во мне энтузиазм. Разумеется, не приходилось ожидать, что я буду публиковать письма знаменитого немецкого поэта каждый день. Но я увлекся этой работой настолько, что на некоторое время погрузился в нее целиком.

В конце своего первого семестра я вернулся в Берлин и прослушал полный курс лекций по немецкой филологии.

В то же время я вступил в студенческое литературное общество — Литературно-академический союз. Пока общество не перессорилось, оно было очень интересным. Его членами были доктор Франц Ульштейн, а также Артур Дикс, будущий редактор *National Zeitung*.

Дикс воодушевил меня на следование еще одной стезе. Это случилось в мой третий семестр, когда я проживал в Мюнхене. Он предложил мне посещать лекции по политической экономии известного экономиста Луиджи Брентано. Я последовал совету и нашел лекции настолько увлекательными, что немедленно бросил немецкую филологию и посвятил себя исключительно политической экономии.

В то время на политическую экономию смотрели как на вспомогательную дисциплину. «Все глупцы и неудачники зачинаются экономикой», — считали адвокаты, теологи, ме-

дики и филологи, исконные обитатели своей альма-матер, и они подразумевали под этим политическую экономию.

Из Мюнхена я уехал на один семестр в Лейпциг к профессору Карлу Бюхеру изучать журналистику — профессию, которая привлекала мое внимание некоторое время и о которой писал профессор Бюхер (бывший редактор *Frankfurter Zeitung*).

Сейчас в таком увлечении нет ничего необычного. Но в годы моей учебы газеты рассматривались еще как неизбежное зло, а журналист, по словам Бисмарка, как «человек, который не угадал свое призвание».

К сожалению, вскоре выяснилось, что Карл Бюхер придавал значение только тем студентам, которые хотели добиваться докторской степени и были готовы посвятить учебе под его руководством несколько семестров. Поскольку это не отвечало моим интересам, я вернулся в Берлин. Но я не порвал активные контакты с прессой из-за этого. За год до приезда в Лейпциг я уже испытывал сильное желание заняться журналистикой. Как делается газета? Что это за люди, которые день за днем добывают и препарируют информацию, заполняющую страницы утренних газет?

Во время моего второго семестра мне пришла в голову мысль, что надо быть идиотом, чтобы писать в газету, не владея практическими знаниями о том, как она создается. Я обсудил эту мысль с отцом, который проявил к ней большой интерес. В конце концов, он назвал меня по имени одного из самых знаменитых газетчиков Соединенных Штатов. Да и сам был журналистом.

— Что ты имеешь в виду, когда говоришь о практической работе в газете? — спросил отец.

— Хотелось бы поработать хотя бы несколько месяцев в редакции газеты, — ответил я.

Отец задумался.

— Я поговорю с доктором Лейпцигером, — сказал он. — Лейпцигер возглавляет газету *Kleines Journal* — понятно, что это не ведущее издание! Все-таки мы вели с ним совместное дело. Посмотрю, что можно сделать, если ты действительно хочешь работать в газете.

Это происходило в январе 1896 года, когда мне было только девятнадцать лет. По пути на работу на следующий день отец зашел к герру Лейпцигеру и сообщил ему о моем жела-

нии. Герр Лейпцигер, весьма уважавший отца, сказал, что я могу выходить на работу в редакцию 1 февраля в качестве «неоплачиваемого помощника».

— Скажи ему — в качестве неоплачиваемого помощника, — напомнил Лейпцигер. — Мы на студентов особого внимания не обращаем...

Глава 7

НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ПОМОЩНИК

KLEINES JOURNAL

— Вы раньше что-нибудь писали? — поинтересовался глава отдела новостей герр Фюрстенхайм, когда я появился в редакции утром 1 февраля. Он говорил громким, саркастичным и несколько снисходительным голосом.

Меня словно обожгли крапивой. Писал ли я раньше что-нибудь — конечно, писал! Целые тома!

— Что именно? — коротко спросил Фюрстенхайм.

— Поэмы, — ответил я.

У меня были даже опубликованные поэмы — если быть точным, то одна. И чтобы напечатать эти вирши в *Weiner Dichterheim*, мне пришлось заплатить пять марок. *Weiner Dichterheim* существовал за счет поэтов, которые платили за публикацию своих стихов.

— Ах! Поэзия! — воскликнул Фюрстенхайм. Он пошарил в немаленькой кипе бумаг на столе, вытащил чистый листок бумаги и сказал: — Ступайте на строительство Видендаммского моста. Оно наполовину закончено. Напишите корреспонденцию в двенадцать строк — понимаете? Не больше.

Ничего не может быть проще, подумал я, взял листок и отправился к мосту.

Я мог написать тысячу строк об этом великолепном мосте. Мог описать чаек, любующихся собственным отражением на мутной поверхности Шпрее, румяных детишек, стоящих на берегу и глазющих на строителей моста, самих строителей с их инструментами. Но ведь герр Фюрстенхайм не просил ни двух тысяч, ни даже двух сотен строк — нет, ему нужны были всего двенадцать строк.

Поспешил в редакцию и стал думать, как написать эти двенадцать строк. Вычеркивал одно предложение здесь,

другое — там. Вдруг в кабинет ворвался редактор и громко спросил:

— Герр Шахт, где ваши двенадцать строк? Неужели вы полагаете, что берлинцы будут дожидаться газеты до завтрашнего утра только потому, что вы здесь сидите и пишете стихи?

Он заметил исписанные листы бумаги и выдернул их из-под моей руки.

— Погодите, стойте! — воскликнул я. — Моя корреспонденция еще не закончена.

— Нет времени! — бросил он через плечо и поспешил выйти из кабинета, помахивая моими страницами, словно захваченными у противника знаменами. — Верстка не может ждать.

Я последовал за ним и оглядел наборный цех. Там повсюду стояли люди с отрезками странно выглядевшего рифленого железа, в которые они бросали проворными пальцами буквы. Буквы они брали из небольших коробок, стоящих на столе. Наборщики, кажется, даже не обращали внимания на то, что делают. Их пальцы бегали между коробками и наборной рамой — один-два пробела между буквами, и они уже вытягивали ряды шрифта из рамы и помещали их на большую металлическую наборную доску, где были уже уложены другие ряды. Из соседнего помещения доносился приглушенный грохот линотипных машин.

Завороженный этим зрелищем, я совсем забыл про свою корреспонденцию. У меня из рук вырвали полуготовый экземпляр. Где он? Я огляделся и увидел человека, который бежал с моими листками. В тот же момент он увидел меня, подмигнул, слегка кивнул и принялся снова за ручную верстку. Затем этот человек взял со стола одну из наборных досок, закрепленную угольниками, и перенес ее на низкую подставку. Здесь на нее нанесли валиком типографскую краску, сверху положили лист бумаги и с нажимом провели поверх него щеткой. Когда сотрудник типографии отрывал этот лист от доски, раздавался странный шипящий звук.

— Гм! — произнес Фюрстенхайм и соскреб что-то зеленое с полей страницы, оставленное щеткой. — Совсем неплохо для начинающего — очень милая заметка.

Я заглянул через его плечо и увидел свою заметку о Видендаммском мосте. Лицо мое вспыхнуло. В ней не было

ни одного моего слова. Редактор написал ее сам, бегло прочитав мои записи. И пришлось признать, что написал очень хорошо.

— Расквитаешься кружкой пива, — шепнул мне верстальщик. — Потом, когда уйдет начальник!

Я кивнул в знак согласия и быстро огляделся. Показалось, что все наборщики и верстальщики тихо посмеиваются. Один лишь герр Фюрстенхайм не обращал никакого внимания на то, что происходило.

Во время работы неоплачиваемым помощником в Берлине я многому удивлялся, когда узнавал, как делается газета. Это была поучительная практика, весьма отличная от той, какую я себе воображал. Все, что относилось к изданию *Kleines Journal*, выглядело для меня сначала происходящим стихийно: каким-то образом это собиралось и комбинировалось в соответствии со схемами, которые казались мне совершенно бессмысленными. Понадобилось немало времени для осознания того, что газета рождается не стихийно, но, наоборот, в соответствии с ясным представлением редакторов того, что они хотят.

Газету возглавлял Лейпцигер, крепкий старик Лейпцигер, который по праздничным дням красовался с орденом Красного орла 4-й степени в петлице. Полагают, что газета, которой он руководил, придерживалась радикального направления. Но нет — Лейпцигер был монархистом и не позволил бы клевету на своего обожаемого Гогенцоллерна. Он не допускал критики дворцовой жизни. На страницах его газеты никогда не появлялось сплетен, враждебных двору. Орден Красного орла на ленте, возможно, был получен именно за это, потому что герр Лейпцигер гордился им так же, как французский министр гордился бы орденом Почетного легиона. Монархи, в конце концов, были неглупыми людьми!

Поскольку двор был выше сплетен, не было никаких ограничений для выражения Лейпцигером своего восторга. Содержание газеты представляло собой смесь общественных скандалов и американской «желтой прессы» — вещь того сорта, которую в наше время презрительно называют халтурой. Тираж был небольшим: газета печаталась в типографии Бюхсенштейна и редактировалась на Фридрихштрассе в доме, расположенном рядом с театром «Аполлон», где мы собирались каждый день со свежими силами.

По поручению Фюрстенхайма я каждый день выходил на улицы Берлина и за пределы города и возвращался с небольшими заметками. Я ходил в общества защиты животных, пивные бары, на ежегодные собрания арендаторов и гильдий парикмахеров, представления варьете и цирка. Не всегда легко следовать журналистской музе, когда привык к несколько высокому, серьезному стилю университета. Иногда мне удавалось взять верный тон. Тогда Фюрстенхайм был доволен и хвалил меня. Чаще, однако, я готовил заметки, которые выходили за рамки стандартов газеты.

— Слишком напыщенно, — говорил Фюрстенхайм на своем берлинском диалекте. — Вам нужно учиться писать простым языком, герр Шахт.

Или:

— Кого, по-вашему, заинтересует этот вздор, герр Шахт? Неужели на танцах не случилось чего-нибудь еще?

— Председатель произнес речь, — сказал я снисходительно.

— Ну, и она была неинтересна?

— Фактически, герр Фюрстенхайм, не думаю, чтобы она могла заинтересовать кого-нибудь.

Он скосил на меня глаза, мигая, как сова при дневном свете. В его голосе появились саркастические нотки.

— Вот как! Вы не можете говорить обо всем на свете, но должны говорить о частностях, герр Шахт, или вы никогда не станете журналистом. Читателей не интересует ваше мнение, но есть то, что они любят в газете. Вот об этом вам и придется писать.

Лучшего совета мне не давали. Каждый — включая меня — ожидает увидеть в газете публикации, которые ему интересно читать.

Через несколько месяцев практики в газете редактор отдела фельетонов дал мне задание написать рецензию на одну театральную пьесу. Мне причиталось три марки «командировочных» и бесплатный билет. Так я бесплатно попал в театр, и, поскольку в студенческую пору я не пропускал ни одного спектакля, задание редактора пришлось мне по душе. В это время в театрах Берлина играли два выдающихся актера — Отто Брам и чуть позже Макс Рейнхардт. Разумеется, в Литературно-академическом союзе мы обсуждали театральную жизнь ночи напролет. Новаторское сценическое мастерство Рейнхардта вошло в историю, искусство же Брама из-

вестно лишь посвященным. Благодаря этим двум актерам Берлин выдвинулся на передовые позиции и прославился своим театром среди других городов Европы. Своим новым реалистичным стилем Берлин превзошел напыщенную манеру игры венской школы Бургтеатра.

В то время в Берлинском театре блистали такие актеры и актрисы, как Матковски, Кайнц, Агнес Сорма, театральные критики масштаба Теодора Фонтэна и Пауля Шлентера, драматурги уровня Хауптманна и Судермана.

Не менее ярко выступали представители легкого жанра в театральном искусстве. Ставились новые оперетты по образцам французских водевилей или английских музыкальных комедий. Это были постановки Пауля Линке в театре «Аполлон» и Виктора Холлендера в «Метрополе». В боковых улочках и других местах, там, где слышны берлинский диалект и идиш, играли непритязательные еврейские комедии. Демонстрировали свое искусство и юмористы типа Бендикса, короля клоунов, и знаменитого Томаса, чьи каламбуры вызывали массовый восторг горожан, вышедших развлечься. Весь день Берлин хохотал над этими шутками — на следующий день его потчевали свежей порцией юмора. И весь город напевал мелодии Линке и Холлендера.

Многое из того, что я узнал, будучи неоплачиваемым помощником в Берлине, позднее весьма пригодилось мне.

Разумеется, я жаждал, чтобы мой материал поместили когда-нибудь на первой странице газеты. Истинный журналист упорно и неотступно гоняется за тем, что американцы называют сегодня сенсацией. Мне выпал шанс найти ее, когда я почти закончил свою практику.

К этому времени я уже понял, что моя работа сводится в первую очередь к тому, что французы называют мизансценой, — к постановке. Журналист может «осуществить постановку сцены» любого события таким образом, чтобы создать атмосферу сенсационности.

Одна конкурирующая газета опубликовала короткую заметку о трагическом случае на государственном заводе в Шпандау. Фюрстенхайм ознакомился с ней и отправил помощника Шахта в Шпандау написать авторский материал для газеты. Я приехал туда поездом, просадил свои «командировочные» на первоклассный обед в ресторане по соседству с заводом, а затем приступил к сбору данных. Он прошел весь-

ма успешно. У меня не возникло трудностей в получении полной информации. Потом я снова сел на поезд и вернулся в Берлин.

В редакции было тихо. Редакторы отправились домой, наборщики занимались набором шрифта для первой страницы газеты. Я воспользовался шансом. В этот раз я был умнее, чем тогда, когда принес первую заметку о Видендаммском мосте. Я сел за стол, сказал верстальщику оставить место на первой странице и начал писать. Время от времени приходил работник типографии, брал у меня законченную страницу и спешил с ней в наборную комнату. К моменту окончания работы я понял, что написал великолепную заметку.

На следующее утро, когда берлинцы открыли *Kleines Journal*, то первое, что им попало на глаза, был крупный заголовок на первой странице:

УЖАСНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В ШПАНДАУ!

Под ним рассказывалось о роковом случае, происшедшем на заводе в Шпандау, — о событии, которое можно было не заметить в шести строках под рубрикой «Местные новости».

В тот вечер мне пришлось угощать пивом отдел подготовки передовиц. Я был произведен из помощника в журналиста, работающего по найму. Вскоре я оставил практику в *Kleines Journal* и уехал в Мюнхен. Годом позже вернулся в Берлин учиться риторике под руководством профессора Дессуа. С тех пор я больше не занимался активно журналистикой.

Через несколько лет, закончив обстоятельное исследование выпусков некоторых газет, я написал очерк о прессе в *Conrad's Yearbooks*. Этот материал под заголовком «Статистика немецкой прессы» с тех пор часто цитировали. Кроме того, я воспользовался приобретенными знаниями для подготовки нескольких статей по истории печати, частично опубликованных в *Grenz bote*. В то время он пользовался солидной репутацией. Остальные статьи напечатали другие периодические издания.

Я никогда не сожалел о тех днях. Наоборот, был рад тому, что в подходящий момент осваивал важную сферу общественной жизни. И немало гордился тем, что сделал это, так сказать, по собственному побуждению.

Глава 8

ПАРИЖ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Герр Дессуа, профессор риторики, знал, как готовить публичных ораторов. Впервые придя к нему, я ничего не смыслил в ораторском искусстве. Конечно, мне приходилось слушать ораторов, например учителей в Йоханнеуме, профессоров, кандидатов от политических партий. Как мне казалось, они говорили все, что им приходило на ум в данный момент. Дессуа дал нам понять, что публичная речь — это искусство.

Он начал с посвящения нас в тайны логической речи, предостерегал против таких выражений, как «дряхлый старик», «темная, черная, как уголь, лошадь», которые могли возбудить неожиданный смех. И после снабжения своих подающих надежды ораторов солидной теоретической базой он давал нам возможность выступить перед остальными студентами, а в ходе этих выступлений часто перебивал нас, делая своим мягким, интеллигентным голосом такие замечания:

— Ваши слова должны скользить шелковой нитью. Сейчас ваша речь звучит так, словно скребется медная проволока.

Профессору Дессуа удавалось привить своим студентам красноречие, умение использовать в нужный момент соответствующий образ, способность прибегать, если необходимо, к недосказанности с тем, чтобы слушатели сами постигли дальнейший смысл высказывания.

У меня никогда не было желания прибегать к тому, что называют «цветистым языком». Фризы — народ остроумный. Они получают большое удовлетворение от острых словесных состязаний — даже тогда, когда те протекают в спокойной манере. Меня никогда не покидало желание участвовать в дебатах и дискуссиях, требующих порой быстрого находчивого ответа. Мои друзья часто повторяли, что, если кто-либо хочет оказать мне добрую услугу, он должен энергично меня оспаривать.

Зиму 1897/98 года я провел в Париже. Формально я числился в Берлинском университете. Но мне хотелось выучить французский язык, и я чувствовал, что самый быстрый способ это сделать заключается в поездке во Францию. Поэтому я обеспечил себя деньгами, отправился на вокзал Анхальт в Берлине и сел на поезд, шедший в Кельн.

Как изменились времена! В то время единственный вопрос, стоявший перед студентом, который желал учиться во Франции, заключался в том, добьется он аккредитива от своего отца или нет. «Проблему перемещения» еще не придумали, не существовало трудностей с обменом валюты. Не было даже необходимости обеспечивать себя визой во французском консульстве... Немецкие деньги, которые путешественник брал с собой, обменивались в любом банке без малейших препятствий. Во Франции имели хождение золотые франки, в Германии — золотые марки. Обе валюты были весьма устойчивы. 100 марок равнялись 125 франкам. Имея при себе такую сумму, можно было прилично существовать целый месяц при экономном расходовании.

Я занял свое место в вагоне поезда, почитал немного газету, затем отложил ее в сторону и дал волю своим мыслям. Оставалось решить один-два вопроса — самый важный из них имел имя Луиза Сова.

Я встретил ее во время летних каникул прошлого года по возвращении из Мюнхена. Она была дочерью полицейского инспектора, жившего по соседству с моими родителями.

Луиза была темноволосой, веселой девушкой с очень привлекательной — особенно для меня — фигурой. Мы встретились на теннисном корте, где она играла в длинной юбке по фасону того времени. Мы вместе играли в смешанных парах. Я проводил ее домой и вскоре снова увиделся с ней.

Постепенно мы узнали друг друга ближе и совершали все более продолжительные прогулки по берегам Шлахтензее. Наконец я пригласил ее к себе домой. После этого Луиза получила приглашение посетить наш дом от моих родителей. Маме девушка очень понравилась, и она не скрывала этого.

Мы с Луизой участвовали в любительском спектакле в Шлахтензее и собрали 120 марок в фонд Красного Креста. Мои родители присутствовали на спектакле. Они вместе с инспектором Совой входили в число тех, кто аплодировал нам особенно горячо.

Но осенью 1897 года вопрос о браке еще не стоял. Мы с Луизой уже знали друг друга целый год. Все это время мне казалось, что наши отношения не зайдут далеко. Я находился в середине срока университетского обучения и все еще нащупывал свой путь, принимаясь за новые дела в университетской жизни. Мне просто некогда было думать о семье.

Луиза внесла в мою жизнь нерешенную проблему. На примере своих родителей я видел, что может значить ранний брак без достаточных средств.

Я размышлял все время, пока поезд громыхал среди унылых, засаженных репой полей плодородной Магдебургской равнины. Постепенно стемнело. Прошел проводник с вощеным фитилем, зажег газовый свет, задернул занавески на окнах и продолжил свой путь. Я взялся за французскую грамматику и стал учить неправильные глаголы. Сидя в своем углу, наблюдая одним глазом за чемоданом на багажной сетке сверху, я изучал учебник до тех пор, пока не устали глаза. Наконец мы прибыли в Кельн. Я подхватил багаж, вышел из вагона и искал купе третьего класса в ночном поезде Кельн—Париж.

Никогда не забуду поездку по Бельгии. Когда поезд тронулся, в купе находился лишь еще один пассажир, который спал так же крепко, как и я. Но эта благоприятная обстановка изменилась на границе. Здесь в вагон ввалилась компания пассажиров, оккупировала места возле окна и стала играть в карты.

Еще полусонный, поглядывая время от времени на свой багаж, я сидел в своем углу, закутанный в пальто, и наблюдал за игроками. Видимо, игра доставляла им несказанное удовольствие, хотя она была проста до примитива. Один из игроков был держателем банка. Он вытаскивал три карты и помещал их на стол лицевой стороной вверх, так чтобы другие игроки видели их масть и достоинство. Затем он переворачивал карты и тщательно их перетасовывал. Потом убирал руки и предлагал назвать одну из трех карт. Его партнер указывал на одну из карт, и она переворачивалась лицевой стороной. Если партнер угадывал, он получал удвоенную сумму денег, поставленных им на банк вначале. Если ошибался, его доля уходила в банк. Я счел игру простой, как азбука. Поставил свои деньги — и потерял свое месячное денежное содержание, за исключением двадцати марок.

Это был мой первый и последний опыт игры на деньги. Впоследствии, занимая должность директора Данат-банка, я видел, как мои коллеги-директора непрерывно играли на фондовой бирже. Я этим никогда не увлекался. В то время как выписки из счетов моих коллег были столь многочисленны, что составляли толстые подшивки размером с солидный роман, моих выписок было гораздо меньше.

Я приехал в Париж для поступления в Свободный колледж социальных наук и посещения лекций по социологии. Никогда в жизни я не ценил так высоко социальные науки, как в первый месяц жизни во французской столице.

Позднее я посмеялся над инцидентом в ночном экспрессе, но тогда мне было не до смеха. В течение целого месяца у меня не было никакого желания смеяться. Когда я читал роман Виктора Гюго «Отверженные» для совершенствования своего знания французского языка, то полностью ощутил обстоятельства, в которых бедняки перебивались там с хлеба на воду, поскольку тоже был вынужден как-то существовать на 25 франков при ограниченном кредите.

Когда голодный месяц закончился и из Германии поступила новая денежная наличность, я приступил к изучению великого города. В то время я смотрел на Париж не так, как позднее, во время осуществления плана Янга. Город сохранял еще некоторое великолепие Третьей империи. В него стекались люди со всех стран — частью для того, чтобы полакомиться хорошей пищей и выпить доброго вина, частью в погоне за модой и привлекательными женщинами. В Париж — центр фешенебельного мира — устремлялись бразильцы и китайцы, американцы и голландцы, австралийские фермеры-овцеводы и индийские махараджи. Здесь ставились оперетты Жака Оффенбаха, платья женщин выглядели по-настоящему женственными, знаменитый кюль-де-пари только входил в моду. По сравнению с Берлином Париж представлял собой город изобилия. Берлин был рассудительным, работающим, основательным, мелкобуржуазным, слегка многонациональным и очень «прусским» городом. Почти тридцать лет — целое поколение — прошло со времени войны 1870 года и крупного коммунистического восстания. Никто не говорил об этой войне. Это были годы процветания как раз перед началом нового века. Идея реванша, казалось, умерла навеки.

Хотя в эти годы я совершенно не интересовался высокой политикой, одну тему невозможно было игнорировать — тему, которая занимала мысли тогдашних французов и расколола страну на два противоположных лагеря, — дело Дрейфуса.

Весь мир знает об этом процессе. Дрейфуса, капитана-артиллера еврейского происхождения и уроженца Эльзаса, за три года до этого бросили в тюрьму, а в 1894 году пригово-

рили к пожизненному заключению на Чертовом острове. Даже в то время находилось немало людей, которые считали, что капитан стал невинной жертвой политических интриг и был осужден несправедливо. Его сделали козлом отпущения в тщательно спланированной кампании с целью усилить антисемитские настроения французов. В то время во Франции, после провала генерала-националиста Буланже в 1889 году, вели борьбу за власть клерикалы, националисты и антисемиты. Когда я учился в Париже, Дрейфус уже три года сидел в тюрьме. Самый знаменитый романист Франции Эмиль Золя требовал пересмотра приговора Дрейфусу. Он написал открытое письмо президенту республики под заголовком «Я обвиняю!», которое опубликовала газета L'Аuгоге 13 января 1898 года. Письмо Золя произвело эффект разорвавшейся бомбы. Небезынтересно узнать, что в то время Жорж Клемансо оказывал сильное давление на эту газету. Как и ожидалось, националистические круги противились публикации «Я обвиняю!». В Париже произошел социальный взрыв местного масштаба, когда стало известно, что из-за письма президенту Золя приговорили к году заключения и штрафу в 3 тысячи франков. Парижане организовали марши протеста, частью против врагов Золя, частью против инициаторов дела Дрейфуса. Золя был вынужден бежать в Англию, но восемнадцать месяцев спустя получил разрешение вернуться в Париж. Однако посредством своего письма ему удалось по крайней мере побудить французские суды вновь заняться делом Дрейфуса, хотя прошло много лет, прежде чем капитан-артиллерист еврейского происхождения был наконец оправдан. Лишь в 1906 году кассационный суд вынес ему оправдательный приговор. Его вернули в армию в звании майора, но вскоре после этого отправили в отставку по собственной просьбе.

Приятно было бы заявить, что дело Дрейфуса вызывало у меня напряженный интерес и что я следил за каждой фазой этой драмы, развертывавшейся у меня на глазах. К сожалению, это было не так. Я не проявлял ни малейшего интереса к политике и стремился лишь провести время в Париже с наибольшей пользой для себя.

Тем не менее сейчас я могу сказать, что на самой ранней стадии моего жизненного пути мне встретились две проблемы, с которыми мне пришлось сталкиваться много лет спустя в качестве министра и члена правительства. Это проблема

антисемитизма, которая перед началом нового века играла столь значительную роль во Франции, что поставила ее жителей по разные стороны баррикад, а также вызвала уличные демонстрации. И проблема франко-германских отношений, ярким воплощением которой стал человек, чье имя я впервые услышал в связи с делом Дрейфуса, — Жорж Клемансо.

На Пасху 1898 года я вернулся в Берлин, обогащенный некоторым опытом. Прежде всего, я получил знания о французцах и социологии, однако испытал также вещи, которые приобретают иногда огромное значение в молодые годы. В Берлине меня ждала Луиза Сова. Мы возобновили свои прогулки по берегам Шлахтензее. Я рассказывал ей о Париже, об элегантной моде и изысканных ресторанах. Ближе к концу пасхальных каникул я отправился в Киль заслуживать степень доктора философии. Мое отношение к Луизе стало менее пылким. Я был по горло занят работой и не мог тратить время на общение с женщинами. Кажется, она это поняла. Когда после продолжительной разлуки мы встретились снова, то решили расторгнуть нашу несколько преждевременную помолвку. Видимо, она осознала, что в данное время я не мог думать о чем-либо другом, кроме будущей карьеры. Мы расстались по-дружески, без упреков, но также без обещаний. В следующий раз я увидел ее только через пять лет.

Глава 9

ДОКТОР ФИЛОСОФИИ

Я отправился в Киль, решив сделать газеты темой своей диссертации на докторскую степень. Сегодня в этом нет ничего особо революционного. Журналистика преподается в нескольких колледжах Германии.

Но тогда все было по-другому. Профессор обычной и политической экономии в Кильском университете Вильгельм Хасбах не использовал газеты ни в каком виде. Мою первую встречу с ним нельзя назвать ободряющей.

Хасбах представлял собой крупного рыжеволосого мужчину с глазами стального цвета, которые вспыхивали под очками, подобно молнии, с бородкой, тронутой сединой. В свои сорок девять лет он пользовался репутацией эксцентричного человека.

— Для чего вы приехали в Киль? — спросил он с вызовом, когда я представился. — Полагаю, вы думаете, что здесь получить докторскую степень легче?

Я ответил, что университет Киля был, так сказать, более близким мне, кроме того, мой брат защитился здесь на степень доктора медицины. Он не проявил к этому ни малейшего интереса.

— Не считая политической экономии, — произнес он мрачно, — в моем университете есть только два кандидата на степень доктора социальной философии. Вы — третий. Какую тему вы придумали для своей диссертации? — задал далее Хасбах решающий вопрос.

Я прочистил горло и сказал:

— Мм, г-р профессор, меня интересует журналистика. Моя тема — «Значение газет для экономики».

Хасбах отнесся к этой идее без особого энтузиазма.

— Газеты? — нахмурился он. — Вздор! Эта не та тема, за которую получают докторскую степень. Мне кажется, что вы приехали сюда в надежде легко защититься!

Я начал беспокоиться.

— Нет, если вы предложите лучшую тему, я, естественно, готов работать над ней...

— В самом деле?! — воскликнул профессор, не отрывая от меня сердитого взгляда.

Он подошел к письменному столу и стал рыться в бумагах. У меня душа ушла в пятки. Студент седьмого семестра вознамерился заранее ознакомиться с работами ординарного профессора. Я знал, что Хасбах опубликовал две работы под названиями «Система страхования английских трудящихся в 1883 году» и «Сельскохозяйственные рабочие Англии в последнее столетие и Закон об огораживании общинных земель (1894)». Ни одна из этих тем меня не интересовала ни в малейшей степени. Неужели мне придется ими заниматься?

К счастью, все обернулось не так плохо. Я не знал, что в данное время профессор Вильгельм Хасбах был на ножах с политэкономом из Гейдельберга. Предмет их спора заключался в том, можно ли классифицировать в теоретическом плане английскую коммерческую систему как относящуюся к политической экономии или нет. Экономист из Гейдельберга говорил: да. Хасбах возражал ему. В данный момент он был крайне озабочен этим спором. Кильский профессор, разуме-

ется, понимал, что для обоснованного опровержения необходимо было добыть доказательства, которые с большим трудом могли быть извлечены из оригинальных источников. Должно быть, ему пришло в голову, когда он рылся в бумагах на столе, что я именно тот человек, который подберет материал для опровержения гейдельбергского экономиста. Как бы то ни было, он повернулся ко мне с дружелюбным видом, предложил мне сесть и сказал:

— Послушайте, г-н Шахт, я мог бы предложить вам прекрасную тему для докторской диссертации, но она связана с необходимостью для вас съездить в Англию. Вы сможете это сделать?

Я вспомнил о своем пребывании в Париже и ответил, что смогу. Почему бы и нет? В Англии жизнь совсем недорогая.

— Прочтите это, — сказал Хасбах и вручил мне том своего оппонента из Гейдельберга. — Думаю, можно найти много аргументов против него, если исследовать работы по торговле на месте, так сказать, в Британском музее Лондона...

Подобно многим профессорам, Хасбах эксплуатировал порой студентов тем, что заставлял их заниматься проблемами своего наставника. Поскольку так было принято, мне нечего было сказать. Я принял тему, предложенную профессором Хасбахом для моей диссертации, и засел за чтение книги его оппонента.

Моей темой было «Теоретическое обоснование особенностей английской торговли». Как и предсказывал Хасбах, для этого потребовалась поездка в Англию. Я совершил ее в январе 1899 года, через год после этих беспокойных дней в Париже. Денег потратил на транспортные расходы как можно меньше, проехав на грузовом корабле в Халл за 20 марок. Прожил в Лондоне две недели и вернулся в Киль по тому же маршруту. Несмотря на экономию, мне потребовалось больше денег, чем обычно. К счастью, я нашел финансовую поддержку в лице главного редактора газеты *Kieler Neueste Nachrichten*, который доверил мне рецензирование произведений искусства и театра.

Я был членом Литературно-академического союза Берлина, изучал немецкую филологию и историю литературы в течение нескольких семестров и уже работал в редакции газеты. Главному редактору нравился мой стиль и подход к рецензированию произведений искусства. Мы познакомились во вре-

моя учеба на последнем семестре, и это знакомство обеспечило меня постоянным дополнительным заработком в первоклассной газете. Ведь под энергичным руководством моего приятеля эта газета выпускалась в стиле уважаемых органов печати.

К несчастью, как это часто случается, взгляды издателя газеты отличались от взглядов редактора. Издателю моя критика не нравилась, и он спорил по этому поводу с редактором, поддерживавшим меня. Мой недоброжелатель упорно держался мнения, что я слишком молод и неопытен для такой важной работы.

Дело однажды дошло до критической стадии из-за выставки, когда я похвалил в своей рецензии очень молодого художника. Издатель, которому его работа не понравилась, сказал, что моя статья пристрастна и предвзята. Редактор сообщил мне об этом.

— Что мне делать? — спросил он.

— Почему бы не узнать мнение специалистов из Кильского клуба живописи? — предложил я. — Если они скажут, что я слишком молод для такой работы, то я уйду с готовностью...

Редактор согласился с моим предложением и послал запрос в Кильский клуб живописи, не ставя в известность издателя. Через два дня мы получили из клуба ответ. Там сочли, что эта и другие рецензии герра Шахта были объективны, беспристрастны и написаны со знанием предмета. Они не имели ничего против моих статей.

С письмом клуба редактор пошел к издателю, который с тех пор прекратил придирки.

Может, стоит упомянуть имя художника, который чуть не стал причиной моего ухода из газеты. В то время он был очень молод, всего восемнадцати лет от роду, и звали его Макс Пехштейн.

Иногда, разрываясь в своих интересах между английской торговлей и местным театром, я не мог не вспоминать свой первый семестр в Киле. Это было всего четыре года назад, но часто казалось, будто я повзрослел на двадцать лет с того времени. В тот первый семестр, когда я занимался изучением костей и живых тканей, а также писал массу стихов, мне и не

мечталось, что через несколько лет я буду писать серьезный труд об английской торговле. Наоборот, я искренне верил в свое предназначение поэта. Одним из моих приятелей был музыкант, который обладал даром записывать мелодии на нотную бумагу с необыкновенной легкостью. Мы вместе мечтали о сотрудничестве в сочинении какой-нибудь оперы или как минимум оперетты. Он так настойчиво уговаривал меня, что я отложил свои задания по анатомии и набросал либретто на сказку братьев Grimm про принцессу, которая танцевала до износа своих башмачков. К сожалению, в нем было очень мало действия и лишь несколько лирических сцен, произвольно связанных друг с другом. Мой приятель-композитор положил лирику на музыку, и на этом наши мечтания закончились, — шедевр так и не получил сценической жизни. Но я, по крайней мере, мог хвастаться, что в моей жизни был период, когда я сочинил оперетту! Через несколько десятилетий мне напомнили об этой юношеской нескромности крайне забавным способом. Но об этом позже.

Итак, я периодически вспоминал первый семестр. Помню, как Wiener Dichterheim опубликовал мою первую поэму, за которую я должен был внести пять марок в счет расходов на печатание. Как же я гордился, когда увидел напечатанное под стихами в двенадцать строк свое полное имя. Разослал несколько экземпляров маленького журнала своим друзьям и тешил себя мыслью, что стал теперь поэтом с опубликованным произведением.

Нет, я не был каким-нибудь стоящим лириком — даже в возрасте неоперившегося птенца. Морализаторский, дидактический элемент неизменно выходил на поверхность в моем творчестве. И фактически я заработал свой первый гонорар как журналист, и не поэмой, а афоризмом: «Еда скрепляет тело и душу, питье разрывает их...» Конечно, этот афоризм родился не как проблеск ума гения, воодушевленного свыше! Но редактор Jugend, которому я послал эту жемчужину мудрости, выплатил мне за нее две полноценные марки!

Рецензии на произведения искусства мне удавались лучше. Они требовали специальных знаний и приносили более щедрые гонорары.

Поездка в Лондон была коротка и бедна событиями. С тех пор я посещал британскую столицу много раз, порой при очень драматичных обстоятельствах.

В тот раз я остановился в пансионе на улице Тоттнем-Корт-Роуд. Выбрал его потому, что пансион располагался близ Британского музея. Надо было только пересечь площадь Бедфорд, чтобы добраться до входа в это просторное здание, с полка которого я брал работы старых и современных авторов по торговле. Это были труды Джона Хейли и Джона Стюарта Милля, Локка, Хьюма и неподражаемого Даниеля Дефо, известного детям всего мира в качестве автора «Робинзона Крузо». Для детей эта книга всего лишь приключенческая повесть, хотя фактически она вычерчивает контуры начал экономики — абрис, так сказать, политической экономии.

Так как в моем распоряжении было всего две недели, я был очень занят, и в результате ознакомился с городом поверхностно. Позавтракав молоком и хлебом с маслом, шел прямо в музей, чтобы занять свое место в огромном читальном зале, сделать выписки из старых книг, покинуть музей на время ланча и немедленно вернуться назад, чтобы работать вплоть до закрытия учреждения. Затем ужинал, совершал короткую прогулку — и в постель. Один-два раза ходил в филармонию, любимое развлечение англичан. По воскресеньям совершал продолжительные прогулки в Гайд-парк. Английское воскресенье — очень скучное, неинтересное время.

В январе Лондон безотраден. Обычно улицы закутаны в плотный туман, через который редко проникают солнечные лучи. Удушливый воздух насыщен сыростью, холодом, сажей. На рубеже веков жизнь в викторианском Лондоне, особенно зимой, не шла ни в какое сравнение с жизнью в Париже. Теперь я понимал, почему богатые англичане покупали виллы на средиземноморском побережье, в Амальфи, на Лазурном Берегу. Лондон — самое неподходящее место для двухнедельного пребывания зимой.

Моя докторская диссертация приобрела наконец вид сотни густо исписанных страниц, обильно пересыпанных сносками. Чтобы усилить и оправдать отрицание профессором теории меркантилистской системы, я снабдил почти каждое предложение цитатами из английских источников. Только половина работы, следовательно, выполнялась на немецком языке, другая половина — на английском.

Переписав работу набело, я передал ее профессору Хасбаху и вписал свое имя для коллоквиума. Мне казалось, что эта работа ему понравится.

Коллоквиум состоялся в августе 1899 года. Я хорошо помню его, поскольку там состоялась весьма любопытная беседа.

Надо заметить, что формально я получал степень не доктора политической экономии, но доктора философии. Следовательно, мне требовалось, хотя бы ради формы, быть проэкзаменованным философом. Философия была обязательной дисциплиной.

Я сдавал экзамены по другим предметам без особых затруднений, но ожидал экзамена по философии с некоторым волнением. Мне не нравились спекулятивные рассуждения. Я любил решать проблемы. Мне доставляло удовольствие разгрызать крепкие орешки. Но это должны быть практические проблемы, подлежащие разрешению практическими средствами.

Профессор, представлявший эту наиболее отвлеченную из всех наук, встретил меня дружелюбно и пригласил сесть. Он спрашивал меня о разных философах; я их плохо знал. В ряде случаев я вспомнил фрагменты теорий, связанных с определенными именами. Проямлил немного и замолк. Профессор что-то черкнул в своем блокноте и нахмурился. Вдруг он резко поднял голову, устремил взгляд слева от моего уха и спросил:

— Что это?

Я быстро обернулся в направлении его взгляда. Меня бы не удивило, если бы сквозь стену прошел призрак основателя университета. Однако это был не призрак, но обыкновенный коричневый шкаф в углу комнаты. Профессор повторил вопрос:

— Что это?

— Шкаф, — сказал я.

— Правильно, — произнес профессор философии с облегчением. Я знал, что такое шкаф. Но тут последовал главный вопрос: — Что такое этот шкаф?

Вы знаете, что такое шкаф? Прежде я никогда не думал об этом. Я пользовался шкафом для хранения одежды, но это все, для чего он мне служил. Мне не приходило в голову использовать его как-то иначе.

— Итак! — повторил вопрос профессор, теряя терпение. — Что такое этот шкаф?

В нем чувствовалось раздражение — мне нужно было дать какой-то ответ.

— Коричневый, — сказал я.

— Что еще? — продолжил он. — Вы заметили в нем что-нибудь еще?

— Квадратный, то есть кубический, — промолвил я.

— Что еще?

— Деревянный, — предположил я.

Он фыркнул.

— Боже мой! — воскликнул он раздраженно. — Шкаф еще занимает пространство!

Я смотрел на него, не понимая. Он разразился хохотом, который звучал все громче и громче. Вынул из кармана платок, протер глаза, вынул карандаш и перечеркнул все свои записи.

— Ох эта политическая экономия, — сказал он более дружелюбно. — Что вы знаете о философии реально?

Я знал немного, назвал Локка и Гоббса, привел две-три цитаты из своей диссертации.

— Достаточно, благодарю вас.

Несколько подавленный, я побрел домой, весьма неуверенный в положительном исходе экзамена. Неужели профессор философии разрушит в решающий момент все мои планы? Неужели скажет, что человек, не знающий элементарных принципов, не может претендовать на степень доктора философии?

Неопределенность длилась два дня. Затем прибыл почтальон с письмом из университета.

Мне присудили степень доктора философии.

В этот раз я не совершил такой ошибки, как посылка отцу хвастливой телеграммы. Упаковал свои вещи, отправил их в Берлин и последовал за ними через несколько дней.

Всю зиму я жил с родителями и посещал институт Шмоллера, где продолжал изучение политической экономии, по вечерам ходил в драматический театр или оперетту.

К этому времени мы действительно достигли рубежа веков. Старый век приблизился к концу, новый стоял на пороге. К этому времени я уже привык считать Берлин своим домом. Берлин не кичился богатством, не обладал исключительностью Гамбурга. Город был удобным, остроумным, блестящим, озорным — и человеческим. Терпимость, проявленная королем Пруссии, придала городу своеобразный характер. Злые языки иногда утверждали, что Берлин фактически был не немецким городом, но колонией иностранцев — француз-

ских гугенотов, голландских ремонстрантов, восточных евреев, польских заговорщиков и итальянских карбонариев.

Во всяком случае, никого не спрашивали, является ли он берлинцем по рождению. Если он находился в Берлине, значит, он берлинец.

В канун Нового, 1900 года мы сидели на вилле в Шлахтензее, попивая горячий пунш, приготовленный отцом. Сидели так, как бывало в прежние времена, и все же многое изменилось.

— Допивайте напитки, чтобы я снова мог наполнить бокалы, — сказал отец. — Через двадцать минут наступит 1900 год...

— Боже мой! — воскликнула мама и поставила бокал на стол. — Тысяча девятисотый! Помнишь, Вилли, как мы поженились? Это было двадцать семь лет назад! Сколько пережито с тех пор...

Я перевел на нее взгляд. Ее волосы поседели. Это произошло за двадцать семь лет непрерывного труда ради семьи. Она мыла полы и стирала белье, готовила еду и воспитывала детей. При этом она всегда заботилась о будущем своих четырех сыновей.

Отец думал, должно быть, о том же. Он вынул сигару изо рта, взглянул на мать, прочистил горло, поместил сигару на прежнее место и стал наполнять бокалы. Закончив, он вынул изо рта сигару во второй раз и сделал то, что делал очень редко. С того вечера, когда он вернулся домой с известием о найденной работе в компании Eguitable Life Insurance, он никогда больше не целовал маму в присутствии детей. Теперь он наклонился, поцеловал и погладил ее руку.

— Да, мать, — сказал он, — двадцать семь лет. И теперь у нас взрослые сыновья. Один — врач, другой — философ. Мы не думали, что это станет возможным...

Олаф и Вильгельм смотрели широко раскрытыми глазами.

Снаружи вдруг прозвучал грохот артиллерийского салюта. Откуда-то послышался бой часов. Зазвенели колокола, перекликались друг с другом люди на аллее, протянувшейся в сосновом бору. Мы подняли бокалы и молча выпили друг за друга.

Часть вторая

ПУТЬ НАВЕРХ

Глава 10

ТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ

Казалось, что в новую эпоху будут преобладать внутренние дела. Экономические проблемы выдвигались на передний край все больше.

Я изучал политическую экономию в институте Шмоллера, и человеком, который оказал в то время на меня серьезное влияние, был сам профессор Шмоллер. Густав фон Шмоллер (его удостоили дворянского титула в 1908 году) принадлежал еще к поколению XIX века. Он был одним из тех великих либералов, которым в политическом смысле не удавалось снискать лавров, но работа которых тем не менее принесла весомые плоды.

Шмоллер был социалистическим доктринером. Он родился через шесть лет после смерти Гете и, естественно, не наблюдал лично классовую борьбу промышленных рабочих или мигрантов из провинции в большие города. Именно недостаток личного опыта придавал его словам теоретическое своеобразие, которое исчерпывающим образом выражалось в понятии социалистический доктринер. Трудящиеся классы в процессе самоорганизации в социал-демократическую партию предпочитали функционеров, вышедших из их же рядов. Они не желали никакого «буржуазного социализма».

Но подлинный период политического индустриализма закончился на рубеже веков, как и период монополистического капитализма. Исходный пункт этого развития восходит ко времени Бисмарка, когда канцлеру удалось осуществить правовое обеспечение программы социального страхования в период между 1881 и 1889 годами, представленной рейхстагу

в императорском послании. Социалистические доктринеры внесли большой вклад в это социальное достижение.

В то время это вызвало гротесковую ситуацию, когда лидеры социал-демократов выступили против этих законов только потому, что они исходили не из рабочей среды, но из дворянских и буржуазных кругов.

Однако результаты принятия законодательства вскоре стали очевидными. Они способствовали снижению напряженности в обществе, поскольку в 1908 году в Германии было уже 13 миллионов человек, застрахованных против болезней, и 24 миллиона — против несчастных случаев. И эти люди, получившие социальные гарантии, происходили из бедных масс нашего народа.

Заявления буржуазных реформаторов приобретали вес по мере того, как преодолевались трудности этого первого периода индустриализации. Среди них был Шмоллер. В то время как рабочие лидеры стремились обеспечить власть своего класса организационными методами, буржуазные реформаторы искали новую социальную этику. Их первой заповедью была моральная ответственность человека за ближнего.

От доброжелательного старика, который в течение своей жизни внимательно следил за изменением в социальной структуре своего времени, я узнал, что все подлинные реформы должны осуществляться путем эволюции, путем естественного, ненасильственного развития на основе понимания и доброй воли.

В дополнение к своим «Ежегодникам», в составление которых я часто вносил свой вклад, Шмоллер опубликовал серию статей по политической экономии. Однажды он позвал меня.

— Я прочел диссертацию, которую вы написали на докторскую степень, — сказал он, — и хочу опубликовать ее в книжном формате. Но вам придется для этого перевести английские цитаты на немецкий язык.

Он сделал это предложение как раз тогда, когда я находился в процессе упрочения своего положения. Мне больше не хотелось быть бременем для своего отца. Кроме того, мне нужно было заработать на оплату расходов на публикацию. Мое месячное жалованье студента всегда было скудным, но я укладывался в него и смог начать свою карьеру, не обремененный долгами. В последующие годы у меня тоже не было

долгов, даже в период инфляции, когда заимствование денег давало большую выгоду.

Перспективы приобретения работы были обнадеживающими. Это было как раз в то время, когда начали оформляться и стремились заинтересовать своей деятельностью общество и власти многочисленные экономические организации. Множились возможности для секретарей и уполномоченных лиц.

Я сделал запрос по объявлению в специализированную газету и получил в ответ приглашение на вечерний диспут, спонсировавшийся доктором Фосбергом-Рековым. Этот господин был директором Центра подготовки торговых соглашений, учреждения, в котором состояло несколько оптовых производителей, заинтересованных в экспорте. Фосберг-Реков ловко вовлекал членов центра в щедрое финансирование фондов, за счет которых существовал центр, не говоря уже о его главе. Это был высокообразованный человек, обладавший необыкновенным даром манипулировать коллегами, хотя его специальные знания не достигали их уровня. Но способность убеждать скрывала его дилетантство.

Я принял участие в диспуте и, поскольку абсолютно не имел опыта, сделал все возможное, чтобы выставить недавно приобретенные в университете знания в выгодном свете. Я задался целью превзойти присутствовавших соискателей места работы в центре. Фактически я приобрел работу в тот самый вечер, но на основании несколько другом, чем я предполагал. Фосберг-Реков подошел ко мне и сказал:

— Если вас устроит, я приму вас с начальным окладом в сто марок в месяц. Вы здесь единственный, кто одет в смокинг. Мне нравится видеть, что мои сотрудники заботятся о своем внешнем виде.

Работа клерком в Центре подготовки торговых соглашений явилась единственной в моей жизни, на которую я устраивался по собственному заявлению. Занятие мной всех последующих должностей было неизменно инициировано другими людьми, которые ходатайствовали за меня, мотивируя это моими квалификацией и опытом. В последующие годы я всегда отвергал жалобы о том, как тяжело молодым людям устроиться на работу, как много препятствий чинят на их пути. Спрос на квалифицированные кадры всегда больше, чем предложение. Работодатель более всего ищет трудолюби-

вого, надежного работника, который, подобно посыльному к генералу Гарсиа, доведет дело до конца.

Шмоллер был разочарован, когда я сообщил, что не располагаю временем перевести свою диссертацию на немецкий язык. У меня не было ни машинистки, ни стенографистки. Половина диссертации состояла из цитат на английском. Невозможно было заново переписывать эту работу и переводить их все. Новая работа не оставляла мне времени для этого. В итоге были напечатаны лишь обычные три сотни экземпляров диссертации. Сейчас они хранятся в библиотеках, куда были отправлены.

1880-е годы стали свидетелями начала большого экономического смятения. Оно началось с осознания того, что одна лишь земля Германии больше не сможет обеспечить производство сельскохозяйственной продукции, способной прокормить растущее население. Германии следовало импортировать зерно и добыть необходимую валюту для этого посредством экспорта промышленных товаров.

Это стало поводом для политического противодействия части фермерских кругов, которые требовали введения протекционистских пошлин в отношении дешевого иностранного зерна. Это стало началом соперничества в экспортной торговле между Германией и конкурирующими иностранными промышленными державами за обладание мировыми рынками.

Генерал фон Каприви, сменивший Бисмарка на посту канцлера, резюмировал положение Германии в следующем впечатляющем заявлении: «Нам нужно экспортировать либо людей, либо товары». Вся Центральную Европу от мыса Нордкап до залива Таранто постигло то же бедствие: не хватало земли для прокормления увеличившегося населения. Даже непомерно высокие пошлины оказались бессильными изменить сложившиеся условия. Эмиграция или экспорт — этот вопрос приобрел решающее значение. Германия выбрала второй путь: ценой за увеличение ее населения был риск конфликта с другими странами. Она вышла победителем из экономической борьбы за соответствующую долю мировых рынков, но не смогла отвести сопутствующую политическую угрозу.

То, что эта борьба не всегда велась Германией верным политическим оружием, было доведено до нашего сознания последствиями двух мировых войн.

Когда я еще посещал институт Шмоллера, другой авторитет — профессор Ганс Дельбрюк, редактор «Прусского ежегодника», — попросил меня писать для его издания. В течение десяти лет я посылал в этот солидный ежемесячник рецензии на книги и статьи. Вслед за Шмоллером Ганс Дельбрюк стал моим бесценным учителем, ему я обязан также отдать долг признательности за ценный опыт в период моего становления. Дельбрюк был не социалистическим доктринером, но политиком, живо заинтересованным в политическом развитии Германии. Он считал себя представителем одной из либерально-консервативных группировок, хотя придерживался по многим вопросам совершенно независимых, непартийных взглядов.

Работа в «Ежегодниках» дала мне возможность определить свою позицию по текущим вопросам торговой политики. В своей первой статье (февраль 1901 года) я уже сформулировал две идеи в отношении споров вокруг «хлебного рэкета» и «протекционистских пошлин». Первая идея заключалась в том, что потребитель смирится с высокими пошлинами на зерно, на чем настаивают фермеры, и может позволить себе это только при условии, что эти пошлины будут уравновешены гарантиями расширения экспорта и постепенного, ожидаемого повышения заработной платы. Суть второй идеи состояла в том, что даже более значительный, чем действующий, тарифный уровень повлечет за собой ответное закрепление тарифов на продолжительный период, которое сделает возможной устойчивую стабилизацию условий существования различных экономических кругов. «Существенный вопрос заключается в том, — утверждал я, — что мы сможем заключать новые соглашения, несмотря на высокую пошлину на зерно и независимо от того, поднимет ли пошлина цену на хлеб и до какой степени. Если мы заключим новые торговые соглашения независимо от пошлины, то сможем уверенно полагать, что будем ожидать дальнейшего периода экономического процветания, который также даст нам возможность есть хлеб за высокую цену».

Статьи, которые я публиковал в эти годы, не оставляют сомнений в моей приверженности фундаментальной концепции экономической политики — концепции, которой я следовал всю свою жизнь.

Развитие высокой и чрезвычайно эффективно организованной производительности казалось мне тогда, как и теперь, лучшим — и в самом деле единственным — средством улучшения благосостояния масс. Для достижения этого необходимо, чтобы экономика была свободна от политических передряг. Внешнее принуждение в вопросах торговой политики и понижения курса валюты столь же губительно, сколь внутренние забастовки и локауты. Война и классовая ненависть всегда казались мне бедствиями для экономической жизни.

Улучшение условий существования масс всегда было для меня приоритетом. Я доказывал это в статье, посланной в «Прусский ежегодник» в декабре того же года. В этой статье я горячо поддержал принцип внешней торговли, поощрявший перерабатывающие отрасли промышленности и производство готовых изделий, так как это дает больше работы немецкому интеллекту и трудовым рукам, чем производство сырья и полуфабрикатов. Например, экспортируемый за рубеж чугун менее желателен, чем экспорт качественных текстильных изделий той же стоимости. В первом случае большая часть обработки уходит в дивиденды, во втором — на зарплату. Тяжелая промышленность олицетворяет капитал, легкая — труд.

К той же категории принадлежит статья, опубликованная в октябре 1902 года, в которой я впервые выдвинул идею промышленных трестов в противовес обычным картелям. Картель является набором промышленных концернов, производящих одинаковые товары и согласных в поддержании максимально высоких цен. С другой стороны, трест объединяет предприятия, заинтересованные в процессе производства одинаковой продукции — от сырья до готового изделия. Я доказывал, что первоочередной целью этой вертикальной организации производства является уменьшение издержек производства и увеличение потребления. Снижение издержек предполагает снижение цен, ведущее к росту потребления по меньшим ценам. В этом цель любой промышленности.

«Картель — наркотик, трест — эликсир», — категорически провозглашал я.

Важно то, что экономическая проблема сегодняшней Германии точно такая же, какой она была, когда я характеризовал ее на ранних стадиях более пятидесяти лет назад. Я писал: «Вопрос торговой политики, который надлежит решить, коренится

в проблеме демографической политики. Нам нужно обеспечить работой миллионы немецких рабочих, которые живут на немецкой земле и непрерывно рождаются из чрева матери-родины. Сегодня эти массы людей больше нельзя содержать выращиванием зерна или производством полуфабрикатов. Единственный способ обеспечить их работой заключается в вовлечении их в мелкие предприятия интенсивного сельскохозяйственного производства, с одной стороны, и в перерабатывающие отрасли промышленности — с другой. В нашем распоряжении лишь один безграничный ресурс: интеллектуальный и ручной труд людей. Следует стремиться развивать этот ресурс таким образом, чтобы опередить другие страны, которые не способны конкурировать с нами ни в чем, кроме дешевого сырья».

В октябре 1908 года моя статья начиналась так: «Проведение экономической политики зиждется на двух фундаментальных требованиях: на производительности возможно более высокого уровня и на справедливом распределении продуктов производства». Статья была посвящена выставке, демонстрировавшей достижения электротехники. В данном случае я не обращался к официальной статистике, но был вынужден полагаться лишь на частную информацию, поскольку еще не существовало такой вещи, как официальная статистика по электротехнике. В статье я указывал на колоссальное расточительство концернов по производству электроэнергии, где бесчисленные мелкие, местные электрические мастерские играли решающую роль. Я смог доказать, что цены не только на свет, но также на электроэнергию, колебавшиеся между 60 и 70 пфеннигами за киловатт, и, кроме того, содержание мелких коммунальных станций, были чрезвычайно высоки. И не только из-за ограниченной мощности станций, но также из-за того, что они являлись благодатным источником налогообложения для коммунальных властей. В противовес я выступал за концентрацию производства электричества в больших генераторных станциях с целью удешевления потребления, за государственный контроль экономической политики в области энергоснабжения и сопутствующий общественный контроль частных предприятий. Меня порадовало, что дальнейшее развитие производства электроэнергии проходило в соответствии с вышеприведенными установками.

В 1901 году я перенес свою деятельность из центра во вновь учрежденную более крупную Ассоциацию торговых договоров

(Handelsvertragsverein). В ее административное правление входили директора большинства основных банков. Они представляли в основном экспортные торговые и судоходные компании, с которыми я поддерживал личные контакты. Это были торговые магнаты из ганзейских городов, такие как Айхелис из Бремена, председатель компании Norddeutscher Lloyd, и Адольф Верман из Гамбурга, один из пионеров освоения германских колоний. Я контактировал практически со всеми торговыми палатами и экономическими ассоциациями и еще ближе с экономическими печатными органами. Так как я сам нес ответственность за выпуск «Бюллетеня» ассоциации, то вступил в Союз берлинской прессы и оставался его членом до его роспуска при Гитлере.

Ассоциацию возглавлял Георг фон Сименс, основатель и первый директор Немецкого банка, с которым мы вместе работали по нескольку часов в день до его смерти в 1901 году.

Разъяснение и представление в прессе своих идей доставляло мне большое удовольствие. Менее приятным был, однако, тот факт, что пропагандистская работа ассоциации осуществлялась на менее рациональных основаниях и что борьба за торговые договоры велась, по необходимости, на массовых митингах при помощи политических лозунгов.

В течение этих двух лет мне пришлось выступать на многочисленных собраниях экономических группировок и профсоюзных ассамблеях. Поэтому я приобрел опыт не только в публичных выступлениях, но и в дискуссии. Однако я находил эксплуатацию такой деятельности в политических партийных целях нежелательной.

Когда в 1901 году меня попросили баллотироваться в рейхстаг на всеобщих выборах, я отказался в пользу своего коллеги, который в конце концов был успешно избран. Я стал интересоваться чисто экономическими вопросами все более и более глубоко. Сохранял этот интерес всю свою жизнь и постоянно избегал заниматься односторонней партийной политикой. Это не значит, однако, что я уклонялся от участия в общественной жизни. В течение многих лет я входил в комитет Ассоциации молодых либералов, где имели обыкновение собираться молодые последователи Национально-либеральной партии. Эта организация представляла в рамках Национально-либеральной партии отчетливо прогрессивное течение, что нередко раздражало старых партийных боссов.

Глава 11

ВСТРЕЧИ С КРУПНЫМИ БАНКИРАМИ

Ассоциация торговых договоров стала весьма важным фактором в моей карьере. Я не только познакомился с выдающимися экономистами того времени, но они, со своей стороны, смогли увидеть меня за работой, а мой метод уже в то время, должно быть, приобрел весьма определенный характер.

Помню разговор с Георгом фон Сименсом по поводу коллеги, чья беспорядочная манера работы, очевидно, действовала ему на нервы.

— Посмотрите, герр Шахт, как работает ваш коллега, — сказал он, и его указательный палец стал барабанить по столу в разных направлениях. Затем он резко отдернул руку и взглянул на меня. — А вот как работаете вы. — На этот раз его палец прочертил на поверхности прямую энергичную линию.

Поскольку я явно не производил плохого впечатления, то заранее предполагал, что в свое время разные члены совета управляющих сделают мне предложения о трудоустройстве, не все из которых будут привлекательными, но некоторые из этих предложений, во всяком случае, меня очень заинтересуют.

Случилось так, что принц Эрнст Гюнтер из Шлезвиг-Гольштейна, шурин императора Вильгельма II, поручил своему адъютанту повидаться со мной и пригласить на собеседование.

Принц принял меня в своей берлинской резиденции и полчаса стоя разговаривал со мной с сигарой во рту, производя на меня впечатление спокойного, почти застенчивого человека. Его замысел состоял в том, чтобы назначить меня управляющим его имуществом и финансами, — несомненно, должность почетная, но не вполне меня удовлетворившая.

В начале 1903 года появилась возможность моего устройства в Южногерманской торговой палате в качестве уполномоченного палаты. Вскоре после этого старый Эмиль Ратенау пригласил меня поступить вместе с ним на работу в компанию Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. Я собрался было согласиться. Но третье предложение привлекло меня еще больше. Вальдемар Мюллер, тайный советник и член правления Дрезднер-банка, предложил мне должность в этом учреждении.

Мне казалось, что работа в одном из крупных немецких банков откроет для меня широчайшие возможности для глубокого постижения экономики. Главные немецкие банки занимались не только депозитными и текущими счетами, как в случае с банками Англии. Их деятельность охватывала огромный ряд операций, включая финансирование промышленных предприятий, учет и распределение акций и бонов заводов, транспортных фирм, приходов и общин, провинций и целых земель.

Мое фактическое назначение не обошлось без забавной сцены. Я сидел напротив Мюллера, который задал мне роковой вопрос:

— Сколько вы зарабатывали до сих пор, доктор Шахт?

— Восемь тысяч восемьсот марок в год, — ответил я не без некоторой гордости. Тремя годами раньше я начал с месячной зарплаты в сто марок.

— *Сколько?* — недоверчиво переспросил Мюллер.

Я пояснил:

— Шесть тысяч марок как уполномоченный ассоциации, две тысячи восемьсот от журналистской деятельности.

Мюллер покачал головой.

— Даже наши старшие служащие не зарабатывают столько, — сказал он. — Я не могу платить вам больше, чем руководящему работнику банка!

— Платите мне столько, сколько считаете справедливым, герр, и не волнуйтесь. Уверен, что через год вы будете платить мне столько же, сколько я зарабатывал до работы в банке.

Он согласился. Мое пророчество также осуществилось.

Работа в Дрезднер-банке обеспечила, более чем когда-либо, мое личное знакомство с порядочным числом влиятельных банкиров того времени. Первые такие знакомства начались благодаря моему сотрудничеству с Георгом фон Сименсом. Он был одним из крупных зачинателей взаимодействия между банками и промышленностью. В 1868 году, еще молодым человеком, он отправился в Тегеран по просьбе своего знаменитого кузена Вернера фон Сименса участвовать в сооружении большой сухопутной телеграфной системы Индоевропейской телеграфной компании. Несомненно, именно благодаря этому первому опыту строительства на Востоке Георг фон Сименс

обратил внимание на турецко-арабские дела, добившись здесь большого успеха. Всякий, кто хоть однажды попадал под обаяние Востока, никогда не мог от него оторваться.

По возвращении Сименс вместе с Бамбергером и Штайнталем основал Немецкий банк. Однажды при случае он заметил с юмором, что, когда был основан банк, его первым желанием было найти в словаре разницу между «бумагой» (то есть дисконтными счетами) и «деньгами». Эти два понятия известны теперь каждому банковскому служащему. Однако его невежество не нанесло банку вреда, ибо в течение следующих тридцати лет он стал крупнейшим предприятием подобного рода в Германии.

Банк стал главным соперником фирмы Diskontegesellschaft, которая в силу своей приверженности историческим традициям, вероятно, была несколько менее поворотлива. В то время, когда я уже стал председателем Имперского банка, Немецкий банк ее поглотил. Кроме них имелся Дрезднер-банк под импульсивным руководством Евгения Гутмана, которому при всей его дерзновенности всегда удавалась безопасная проводка своего корабля сквозь бури деловой жизни, так что сегодня банк держится, как всегда, устойчиво. Между тем банк «Дармштадт» объединился с Национальным банком под названием Данат-банк, который испустил дух во время кризиса 1931 года, поглощенный Дрезднер-банком.

Многие меткие замечания ведущих берлинских банкиров, вошедшие в экономическую историю, следует считать не только остроумными выражениями, но и наблюдениями, которые часто содержали долю правды. Один из хорошо известных метких ответов принадлежит Георгу фон Сименсу. Некто однажды спросил его, что он будет делать, если все клиенты банка разом снимут свои вклады с его счетов. Сименс со своей неизменной сигарой во рту холодно ответил:

— Я выйду на балкон, повернусь и покажу людям спину.

Язвительный ответ на нелепый вопрос. Весьма маловероятно, чтобы кто-нибудь пожелал забрать все свои деньги из совершенно здорового банка. Что он будет делать со своими деньгами? В лучшем случае положит их в другой банк, и оттуда они снова будут перераспределены. Накопленные деньги не приносят пользы кому-либо, если не участвуют в деловом

обороте. Именно для него в конечном счете и существуют деньги.

Мой шеф Евгений Гутман был не просто очень умным и находчивым банкиром, он был человеком, чье великодушие дарило блага не только клиентам банка, но и его сотрудникам. После того как я успешно завершил свою первую трудную деловую операцию — переговоры о предоставлении крупного иностранного кредита Берлинской фондовой бирже, — он вручил мне в качестве премии банкноту в тысячу марок. Это была моя первая тысяча одной банкнотой.

Одним из ведущих банкиров, оказавших неоценимую услугу немецкой промышленности, был Карл Фюрстенберг, владелец компании *Berliner Handelsgesellschaft*. Эта компания никогда не заводила филиалов: ее раз и навсегда учрежденный офис в Берлине осуществлял контакты с большим числом немецких промышленных предприятий и участвовал в финансовых операциях с несколькими зарубежными странами. Например, привлечение сербских кредитов на Берлинскую фондовую биржу является заслугой Фюрстенберга. Его компания была связана со всеми крупными сделками с иностранцами, среди которых, между прочим, было предоставление кредитов России берлинским банкирским домом «Мендельсон и К^о». Фюрстенберг владел компанией с ограниченной ответственностью, в которой партнеры несли ответственность в той мере, в какой им позволяли это собственные средства. Вот почему Фюрстенберг ответил человеку, который обратился к нему как «герр директор»:

— Я не директор. Я лишь несу ответственность за управление.

Фюрстенберг не любил титулы и внешний блеск. Вероятно, самую лучшую свою остроумность он произнес в связи с делом *Hibernia*, о котором еще пойдет речь. Эмиссар Имперского суда пришел к нему справиться, учредил ли Карл Фюрстенберг более крупный магазин по предписанию или праву собственности.

— По праву собственности, — сказал банкир.

— Какое право вы имеете в виду?

— Существует только одно право, которое вы можете и не можете мне дать.

— Что же это? — допытывался эмиссар.

— Советник консистории! — ответил Карл Фюрстенберг. Он был евреем и никогда не скрывал этого.

Другим весьма уважаемым банкиром того времени был Франц Урбиг из Diskontegesellschaft. Он начинал карьеру судебным исполнителем и благодаря своим исключительным способностям пробился в управляющие. Продолжительное время работал в Германо-Азиатском банке в Китае. Финансирование китайской Шанхайской железной дороги, главным образом, дело его рук.

В моем собственном Дрезднер-банке отличался эффективностью работы Генри Натан. Он принадлежал к категории банкиров, которые выдвинулись в своей профессии без посторонней поддержки. Никогда не встречал другого управляющего банка, который был бы так хорошо осведомлен по множеству разных вопросов, как Генри Натан. В то время как большинство управляющих имели обыкновение специализироваться в той или иной области, не было ни одной банковской операции, которой Генри Натан не владел бы практически во всех деталях.

Вышеупомянутые деятели представляют существенный сегмент старого поколения ведущих банкиров, работавших в годы моей молодости. Именно им принадлежит заслуга того, что Берлин занял такую же позицию в мире финансов и банков, как Лондон, Нью-Йорк и Париж. Именно их заслугой является то, что Берлинская фондовая биржа приобрела международную известность, а ее котировки и оборот воспринимаются так же, как и на других ведущих биржах.

Сегодня люди склонны преуменьшать значение биржи в экономических делах. Конечно, на бирже неизбежно широко ведется спекулятивная игра. Но это не должно побуждать к недооценке значения фондового рынка, организованного по правилам фондовой биржи, для финансирования всей экономической системы страны.

Глава 12

ДРЕЗДНЕР-БАНК

Мое назначение в Дрезднер-банк пришлось на период испытаний этого финансового института во время кризиса 1901 года. В тот период рухнул из-за выдачи чрезмерных кредитов авантюрным промышленным предприятиям Лейпцигер-банк, старое, высокоуважаемое учреждение Саксонии.

Это был типичный банковский крах, вызванный неосмотрительным расширением кредитных операций. Предприятием, которому удалось фактически разрушить такое финансовое учреждение, как Лейпцигер-банк, явился винокуренный завод в Касселе, а ответственность за это несут, конечно, безрассудные спекулянты, а не инженеры. Замысел состоял в том, чтобы использовать установки для производства вина и бренди. С этой целью руководство завода заняло в банке значительные суммы денег. Когда позднее выяснилось, что этого недостаточно, директора банка выдали дополнительные кредиты, чтобы наладить производство. В результате произошел полный коллапс, наплыв требований клиентов банка на депозитные счета и в конечном счете объявление банком своей несостоятельности.

Как раз в это время на арену вышел предприимчивый Георг фон Сименс. Вместе с Немецким банком он выкупил Лейпцигер-банк на льготных условиях и в течение суток открыл новое отделение своего банка в офисах обанкротившегося учреждения. Клиенты, получившие свои деньги, успокоились, наплыв на счета прекратился. Таков был конец Лейпцигер-банка.

Дрезднер-банк, официально утвердившийся в Саксонии, сильно пострадал из-за этого краха. Доверие саксонских предприятий внезапно улетучилось. Газеты сосредоточили свое внимание на третьем из крупнейших банков Германии и подвергли его жесточайшей критике. Но управляющему банком Евгению Гутману удалось благополучно провести свой корабль сквозь бурю. В итоге возникла потребность укрепить контакты с обществом.

В наше время важность таких контактов признается и положение о связях с общественностью предусматривается во всех крупных предприятиях. Однако в тот период это легло в Дрезднер-банке на мои плечи, и я охотно этим занялся.

Среди газет, особенно критиковавших Дрезднер-банк, и не всегда объективно, была Berliner Morgenpost. Стоило Дрезднер-банку предложить какие-нибудь акции или облигации, как можно было быть уверенным, что в Morgenpost появился какой-нибудь уничижительный комментарий. Впрочем, издатели охотно принимали заказы на размещение рекламы таких акций и облигаций от разных банков на страницах газеты. Критическое отношение Morgenpost к Дрезднер-банку, следо-

вательно, не мешало газете постоянно помещать его рекламу. Поняв это, я решил взять быка за рога и полностью прекратил размещение рекламы банковских операций в Morgenpost. Поскольку мое положение в учреждении представлялось мне довольно независимым, я пошел на этот шаг без уведомления начальства. Результатов не пришлось долго ждать. Правление банка получило письмо с жалобой от главы издательской фирмы Луиса Ульштайна. Меня вызвали для дачи объяснений к Евгению Гутману. Я попросил его оставить ведение дела на мою ответственность, и он согласился. После этого я немедленно сообщил о своем намерении посетить герра Ульштайна.

В то время издательство Ульштайна представляло собой влиятельную силу, а имя его главы имело значительный вес. Но я все равно не собирался уступить шантажу.

Сначала пришлось выслушать назидательную речь герра Ульштайна, который разъяснял, что нельзя отказываться от помещения рекламы в такой солидной газете, как Morgenpost, и продолжать делать это в других газетах. Я прервал эту проповедь замечанием, что другие газеты гораздо менее предрасположены против Дрезднер-банка.

— Свобода прессы включает право критики по усмотрению редакторов, — веско ответил Ульштайн. — Кроме того, доктор Шахт, вам следует знать, что реклама и редакционные полосы газеты готовятся в совершенно разных отделах газеты и не имеют ничего общего друг с другом.

Если он полагал, что загнал таким образом меня в угол, то ошибался. Я привел в ответ аргумент, в обоснованности которого убежден по сей день.

— Что бы вы сказали, герр Ульштайн, если бы вы размещали в Берлине рекламу «Покупайте Morgenpost!», а чуть ниже кто-нибудь постоянно приписывал бы: «Худшая газета в Берлине!»? Стали бы вы продолжать тратить немалые деньги на такую рекламу?

— Это не одно и то же, — возразил он, несколько пораженный.

— Как же вы можете ожидать, герр Ульштайн, моего согласия на то, чтобы на третьей странице Morgenpost рекламировался выпуск акций и облигаций, когда на четвертой странице ваш финансовый редактор ссылается на эти же акции и облигации как на малоценные бумаги?

Моя позиция была сильнее, и он признал это. Конечно, я понимал не хуже его, что реклама и редакционные материалы газеты — вещи разные, как различные пары туфель. Многие годы я напряженно изучал журналистику и знал, что зависимость от рекламы — источник разложения свободной прессы. Но входить во все детали проблемы было бы очень сложно. Я предпочел держаться более простых и эффективных методов.

И я достиг цели. Мир между издателями Morgenpost и Дрезднер-банком был восстановлен и упрочен. Позднее у нас с Ульштайном сложились прекрасные отношения. Помимо прочего, Франц Ульштайн, брат Луиса, был членом моего клуба в студенческие годы. Неоспоримо то, что Ульштайны проделали огромную работу для повышения репутации и значения немецкой прессы. Я искренне обрадовался, когда пришли вести о том, что они возобновили свою работу в 1951 году.

Второй круг обязанностей, которые выпали на мою долю в Дрезднер-банке, заключался в подготовке проспектов по выпуску ценных бумаг, предлагавшихся фондовой бирже. Все, желавшие того, чтобы их акции и бонды котировались на Берлинской фондовой бирже, то есть находились под государственным наблюдением присяжного маклера, были обязаны зарегистрировать свои ценные бумаги в управлении сдачи-приемки Берлинской фондовой биржи. С этой целью представители банка выпускали проспект, который должен был содержать точное описание вида и характера ценных бумаг, так же как и эмитентов, то есть промышленных, транспортных или коммерческих предприятий, провинциальных и иных государственных корпораций, ипотечных банков.

Эти проспекты часто содержали полдюжины страниц, и особое внимание уделялось тому, чтобы в них были включены все детали, необходимые для определения стоимости ценных бумаг. Они составлялись, следовательно, в тесном контакте с эмитентами или перспективными корпорациями.

Из-за этого мне приходилось связываться с большим числом подобных учреждений. Я научился читать и оценивать балансовые счета и устранять двусмысленности. Узнавал, как различные предприятия вели свои дела. Погружался в муниципальный и государственный бюджет, приобретал способность проникать в суть управления государственными финан-

сами. За тринадцать лет работы в Дрезднер-банке не было издано ни одного проспекта без моего участия.

Вскоре я настолько поднаторел в своей сфере, что представители малых банков временами приходили в мой отдел и просили подготовить проспекты для них. В результате этой деятельности меня избрали через несколько лет в управление сдачи-приемки биржи.

В дополнение к своим функциям в области общественных связей и подготовки проспектов я выбрал третью сферу деятельности, в которой мог найти практическое применение своим прежним знаниям. Каждый большой банк в то время располагал так называемым «архивом», где хранились деловые отчеты большинства акционерных обществ с ограниченной ответственностью, информация о бюджетах государственных корпораций и тому подобный материал.

Со времени жизни в Париже я знал, что некоторые из главных французских банков в дополнение к такому специальному материалу собирали и использовали общие экономические данные. В определенной степени к этому стали прибегать и архивисты немецких банков. Я стремился обеспечить Дрезднер-банк собранием литературы по политической экономии и использовать ее в интересах нашей клиентуры. Начал с публикации ежемесячных обзоров развития немецкой и ряда зарубежных экономик, которые объединял в виде кратких статистических подборок. Эти обзоры регулярно прилагались к письмам для наших клиентов и вскоре стали объектами оживленной дискуссии. В наше время такого рода экономическая информация публикуется всеми крупными банками в обязательном порядке. Кроме статистических обзоров выпускались бюллетени о состоянии рынков, информация о других странах, касающаяся экономических условий, рекомендации по экспорту и другие данные подобного характера.

Но, как бы ни было это все интересно, всепоглощающей страстью для меня стала текущая практическая сторона банковского дела, и через несколько лет после моего поступления на работу в банк правление удовлетворило мое стремление. В течение целого года мне позволили работать поочередно в каждом отделе банка, чтобы освоиться в текущей банковской деятельности. Не бросал я и свою обычную работу. Просто пришлось удвоить свое рабочее время, приходя в банк в ранние утренние часы перед его открытием, исключив полуденный

перерыв и оставаясь вечером, чтобы заняться вопросами, которые решались обычно в течение рабочего дня. Я почти не виделся с семьей и мало спал в этот год, но к концу его я освоил работу всех отделов банка. В тот период я не только работал с корреспонденцией и бухгалтерским учетом и учился, как защищать облигации и акции, а также управлять ими, но и выполнял, кроме этого, функции кассира и обслуживал клиентуру за стойкой, учитывал векселя и подсчитывал зарубежную наличность. Короче говоря, в банке не осталось ни одного сектора, с работой которого я не был бы знаком.

Гвоздем программы этого учебного года было посещение фондовой биржи. Мне пришлось учиться пробивать себе путь в этом дьявольском котле! Конечно, биржевые залы и процедуры не были для меня тайной за семью печатями: работа над проспектами уже приводила меня на фондовую биржу. Теперь же я учился покупке и продаже ценных бумаг, общению с брокерами и клиентами.

Берлинская биржа располагалась в прекрасном здании. В полдень сотни дилеров, занимавшихся ценными бумагами и товарами, собирались в трех огромных залах. В центре были установлены ограждения, за которыми присяжные брокеры определяли цены в соответствии со спросом и предложением покупателей. Вдоль стен стояли столы банкирских домов и покупателей товаров. В горячие дни здесь царил столпотворение. В период безделья мы коротали время в разговорах и шутках.

Я всегда подчеркивал безусловную необходимость существования фондовой биржи. Это организованный рынок, который обеспечивает циркуляцию денег и дает возможность финансирования национальных предприятий путем продажи ценных бумаг. Там, где отсутствует эффективная фондовая биржа, экономика в целом страдает от нехватки финансовых возможностей. А это влияет не только на торговлю и промышленность, но также на государственные предприятия, которые зависят от договорных кредитов. Я не видел пользы от спекулятивных сделок тех людей, единственным стремлением которых было дешево купить ценные бумаги и затем побыстрее продать их как можно дороже. Всю свою жизнь я избегал любого рода биржевых спекуляций.

Наиболее популярными средствами спекуляции были временные сделки, которые не должны были заключаться до

конца месяца и, соответственно, давали возможность получить прибыль от сделки — по купле или продаже — посредством второй покупки или продажи. Оглядываясь сегодня на свою пятидесятилетнюю банковскую деятельность, могу с удовлетворением утверждать, что я никогда не заключал таких сделок от своего имени.

К огромным потерям, которые мы понесли в результате коллапса 1945 года, следует отнести уничтожение германской — в частности, Берлинской — фондовой биржи. От потери этого организованного рынка капиталов пострадала не только вся германская экономика, но и общины Федеративной Республики, а также немецкие государственные корпорации. На каждом шагу мы ощущаем недостаток денег для большинства крайне необходимых инвестиций, а любые наличные фонды или те, которые могли быть собраны, рассеиваются и дробятся из-за отсутствия централизованной рыночной организации. Возможно, даже большей потерей является утрата международного влияния и престижа, которыми германские биржи пользовались до катастрофы во Второй мировой войне.

Именно году ученичества банковскому делу я обязан тем, что в тридцать два года стал уже номинальным управляющим Дрезднер-банка и был повышен в должности до директора филиала.

Особенным успехом для меня было заключение в 1905 году сделки между Дрезднер-банком и нью-йоркской банковской фирмой «Морган и К^о». С немецкой стороны переговоры вел племянник Евгения Гутмана, член нашего правления. Его звали Ганс Шустер, он был швейцарцем по национальности. Его отец — знаменитый строитель железной дороги через Сен-Готард. Вероятно, он занял свою должность в Дрезднер-банке благодаря женитьбе на дочери Гутмана, которая отличалась не только красотой, но и чрезвычайной одаренностью.

Однажды Шустер позвал меня.

— Доктор Шахт, — бросил он отрывисто, — я намерен ехать в Нью-Йорк по делам банка и нуждаюсь в секретаре. Не хотите ли поехать со мной?

Трудно выразить, как обрадовало меня это предложение. Я даже не смутился, когда Шустер поинтересовался уровнем

моего знания английского языка. Ответил скорее самоуверенно, чем точно. Желание ознакомиться с еще одним сектором политэкономии мира смешалось с интересом к стране, которой я обязан своими христианскими именами Горас Грили.

Среди пассажиров трансатлантической поездки были известные артисты, из которых достаточно упомянуть, наверное, одного Карузо.

Я, должно быть, один из немногих сохранившихся немцев, которые могут похвастаться, что играли с Карузо в шаффлборд. Я проиграл человеку с феноменальным голосом.

Шустер был в Соединенных Штатах далеко не в первый раз и поэтому не имел желаний продлевать свое пребывание в Нью-Йорке. Однако он был достаточно любезным, чтобы освободить меня от дел в воскресенье, дабы я мог посмотреть Ниагарский водопад, который в то время составлял одну из немногих достопримечательностей Америки, действительно заслуживавших внимания. С тех пор к ним прибавилось много других. Однажды Шустер собрался ехать в Вашингтон засвидетельствовать уважение президенту Теодору Рузвельту. Я был приглашен сопровождать его. Потом, во время своей поездки в Вашингтон в 1933 году, я мог сообщить президенту Франклину Рузвельту, что видел его дядю в этих самых комнатах двадцать восемь лет назад.

Но еще большее впечатление, чем индейские «громовые воды» и «громовержец» в Белом доме, произвело на меня семидневное пребывание в офисах «Морган и К°». В то время фирма размещалась еще в старом угловом здании на Уолл-стрит. Весь офис помещался в единственной комнате на первом этаже. Там за дюжиной столов работали сотрудники фирмы. Стеклянные перегородки отгораживали часть пространства комнаты для заведующих отделами. Вопрос о предварительном уведомлении о приходе посетителей не стоял, в ожидании необходимости не было, отсутствовали приемные. Увидев, что заведующий свободен, можно было подойти прямо к его столу. Отношения между начальниками и сотрудниками были неформальные и непринужденные, не теряя при этом уважительности.

Заведующие вместе обедали в маленькой комнате, когда мы с Шустером пришли и присоединились к ним. В ходе близкого общения я мог познакомиться сразу со всеми. Насколько мне известно, сейчас все они уже умерли. В послед-

ний раз я видел сына Моргана, Джека, в 1930 году в Гааге, а его замечательного коллегу Томаса Лэмонта — в Гейдельберге в 1934 году. Четыре месяца мы поработали вместе с Джеком весной 1929 года на парижской конференции, обсуждавшей план Янга. Несмотря на его доброту и обаяние, он не мог сравниться со своим великим отцом.

В 1905 году, когда мы с Шустером были в Нью-Йорке, старый Джон Пирпонт Морган находился в зените своей славы. Благодаря своей беспрецедентной дальновидности он вывел свою фирму на уровень колоссального богатства и влияния. Однажды я спросил его, чем он объясняет поразительный взлет своей фирмы. Ответ был характерным для этого человека, и в последующие годы работы я неизменно руководствовался им.

— Я всегда, — сказал Морган, — верил в экономическое будущее своей страны.

По внешнему виду это был широкоплечий великан геркулесовского сложения. Сын Джек унаследовал его фигуру. На его грубоватом лице особенно выделялся крупный, мясистый нос. Я видел другой такой нос лишь однажды. Им обладал Август Тиссен перед тем, как сделал пластическую операцию. Контраст между этим носом Джека, как у Сирано, и добрыми, умными глазами поражал тем более. Все, кто общался с Морганом, попадали под его обаяние.

Одним из самых любопытных примеров делового предприятия, осуществлявшегося в то время в Германии, была попытка властей Пруссии приобрести контрольный пакет акций в компании *Hibernia Coal Mines*. Причиной этого было, видимо, желание обеспечить железные дороги углем на условиях, исключающих колебания цен. Мюллер-Бракведе, тогдашний министр торговли Пруссии, доверительно поручил Дрезднер-банку скупить для прусской казны на фондовой бирже акции *Hibernia*.

Хотя поручение выполнялось в величайшем секрете и по возможности ненавязчиво, невозможно было скрыть тот факт, что имелся постоянный покупатель акций *Hibernia*. Цены акций постепенно росли, но без скачков. Фирма *Berliner Handelsgesellschaft*, которая вела все финансовые дела *Hibernia*, почуяла что-то неладное. Карл Фюрстенберг был не настолько

предан властям и инертен, чтобы стоять пассивно в сторонке, позволив коллеге увести компанию Hibernia. Дело было слишком важным, чтобы потворствовать в этом Евгению Гутману с его Дрезднер-банком. Поэтому Фюрстенберг вместе с другими заинтересованными банками начал скупать акции компании. Вскоре началось состязание, и нельзя было сказать, который из двух банков приобретет со временем контрольный пакет. Финансирование закупок породило затруднения, но не для Дрезднер-банка, который пользовался государственными фондами, а для Handelsgesellschaft и ассоциированных с ней банков.

Тогда Карл Фюрстенберг прибегнул к спасительной идее, которую можно счесть гениальной. Акции холдинга Hibernia его группы были обращены в ценные бумаги компании с ограниченной ответственностью Herne G.m.b.H. С помощью этих акций выпускаются облигации 4-процентного государственного займа под обеспечение Herne G.m.b.H. На выручку от займа банки Фюрстенберга смогли возобновить свои закупки.

В конечном итоге Фюрстенберг оказался победителем. Контрольный пакет акций оказался в его распоряжении. Власти смирились с провалом и закрыли дело тем, что наградили Карла Фюрстенберга орденом Красного орла 3-й степени, а герра Евгения Гутмана — тем же орденом 4-й степени.

Другая финансовая операция, в которой я принимал участие, работая в Дрезднер-банке, особенно типична. Она показывает, как в Германии того времени сотрудничали банки и промышленность для продвижения экспортной торговли.

Вопрос касался сооружения первой крупной электростанции в районе Витватерсранда в Южной Африке. В Англии создали компанию с целью эксплуатации гигантских энергетических возможностей водопада Виктория на реке Замбези и попросили Генеральную электрическую компанию (АЕГ) со штаб-квартирой в Берлине дать экспертную оценку проекта. Оказалось, что ставить турбины у водопада Виктория и вести линии электропередачи в район шахт близ Йоханнесбурга просто невыгодно. С другой стороны, использование больших угольных запасов Витватерсранда посредством паровых установок обещало экономические преимущества. Поэтому компания Victoria Falls заключила соглашение с берлинской компанией по сооружению электростанции, рабо-

тающей на угле Витватерсранда; между тем британская компания сохранила свое привлекательное название в качестве приманки для будущих акционеров. Необходимый капитал был собран в Германии посредством займа, выпущенного Дрезднер-банком, а заказ AEG был оплачен из ее выручки. Компания сильно выросла в размерах и все еще действует как явно платежеспособное предприятие, в то время как огромные водные массы водопада Виктория обрушиваются стремглав вниз без всяких препятствий.

Глава 13

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Несмотря на то что я, будучи пятиклассником гимназии, потратил в 1893 году непропорционально большую сумму на велосипед, моим любимым увлечением всю жизнь была ходьба. Именно благодаря таким пешим прогулкам я могу в возрасте семидесяти шести лет ежедневно курить безнаказанно свои сигары и оставаться не подверженным болезням цивилизации, порождаемым сидячим времяпрепровождением.

В третий семестр студенческой учебы я закончил свое пребывание в Мюнхене продолжительным путешествием через Альпы до Милана. Каким бы значительным мне ни казалось это героическое предприятие в девятнадцатилетнем возрасте, оно выглядит легкой прогулкой по сравнению с другим путешествием 1902 года из Владикавказа через Кавказский хребет в Тифлис, и далее в Эчмиадзин, резиденцию патриарха Армении, и снова через холодный Кавказ по горному перевалу Бечо к черноморскому порту Новороссийск.

Из трех поездок на Восток, которые я совершил в период между 1902 и 1909 годами, эта была наиболее трудной и вместе с тем наиболее прекрасной. Ее организовал Пауль Рорбах. Он собрал для нее группу из девяти молодых людей. Одним из них был Хело фон Герлах, единственный депутат рейхстага в 1896 году от Национал-социального союза Фридриха Наумана. Остальные шесть путешественников также входили в организацию Наумана. В старых номерах *Die Zeit*, первого журнала, опубликованного Науманом между 1901 и 1903 годами, содержится живописный словесный и графический отчет о нашей экспедиции, написанный рукой самого Рорбаха.

Паулю Рорбаху, хорошо известному журналисту и политику, было в то время тридцать три года. Он дружил с Науманом, которого я тоже знал. Фридрих Науман и его учитель Штокер были реформаторами евангелического толка, но если Штокер был консерватором, то Науман посвятил себя и свои идеи либерально мыслящим группам. После Первой мировой войны Науман оказывал значительное влияние на разработку конституции Веймарской республики. Он умер в 1919 году. Одним из переживших его учеников является Теодор Хейс, ныне президент Федеративной Республики Западной Германии (1949—1959).

Я не принадлежал к кругу соратников Наумана, хотя и был близким другом одного-двух из них. Группа, которая ставит себе целью сплотить такие разные слои общества, как промышленные рабочие и представители консервативных кругов, должна ясно себе представлять, что подобная цель несовместима с политикой «нежелания нанести обиду».

С точки зрения партийной политики трудно примирить такие конфликтующие идеи, как консервативное христианство, монархическая традиция, национальное самоутверждение, терпимость, прогресс либерального толка и социальная справедливость. Поэтому было неизбежно, что последователи Наумана очень скоро разделились на различные политические партии. Его собственные ученики распределились частью среди социал-демократов, частью среди свободно мыслящих или других более правых группировок. Лица, входившие в круг сторонников Наумана, были порядочными, благонамеренными людьми, которых было бы приятно числить среди своих друзей, но их менталитет не вызывал горячего энтузиазма.

Описание наших путешествий Рорбахом начинается так.

«Между Берлином и Кавказом цивилизация теперь не кончается. Верно, что ее нить все истончается и истончается... но она еще держится — поскольку тянется между ними железная дорога». Эти строки, написанные в 1902 году, содержат мысли, которые сегодня нам кажутся весьма пророческими.

Во время путешествия Хело фон Герлах был душой компании. Хотя он был старше любого из нас, но при всей разнице в возрасте легко переносил холод, голод и ужасные ливни, из-за которых мы неоднократно промокали до нитки. Даже утраты рюкзака, украденного каким-то ушлым негодя-

ем, не было достаточно, чтобы омрачить его добродушный нрав более чем на мгновение. Встретившись с ним снова через много лет, я был поражен изменениями, которые произвела в нем война. Старый, озлобленный и одинокий, он занимался разработкой странных радикальных программ социального переустройства и совершенно утратил связь с внешним миром. Он был замечательным компаньоном, прочно стоявшим на ногах, в мирные годы перед войной...

Рорбах начинал карьеру с изучения теологии. Широко образованный, он глубоко проникал в действительность. На полпути между Россией и Турцией, этими двумя великими по философским воззрениям на мир антагонистами в Средневековье, он с живым интересом наблюдал за всеми военными сооружениями и привлек мое внимание к жалкому состоянию артиллерийских батарей вдоль побережья Турции, что я и сам отмечал позднее. Меня поражала пронизательность, с которой он оценивал шансы этих двух противников на берегах Черного моря.

— В наши дни (1902 года) русский флот может оккупировать Босфор и захватить Константинополь, прежде чем западные державы даже заподозрят, что императорский флот вышел из Одессы, — заметил он однажды. Три жалких суденышка, которые составляли в то время весь флот султана, имели бы мало шансов отразить нападение.

Это происходило до Турецкой революции, благодаря которой обстановка на Босфоре радикально изменилась. Когда, шесть лет спустя, я посетил Турцию, то обнаружил, что в стране началась новая, энергичная политика под властью лидеров младотурок. «Больной человек Европы» стал выздоравливать.

Поездка на Кавказ надолго запечатлелась в моей памяти. Когда годом позже я женился, моя супруга захотела, чтобы я рассказал ей о некоторых подробностях путешествия. Не сталкивались ли мы с забавными приключениями?

— О да, — отвечал я. — Самым забавным происшествием, случившимся во время путешествия, была встреча с русским геологом, искавшим серебро. Он присоединился к нашей пирушке и пел русские песни. Затем настоял на том, чтобы и мы пели вместе с ним немецкие песни. К сожалению, он знал только одну песню, поэтому мы пели ее снова и снова.

— И что это была за песня?

— «Стража на Рейне». Представь себе — в центре холодного Кавказа!..

Сегодня это звучит как глубокомысленная притча...

После этой трудной поездки мое следующее путешествие — на Балканы — в 1906 году было обычной прогулкой. Я попросил отца поехать со мной. Мы проследовали через Черногорию, Боснию и Герцеговину. В то время мне было двадцать девять лет, и я успешно завершил свои первые банковские операции. Когда мы бродили по этим странам, казавшимся нам, западным «прогрессистам», сильно отставшими от современности, я размышлял над их экономическими проблемами.

— По сути, они те же, что и наши, — заметил наконец я.

— Ты так думаешь? — сказал отец. — У меня впечатление, что они живут в старой золотой эпохе. Много ремесел, мало заводов, плохие дороги, почти нет железных дорог и никаких банков.

— Да, — согласился я, — верно. Внешне все отличается от того, что у нас дома. Но возьми фундаментальные проблемы. Они здесь более очевидны, потому что проще. У народа меньше роскоши, меньше излишеств. Но, по существу, они такие же люди, как ты и я! То, чем не могут себя обеспечить, они вынуждены покупать. Поэтому стремятся зарабатывать деньги. Горец продает свой сыр, чтобы купить зерна на хлеб. Овцеводы продают шерсть и на выручку покупают еду. Их пища явно дешевле, чем наша, потребности скромнее, поэтому им нужно меньше денег. Но они действительно нуждаются в некотором количестве денег. То же самое с транспортом. Им нужно доставлять свои товары из одного места в другое, поэтому они строят дороги. Товарооборот не такой, как в нашей промышленно развитой Германии, поэтому они могут оставлять свои дороги в худшем состоянии. Но обойтись без них они не могут. У них свои праздники, свои неблагоприятные сезоны, поэтому они должны запастись какой-то провизией... точно так же, как мы. Все так же, как у нас дома, различается лишь уровень жизни.

— Если рассуждать таким образом, — возразил отец, — то можно найти фундаментальные экономические проблемы даже среди бушменов.

— Убежден, — сказал я, — что найду их и среди бушменов. Цивилизация не создает новых проблем, просто она активизирует старые проблемы, вечные проблемы человечества...

Когда в дальнейшем я сталкивался с экономическими задачами, казавшимися очень сложными и запутанными, то представлял себе, как те же самые проблемы возникают у первобытных народов. Я вспоминал свои наблюдения жизни балканских народов и кавказских племен и через некоторое время неизменно подходил к тому, что мог бы назвать фундаментальными факторами политической экономии. Тогда прояснялась структура проблемы, а вместе с этим и возможность ее решения.

Постоянным напоминанием о той летней поездке в Боснию стал боснийский костюм, который я сделал на заказ и надел на Берлинский колониальный бал. Он произвел большое впечатление своей оригинальностью. Боснийские штаны по колено тесно облегают бедра, но скроены очень широкими книзу, так что там они чрезвычайно просторны. Ни один берлинский портной не выполнял такой искусной работы. Едва ли я нашел бы себе по фигуре боснийский костюм в театральной костюмерной. Я ходил по различным базарам в Сараеве, заглядывал в маленькие магазинчики с крышей, но без передней стенки. Когда проходил мимо палатки портного, меня внезапно осенила мысль спросить его, сколько времени потребуется ему для пошивки костюма.

— Когда вы уезжаете? — спросил портной.

— Послезавтра, — ответил я.

— Я успею к этому времени, — сказал портной и взял свой сантиметр. — Входите, господин, я сниму с вас мерку. Снимите, пожалуйста, брюки.

Я снял брюки, и он обмерил меня. Весть о том, что в мастерской портного стоит без штанов клиент из далекой Германии, промчалась словно молния. Жители Сараева не могли пропустить такого зрелища.

То ли боснийские портные слишком долго снимают мерки, то ли именно этот портной не хотел лишать своих соотечественников уникального зрелища, не могу сказать определенно. Во всяком случае, я долго стоял в неглиже перед большой толпой, которая не упускала возможности дать совет. Но костюм заслуживал продолжительной мерки. Он подходил мне идеально. Мне не пришлось стыдиться своего появления на колониальном балу с чубуком и в феске...

В 1908 году я вступил в масонскую ложу. Масонство было традиционным в нашей семье. Мой отец входил в американ-

скую ложу. Прадед Христиан Ульрих Детлев фон Эггерс был одним из выдающихся масонов эпохи Просвещения.

Ни церемония вступления в старую прусскую ложу «Уrania к бессмертию» (Urania zur Unsterblichkite) в Берлине, ни мой дальнейший опыт в масонстве не убедили меня в том, что моя немецкая ложа была опасной международной организацией, которая заставляла своих членов подчиняться какому-то сатанинскому ритуалу. Подобные утверждения являются частью грязных сплетен, сочиняемых определенными людьми, которые спекулируют на невежестве обывательских масс и их любви к жутким историям. Масоны были некогда общиной, которая решительно противилась любой религиозной нетерпимости. Воинственные акции масонов восходят к эпохе Просвещения. Когда эта борьба была закончена, значение масонов уменьшилось. Сохранившиеся ложи служат лишь гуманному праву и социальной активности в целях укрепления дружеских связей.

В том, что масоны в других странах действительно принимали иногда активное участие в политике, я убедился во время поездки в Турцию вместе с Рорбахом и Эрнстом Йеком в 1909 году. Моя берлинская ложа дала мне адрес аптекаря, который был масоном и жил в Салониках. Поскольку я плохо ориентировался, то зашел в магазин на главной улице и справился, как пройти к дому аптекаря. Не прошло и десяти минут, как магазин заполнился десятками людей, всеми как один масонами. Они спрашивали, что могут сделать для меня. Разом я установил контакты с многочисленными жителями иностранного города. Это оказалось весьма полезным. Мои новые друзья посвятили меня в подоплеку младотурецкого движения и его борьбы против абсолютистской султанской власти Порты.

Так я узнал, что все лидеры младотурок были масонами и их тайные встречи происходили под покровом ложи — единственного места, свободного от шпионов.

Этот случай заставил меня задуматься. Я осознал, что масонство — конечно, не в Германии, но в других странах — иногда используется в политических целях, и понял причину неприязни к масонству в определенных кругах. Тем не менее должен еще раз подчеркнуть, что условия в Германии другие. Масоны старых прусских лож поддерживали идею сохранения государства посредством монархии.

Из Салоник наш путь лежал в Константинополь, где мы встретили большинство младотурецких лидеров.

Что я действительно привез с собой из этой поездки — в дополнение к турецкой награде и обилию впечатлений, — так это крайне опасную форму малярии, которая, что любопытно, не беспокоила меня до моего возвращения на родину, когда она мне отомстила. Так как доктора затруднялись определить, что со мной делать, мое состояние здоровья ухудшалось с каждым днем и я еле избежал «лихорадки черной воды». К счастью, прибыл мой брат Эдди, взял на себя заботу обо мне и отстранил трех известных в Берлине специалистов, которые меня лечили. Вместе с Филалетесом Куном, знаменитым авторитетом по тропическим болезням, которого прислал Рорбах, Эдди удалось снова поставить меня на ноги. Эта болезнь больше никогда меня не беспокоила.

Глава 14

МОЯ СЕМЬЯ

10 января 1903 года я женился на Луизе Сова, которую встретил семь лет назад в теннисном клубе. Мы обручились, когда мне было девятнадцать лет, а ей двадцать один. Затем, когда я вернулся годом позже с учебного семестра в Париже, мы расстроили помолвку. Мы поняли, что я слишком юн, чтобы брать на себя семейные обязательства. Наши отношения походили на те, что пережили мои мать и отец, — наша встреча состоялась после долгой разлуки.

Когда после перерыва в пять лет я увидел осенью 1902 года Луизу снова, то уже занимал блестящее положение. Я зарабатывал больше своего отца, и ничто не могло помешать мне завести семью. Луиза привлекала меня не меньше, чем в первый день нашей встречи. Мы возобновили прогулки по берегам Шлахтензее, катались вместе на коньках и вскоре были официально помолвлены.

К тому времени умер отец Луизы. Инспектор Сова в течение многих лет был непосредственным воплощением имперской власти в Потсдаме и, очевидно, в это время приобрел почти патологическое недоверие ко всему человечеству. Во всяком случае, он ревниво следил за своими двумя дочерьми. При его жизни мы с Луизой были вынуждены искать

любое убежище для того, чтобы встретиться. Временами непоколебимое чувство приличия прусского инспектора уголовной полиции представляло для любящей пары трудное испытание.

Когда мы встретились снова, препятствий к быстрой помолвке больше не было. Практичная Луиза стала подыскивать квартиру, где мы могли бы жить. Когда она нашла в Берлин-Фриденау квартиру, которая мне понравилась, мы назначили дату свадьбы и поженились за двенадцать дней до моего двадцать шестого дня рождения.

Первый год нашей совместной жизни оказался богатым событиями. Я сменил политическую экономию на банковское дело, и в ноябре родился наш первенец — Инга.

Занявшись банковской деятельностью, я был вынужден много работать и уделял мало внимания своей первой семье. По утрам я ездил омнибусом — затем электрическим трамваем — в Дрезднер-банк, а вечером приходил домой и садился за письменный стол, чтобы писать обзоры книг и статьи в два «Ежегодника».

Не думаю, что я был покладистым мужем. Не в моем характере было вести комфортное буржуазное существование. Даже сегодня я честолюбив. В то же время я постоянно находился в поисках новых рубежей или был погружен в обдумывание собственных идей.

Луиза проявляла большое понимание значения моей работы. Она обладала даром легкой адаптации к любым обстоятельствам, была прекрасной домашней хозяйкой, глубоко заинтересованной в успехе моих дел. Когда позднее я вырвался из частной жизни в сферу политики и государственной службы, она приняла эти перемены как должное. В прежние годы стройная, темноволосая теннисистка и любительница катания на коньках, она стала с течением времени очень заметной и остроумной дамой общества. Она рано поседела — серебристо-белые волосы составляли разительный контраст ее темным глазам и бровям.

Мы не были склонны к уединению. Мы навещали друзей или приглашали их к себе. Временами устраивали танцевальные вечера, ходили на вечеринки, регулярно посещали Бал прессы, являвшийся одним из крупнейших общественных мероприятий года. Летом мы выезжали на отдых за город, а во время моего отпуска путешествовали по Франции, Бель-

гии, Голландии, странам Средиземноморья и даже как-то раз съездили в Соединенные Штаты.

Однако, несмотря на приятные интервалы, основой нашей семейной жизни была работа. Я уже упоминал, что через шесть лет после поступления на работу в Дрезднер-банк стал номинальным управляющим и по совместительству управляющим филиала банка, получив в то же время дополнительное назначение в экономическом отделе. Годом раньше родился наш сын Йенс. Эти два события побудили нас построить свой дом — небольшую виллу с широким садом в Целендорфе, — где мы прожили пятнадцать лет.

После Первой мировой войны наш семейный круг увеличился в связи с женитьбами моих двух братьев. Эдди, доктор, женился на девушке-шведке, с которой впоследствии развелся, я помогал в воспитании его детей. Эдди несколько напоминал нашего деда, который тоже не особо заботился об обучении своих сыновей.

Примерно в то же время мой младший брат Олаф вернулся из Африки. Он следовал по стопам Эггерсов, аналогичным образом женился и до начала войны работал инженером в Камеруне и Южной Африке. Долгое пребывание в тропиках вкупе с военной службой подорвали его здоровье. Я подыскал ему работу в Берлине, но он недолго ею занимался. Однажды он сел в машину и выехал из Берлина вместе со своим старшим сыном. За городом неожиданно остановился, вышел из машины, сел у канавы и через несколько минут умер от сердечного удара.

Поскольку Олаф был далек от достатка, забота о его детях выпала на мою долю.

Когда я ездил в 1939 году в Индию, то взял с собой старшего сына Эдди, Свена. Он обладал литературными способностями, писал хорошие стихи, романы и короткие рассказы. Позднее он подверг критике нацистские законы, был арестован и брошен в концентрационный лагерь Маутхаузен, где умер в 1944 году. Тот факт, что его дядя занимал в это время пост министра, не помог — совсем наоборот. В то время на меня смотрели с большим подозрением партийные функционеры и гестапо.

Наш брак с Луизой, хотя и успешный, не обходился без разногласий, хотя поначалу они не воспринимались нами всерьез. Луиза унаследовала от отца тот узколобый прусский взгляд, который доходил иногда до фанатизма. Мое же воспитание

приучило меня прибегать к дипломатии, учитывать мнения других людей, пока это не затрагивало твердых принципов.

Эти разногласия не отразились бы на нашем семейном благополучии, если бы не вмешалась политика. Моя крайне праворадикальная жена порицала меня уже тогда, когда я поставил свою подпись под первым проектом плана Янга. Позже, когда к власти пришел Гитлер, она стала одной из самых горячих и преданных его сторонниц. С самого начала я относился к его движению весьма критически, но она и слышать не хотела хотя бы одного критического замечания в адрес Гитлера. В конце концов дело дошло до того, что она стала разглашать в обществе любую недоброжелательную реплику против режима, которую я произносил дома. Даже тогда, когда я предостерегал, что ее поступки могут поставить под угрозу мою жизнь, она не изменила своего поведения. Наконец я сделал решительный шаг и добился постановления суда о раздельном проживании супругов.

Это произошло в 1938 году, когда я стал объектом подозрительности в партии из-за своих оппозиционных высказываний. В эти месяцы я действовал как лидер государственного переворота, который провалила Мюнхенская конференция. Я вступил в сговор с генералами фон Вицлебенем и Гальдером в попытке покончить с катастрофической политикой властей решительным ударом. В этот период следовало взвешивать каждое слово. Любое неосторожное заявление моей жены могло привести меня на каторгу.

Таким образом, в последние годы я жил со своей женой раздельно, хотя мы часто встречались и беседовали. Затем она серьезно заболела. Я заехал проведать ее за неделю до ее смерти, и между нами состоялась сердечная беседа. В это время уже шла война. Доктора не знали причины ее болезни. Она лежала в госпитале Южной Германии и казалась вполне здоровой. Едва я вернулся в Берлин, как получил телеграмму о ее смерти. Мы прожили в браке тридцать семь лет.

Мои дети от первого брака пошли разными путями. Инга училась в женской гимназии и после сдачи экзаменов продолжила учебу в Гейдельбергском университете, где изучала политическую экономию. Она была типичной представительницей Шахтов. Это имя, как известно, идет из нижненемецкого диалекта, на котором слово «шахт» означает людей высоких и худых. В двадцать шесть лет она вышла замуж за

доктора Хильгера фон Шерпенберга из министерства иностранных дел, который работает сейчас постоянным секретарем федерального правительства.

Мой сын Йенс, младше Инги на семь лет, сдал выпускные экзамены в гимназии Арндт в Дахлеме и проучился несколько месяцев в университете, но переключился на работу в сфере бизнеса. Он начал с работы в банковской фирме «Мендельсон и К^о» в Берлине, затем год трудился в Штатах, в Первом национальном банке Чикаго, потом в концерне Флика и, наконец, в концерне Gutehoffnungshütte.

В годы войны он служил офицером. В течение нескольких дней перед капитуляцией побывал в коротком отпуске. Несколько старых друзей, которые предвидели неизбежный конец, попытались удержать его в Берлине, но чувство ответственности и честь мундира не позволили ему остаться. Он вернулся в свою роту и попал в плен вместе со своими солдатами. Друзья-офицеры, которым удалось спастись, рассказывали, что Йенс делил свою мизерную прибавку к еде как офицеру с солдатами своей роты, пропихивая ее через проволочное ограждение. Когда русские вывели пленников из лагеря и погнали долгим маршем на восток, он, должно быть, умер от истощения. Я больше ничего не слышал о нем. Он был спокойным, сдержанным, очень сообразительным человеком, из него мог бы получиться выдающийся экономист.

Семейная жизнь общественного деятеля не должна, по своей сути, описываться в мемуарах. Всегда возникает несоответствие между тем, что описывается как простое семейное счастье, и высоким служением в жизни любого человека, который за пределами своего семейного круга озабочен благополучием всей страны.

Только под властью императоров римляне, для которых публичная жизнь значила все, а семейная очень мало, начали изучать обстоятельства семейной жизни государственных деятелей — и наступил период упадка.

Доказательство того, что на ранней стадии моей семейной жизни мои помыслы не ограничивались деятельностью управляющего банком, представил много лет назад один мой друг. Он вспомнил, что однажды мы рассуждали о будущем и я определил свои цели следующим образом:

— Мне хотелось бы начать в один из этих дней государственную службу при условии, что я буду совершенно неза-

висим в материальном отношении. Не хочу быть одним из тех чиновников, которые вечно угнетены сознанием того, что их дело зависит от строгого подчинения приказам начальства. Как чиновник я хочу иметь возможность в любое время снова уйти в частную жизнь, если в ходе исполнения моих обязанностей встанет вопрос об их совместимости с совестью...

Упомянутый разговор имел место во время поездки в Турцию, в одну из чудных восточных ночей, когда вас, к несчастью, окружает много насекомых. Всю свою жизнь я боялся любого вида кровососов. На Кавказе, на Черноморском побережье, в Турции — где бы то ни было — я предпочитал спать на палубе или под деревьями даже в самые холодные ночи, только бы ложе не делили со мной вши и блохи. Воспоминания об этих впечатлениях полностью вытеснили из моей головы упомянутый разговор с приятелем. Но я вполне готов поверить, что говорил нечто подобное. Материальная зависимость предполагает интеллектуальное порабощение. Человек, просто подчиняющийся приказам, теряет удовольствие от самостоятельной работы, свою творческую способность, свой энтузиазм, свои лучшие качества.

Меня часто упрекали в честолюбии, словно это какой-то недостаток. Я всегда очень стремился делать что-то полезное не для себя лично, но для общего блага. Я не делал из этого секрета. Это можно было заметить на ранней стадии моей жизни, ибо в табеле успеваемости по окончании мною гимназии было записано: «Чувствует, что призван к великим делам». Верно и то, что погоне за этими «великими делами» мало способствуют семья и друзья.

Глава 15

ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ ГЕРМАНИИ

Вот мои приятные воспоминания последних лет мирной жизни. Одно из них — путешествие на крейсере «Магдебург» в 1913 году по приглашению адмиралтейства. Я написал статью по случаю серебряного юбилея императора Вильгельма II для адмирала Леляйна, которая была опубликована в *Marine-Rundschau*. Приглашение к путешествию было способом отплатить благодарностью за статью.

Мой балтийский круиз длился неделю. Память о нем омрачается тем, что «Магдебург» и его гостеприимный командир были потоплены вскоре после начала войны.

Другое приятное воспоминание относится к визиту делегации из сорока известных турецких деятелей, которых я сопровождал в поездке по Германии. С этим визитом связана интересная история.

После моей поездки в Турцию, которая закончилась острым приступом малярии, Йёк, Рорбах и я основали Германо-турецкое общество, председателем которого стал я. Цель общества состояла в налаживании личных отношений между турецкими промышленниками, деловыми людьми, высшими чиновниками и ведущими немецкими экономистами, а также известными деятелями в культурной жизни страны. Нам действительно удалось пригласить сорок ведущих турецких деятелей для четырехнедельной поездки по Германии. Венцом поездки стал прием во Фридрихшафене на берегах озера Констанца, где на общественные пожертвования после воздушной катастрофы в Эхтердингене граф Цеппелин построил новый дирижабль «Ганза».

Благодаря 73-летнему графу Цеппелину поездка произвела на каждого ее участника неизгладимое впечатление. Раньше никто из нас не летал. Легко представить себе лица турок, когда мы вдруг увидели Германию сверху.

Мир все еще мучился спорами, должно ли воздушное судно быть «легче, чем воздух» или «тяжелее, чем воздух». Братьям Райт удалось несколько лет назад подняться в воздух на высоту в несколько сотен ярдов. Они пилотировали свой самолет с мотором. Когда «Цеппелин» стал верховным хозяином неба, самолеты с мотором еще находились в очень примитивном состоянии. Перемену внесла только Первая мировая война. Тем больше эмоций вызвал у нас поэтому полет в дирижабле «Ганза».

На обеде, устроенном графом Цеппелином в честь гостей по случаю успешного полета, турки дали волю своим восторгам. Граф пребывал в прекрасном настроении и рассказал нам многое о своих успехах и неудачах в использовании дирижаблей. Он поведал также о добровольных пожертвованиях немецкого народа и национальном фонде, который составил не менее 6 миллионов марок.

— Из тех, кто жертвовали в фонд, — рассказывал он, — меня больше всех порадовал один маленький мальчик. Под-

росток прислал три марки и написал, что получил эти деньги за уведомление пожарной бригады в экстремальной ситуации. Он предотвратил распространение огня, разбив стекло сигнализатора пожарной тревоги. — Потом добавил: — Я долгие годы мечтал об этом!

Эта чрезвычайно успешная поездка с турецкими гостями имела для меня забавные последствия. Криге, в то время секретарь турецкого отдела МИДа, добивался награждения меня орденом Короны 3-й степени. Такую награду нельзя было оформить без соответствующей бюрократической процедуры — в данном случае согласия министра торговли. Тот, в свою очередь, высказал мнение, что не стоит присуждать столь высокую награду такому молодому банкиру (мне было тридцать четыре года в то время). Криге не сдавался. Если нельзя наградить орденом Короны 3-й степени, то вполне возможно присвоить орден Красного орла 4-й степени. Но даже это показалось министру торговли слишком высокой честью для меня. Он сказал, что готов присвоить мне орден Короны 4-й степени вместо ордена Красного орла. Однако к этому времени я уже потерял интерес к награде. Я решительно отказался от ордена и впоследствии больше не получал прусских орденов, за исключением Железного креста (2-го класса).

Однако, когда я достиг позднее высокого положения, на меня посыпались различные ордена, особенно в ходе зарубежных визитов. В 1936 году, когда я проезжал Балканы, один французский журналист заявил, что моя поездка — это что-то вроде «малого крестового похода в торговле». «Ошибаетесь, — ответил я, — это «большой крестовый поход» (здесь обыгрывается слово «крест» как религиозный символ и награда. — *Пер.*).

Наиболее заняты были весьма впечатляющие китайские ордена. Они вырезались из красного и зеленого нефрита, имели очень красивый внешний вид и художественное исполнение. С итальянскими орденами я пережил то же приключение, что и с прусскими. Как-то посол Аттолико сказал, что Италию посетили все немецкие министры, и власти очень хотят, чтобы и я приехал в Рим. Я согласился, но при условии, что не приму никаких орденов. Аттолико с улыбкой заметил, что это невозможно. Мой итальянский визит так и не состоялся, и я так и не получил итальянского ордена.

Только однажды в жизни я поохотился за драгоценными камнями — конечно, не с киркой и лопатой, но приобретая акции шахты по добыче изумрудов в Южной Америке. Это случилось так. В 1913 году меня посетил один из партнеров ювелирной фирмы в Идар-Оберштайне, племянник которого был моим приятелем. Он сообщил, что приобрел концессию на возобновление работ на шахте по добыче изумрудов Эль-Чивор в Колумбии, которая несколько лет бездействовала. Сам он, сказал посетитель, обнаружил там замечательные изумруды, не хуже тех, что добывались в Эль-Мусо. Меня интересует открытие шахты? Камни, которые он мне показал, были действительно прекрасными. Поскольку я знал посетителя как честного и надежного человека, то взялся заинтересовать в этом деле еще двух своих знакомых. Вместе мы собрали необходимый капитал для экспедиции старателя.

Мы уговорили тайного советника Шайбе, известного минералога из Берлинского геологического института, поехать в Колумбию в качестве нашего эксперта. Его сообщения оттуда внушали оптимизм. Мы возлагали на дело большие надежды, когда разразилась Первая мировая война. Наш профессор и тайный советник напрочь застрял в Колумбии. Дальнейшее финансирование его иностранной валютой стало невозможным. Североамериканский синдикат присвоил нашу концессию.

Мы утешались в то время из-за потери изумрудов, вспоминая легенду, связанную с Эль-Чивором.

Триста лет назад испанский искатель приключений прибыл в Колумбию. Скитания по разным местам страны привели его в Эль-Чивор, маленькую индейскую деревушку посреди девственного леса. Там он заметил, что в праздничные дни жители деревни украшали себя прелестными изумрудами. Местонахождение камней тщательно скрывалось от него, поэтому он начал оказывать знаки внимания дочери вождя и завоевал ее расположение обещаниями жениться. И она раскрыла ему секрет. Испанец добывал по нескольку камней и отвозил их в столицу страны Боготу, где собрал огромное богатство. Он хладнокровно обманул индейскую девушку и женился на девушке из богатой семьи. Возмездие не замедлило прийти. Однажды он приехал из Боготы в Эль-Чивор за изумрудами и обнаружил, что индейцы отвели течение горного потока, который находился рядом с шахтой, и оно захоронило эту шахту под массой горной породы и стволов деревьев

девственного леса. Индейская девушка, кроме того, наслала на него проклятие: «Будь прокляты твоё богатство, ты сам, изумруды из Эль-Чивора. Они утратят свой цвет и блеск, тот, кто их наденет, проклянет тебя так же, как проклинаяю я».

Когда испанец вернулся в Боготу, где продал много изумрудов, оказалось, что эти камни обесцветились или потеряли блеск. Его обвинили в мошенничестве и выгнали из общины. Затем он погиб жалкой смертью.

Я готов поверить, что вышеупомянутая история всего лишь сказка, объясняющая, почему была заброшена шахта, которую некогда разрабатывали. Во всяком случае, маленький изумруд, который я храню в память о шахте, сохранил свой блеск и цвет до сегодняшнего дня.

Потеря Эль-Чивора лишь крохотная часть потерь Германии в ценных бумагах в течение Первой мировой войны. Это становится для меня все яснее, когда я заглядываю в небольшой буклет, который написал в то время. Год, в который император Вильгельм II праздновал свой серебряный юбилей, был памятным и для Дрезднер-банка, учрежденного сорок лет назад, в течение которых он вырос до третьего из главных банков Германии. Как раз в честь сорокалетней годовщины я и написал вышеупомянутый буклет, озаглавленный «Экономические ресурсы Германии» и рассказывающий о прогрессе банка и моей страны.

Работа подытожила достижения банка за прошедшие сорок лет. Цифры говорят сами за себя: моя работа заключалась лишь в их подборке и расположении в правильной последовательности. Кто прочтет их, получит четкое представление о росте германской экономики в период империи. Из континентальной, главным образом аграрной, страны Германия сорокалетней давности превратилась в государство с развитой промышленностью и торговлей, которое стало распространять свои шупальца по всему миру.

Важной чертой этого процесса было быстрое накопление капитала в Германии, которое позволило нашей стране выйти далеко за пределы своей территории и участвовать в экономическом развитии других стран и континентов. Немецкие банки предоставляли своевременные кредиты большим североамериканским корпорациям и посредством покупки акций и выпуска облигаций приобрели часть акционерного капитала североамериканской железнодорожной сети.

Другим примером успешной финансовой деятельности Германии были крупные кабельные компании, которые проложили телеграфные кабельные линии между Северной Америкой и Европой. Германское судостроение создало флот самых современных торговых судов, не только грузовых пароходов, но также пассажирских лайнеров, обслуживающих сухоходные линии в Америку, Африку и Азию.

С ростом уровня развития наших международных торговых связей возникали за рубежом новые филиалы немецких компаний и банков. Дрезднер-банк основал Немецкий восточный банк с филиалами в Константинополе, Каире и других городах, а также Немецкий южноамериканский банк с филиалами в Аргентине, Бразилии и Чили. Еще раньше Немецкий банк основал Немецкий трансатлантический банк. Внутренние события также показывали, как сильно изменился строй нашей жизни. Между 1870 и 1910 годами население Германии перевалило за 60 миллионов человек, рост ровно на 52 процента. Сравнительные цифры показывают, что рост британского населения за тот же период составил 37 процентов, французов — только 8 процентов. В 1911 году национальный долг этих стран характеризовался следующими цифрами: Германия — 317 золотых марок на душу населения, Англия — 330 золотых марок, Франция — 666 золотых марок; долг двух последних стран рассчитывается в соответствующем соотношении валют.

На военные цели расходы на душу населения в 1912 году характеризовались следующим образом: Германия — 21 марка, Англия — 32 марки, Франция — 27 марок.

Зарплаты на предприятиях Круппа выросли с 1880 года почти на 100 процентов. Потребление сахара (типичный признак общего процветания) увеличилось на 300 процентов, потребление хлопчатобумажной ткани удвоилось.

Благодаря развитию химической промышленности германское сельское хозяйство смогло значительно увеличить выпуск своей продукции. В 1912 году урожай в Германии равнялся 21 метрическому центнеру с гектара против 14 метрических центнеров во Франции и Австро-Венгрии.

Производство угля за последние четыре десятилетия выросло всемерно.

Германия играла важную роль как рынок для иностранных товаров. Она потребляла больше британского экспорта, чем

Франция или США. В 1910 году международный порт Гамбург уступал лишь Нью-Йорку в отношении тоннажа грузов.

Цифры эмиграции особенно впечатляют. Временем ее наибольшего роста был 1854 год, когда 250 тысяч немцев покинули страну. После этого эмиграция временно пошла на спад, но выросла снова в 1860-х годах и достигла нового пика в 1870 году, когда ее численность составила 120 тысяч человек. После победы Германии в войне с Францией имело место резкое снижение эмиграции, которая уменьшилась до предела в период 1876—1877 годов, дойдя до 20 тысяч эмигрантов. Сразу вслед за этим, однако, ситуация ухудшилась, и в 1880 году цифра эмиграции снова составила 250 тысяч в год. После этого ее численность неуклонно снижалась, чтобы вновь подняться в короткий интервал 1890 года, видимо, в результате сельскохозяйственного кризиса, а затем опустилась до минимума. В период между 1895 и 1915 годами родные дома покинули не более 20—25 тысяч немцев.

Именно благодаря индустриализации Германии и политике заключения долговременных торговых соглашений эмиграционная лихорадка отступила в 1890 году. С другой стороны, возникла новая проблема. Дело в том, что постоянное продвижение Германии на мировых рынках вызвало антагонизм со стороны тех старых промышленных стран, которые лидировали в этой сфере и почувствовали угрозу своим рыночным интересам. В первую очередь это относится к Англии.

Перед лицом этой новой угрозы имелся один шанс к примирению, а именно активизировать колониальную политику. Старый Бисмарк едва ли понимал, что Германия подошла к поворотному пункту в своей судьбе, когда возросшее население сделало политику индустриализации неизбежной. В целом его политика слишком глубоко коренилась в том времени, когда европейские страны еще не сталкивались с проблемами производства продовольствия. В этом, несомненно, заключалась причина того, почему Бисмарк очень поздно и с большими колебаниями поддержал первые попытки Германии активизировать колониальную политику. В результате немецкой колониальной администрации так и не удалось найти средства решения проблем, автоматически создававшихся промышленным прогрессом Германии.

Прежняя концепция колониальной политики ныне полностью дискредитирована, и поделом. Именно по этой при-

чине все-таки важно, полагаю, подчеркнуть тот факт, что колониальное правление Германии не преследовало империалистической цели. Общая численность немецких колониальных войск, существовавших для поддержания порядка, никогда не превышала 6 тысяч солдат во всех германских колониях, вместе взятых. Ни в одной из двух европейских войн коренные жители германских колоний не использовались на полях сражений, между тем туземные дивизии из Северной Африки и Индии сражались в больших количествах на стороне союзников в Европе. Немецкие административные и экономические достижения в колониях заслужили высокую похвалу иностранных наблюдателей. Даже после поражения Германии в двух мировых войнах она сохранила уважение коренных жителей колоний, несмотря на то что эти территории находились во владении немцев всего двадцать пять лет.

Теперь я узнаю из буклета, написанного по случаю юбилея Дрезднер-банка, больше, чем раньше. В течение двух десятилетий обстановка в Европе радикально изменилась. Германия стала великой державой политически и экономически. Англия вышла из своей «блестящей изоляции» Викторианской эпохи и занялась созданием прочной сети альянсов и соглашений, направленных против Германии. Французские кредиты, исчислявшиеся миллиардами франков, способствовали военным приготовлениям царя в России. Система договоров Бисмарка некогда имела целью обезопасить Германию от всех неожиданностей. Теперь, однако, страна попала в «изоляцию», которая была какой угодно, только не «блестящей».

Описание того, как эта изоляция стала возможной, не является темой данной книги. В то время я был твердо убежден, что войны не будет.

Глава 16

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Война стала неожиданностью для меня, как и для других немцев. До одиннадцати часов вечера каждый разумный человек полагал, что инцидент в Сараеве останется локальным событием. Только когда по улицам стали маршировать солдаты под приветственные возгласы и сочувственные вздохи толпы, когда первые известия о несчастье пришли к нам из

Восточной Пруссии, а с Запада — преждевременные вести о победе, нам пришлось осознать, что началась война континентального масштаба. То, чего Бисмарк всегда пытался избежать, случилось — Германия воевала на два фронта.

У меня не было представления о том, какой будет эта война. С того дня, как майор-военврач осмотрел меня и признал непригодным для военной службы из-за «острой миопии», я перестал интересоваться военными делами.

Более того, существовали два института, которых я особенно опасался всю свою жизнь. Первый — это военные, другой — бюрократия. Военный начальник или государственный чиновник представлялись мне чудовищами, которые каким-то непостижимым образом придумывали способы осложнить жизнь гражданам.

В первые недели после объявления войны было невозможно еще определить грядущие экономические перемены. Финансовая политика приспособилась к военным условиям плавно и легко. Серьезные проблемы возникли не раньше, чем прошел достаточный период времени после начала войны. Они заключались в наступлении нескончаемого беспокойства в отношении сырья и поставок продовольствия. Много головной боли нам, банкирам, доставляли растущие финансовые требования национальной экономики, которая должна была полностью переключиться на военные запросы.

Вальтер Ратенау, позднее министр иностранных дел, первым поднял вопрос о поставках сырья. Только после этого пришел в движение официальный механизм обеспечения сырьем и продовольствием. Жуткое слово «контроль», так тесно связанное с «подневольностью», пополнило наш повседневный словарь. С 1914 года неизменно вводились новые виды контроля — контроль над золотом, валютой, металлами, сахаром, резиной и т. д.

Более того, не прошло и двух месяцев, как война захватила меня в свои клещи. В октябре 1914 года меня спросили, готов ли я выполнять обязанности управления банковской деятельностью в оккупированной Бельгии. Разумеется, я согласился и поэтому был назначен управляющим банком на бельгийской территории.

Я занимал этот пост с октября 1914 по июль 1915 года. К несчастью, я не овладел фундаментальным армейским принципом — не привлекать к себе внимания ни при каких

обстоятельствах. Я привлек внимание своих начальников в Бельгии одной-двумя необычными идеями, которые доставили мне много хлопот и неприятностей.

Одна из проблем оккупации заключалась в том, как побудить бельгийцев оплачивать расходы на оккупацию. В первые месяцы военные просто реквизировали все, что хотели, а это порождало затруднения как для оккупационных войск, так и для населения. Важно было заменить эту незаконную процедуру чем-то иным. У майора фон Лумма, главы финансового отдела и члена совета директоров Имперского банка, родилась блестящая идея заменить бельгийские деньги новой валютой. Я считал это ненужным, но не мог помешать. Теперь на мою долю выпало организовать оплату оккупационных расходов посредством переговоров с бельгийской компанией Société Générale. Мне удалось добиться понимания сотрудниками компании преимущества расчетов деньгами над беспорядочной реквизицией. Кроме того, я указал, что если все товары будут оплачиваться деньгами, то станет возможным поддерживать торговлю страны на регулярной основе.

Бельгийцы возражали прежде всего и более всего с внешнеполитических позиций. Правительство страны эмигрировало в Лондон. Следовательно, бельгийское государство как таковое этой борьбой не было затронуто. Я предложил в качестве решения проблемы, чтобы девять бельгийских провинций выпустили заем, превышающий сумму расходов на оккупацию. Мое предложение постепенно приняли после серьезных дебатов — полагаю, с молчаливого согласия бельгийского правительства в Лондоне, поскольку, несмотря на все меры военного противодействия, подпольные контакты между бельгийскими представителями в Брюсселе и правительством в Лондоне осуществлялись на постоянной основе.

Следующим шагом было побудить германские военные власти согласиться на этот план. Разумеется, бесцеремонные реквизиции устраивали военных гораздо больше, чем должные способы оплаты. В этом отношении я не думаю, что следует делать различие между солдатами той или другой армии. Реквизиции нельзя так строго контролировать, как отчисления от фиксированной суммы капитала.

Поэтому майор фон Лумм, весьма элегантный в своем мундире мюнхенской лейб-гвардии, повел меня на встречу представителей военных властей, где я чувствовал себя не в своей

тарелке как единственный человек в штатской одежде. Остальные участники совещания носили мундиры с золотыми галунами и выглядели весьма впечатляюще! Герр фон Лумм представил мне самому рассказать о своем плане и защищать его.

Затем девяти губернаторам провинций пришлось поставить свои подписи под соглашением. В заключение возникло несколько трудностей. Эти люди полностью сознавали тяжелую ответственность, которую брали на себя перед народом и правительством, когда соглашались поставить свои подписи. Я определил месячные выплаты в 40 миллионов франков. В последнюю минуту пара губернаторов попыталась убедить меня уменьшить эту сумму до 35 миллионов франков. Возникла угроза срыва переговоров. Я мог понять бельгийцев — они хотели взять от сделки как можно больше, возможно, стремились даже застраховаться на тот случай, если немцы однажды уйдут из страны, — тогда они смогут доказать, что сохранили для страны 60 миллионов франков в год. Но я не мог этого позволить. Я попросил герра фон Зандта, представителя гражданских властей, дать мне немного времени и объяснил бельгийцам, что если мое предложение не будет принято, то я передам всю дальнейшую процедуру в распоряжение военных. Этот аргумент подействовал. Мы добились подписей бельгийцев под документом, гарантирующим оплату оккупационных расходов на сумму свыше 480 миллионов франков на первый год войны.

В последующие годы оккупации, после моего отъезда из Бельгии, больше не было возможности обеспечить подписи бельгийских губернаторов под письменными обязательствами выпускать облигации. Это делали представители германской оккупационной администрации в Бельгии.

Вначале генерал-губернатором оккупированной Бельгии был фон дер Гольц-паша — фельдмаршал, генерал Кольмар фон дер Гольц, которому присвоили титул паша за многолетнюю работу по организации турецкой армии. Это был типичный прусский офицер старой школы. Он обладал большой отвагой, был благородным и гуманным человеком, хотя отчасти скрытным, педантичным и с большим чувством долга. Помимо этого, он был очень умен. Я знал его с 1911 года, когда стал председателем германо-турецкого общества и мы вместе сопровождали тех сорок гостей из страны полумесяца в поездке по Германии.

Я не понимал, почему я, как гражданское лицо, должен быть лишен привилегии посещения офицерского клуба, который был учрежден в казино Брюсселя. Мне быстро объяснили, что это типичное заблуждение штатского лица и что штабные офицеры цепко держатся за свою исключительность, особенно когда они размещены на военной базе.

— Это невозможно! — сказал майор фон Лумм, когда я сообщил ему о своем намерении питаться в офицерском клубе. — Необходимо получить разрешение генерал-губернатора.

— Хорошо, — согласился я. — Давайте попросим его.

— Исключено, — возразил фон Лумм. — Придумаете тоже. Генерал-губернатора нельзя беспокоить такими просьбами. Можно будет поговорить с герром фон дер Ланкенем, главой соответствующего отдела МИДа.

Мы действительно поговорили с герром фон дер Ланкенем, который точно так же выдвинул серьезные возражения против посещения штатским лицом клуба германских офицеров в Брюсселе. Кроме того, фон дер Ланкен придерживался мнения, что столь важной персоне, как его превосходительство фельдмаршал, генерал фон дер Гольц-паша, генерал-губернатор оккупированной Бельгии, нельзя докучать просьбой обыкновенного человека с титулом не выше доктора наук. Я стал терять терпение.

— Господа, — сказал я, — поскольку вы оба имеете такие возражения, может, позвольте мне самому посетить фон дер Гольца?

— Но примет ли вас генерал-губернатор? — спросили они разом.

— Дорогие мои, я хорошо знаю фон дер Гольца, просто не хотел обращаться к нему, минуя вас.

Как я и предполагал, Гольц тепло встретил меня. Прежде чем я смог замолвить слово о своей просьбе, он сказал:

— Ты, разумеется, поужинаешь со мной вечером в казино?

Я пришел туда минута в минуту. К немалому удивлению моего начальства и около пятидесяти присутствовавших офицеров, Гольц, посадив меня справа от себя, повел со мной оживленный разговор.

В ходе беседы он поинтересовался небольшим приключением, в которое я попал, когда прибыл в Бельгию. Он уже знал

официальную версию этого происшествия, но хотел, чтобы я сообщил подробности. Я рассказал ему эту историю.

Прежде чем я отправился в Брюссель, секретарь Левальд из министерства внутренних дел позвонил мне и спросил, не присмотрю ли я за одной дамой во время поездки. Она ехала в Брюссель, чтобы ознакомиться с состоянием своего дома. Левальд охарактеризовал ее по телефону как очаровательную особу (он пользовался репутацией дамского угодника) — некую княгиню Икс с обликом шикарной светской дамы.

Я присматривал за княгиней в ходе поездки в Бельгию, но соблюдал дистанцию в отношениях с ней — она была слишком «накрашена» для моего вкуса. Более того, поскольку она старалась быть чересчур «общительной», я остановился в другом отеле Брюсселя и впредь виделся с ней лишь раза два в приемных разных государственных учреждений. Она действительно выглядела очаровательной и элегантной женщиной. Неудивительно, что все мужчины, с которыми она встречалась, попадали под ее обаяние. Помимо всего прочего, у нее было рекомендательное письмо генерал-губернатору от престарелой фрау Крупп, благодаря которому ей позволили без всяких проблем доставить небольшие подарки в войска, осаждавшие Антверпен.

Меня искренне поразило, когда на другой день вечером в отель, где мы сидели с австрийцем, моим приятелем из совета директоров банка, пришел человек в мундире офицера немецкой полиции и попросил приватного разговора на минутку. Я последовал за ним в коридор. Полицейский офицер поинтересовался, знаю ли я княгиню Икс и кем является посетитель моего номера.

— Я сопровождал княгиню в поездке до Брюсселя по просьбе сотрудника министерства внутренних дел. Господин в моем номере является австрийцем и работает в том же отделе банка, что и я.

— Тогда сожалею, доктор Шахт, но вынужден задержать вас. Пожалуйста, следуйте за мной.

Я последовал за ним без всяких препирательств и предстал перед немецким лейтенантом, который ожидал нас в отеле княгини. Конечно, мне пришлось в нескольких словах удостоверить свою личность. Лейтенант извинился. Это был явно случай с ошибкой в идентификации личности.

Меня разбирало любопытство: за кого нас приняли — моего приятеля и меня?

Лейтенант рассказал нам историю с княгиней Икс. Эта очаровательная, стильная дама из «верхов общества» была дочерью мелкого муниципального служащего откуда-то из Рейнской области. Необыкновенная красота помогла ей наладить отношения с офицером из княжеского рода, который несколько отклонился от нравственной стези. Князь женился на ней, после чего ему пришлось покинуть службу, но он был восстановлен на службе, когда началась война.

Германская военная полиция сообщила в Брюссель чуть позже в этот день, что княгиня Икс входила в театральную труппу, которая уже привлекалась к судебным делам. Княгиню подозревали в шпионаже, поскольку она без видимых причин собирала письма полевой почты солдат, служивших в частях, которые осаждали Антверпен. Она намеревалась увезти их с собой в Германию. Это не только было запрещено, но и не вязалось с ролью княгини как таковой. Актрисы обычно не проявляют столь горячего интереса к нуждам и тревогам представителей низших слоев. Княгиню часто видели в компании двух человек (так указывалось в телеграмме из Берлина): один из них высокий, светловолосый, другой — австриец.

Теперь, конечно, мы поняли, в чем дело. Я сопровождал княгиню, был высок и светловолос, а в моем номере находился приятель-австриец из банка.

Когда мы посмеялись над этим совпадением, лейтенант попросил меня помочь арестовать княгиню без особого шума. По его просьбе я посетил княгиню на следующее утро и позавтракал с ней в ресторане отеля. Во время ланча у нашего стола как бы случайно появился лейтенант. Я представил его княгине, и он сел за наш столик. При первой же возможности я удалился и оставил княгиню с ним.

Жизнь в Бельгии была бы скучной и угнетающей, если бы не Ульрих Раушер, оригинальный, живой человек, уроженец Вюртенберга, служивший в МИДе. Это был блестящий компаньон, непринужденный и остроумный. Через несколько лет его назначили германским послом в Варшаву. Мы много времени проводили вместе. К сожалению, Раушер несколько увлекался алкоголем, который иногда оказывался слишком крепким для него. При этом он становился весьма словоохотливым.

Мы оба были склонны держаться сдержанно. Но когда он принимал слишком много спиртного, то выходил за эти рам-

ки. Я иногда отводил его домой поздней ночью. Как-то раз он, должно быть, особенно мучился угрызениями совести, поскольку прислал мне написанные собственной рукой стихи:

Наступает момент, когда выпивка
Переполняет выпивоху.
Тогда для слива ему нужен
Глубокий, надежный и длинный ствол шахты.

(Игра слов, где Раушер — выпивоха,
а Шахт — ствол шахты.)

Я взял карандаш и, пока курьер ожидал, написал на обратной стороне его листа:

Если любишь выпивку,
Пей, пока не окосеешь,
Для меня всегда ты ценен.
(Я ведь «глубок» и не болтлив.)
А когда ты в полном здравии
И не путаются мысли,
Заклучи меня покрепче
В свои братские объятия.

У Раушера было прекрасное чувство стиля. Его стихи, написанные в Брюсселе во время оккупации, вышли позднее отдельной книжкой под названием «Бельгия вчера, сегодня и завтра». Он прислал мне экземпляр книжки с надписью:

Мы были там вместе, приятель,
Со стариной Луммом и Лакеном.
Кто работает там, должно быть, рад
Своим сорока франкам в день.
Он загонит себя до смерти,
Выполняя свою работу.
Счастлив тот, кто еще помнит
То, что мы давно забыли.

В течение первых месяцев войны несколько коллег-профессионалов из Берлина и Франкфурта собирались вместе в оккупированном Брюсселе в финансовом отделе военной администрации. Там были Пауль фон Швабах, Эрнст фон Мендельсон-Бартольди, Ганс Фюрстенберг, Вилли Дрейфус, молодой Вайншенк и многие другие. Однажды у Лумма появился без предварительного уведомления сын владельца гамбургской

банковской фирмы «Беренс и сыновья». Разговор, происходивший в моем присутствии, был вполне типичным.

— Что вы делаете в Бельгии, герр Беренс? — сухо поинтересовался фон Лумм.

— Я хотел предложить вам свои услуги, герр майор.

Лумм не особо обрадовался этому.

— Я не нуждаюсь в ваших услугах. Во всяком случае, у нас перебор кадров. Кстати, как вы добрались сюда?

— На своей машине.

Фон Лумм заинтересовался:

— У вас есть машина?

— Да, герр майор, «роллс-ройс».

Глаза Лумма расширились от удивления.

— «Роллс-ройс»? Отлично, можете устраиваться здесь, но «роллс-ройс» должен быть в моем распоряжении.

— Пожалуйста, герр майор.

Лумм обладал способностью эксплуатировать своих коллег, но они отплатили ему за это. Когда война закончилась и мы ушли из Бельгии, они один за другим тайком уезжали в своих машинах без уведомления своего шефа. В конце концов герру фон Лумму пришлось совершить путешествие домой в вагоне третьего класса, набитого пассажирами, как консервная банка сардинами.

Когда я был в Бельгии, он находился в зените своего могущества. Поскольку он не владел деловой хваткой, то случилось так, что с течением времени наша работа с моим австрийским приятелем Зомари стала привлекать все больше и больше внимания. Это раздражало его, поскольку он не мог выносить, чтобы замечали еще кого-то, кроме него. Однажды он откровенно сказал мне, что собирается уволить Зомари.

На мгновение это вероломство поразило меня, как удар грома. Но, отложив решение вопроса на завтра, я пошел к герру фон Лумму и сказал, что в сложившихся обстоятельствах больше не могу питать к нему доверия, необходимого для успешного сотрудничества, и хотел бы покинуть свой пост. Ему нечего было возразить. Но взгляд, который он бросил на меня, не предвещал ничего хорошего. Мне следовало понять, что он не тот человек, который принимает отказ спокойно.

С введением новых банкнотов (идея Лумма) забота об их распределении (то есть их обмене на немецкие марки) легла на военный комиссариат. Немецкий банк имел филиал в

Брюсселе и ходатайствовал о значительных поставках этих банкнотов, которые использовались в его сделках с бельгийскими клиентами. После этого Дрезднер-банк попросил меня обеспечить ему поставки бельгийских банкнотов, чтобы не отставать в сделках с клиентами. Я лично передал эту просьбу главе комиссариата, который согласился на ее реализацию без всяких возражений.

Это происходило в феврале 1915 года, и Лумм, конечно, знал обо всем. Теперь, в июле, он вдруг снова поднял этот вопрос. С моей стороны, говорил он, было неправомерно представлять интересы банка, который послал меня в Бельгию. Я ответил, что если виноват в неправомерных действиях, то прошу провести их дисциплинарное расследование. К сожалению, это невозможно, ответил герр фон Лумм со злобой ухмылкой за два дня до моей отставки.

Я обратился в имперское министерство внутренних дел с просьбой расследовать этот вопрос. В результате получил ответ, что в данном деле обвинять меня не в чем.

Упоминаю об этом малозначащем происшествии только потому, что позднее оно было использовано мне во вред. Когда в 1923 году я собирался занять правительственную должность, мои оппоненты попытались политически дискредитировать меня, распространяя сплетни о том, что за мной числится нечестная практика в Бельгии. После этого Штреземан, бывший в то время канцлером, санкционировал новое расследование дела по документам, находящимся в распоряжении министерства внутренних дел, а также по свидетельствам оставшихся в живых очевидцев. В результате второе расследование подтвердило первое. Штреземан отослал информацию об этом мне в весьма доброжелательном письме.

Во время этих интриг фельдмаршала, генерала фон дер Гольца, уже не было в Бельгии. Он ходатайствовал об отправке с военной миссией в Турцию. В 1915 году ему удалось окружить британские силы под командованием Таунсенда в Кутль-Амара. Он умер 19 апреля 1916 года в Багдаде от тифа.

Фон дер Гольц был типичным представителем германского Генштаба, чуждым конформизма. Он отличался широкой начитанностью, многочисленными и разнообразными интересами. В нем сочетались военный эксперт, командир и стратег. Особое видение проблем и строптивное поведение нередко приводили его к конфликту с начальством. В одном случае

его даже включили временно в список кандидатов на отставку за книгу «Леон Гамбетта и его армии», которая довольно откровенно указывала на недостатки в работе Генштаба. В моей памяти сохранились его суровое лицо с короткими усиками, линия рта с опущенными уголками, умные глаза за стеклами очков. Мой брат Эдди, который служил военным врачом в армии под командованием Гольц-паши, выполнял печальную миссию бальзамирования тела фельдмаршала перед его отправкой в последний путь на родину. Колесо жизни иногда делает странные обороты.

Глава 17

НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОМ БАНКА

Моей деятельности не помешали интриги герра фон Лумма в Брюсселе. Сразу после возвращения в Берлин я возобновил работу в Дрезднер-банке. Мой старый шеф, Евгений Гутман, доверительно сообщил, что меня назначат постоянным членом правления при первой возможности. То, что я успешно работал заместителем управляющего банка в оккупированной Бельгии, несомненно, способствовало этому в немалой степени.

Дома я застал жену и двоих детей в нелегком положении. Еды не хватало. Молока для детей невозможно было достать. Поэтому я поступил так, как раньше поступили сотни тысяч берлинских трудящихся семей. Завел огород и козу, доить которую пришлось научиться моей двенадцатилетней дочери. Конечно, были и другие способы пополнить скудный продовольственный рацион, но они меня менее прельщали. Обычное жульничество претило мне. Пришлось смириться с тем, что культурные и духовные интересы вытеснялись трудностями ведения домашнего хозяйства в условиях войны.

К концу года — поскольку обещанное мне назначение в правление явно задерживалось — я поинтересовался, как обстоят дела. Гутман несколько растерянно признался, что его сын Герберт, член правления, возражал против моего назначения.

— Самое лучшее, что вы можете сделать, — сказал он, — это обсудить вопрос с Гербертом.

Разумеется, я сделал это без промедления. Герберт Гутман довольно простодушно объяснил мне причину своих возражений.

— Если вы войдете в правление, доктор Шахт, то боюсь, лишите меня всех банковских дел.

Под этими делами имелась в виду совместная деятельность нескольких больших банков, с которой обычно трудно справиться одному банку в одиночку и которая касается клиентов более чем одного банка.

Я ответил Герберту коротко и по существу. Просто рассмеялся:

— Если вы боитесь, дорогой Герберт, то я уволюсь.

В тот же день я сообщил членам правления, что намерен покинуть Дрезднер-банк. Перед моим уходом из банка сложилась несколько неловкая атмосфера, о которой сожалели обе стороны. Я работал в Дрезднер-банке тринадцать лет — с 1903 по конец 1915 года. Там я приобрел первые знания банковского дела и сделал первые шаги в карьере. Я запомнил эти тринадцать лет как самые благоприятные годы своей жизни, мои же отношения с прежними коллегами всегда оставались наилучшими. Я испытал некоторое удовлетворение, когда позднее кто-то сообщил мне доверительно, что Евгений Гутман особенно сожалел о моем уходе и впоследствии сказал коллегам: «Вы поступили очень глупо, когда позволили Шахту уйти».

— Что ты думаешь делать сейчас? — спросила жена. — Ты вечно сжигаешь мосты, не зная, куда приведет тебя новый путь.

— Дорогая, главное сейчас не то, хорошо или плохо ты выглядишь с материальной точки зрения, но можешь ли ты сохранить свою индивидуальность. Я не беспокоюсь за наше будущее ни в малейшей степени. Прежде всего явлюсь в военное ведомство.

Едва меня зачислили в районный отряд местной обороны, как поступил новый вызов на работу. Сообщение о моей отставке в Дрезднер-банке быстро распространилось, и герр Виттинг, тайный советник и председатель наблюдательного совета Национального банка Германии, предложил мне место в правлении учреждения. Национальный банк находился во втором ряду крупных банков Берлина. Он располагал капиталом в 90 миллионов марок. У него не было филиалов, вме-

сто этого, однако, он стал членом нескольких синдикатов с другими большими банками и по этой причине пользовался особым уважением. После короткой беседы я подписал соглашение с банком, который еще раз увел меня от выполнения военных обязанностей в поезде, на базе или в военной администрации.

Через несколько дней после подписания соглашения Карл Фридрих фон Сименс — глава концерна «Сименс» — попросил меня повидаться с ним. Он предложил мне вакантную должность финансового директора. Это новое предложение вызвало у меня некоторую досаду, потому что, если бы оно поступило одновременно с предложением Национального банка, то я, вероятно, сделал бы выбор в пользу Сименса. Теперь же я взял на себя обязательства и был вынужден отклонить это предложение, поблагодарив за доверие.

Тот факт, что вся банковская деятельность сосредоточилась на поддержке военных усилий, означал, что наши обязанности были более однородны, чем в мирное время. Не было сделок с иностранцами или крупных финансовых операций. Однако даже во время войны появлялась интересная работа. В своей нынешней должности одного из управляющих банка я мог осознать, насколько в каждом отдельном случае личность значит больше, чем капитал.

Однажды, вскоре после того, как я занял должность, мой знакомый крупный бизнесмен прислал свою визитную карточку в запечатанном конверте, поскольку хотел, чтобы его посещение было как можно менее навязчивым. Он был клиентом Дрезднер-банка и заходил туда по делам. Когда он узнал, что я уволился, то отказался обсуждать свой вопрос с кем-либо другим и пришел со своим предложением ко мне, поскольку уже был знаком с моим непредвзятым отношением к делу и деловым стилем. Личное доверие значило для него больше, чем вопрос денег.

Почти то же самое произошло с агентом князя Гогенлоэ, который однажды попросил помощи. Князь Гогенлоэ-Хринген вместе с князем Фюрстенбергом были членами так называемого «Концерна князей». Это объединение понесло тяжелые потери, пытаясь состязаться с большим бизнесом в промышленной и финансовой сфере. После ликвидации концерна князь Гогенлоэ оказался в долговой зависимости от Немецкого банка на сумму около 90 миллионов марок и по-

лагал, очевидно, что его дела там вели некачественно. Он утвердился в решимости порвать связь с Немецким банком, но, видимо, затруднялся найти другой банк, который занялся бы его делом, либо потому, что кредитные обязательства этого учреждения были слишком велики, либо потому, что другой банк опасался испортить отношения с Немецким банком. Меня привлекла грандиозность задачи возможной консолидации предприятия Гогенлоэ. С целью разделить ответственность за выполнение поручения я убедился, прежде всего, в готовности сотрудничать компании *Barmer Bankverein*, а чтобы не портить наши дружественные отношения с Немецким банком, я встретился с Манкивицем, уполномоченным банка, занимающимся делом князя. Я объяснил ему, что князь полон решимости порвать контакты с Немецким банком в любом случае и что единственный способ избежать неприятностей заключается в том, чтобы его делом занялся банк, с которым предприятие князя поддерживает дружеские отношения. Это прямое и ясное заявление не замедлило возыметь действие. Поручение принял Национальный банк. Он смог очень быстро устранить неразбериху в течение последующих месяцев посредством продажи части имущества князя.

Вот еще пример неловкой ситуации, сглаженной при помощи откровенной личной беседы. В то время Немецкий банк и фирма *Diskontegesellschaft* спорили о том, кто из них должен получить контрольный пакет акций в нефтяной компании *Deutsche Erdölgesellschaft*. Национальный банк, бывший членом того же концерна, к которому принадлежала *Diskontegesellschaft*, предоставил все свои наличные акции в распоряжение компании в целях обеспечения положительного исхода голосования на общем собрании акционеров. По ряду причин, мне неизвестных, один из моих коллег в правлении пообещал наши акции Немецкому банку — в нарушение всех правил, а также наших обязательств перед *Diskontegesellschaft*. С помощью личной беседы и откровенного изложения фактического состояния дел мне удалось убедить Немецкий банк отказаться от обещанных акций. Этот шаг восстановил репутацию нашего учреждения в *Diskontegesellschaft*. Однако мой коллега был вынужден выйти из правления Национального банка.

Пока я был полностью погружен в свою порой раздражающую, порой увлекательную работу, на фронте происходила ужасная трагедия. Отправляясь из банковского квартала Бер-

лина на станцию Потсдам, чтобы сесть в поезд, идущий домой, я проходил мимо длинных очередей людей, стоявших перед магазинами со слабо освещенными витринами, бросовыми товарами, суррогатными продуктами, которые заменяли теперь бывший великолепный ассортимент товаров высокого качества. Женщины-продавцы газет выкрикивали новости о последних сражениях, наступлениях и отступлениях. Получать уголь становилось все труднее. По улицам спешили дрожащие от холода мужчины и женщины. Повсюду брели люди с рюкзаками и кошелками, отправившиеся искать продовольствие в отдаленных районах города. Я вспомнил голодные годы своего детства. Мне была знакома беготня по улицам, чтобы купить ведро угля на два пфеннига. В те дни угля было много, а денег мало. Сейчас все обстояло наоборот: денег было много, а вот поставки необходимых продуктов сокращались с каждым днем.

Всеобщие беды и страдания военных лет вызвали полную перестройку социальной системы Германии. Напрасно банки делали все возможное, чтобы поддерживать монетарную систему на основаниях, которые, как показал опыт, были коммерчески здоровыми, подходящими и, следовательно, социально приемлемыми. Влияние банков на общую экономику снижалось в той пропорции, в какой стала процветать спекуляция.

Одной из наиболее серьезных ошибок Германии в Первой мировой войне была ее фискальная политика. Она пыталась компенсировать огромные расходы на войну, апеллируя к самопожертвованию народа.

«Я поменял золото на железо» — гласил лозунг, зовущий сдавать золотые украшения и драгоценности. «Подписывайтесь на военный заем» — звучал призыв, обращавшийся к патриотическому чувству долга всех классов. Один за другим выпускались военные займы, на которые предлагалось подписаться. Они превращали большую часть семейных богатств немцев в бумажные обязательства государства. Наши противники, особенно Англия, выбрали другой путь. Она компенсировала военные расходы налогами в первую очередь на те отрасли промышленности и группы, которые война обогащала. Британская налоговая политика оказалась более справедливой, чем немецкая политика военных займов, которые обесценились по окончании войны и принесли горькое разочарование

всем вкладчикам, проявившим самопожертвование. Те же, кого война обогатила, получили полную свободу действий. Приобретение «своих людей» среди соответствующих военных властей давало ловким спекулянтам возможность наживать огромные прибыли на крупных поставках сырья и материалов. Мошенники по обеим сторонам германских границ отхватывали большой куш, импортируя низкосортную продовольственную продукцию из нейтральных стран. Как-то раз во время войны Альберт Баллин, управляющий директор компании Hamburg-Amerika Line, вошел в холл отеля «Англетер» в Копенгагене, где оживленно торговала и жестикулировала толпа спекулянтов. Он повернулся к своим компаньонам и сказал: «Полагаю, эта группа тянет на тридцать лет каторги».

Наживались, главным образом, не столько крупные фирмы, сколько торговцы, новые богачи, рвачи, шулера, сомнительные личности. Люди, проявившие способности в создании и поддержании промышленности в условиях экономических колебаний, даже в мирное время, менее заинтересованы в больших прибылях на военных поставках, чем бездельники, которые мечтают сколотить состояние в тяжелые годы войны.

Среди многих серьезных деловых людей, которые проявили свои лучшие качества, можно упомянуть Альберта Баллина. Когда я пришел в 1916 году в его гамбургский офис познакомиться с ним и прочел гордый девиз фирмы: «Поле моей деятельности — весь мир», мы с ним оба озадачились вопросом, переживет ли этот девиз собственный подтекст. Баллин был уверен в одном. Он, как и я, полагал, что здравый смысл восприятия мира с экономических позиций победит, даже если война не закончится полной победой Германии.

— Увидите, герр Шахт, здравая оценка делового человека преодолет все. С воинственной манией разрушения можно бороться лишь посредством всеобщего экономического сотрудничества. В военное время преобладают чувства ненависти и мести. Но когда испытание кончится, деловые люди смогут снова пойти своим путем. Политики не настолько безумны, чтобы стремиться увековечить военные беды.

Баллин ошибался. Политики действительно были безумны: у деловых людей никогда не было шансов откровенно высказывать свои мнения. Баллин не смог освободиться от са-

мообмана. Немецкий еврей, патриот, он не требовал ничего, кроме того, чтобы германские достижения способствовали экономическому сотрудничеству с другими странами во имя прогресса человечества. Когда он понял, что его надежды напрасны, то покончил жизнь самоубийством.

Еще один случай того времени, который сохранился в моей памяти, — это беседа со старым Августом Тиссенем, человеком, чье имя стало легендой еще при его жизни. Один из выдающихся деятелей в немецкой промышленности, Тиссен прошел путь от мелкого производителя до владельца крупнейшего в Германии концерна угля и стали. Небольшого роста, с седыми усами и заостренной бородкой, он был немного похож на постаревшего Ленина. Вплоть до критического старческого возраста он сохранял неукротимую творческую энергию, поразительные организационные способности и неистошимый запас новых идей.

Хотя Тиссена можно было легко причислить к владельцам самых больших личных состояний в Германии, все его действия характеризовались величайшей бережливостью. Одеваясь весьма скромно, он пользовался во время поездок по железной дороге местами третьего класса и часто останавливался во второразрядных отелях. С собственным багажом в руках он часто следовал от вокзала к отелю и торговался по поводу цены за номер. После этого ставил в книге регистраций свою подпись — Август Тиссен, подпись, которая стоила миллионы.

Тиссен был убежденным сторонником вертикальных методов ведения дела, которые подразумевали, чтобы все — от угольного сырья и руды до тщательно отполированной детали металлического изделия — проходило последовательные стадии производства. Именно по этой причине он особенно заинтересовал меня, поскольку еще молодым человеком я выступал против горизонтальных картелей, которые устанавливали высокие цены, и поддерживал вертикальное устройство промышленности, целью которого было удешевление потребительских товаров во благо народных масс.

Хотя Август Тиссен демонстрировал внешнюю непритязательность и сознательно избегал выставления напоказ своей частной жизни, он, с другой стороны, хорошо знал цену роскоши. Задолго до войны в качестве сотрудника Дрезднербанка я побывал в Шлосс-Ландсберге, загородной резиденции промышленника. В многочисленных просторных комнатах ви-

село много картин старых мастеров, холл украшали скульптуры Родена, по ухоженным лужайкам вокруг замка ходили с важным видом павлины, которые рано будили нас своими пронзительными криками. Серебро, белоснежная скатерть стола, да и все вокруг носило отпечаток присутствия настоящего *вельможи*.

Тиссен был непревзойденным мастером кредита. Крупные банки соперничали друг с другом за возможность иметь его своим клиентом. С теми директорами банков, которые пользовались его доверием, он переписывался мелким, убористым почерком, который не всегда можно было легко разобрать. Но ко всему, что он писал, относились с величайшим почтением. Векселя авансовых платежей, которыми Тиссен имел обыкновение пользоваться, не всегда соответствовали коммерческим документам Имперского банка, но он пользовался ими из-за их дешевизны. С первого взгляда не всегда можно сказать, предназначен ли вексель для оплаты товарной сделки и является ли, следовательно, подлинным коммерческим векселем или это просто обычный вексель для приобретения денежного (монетарного) кредита. Когда в 1911 году поняли, что часть угля в Саарском бассейне можно превращать в кокс, Август Тиссен и Гуго Стиннес основали совместно с Дрезднер-банком горнорудную компанию Saar-und-Mosel-Bergwerkgesellschaft. Август Тиссен приобрел акции на сумму 10 миллионов марок, Гуго Стиннес — также на 10 миллионов, а Дрезднер-банк — на 1 миллион с тем, чтобы в случае разногласий он мог играть роль арбитра.

Когда подписали соглашение, Тиссен заметил в разговоре со Стиннесом:

— Теперь, герр Стиннес, каждому из нас нужно внести на текущий счет по десять миллионов марок. Поэтому у меня есть предложение. Я выпущу для вас векселя на сумму десять миллионов марок, которые вы примете, а Дрезднер-банк зачет их.

Эти векселя, конечно, были не коммерческими, но самыми обычными «безденежными» векселями. Стиннес ответил:

— Но, герр Тиссен, мне никогда не приходилось ставить свою подпись на «безденежных» векселях.

— Тогда делаю другое предложение, герр Стиннес. Вы выпускаете для меня векселя на сумму десять миллионов, а я принимаю их.

Не помню, как разрешилась сделка. Но несомненно одно: Дрезднер-банк выдал эту сумму.

В годы инфляции эмиссия «чрезвычайных денег» стала широко распространенным неудобством, в котором Тиссен был, безусловно, заинтересован. Однажды герр Шлиттер, директор Немецкого банка, ехал в машине вместе с Тиссеном. По дороге Шлиттер набрался храбрости и спросил:

— Герр Тиссен, в наших сейфах скопилось слишком много ваших «чрезвычайных денег». Что мы будем делать с ними?

Тиссен молчал, очевидно погрузившись в размышления. Только когда собирался выйти из машины, он повернулся к Шлиттеру со словами:

— Вы правы, герр Шлиттер. Что мы *будем* делать с ними?

Можно иметь собственное мнение об этих финансовых методах, но они оказали сильное влияние на германскую экономику. Предприятия Тиссена считались наиболее эффективными и технически совершенными. Они были блестяще организованы как с промышленной, так и с деловой точки зрения, а также реально способствовали снижению издержек производства в Германии. Они обеспечили работой, зарплатой и пищей десятки тысяч рабочих семей в Германии.

Наряду со стремлением расширять и развивать дело прогрессивными методами Тиссен никогда не терял способности к спокойному, взвешенному суждению. Он не имел ничего общего с теми одержимыми войной пангерманистами, которые мечтали об экспансии в соседние западные промышленные страны.

В 1916 году я посетил его и позволил себе затронуть в разговоре некоторых деятелей большого бизнеса, которые одержимы экспансией и полагают, что мы выиграем войну и добьемся стопроцентной победы. Тиссен устремил на меня долгий и мрачный взгляд. Затем произнес только одно предложение:

— Ну а если случится, герр Шахт, что мы не выиграем войну?

Часть третья

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Глава 18

ОСНОВАНИЕ ПАРТИИ

Мне был сорок один год, когда закончилась Первая мировая война. В тот день, когда император отрекся от престола, в Берлине вспыхнуло восстание, а германские представители отправились в неприятную поездку в штаб-квартиру союзников на переговоры о перемирии, я впервые занялся политикой. Стал основателем партии, которая должна была в последующие несколько лет сыграть важную роль.

В решении заняться политической деятельностью я руководствовался очень простыми мотивами. В течение всего последнего года войны Германия уже находилась в состоянии невидимой революции, сдерживавшейся только железной дисциплиной войны. Забастовки, яростные споры на заводах и в рейхстаге, марши протеста — все это были знаки надвигающейся бури, которые больше нельзя было игнорировать.

Мы ломали головы над тем, какой будет новая Германия, которой суждено возникнуть в процессе революции. Не было сомнений, что будет сдвиг влево. Но станет ли он таким же радикальным, как в России, где после короткого периода противоборства экстремисты возобладали над умеренными силами? Короче говоря, станет ли Германия большевистской, установит ли Ленин в конечном счете свою штаб-квартиру не в Москве, а в Берлине, как он признавался тайком?

Вот где таилась опасность. Никто не мог сказать наперед, как будут развиваться события, когда рухнули скрепы общества. С августа 1914 года скопилось слишком много динамита в подвалах, на задворках и в арендованных домах. Что же делать?

Одним из мест собраний людей, которые, несмотря на преобладающий упадок, все еще находили время для обсуждения этих вопросов, был клуб с многозначительным названием — «Клуб 1914». Его основали в последний год перед войной. Я часто посещал этот клуб и ночевал там время от времени, когда работа задерживала меня в банке. Там я встречал родственные души — юристов, журналистов, деловых людей, банкиров. Всех их беспокоило одно — что делать?

Мой ответ на этот вопрос был таков: «Нам нужно не допустить, чтобы умеренные Германии стали жертвами экстремистов. Нужно приложить усилия для формирования мощного костяка тех элементов, которые при отсутствии экстремистских настроений не удовлетворены нынешними условиями. Нам необходима буржуазия, которая разделит свою судьбу с организованными рабочими в грядущем коалиционном правительстве». Подобные соображения привели вскоре к образованию Германской демократической партии.

Между тем множились признаки того, что конец может наступить в любой момент. 3 ноября 1918 года начали мятеж матросы главных сил флота. Спартаковские элементы проникли в среду рядового и старшинского состава военноморского флота и водрузили красный флаг. Революция стала распространяться в Германии, подобно лесному пожару. Повсюду откуда-то возникали Советы рабочих и солдат, беря в свои руки власть на местах. Этот захват власти довольно часто сопровождался убийствами и грабежами.

В начале ноября 1918 года Берлин готовился к гражданской войне. На улицах появились заграждения из колючей проволоки, сооружались баррикады из опрокинутых транспортных средств. В центре города звучали выстрелы, заставляя обывателей разбегаться по домам. Авторитетов не было: вооруженная толпа была готова захватить бразды правления.

9 ноября принц Максимилиан Баденский объявил об отречении императора от престола даже до того, как сам император решился на это. Но его поставили перед свершившимся фактом. Генштаб уговорил его уступить бесповоротному велению судьбы. Но было ли это веление «бесповоротным»? Говорят, что Гинденбурга, с рекомендацией которого согласился в конце концов император, на смертном одре одолевали угрызения совести. С субъективной точки зрения он, несомненно, был убежден, что поступал правильно, когда со-

ветовал в 1918 году императору отказаться от трона. Вполне возможно, однако, что через пятнадцать лет он горько сожалел об этом шаге, когда осознал, что случилось со страной в результате утраты монархии.

В полдень 9 ноября я вышел с приятелем из отеля «Эспланада» и увидел, как через Потсдамерплац двигались первые грузовики с вооруженными красными солдатами. Это было любопытное зрелище. Люди, проходившие мимо грузовиков, выглядели подавленными и равнодушными — они не смотрели на грузовики. Красные революционеры кричали, размахивали ружьями и вообще старались произвести впечатление. Вокруг них, впереди и сзади, было обычное для середины дня на Потсдамерплац уличное движение. Весьма интересная символическая сцена, отражавшая размежевание в Германии, — революция в грузовиках, апатия на улицах.

Увидев эту сцену, мы изменили свой маршрут и направились в рейхстаг, чтобы найти депутата, который просветил бы нас относительно складывавшейся ситуации. Огромное государственное здание выглядело заброшенным и безжизненным. Раздавались гулкие звуки шагов, когда мы шли по длинным коридорам. Наконец мы дошли до кабинета либеральной группы: дверь была закрыта на ключ изнутри.

— Там должен быть кто-то, — сказал я и постучал.

Никто не отзывался. Я постучал снова.

За дверью прозвучал дрожащий голос:

— Кто это?

Я узнал его сразу — это был голос Штреземана. В то время он возглавлял национально-либеральную фракцию в рейхстаге.

— Доктор Шахт, — отрекомендовался я.

В замке повернулся ключ. В проеме двери показалось круглое лицо Штреземана. Он пригласил нас войти.

— У вас есть последние новости? — спросил я, оглядывая комнату.

— Революция, — коротко ответил Штреземан, сделав усталый жест.

— Что с императором, армией, правительством, полицией...

— Не знаю, — сказал Штреземан, — я последний, кто остался в рейхстаге. — Его голос звучал глухо в пустой комнате, где обычно велись оживленные разговоры. Она выгля-

дела сейчас вполонину больше своей обычной площади. Лицо Штреземана потемнело, глаза и линия рта выражали усталость. Он барабанил по столу пальцами.

— И что будет? — спросил я.

Он пожал плечами.

— Может, Эберт что-нибудь сделает, — сказал он. — Настал его час. У него самая сильная партия. Если он не сумеет...

Мне стало ясно, что Германия погрузилась в хаос. И поскольку я не был человеком, который уступает без сопротивления, то сказал:

— Что-то сделать *нужно*, герр Штреземан. Если левые возьмут верх, прекрасно. Но нам нужно основать буржуазную левую партию, чтобы социалистическое большинство не захватило все в свои руки.

— Буржуазная партия с левыми тенденциями, — откликнулся он. — Да, это может быть выходом.

Мы ушли.

В то время я, как и все, понимал, что пробил час социалистических партий. Их настойчивые усилия добиться мира на основе переговоров, огромные жертвы среди рабочих ради Германии и, наконец, последнее по очереди, но не по значению, — обещания социалистов выправить ситуацию — привлекали в их ряды массы избирателей. Это встретит бешеное сопротивление правых — как в России, — что может вылиться в войну между красными и белыми. Нам нужно действовать быстро, если мы хотим чего-нибудь добиться.

10 ноября в полдень мы собрались в большом, обклеенном темными обоями кабинете в берлинской резиденции доктора Теодора Фогельштейна. Внутри кабинета едва проникал шум уличного движения. Я уже не помню, сколько времени мы сидели и дискутировали.

С самого начала было ясно, что для создания политической партии необходимо взаимодействие с прессой. Но с какой прессой? Мы позвонили в Моссехаус доктору Теодору Вольфу из газеты *Berliner Tageblatt*. Вольф немедленно согласился сотрудничать с нами. Через несколько часов заявили о готовности предоставить свою газету в распоряжение новой партии левого буржуазного направления Визнер и Штейн из

Frankfurter Zeitung. С этими двумя газетами наши перспективы выглядели несколько более благоприятными.

Наконец мы решили 11 ноября, в день, когда в Компьенском лесу было подписано соглашение о перемирии, сформировать ГДП (Германскую демократическую партию). Через пять дней Теодор Вольф сформулировал текст основной декларации, который мы все приняли. К нам присоединился либерально мыслящий депутат Фишбек, взявшийся выполнять обязанности председателя исполкома партии. Проект программы, составленный доктором Паулем Натаном, был одобрен в принципе, но он оказался неработоспособным на практике. Поскольку времени было мало, а некоторые члены партии проявляли склонность тратить бесценные дни на бесплодные дискуссии, я призвал к выпуску «электорального манифеста», который содержал бы публичное объявление о рождении новой партии. Он выпускался через короткие интервалы в последующие несколько дней в виде памфлетов, адресованных определенным слоям населения. Все они носили временный характер, но имели целью пропагандировать повсюду цели ГДП. Мой «электоральный манифест» даже стал программой, продиктованной нуждами текущего момента, которая очертила только широкие контуры тенденций развития нашей партии. Но в то время мне казалось существенным, чтобы мы хоть *что-то* сделали для достижения своих целей. Из этого манифеста я запомнил лишь одну фразу: «Народ Германии сможет развивать свои национальные особенности свободно и независимо...»

Один из нашей компании — кажется, это был граф Бетуси-Хук — чуть улыбнулся, когда прочел этот фрагмент, и сказал:

— Это предложение характерно для вас, герр Шахт. Очевидно, вы приехали из старейшей в Германии крестьянской республики.

— Не понимаю, — признался я.

Он рассмеялся:

— Это слова фермера из Дитмаршена, а не берлинского банкира. И вы утверждаете, что не являетесь республиканцем?

Он имел в виду инцидент, который произошел, когда Теодор Вольф зачитал проект своей декларации, начинающейся со слов: «Мы республиканцы...»

— Стоп! — прервал его я. — Не могу подписаться под этим текстом. Я монархист.

Все удивились. Как, спрашивали другие, монархист может быть соучредителем демократической партии?

— Господа, — сказал я, — в мире имеется несколько конституционных монархий, где осуществляется демократическое правление. Вы знаете разницу между республикой и демократией? Первая представляет собой тип государства, вторая — форму правления. Демократия может быть консервативной, либеральной или социалистической.

Теодор Вольф согласился и продолжил чтение. На этот раз предложение начиналось так: «Мы основываем нашу точку зрения на республиканских принципах...»

Я согласился с этой редакцией. Что еще мог я сделать? В данный момент ничего. Император находился в Голландии, германская монархия прекратила существование...

Сколько же путаницы вносят модные словечки! Если сегодня упоминают демократию, люди немедленно связывают ее не только с республикой, но также с левой политической позицией. Они путают тип государства, то есть внешнюю конструкцию, с политическим содержанием государства. Демократия означает проявление политической воли, выраженной посредством свободного голосования граждан и решений большинства в рамках существующей государственной конструкции. Эта политическая воля претерпевает изменения в результате опыта и в соответствии с тенденцией экономического и культурного развития, а также изменений внешней политики. Если бы слово «демократия» было синонимом какого-нибудь левого определения, то есть социализма или либерального радикализма, это привело бы к политической кристаллизации. Демократия является философией жизни лишь постольку, поскольку она означает, что страна должна управляться волей большинства. Но демократия не является жесткой и твердой директивой для определенного философского направления действий. Политическое понимание большинства может меняться и изменяться на самом деле в результате накопления опыта. В ходе исторического развития демократия утверждалась в рамках республиканского, олигархического и монархического типов государства. В отдельных случаях она даже способствовала временному наделению властей всецело диктаторскими полномочиями.

Наши надежды, связанные с формированием ГДП, сбылись. Социал-демократам не удалось добиться большинства в Национальной ассамблее в ходе выборов 19 января 1919 года. ГДП обеспечила себе семьдесят четыре депутатских места и на критической стадии гарантировала, что социалистические теории не будут осуществляться в одностороннем порядке. Социал-демократы были вынуждены сформировать коалиционное правительство с представителями левой буржуазии.

Два министра от ГДП помогли наладить постепенное и последовательное политическое развитие страны вместо экстремистского хаоса. Одним из них был Гуго Прейсс, эксперт по конституционному праву, который сыграл решающую роль в разработке конституции Веймарской республики. Другой министр, Вальтер Ратенау, в качестве министра иностранных дел в 1922 году дал возможность Германии вновь принять участие в переговорах с целью активизации ее торговой политики в результате заключения договора в Рапалло.

Я лично был весьма удовлетворен такими успехами. Политическая активность партийного деятеля меня не привлекала. Я отказался баллотироваться на выборах в качестве кандидата от партии и фактически принимал участие в ее делах недолго.

Никогда в своей жизни я не давал себя запугать. Во время революции в Берлине я не менял стиля одежды, не носил темных очков и продолжал каждый день прогуливаться по Берлину. В короткий временной промежуток между революцией и Национальной ассамблеей я произнес несколько публичных речей, в которых откровенно высказывал свои убеждения. Аудитория отнюдь не всегда была дружелюбно настроенной. Но она сознавала, что во мне нет страха.

Только в одном случае мне помешали говорить. Это случилось в Вене в переполненном зале. Там в первых рядах разместились около пятидесяти хулиганов, которые подняли такой вой и свист при моем появлении, что мне пришлось отказаться от выступления. Я был один против пятидесяти. Позади них находились три тысячи граждан, которые пришли ознакомиться с программой Германской демократической партии. Эти три тысячи позволили, чтобы их терроризировала группа из пятидесяти хулиганов, вместо того чтобы вы-

бросить их из зала. Свобода без порядка рушит любую демократию.

В другом случае я выступал перед Ассоциацией немецких офицеров. Организация предложила шести политическим группировкам прислать по одному оратору. В течение двадцати минут каждому из них следовало подробно разъяснить аудитории свою текущую программу, выбрать по жребию очередность выступления. Мне выпал первый номер. Я вышел на подиум и сразу ощутил атмосферу молчаливой враждебности, исходившую от аудитории. Если я не хотел попусту сотрясать воздух, то должен был сделать в течение минуты нечто такое, что выбило бы из них чувство высокомерного отчуждения.

— Дамы и господа, я выступаю, — начал я, — как представитель ГДП, которая, как вы, конечно, знаете, является партией Berliner Tageblatt («правильно!»), партией крупных еврейских финансистов («совершенно верно!»), партией Золотого Интернационала (громкие возгласы: «совершенно верно!»). — Я преднамеренно сделал паузу и продолжил: — Вы понимаете, дамы и господа, что эти идиотские фразы являются предварительными замечаниями, чтобы определить характер аудитории, к которой я обращаюсь...

Офицеры опешили и, вероятно, несколько смутились. Они подались вперед и внимательно слушали. Никто не пытался меня прервать.

Эта речь обозначила окончание моего активного участия в делах ГДП. Я снова удалился в банк и посвятил себя своей работе. В последующий период Демократическая партия не выполнила обещания, данные ею во время блестящего старта. Она не сумела претворить в жизнь свои принципы. Ее представителям не хватало боевитости. Многие более крепкие политические партии увеличили свой электорат за счет ГДП.

Но 19 января 1919 года, во время революции и ослабления гражданского контроля властей, партия выполнила задачу консолидации либерально мыслящих элементов среди немецких граждан и выражения их протеста против программы социализации Социал-демократической партии Германии.

Я вышел из партии, когда через несколько лет в связи с экспроприацией имущества аристократии партия подвергла нападкам фундаментальное право частной собственности.

Глава 19

ЧЛЕН СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТ

Один из наиболее невероятных эпизодов моей жизни озаглавлен следующим образом: «Доктор Яльмар Шахт — член Совета рабочих и солдат». Сцена действия — Целендорф.

Революция в Целендорфе началась с рассылки председателем Совета прихода приглашений жителям округа собраться в большом холле гимназии. Там он произнес речь, которая по своей явной нелепости побивала все мыслимые рекорды. Совет прихода, сказал он, приготовил дешевый общественный завтрак в ресторане на открытом воздухе, расположенном на границе с Целендорфом, справа от основной дороги из Берлина. Когда из Берлина повалят революционные толпы, их привлечет этот дешевый завтрак. Они утолят свой голод и ко времени вступления в сам Целендорф станут такими же ручными, какими бывают львы в состоянии пресыщения пищей.

Меня крайне позабавило предположение, что берлинские «красные» устремятся в Целендорф, имея в карманах по шесть пфеннигов, чтобы принять участие в общественном завтраке. Нет нужды говорить, что ни одна душа из «красных» не явилась бы в Целендорф. Хорошо натопленные, просторные залы собраний города выглядели бы для этих толп гораздо более привлекательными, чем завтрак на окраине за мизерную цену.

Однако в гимназию кое-кто все же явился, причем во время председательской речи. Его звали Гере, и был он депутатом рейхстага от социал-демократов. Взмахом руки он заставил председателя замолчать, стал за столом в позу оратора и громко сказал:

— Теперь наша очередь!

Участники собрания онемели в изумлении. Председатель сжегился и затих. Я наблюдал за происходящим не без доли иронии. Немцы не могут дать отпор человеку, который лезет на трибуну напролом.

Гере был кем угодно, только не человеком, склонным к насилию. Я знал его лично: он принадлежал к типу мягких и добродушных людей. Был теологом, священником и приверженцем высоких принципов, вошедшим в социалистическое движение не раньше 1890 года из круга сторонников Наумана

с их национал-социальным проектом. В пятьдесят семь лет он был членом Германской социалистической партии (ГСП), которая в тот самый день, когда он выступал перед нами, назначила его заместителем военного министра. (Никто не годился лучше для проверки миролюбивых намерений ГСП, чем упомянутый вновь назначенный заместитель военного министра.)

Воспользовавшись случаем, Гере дал волю своему красноречию, петушился и объявил, что суверенная власть возложена теперь на две германские социалистические партии — ГСП, бывшую в большинстве, и независимых социалистов (НГСП).

Когда оратор зашел слишком далеко, я прервал его:

— Полагаю, что суверенная власть сохранится только до тех пор, пока Национальная ассамблея не провозгласит конституцию!

Гере умолк на мгновение. Среди участников собрания прокатился рокот. Конечно, прерывать великого человека в столь судьбоносный момент было неппростительной дерзостью.

— Да, — затем сказал Гере, возможно отчасти озадаченный, но, может быть, также полностью убежденный. — Да, но только до открытия Национальной ассамблеи!

Очень важно было заставить революционные власти как можно скорее понять, что они представляли собой всего лишь подручное средство. В то время все надеялись, что выборы в Национальную ассамблею приведут к смене обстановки. И наши надежды были оправданы.

Я опустил на свое место, вполне удовлетворенный. Это происходило 10 ноября 1918 года. В полдень того же дня я выехал в Берлин и обсудил со своими друзьями вопрос о создании Либеральной партии левого толка.

Но до этого имело место неожиданное продолжение собрания в Целендорфе. Когда Гере закончил свое выступление, был избран Совет рабочих и солдат прихода и общины Целендорф. Присутствовавшие на собрании солдаты назначили в него своего человека, второго представителя определили под шум всеобщего одобрения. Мое имя поддержали многие участники собрания, и с этого момента я стал членом Совета рабочих и солдат Целендорфа.

Третьего представителя следовало выбрать из числа рабочих.

— Пусть встанут члены моей партии! — потребовал Гере.

Встали три человека, одного из которых быстро избрали. «Администрация» Целендорфа теперь была готова выполнять свои функции.

«Править» в ратуше оказалось для нас нелегким делом. В воскресенье там не было ни души. Шкафы с официальными документами были закрыты, столы — пусты. Я сразу же вспомнил период оккупации Бельгии, когда фон Зандту следовало занять пост гражданского губернатора в Брюсселе. Оглядев пустую комнату, он воскликнул:

— Как можно здесь управлять? Нет даже малого дохода!

Однако, чтобы обозначить свои добрые намерения, мы составили воззвание к жителям Целендорфа, которое было напечатано за нашими подписями в следующем номере местной газеты. Совет рабочих и солдат больше не собирался. Наше воззвание, несомненно, попало в местный архив. Всю остальную работу мы передали существовавшей власти.

Успех на выборах в январе 1919 года не означал устранения социалистической угрозы. Наоборот, конфликт в рядах левых социалистов только начинался — борьба за власть между ГСП, НГСП и спартаковцами.

Чтобы понять обстановку, нужно знать, что власть в это время находилась в руках Совета народных делегатов. Он включал не только социалистов большинства — Эберта, Шейдемана и других, — но также двух независимых делегатов. Независимые решительно следовали радикальному направлению социализма, то есть социализма Карла Либкнехта и его Спартаковской лиги, которую поддерживали революционные силы флота в Киле.

25 ноября 1918 года Совет народных делегатов решил созвать Национальную ассамблею с полномочиями сформулировать конституцию и утвердиться, таким образом, на основе парламентской республики. В период между 10 и 12 декабря 1918 года это решение утвердила Национальная конференция Советов рабочих и солдат, дав, следовательно, гарантию того, что в Германии не будет никакой «русской революции».

Вслед за этим произошел раскол в рядах независимых. Их левое крыло слилось 1 января 1919 года со Спартаковской лигой в единую Германскую коммунистическую партию (отныне известную как ГКП). Большинство же социалистов,

которые хотели править не такими методами, как русская система Советов, но политическими и цивилизованными методами, стали приверженцами борьбы с коммунизмом.

Перед Рождеством 1918 года произошло опасное выступление народных дивизий флота, окруживших Городской дворец в Берлине, и вскоре после Нового года в Берлине же развернулись ожесточенные бои в кварталах прессы. Временные добровольцы, бывшие офицеры и батальоны рабочих социал-демократов выступили совместно против угрозы большевизма.

Однажды в период этих беспорядков, когда судьба Германии висела на волоске, я стоял у окна в отеле «Кайзерхоф» и наблюдал, как разворачиваются колонны социал-демократических профсоюзов, призванные Эбертом удерживать Вильгельмштрассе против спартаковских демонстрантов одной лишь своей численностью. Могучий человеческий поток вливался на Вильгельмштрассе — поток рабочих, художников, простых граждан, каждый из которых и все вместе поддерживали профсоюзы и политику Эберта по установлению закона и порядка.

Спартаковские массы разом устремились из Моренштрассе, надвигались под прямыми углами на сторонников профсоюзов, сблизились с ними и остановились. Последовали взаимные обвинения, затем драка. Неожиданно со стороны спартаковцев полетел какой-то предмет и упал среди сторонников профсоюзов. До меня донесся глухой звук взрыва, и я понял, что взорвалась ручная граната. За этим сразу же последовало отрезвление. Спартаковцы отступили, их оппоненты собрались группами вокруг одного из своих сторонников, который лежал на земле убитым. Осколки ручной гранаты поразили живот жертвы. Безвестной жертвы, единственного представителя армии мужчин и женщин, которые по зову своего партийного лидера вышли из своих арендованных жилищ для сохранения порядка и достоинства.

На этой смерти проблемы не кончились. Революция в марте 1919 года только в одном Берлине привела к гибели 1200 человек. Решение социалистического большинства править Германией при помощи парламента, а не диктатуры консолидировало в то время наше положение как западной державы, но ценой ожесточенной борьбы и кровопролития по всей стране.

Понесший поражение в войне и жертвы во внутренней борьбе, немецкий народ сражался в 1919 году в одиночку. Это сражение с того времени выросло в мировую проблему первостепенной важности и нанесло серьезный удар по большевизму.

Эти усилия послужили на пользу не только самим немцам, но также полякам, чехам, финнам, эстонцам, латышам, венграм, румынам и болгарам. Волевая, трудолюбивая, более приверженная порядку, чем большинство других стран, Германия обрела собственное спокойствие в мире лишь для того, чтобы возникла новая угроза, теперь не с Востока, но с Запада, — угроза в виде требований репараций со стороны бывших врагов.

У меня лично был очень ранний опыт знакомства с репарациями — задолго до того времени, когда я официально добивался их отмены. Но, прежде чем углубиться в эту проблему, объясню сначала, как налагались на нашу страну эти репарации и почему в них не было никакого здравого смысла.

С этой целью я должен попросить своих читателей взглянуть на войну не с привычной позиции, с точки зрения солдата, но с позиции делового человека.

Любая современная война начинается боевыми средствами, которые имеются в наличии, и заканчивается оружием, о котором вначале и не мечтали.

Внешне Первая мировая война началась во многом так же, как война 1870 года, — патриотические песни, ружья, увешанные цветами, военные мундиры светлого цвета и та смесь глубокой и поверхностной веселости, которая охватывает людей перед смертельной опасностью. Оснащение войск было настолько примитивным, что в течение первых месяцев войны французские солдаты (так мне говорили позднее) запикивали связки дров в и без того объемные вещевые мешки, чтобы готовить в военном лагере пищу. Когда в августе 1914 года армии вступили в войну, бой характеризовался еще штыковыми атаками и перестрелкой с близкой дистанции. Через четыре года забастовки и революции среди гражданского населения Великобритании, Франции и Германии показали, что непрерывный отток национальных экономических ресурсов сам по себе способствовал краху в войне.

Условия в странах обеих враждебных группировок оказались очень схожими. Альберт Баллин надеялся, что война закончится полным политическим фиаско, которое даст деловым людям шанс высказываться, со своей стороны, разумные мнения. Возможно, эта надежда могла бы реализоваться даже в таких условиях, если бы не вмешательство третьей, неевропейской державы в ход войны. Соединенные Штаты сначала использовали свой экономический потенциал, а затем и свои армии в Европе, решив, таким образом, исход войны в пользу стран Антанты.

Я не собираюсь объяснять причины вступления в войну Соединенных Штатов. Факт, однако, состоит в том, что, как я писал позже в своей книге «Конец репараций», поступая таким образом, они приняли на себя политическую ответственность, которую в то время еще не были готовы нести. По-моему, это не беспочвенная критика. Многие американцы осуждали уклонение Америки от политической ответственности после войны гораздо резче, чем я.

Считалось, что война закончилась всеобщим истощением. Карта Европы нуждалась лишь в небольших изменениях. Это общее истощение, эта явная бессмысленность войны техническими средствами могли бы стать хорошим уроком для обеих воевавших сторон. Лучшим, что могло случиться с точки зрения мировой истории, было бы окончание первой войны техническими средствами полным тупиком.

Требования союзниками по Антанте репараций после Первой мировой войны возбудили национальное негодование, а негодование — не лучшая почва для проведения миролюбивой внешней политики. Капитал на растущей политической ожесточенности, на экономических бедах Германии делали как правые, так и левые экстремисты до тех пор, пока в 1932 году они постепенно не создали обстановку, когда встал один вопрос: кто, левые или правые, добьется своей цели? Об этом свидетельствуют два простых подсчета.

Компартия, которая 6 июня 1920 года вошла в рейхстаг с двумя представителями, 6 ноября 1932 года (через двенадцать лет и пять месяцев) владела ровно сотней депутатских мест. Она отставала от ГСП на двадцать мест и была третьей по количеству депутатов рейхстага партией в Германии.

Однако национал-социалисты Гитлера, которые под таким названием пробилась 20 мая 1928 года в рейхстаг и были

представлены там всего лишь двенадцатью депутатами, имели там в 1932 году почти две сотни мест и стали сильнейшей партией Германии.

Политики, вызвавшие эту ситуацию своими астрономическими претензиями к рейху, которые отказывались внимать предостережениям против их собственного экономического безрассудства, сегодня снимают с себя всякую ответственность и умывают руки в связи со всем этим делом.

Жертвами войны стали и члены моей семьи. Мой брат Олаф умер от болезни, подхваченной в военные годы. Наш младший брат Вильгельм — светловолосый, очень милый, любимец моей матери — был убит в сражении на Сомме. Весть о его смерти в этой кровавой бойне на Западном фронте глубоко потрясла моих родителей. Когда у меня находилось время, я ездил в Шлахтензее. Брал с собой детей, чтобы они увиделись с дедушкой и бабушкой. Это была либо пятнадцатилетняя Инга, либо восьмилетний Йенс.

Даже в то время я не был в состоянии игнорировать политические проблемы, которые не могли не возникнуть после войны. Цифры наших потерь полностью не раскрывались. Никто по-прежнему не знал, что страна понесла военные потери 1 миллион 600 тысяч человек убитыми и 3 миллиона 500 тысяч ранеными. Их погубили, искалечили смертоносные изделия промышленности, которую мы с таким энтузиазмом помогали строить. У кого были глаза, тот понимал, что после войны не могло быть речи о восстановлении империи с ее неразрешенными проблемами, о возрождении прусского милитаризма старого образца (его уже постигла роковая участь на поле битвы, и он был вынужден уступить место новым методам войны техническими средствами), о разделении избирательных прав на три класса и о постоянном устройстве страны. Война отменила все это. Возникла необходимость найти что-то новое для замены старого, обветшалого. Но что это будет?

Таковы были внутренние проблемы Германии после ее поражения в войне машин. Нельзя было ожидать, что наши бывшие противники смогут понять их в полном объеме. Нельзя было также ожидать, что они будут полностью игнорировать борьбу Германии за свое место в западном мире, которая велась в последующие двенадцать лет. Я предвидел это еще в 1919 году. Когда в Германии было сформировано правитель-

ство, меня пригласили обсудить с представителями союзников вопрос о немецких контрибуциях державам-победительницам. В Гаагу была направлена делегация промышленников и экспертов, и там нас ожидала союзная комиссия. Моя задача заключалась в обсуждении вопроса о поставках немецкого углекислого калия и других химических продуктов.

Прием, который нам оказали, живо напомнил мне иллюстрацию в школьном учебнике по истории: «Персидские сатрапы принимают делегацию поверженных Афин».

Члены союзной комиссии явно были одержимы средневековым высокомерием. Речь идет о полном отсутствии не только рыцарства, но даже обычной вежливости. Вспоминается эпизод, когда немецкой делегации не обеспечили достаточного количества стульев, так что многие ее члены были вынуждены участвовать в дискуссии стоя.

Я не скрывал своего возмущения столь грубым обращением. Из-за этого мои коллеги из делегации явно тревожились.

— Ради бога, доктор, — шептал мне один из них, — не надо так вести себя! Жаловаться нельзя!

— Скоро увижу, могу ли я жаловаться или нет, — сказал я и пошел прямо к союзному генералу, который председательствовал на встрече. — Нас разместили в худших отелях. Еда отвратительна. Нам не позволяют выходить в город. Наши передвижения ограничены, и мы вынуждены вести переговоры с союзными партнерами стоя, — возмущенно сказал я. — Прошу вас, господин генерал, устранить эти безобразия.

— Вы, кажется, забыли, что ваша страна проиграла войну, — последовал жесткий ответ.

Я вернулся в Берлин, обогащенный горьким опытом. Я бы удивился больше последующим событиям, если бы не участвовал в этой конференции.

Поездка в Гаагу впервые настроила меня против репараций. В предстоящие годы нужно было многое сделать для решения этой проблемы.

Прежде всего, я обратил все свое внимание на банковскую работу. Ведь теперь над Германией нависла новая угроза, которая затрагивала внутреннее положение страны, так же как и репарационные требования наших бывших врагов: инфляция немецких денег.

Глава 20

ИНФЛЯЦИЯ

Период с 1920 по 1924 год до сих пор считается «периодом инфляции». Хотя мало людей способны объяснить значение этого слова, оно стало многое значить для целых поколений.

Для всех, кто помнит период инфляции, он ассоциируется с блокадой, голодом, сдачей иностранцам реальных ценностей, политической преступностью, перегруппировкой населения, внезапным обогащением сомнительных личностей. Для богатых слоев это время означало потерю капитала, для более или менее состоятельных и скромно обеспеченных людей этот период нес полный крах. В правительственных и официальных кругах он породил коррупцию, сомнительные политические сделки в партиях, вооруженных силах и министерствах. Далее следовал рост детской смертности и преступности. Дети умирали от рахита, пожилые — раньше времени. Все это и многое другое выражалось словами «период инфляции».

В широком смысле инфляция — это потеря капитала. Это латинское слово означает «вздутие». В узком смысле, следовательно, оно означает вздутие денег. В Германии это хорошо иллюстрирует статистика: в конце войны марка потеряла половину своей стоимости по сравнению с началом военных действий. Золотая марка (стандарт, на котором базируются бумажные деньги) составляла 2,02 бумажных марки. Но в ноябре 1923 года золотая марка стоила триллион бумажных марок. В цифрах это выглядит так: 1 000 000 000 000.

В течение пяти лет немецкий Имперский банк опустил стоимость марки до пятисотмиллиардной ее доли. В конце войны можно было, теоретически, купить пять миллиардов яиц за ту же цену, которую через пять лет имело одно яйцо.

Подобные сравнения представляют собой просто жонглирование цифрами. Но для единственного кормильца семьи они являлись не жонглированием, но отражением крайней нужды.

В других языках невозможно найти эквивалент слову *Währung*. Оно означает «деньги» или «валюта». То есть наличный фонд денег или деньги в обращении. Наше немецкое слово выражает в своем самом глубоком смысле значение денег как средства платежа. Оно должно длиться (*währen*), продол-

жаться, приобретать стабильность, то есть должно сохранять свою ценность. Перед тем как были изобретены банкноты, или бумажные деньги, платежи осуществлялись обычными материальными товарами, которые не изменяют своей ценности. Латинское слово *rescipia* (деньги) происходит от *rescus* (голова скота) и уходит в глубину времен, когда гурты и стада составляли средство обмена, при помощи которого приобретались другие товары. Наиболее распространенным средством обмена были цветные или ценные металлы — золото, серебро, медь. Из них в результате эволюции в тысячи лет золото утвердилось в качестве самого предпочтительного металла и заняло положение наиболее ценного средства платежа. При всех операциях с бумажными деньгами золото в качестве эталона не изменится.

С вводом в употребление современными государствами бумажных денег главная задача монетарной политики состояла в сохранении ценности таких денег. Покупательная способность таких денег с течением времени должна оставаться неизменной. Бартерный обмен может быть заменен только посредством стабильной валюты. Когда сегодня рабочий получает в конце недели в конверте свою зарплату, он должен быть уверен, что на следующей неделе купит на эти деньги столько же вещей, сколько прежде. Он должен сохранять способность копить деньги, пока их не окажется достаточно, чтобы купить участок земли и построить себе жилище.

Введение банкнотов, или государственной бумажной валюты, стало возможным лишь при условии, что государство или центральный банк обеспечит обмен бумажных денег на золото в любое время. Гарантия такой возможности (то есть оплаты бумаги золотом) в любое время должна, следовательно, стать целью всех эмитентов бумажных денег. Любое государство и центральный банк, пренебрегающие этим условием преднамеренно или по небрежению, виновны в преступлении в отношении граждан. Когда это делает отдельный индивид, его следует заклеить как банкрота и обманщика.

В прежние времена существовали государства, становившиеся банкротами из-за плохого управления финансами. Однако преднамеренные манипуляции валютой распространились только в самый последний период истории. В результате двух мировых войн многие страны попали в отчаянное финансовое положение и усматривали в обесценивании валюты

единственный выход. Преднамеренная девальвация обычно сопровождалась естественным падением стоимости бумажных денег. Когда государственные расходы превышают доходы и государство вынуждено оплачивать свои обязательства огромным количеством бумажных денег, их ценность снижается.

Такой была обстановка, в которой оказалась Германия после Первой мировой войны. И не только Германия. Другие страны не избежали инфляции, или девальвации бумажных денег. Но Германию этот недуг поразил больше всех. От инфляции особенно страдали народные массы Германии. Что касается денег — как и всех других вопросов деловой жизни, — то образованная часть населения разобралась в девальвации гораздо быстрее, чем необразованные массы. Каждый, кто замечал признаки приближения инфляции, мог защититься от потери бумажных денег покупкой активов, которые, наоборот, сохраняли их ценность. Например, он мог купить дома, недвижимость, промышленные товары, сырье, материалы и т. д. Массовое обращение к реальным ценностям позволяло сохранить и даже увеличить активы состоятельным людям, а особенно индивидам, неразборчивым в средствах.

В результате такой борьбы за самообогащение и финансовое самосохранение на основе эксплуатации невежества масс претерпевал искажения каждый аспект деловой жизни. Накопление прекратилось. Люди, не способные приобрести реальные ценности, стали охотнее тратить свои деньги на развлечения. Производство новых средств производства и реализация новых производственных проектов пришли в упадок из-за недостатка необходимого капитала. В банках больше не сосредотачивались прежде устойчивые потоки накопительных средств и наличные депозиты. По мере распространения девальвации ее темпы увеличивались. Те слои населения, которые больше не могли обеспечивать даже свои повседневные нужды — трудящиеся массы, офисные работники, люди с фиксированными доходами, — были охвачены крайней степенью тревоги и горького разочарования. Выплаты огромных зарплат бумажными деньгами не помогали — наоборот, чем больше тратилось бумажных денег, тем быстрее падала их ценность.

Многие фирмы прибегали к выплатам своим работникам зарплаты продовольствием. Но это была несовершенная и отчасти чрезвычайная мера. Компании, нуждавшиеся в капитале для производства и инвестиций, приняли практику выпуска

бонов, в отношении не к деньгам, но к углю, киловатт-часам электричества, поташу, цементу и т. д., что составляло реальную ценность таких бонов.

Тяжелое положение, вызванное инфляцией, безмерно усугублялось репарационными требованиями, выдвигавшимися державами-победительницами, несмотря на воцарившееся в Германии бедственное состояние. Требовались поставки за рубеж огромного количества товаров, большая же часть выручки от экспорта в иностранной валюте шла на выплату военных контрибуций. Любые иностранные ценные бумаги или акции предприятий, расположенных в нейтральных странах и все еще находившихся в собственности Германии, привлекались к выплате долгов, когда наступал срок платежа.

Поскольку даже при таких непомерных жертвах Германия не могла выплачивать репарации, навязанные ей Версальским договором, против нее применили в 1923 году репрессалии в виде военной оккупации Рейнской области вопреки тому же Версальскому договору. Население оккупированных территорий реагировало на попрание справедливости любой формой пассивного сопротивления, отказом от работы и саботажем. Это, в свою очередь, налагало на правительство новые обязательства. Оно было вынуждено продолжать выплаты зарплат и пособий жителям оккупированных территорий, не получая никакой соразмерной отдачи.

В 1923 году инфляция достигла воистину ужасающего масштаба. Спрос на банкноты настолько увеличился, что Имперский банк оказался не в состоянии выпускать их в необходимом количестве. Кроме Имперского банка, имелось несколько частных типографий, занятых печатанием банкнотов с все более растущей деноминацией. Стремительно приближался день, когда цена трамвайного билета должна была равняться банкноте достоинством в миллиард марок. Многие муниципалитеты и промышленные фирмы принялись за печатание собственных «чрезвычайных денег», чтобы оплачивать свои расходы. Имперский банк не мог отказаться от приема этих «чрезвычайных денег» или от зачета их как валюты наравне с собственными банкнотами. Стало невозможным контролировать выпуск «чрезвычайных» банкнотов. Циркуляция банкнотов и монет превратилась в хаос.

В течение всего этого периода, то есть с начала 1919 до конца 1923 года, ни Имперский банк, ни правительство не пред-

принимали никаких усилий для стабилизации валюты. Совет управляющих Имперским банком придерживался того мнения, что попытки стабилизации марки бесполезны, пока сохраняется неопределенность в отношении суммы выплат Германии по военным долгам и пока не достигнуто соглашения по этому вопросу с державами-победительницами. Против этого мнения, которое разделяло и правительство, было трудно возражать. Стабилизация валюты, которая удовлетворяла бы не только внутренние экономические нужды страны, но и колоссальные зарубежные обязательства, была и в самом деле невозможна.

Существовала, однако, и другая возможность, на которой я настаивал в ряде статей, опубликованных в различных газетах, в частности в *Berliner Tageblatt* и *Vossische Zeitung*. У меня сердце кровью обливалось при виде того, как девальвация обогащает жуликов и тех, кто «понимает», в то время как доходы низших слоев населения сокращаются, а их накопления обесцениваются. Я предложил ввести монету на базе золотого стандарта, однако в ограниченном количестве, что позволит рабочему оценивать ежедневно уменьшавшуюся стоимость зарплаты, выразившейся в бумажных деньгах. Кроме того, эта монетная система окажет хорошую услугу экспортной и импортной торговле.

Предложение реализовалось в определенной степени, когда в середине 1923 года произвели выпуск небольших долларовых купонов, которые, по крайней мере, послужили стабилизации части — хотя и весьма малой — денежных переводов и продемонстрировали разрыв в ценности золотой монеты и бумажных денег.

В 1923 году условия народных масс настолько ухудшились, что коммунистическое движение усилилось до опасного уровня. Политические беспорядки достигли размаха, когда стабилизация валюты стала жизненно необходимой для спасения страны от полного краха. Если представить, что дензнаки отправлялись в города и провинции огромными тюками на грузовиках и в железнодорожных вагонах, что для изготовления бумажной купюры требовалось больше ресурсов, затраченных изготовителями бумаги, инженерами, печатниками, литографами, экспертами по цветовой отделке, чем это выражалось в стоимости конечного изделия, то можно понять всю дикость ситуации того периода. Он разрушал самый ценный капитал — рабочую силу.

Глава 21

С ДАНАТ-БАНКОМ

Вскоре после того, как я поступил на работу в Национальный банк Германии, один из моих коллег, как уже упоминалось, был вынужден выйти из правления, которое теперь состояло только из моего коллеги Виттенберга и меня самого. Виттенберг занимался текущими делами, мне же доверили крупные кредиты и синдицированные сделки. Мы нуждались в управляющем отделе ценных бумаг, и поэтому возникла необходимость назначить третьего члена правления. По настоятельной рекомендации некоторых членов наблюдательного совета я позволил уговорить себя пригласить на это место в правлении Национального банка герра Якоба Гольдшмидта, партнера банковской фирмы «Шварц, Гольдшмидт и К°». Эта фирма была одним из наиболее активных игроков на рынке ценных бумаг, а ее старший партнер Гольдшмидт считался одним из самых способных игроков на бирже. Он вошел в правление Национального банка в середине 1918 года и в течение последующего десятилетия вырос в одну из самых выдающихся фигур Берлинской фондовой биржи и стал одним из самых обсуждаемых членов банковского сообщества Берлина.

Вскоре выяснилось, что мы с Гольдшмидтом совершенно различаемся по темпераменту и, к сожалению, по своему отношению к банковской политике. Хотя внешне мы поддерживали дружелюбные отношения, мне весьма претили его спекулятивные методы. В течение короткого периода времени я стал получать на банковский счет ценные бумаги на значительные суммы, которые порой давали прибыли, порой приносили потери. Его сильной стороной было то, что он находил поддержку в большинстве крупных акционерных компаний посредством этих пакетов ценных бумаг и таким образом обеспечивал финансирование банком их торговли. Подобным же образом он стимулировал поглощения и другие виды объединений между крупными компаниями и непосредственно участвовал в них, в результате чего, следует признать, влияние Национального банка значительно выросло, а также возросла его деловая активность, которая, с другой стороны, предъявляла чрезмерные требования к банковским ресурсам. Между прочим, мы не учитывали, что эти самые ресурсы со-

стояли не только из собственного банковского капитала, но также в еще большей степени из депозитов вкладчиков.

Гольдшмидт всегда склонялся больше к «быкам», чем к «медведям» — распространенная ошибка среди спекулянтов. «Быки» — это те, которые рассчитывают на повышение цен, «медведи», или «фиксаторы цен», — те, кто делает ставку на падение цен. Несомненно, человеческая природа руководствуется больше оптимизмом, чем пессимизмом.

Первая крупная неудача имела место в связи с военным крахом к концу 1918 года. Стало очевидно, что спекулятивная активность Гольдшмидта — когда она шла в неверном направлении — подвержена резким колебаниям.

Вскоре выяснилось, однако, что Национальный банк остро нуждается в увеличении фондов. В результате Гольдшмидт договорился о слиянии нашего банка с Немецким национальным банком в Бремене, что означало соответствующее увеличение капитала и создание филиалов.

Опираясь на усугубляющийся процесс девальвации, Гольдшмидт в последующие годы преуспел в заметном расширении наших связей с крупными промышленными и транспортными концернами. Однако несоответствие между уровнем обязательств по ценным бумагам и наличным капиталом очень скоро стало очевидным, и поэтому Гольдшмидт в 1921 году добился нового слияния. На этот раз с Дармшtedтер-банком.

Я вовсе не был сторонником этого слияния, потому что дальнейшее расширение денежной базы могло подтолкнуть Гольдшмидта к продолжению спекулятивной банковской политики. В банковском деле я руководствовался в первую очередь чувством ответственности за сохранение депозитов вкладчиков, обеспечение их нормальными кредитами и ценными бумагами. Меня отнюдь не увлекала возможность заниматься спекуляциями, таящими огромные риски. Тем не менее крупные сделки, провернутые Гольдшмидтом, которые в то время, естественно, принесли большие прибыли, обеспечили ему полную поддержку наблюдательного совета, многие члены которого с удовольствием принимали участие в сделках Гольдшмидта.

Помню собрание правления, на котором Гольдшмидт рекламировал одну из своих крупных сделок при поддержке одного из членов совета. Тот заметил с восхищением в голосе, что не стоит обременять себя заключением мелких сделок, когда такая

сделка, как эта, способна принести большую прибыль. Я часто предостерегал против спекулятивной банковской политики. Поэтому во время паузы в дискуссии поднялся и сказал:

— «Раз ни один голос не оказывает поддержки побежденному, я буду свидетельствовать за Гектора...» Куда бы вы делись, господа, со всеми своими крупными сделками, если бы не депозиты наших многочисленных мелких вкладчиков, которые только и делают возможным финансирование таких крупных сделок. По-моему, первейшим долгом банка является гарантия сохранности депозитов, за которые он несет ответственность.

Ввиду стесненного положения я не мог сопротивляться слиянию с Дармштедтер-банком, но утратил всякое удовлетворение от работы. Главным образом поэтому я ушел через два года из банка без всякого сожаления. После слияния предприятие получило название Данат-банк, а последующие события, увы, показали, что я был прав. Банковский кризис 1931 года был вызван крахом Данат-банка под управлением Якоба Гольдшмидта, когда банк был больше не в состоянии выполнить требования клиентов о возврате их денег.

Я часто упрекал Гольдшмидта за его неспособность понять суть обязанностей одного из крупных депозитных банков и нести ответственность перед депозитариями. С другой стороны, ему надо отдать должное за особый талант добиваться финансовых объединений. К несчастью, он не мог проявить сдержанность и обеспечить надежный баланс целей и средств. Это свойство тем более огорчало, что сам по себе Гольдшмидт был обаятельной личностью, преданной душой и сердцем экономическому возрождению Германии.

Гольдшмидт не пользовался симпатиями своих коллег в других крупных банках не только из-за своих конкурентных методов борьбы, которые порой оказывались беспощадными, но также из-за мировоззрения, не вяжущегося с политикой руководителей ответственных крупных банков. Он был вынужден уразуметь это, когда его банк столкнулся с июльским кризисом 1931 года и за него не поручился и не пришел к нему на помощь ни один из его коллег.

Думаю, могу утверждать, что охарактеризовал Гольдшмидта без гнева и пристрастия, и позволю себе процитировать пародию на цитату из Пролога к «Валленштейну» Шиллера, которая стала популярной после отхода Гольдшмидта от дел:

Вы хорошо знаете его, автора острых цитат, Идола «быков» и бича игроков-«медведей», Отважного и предприимчивого сына госпожи Удачи, Который поднимался ввысь на крыльях инфляции, Быстро достиг высочайшего пика на Бирже И, все еще не насытившийся спекуляцией, Пал жертвой всепоглощающей мании.

Чем меньше удовольствия я получал от своей работы в Данат-банке, тем больше внимания обращал на экономические проблемы общества. Вместе с проблемами монетарной политики меня глубоко заинтересовал вопрос репараций. Огромные затраты на Первую мировую войну — в отличие от прежних войн — возможно, стали причиной астрономических цифр, которыми союзные державы оценивали платежи за военный ущерб. Первая опубликованная сумма равнялась 450 миллиардам марок и поступила от французского министра финансов господина Клотца. В Париже в конце января 1921 года нацелились почти на половину этой суммы. Ее следовало выплачивать ежегодно, начав с 2 миллиардов и увеличивая сумму до 6 миллиардов ежегодно в течение сорокалетнего периода.

Последовали интенсивные переговоры с Германией и международные конференции по вопросу определения окончательной суммы репараций. Сегодня каждому ясно, что репарационные требования являлись абсолютно абсурдными с точки зрения политической экономии. Однако в то время заинтересованные политики не имели реального представления ни о том, каким образом такие требования могли быть удовлетворены, ни о том, какие последствия могли вызвать попытки их удовлетворения.

В начале 1921 года, во время первого послевоенного посещения Парижа, я воспользовался возможностью поднять вопрос о репарациях — в частности, о возможности их экономической реализации — перед теми членами французского правительства, с которыми мне удалось встретиться, и среди них — перед министром финансов господином де Ластейри. Однако это не дало положительного результата. В конце концов репарации были определены на сумму в 120 миллиардов марок.

Рост инфляции в Германии и дорогостоящая оккупация союзниками Рейнской области предельно ясно показали, как нереально было ожидать выплаты таких фантастических репараций. Вскоре после этого, в мае 1923 года, мне выпал слу-

чай обсудить репарационные проблемы в Лондоне с представителями британского промышленного объединения, Союза содружества, который возглавлял адвокат по имени Аллан Смит. Его заместитель по электротехнической промышленности был немецкого происхождения, он сменил свое имя Гирш на Херст. Здесь я тоже столкнулся с общим неприятным позицией Германии. Однако мы старались соблюдать в дискуссиях беспристрастность и обходительность.

Все участники переговоров, кажется, согласились в желательности оживления англо-германской торговли. Определенные политические вопросы, такие как совместное гарантирование восточных границ, сформулированное в Версале, интернационализация железных дорог Рейнской области и ее разделение и другие, были быстро сняты с повестки дня переговоров. Их сочли либо неуместными, либо вредными. Главной темой переговоров был размер репараций. Германские власти согласились считать максимумом, который Германия могла себе позволить выплачивать, 20 миллиардов марок.

— Двадцать миллиардов марок слишком мало, — заявил один из переговорщиков, — то есть это несправедливое предложение.

— Вам, господа, это кажется мало, — говорил я, — но в любом случае это справедливо. У нас нет никакого желания полагаться на бесчестную политику. Именно поэтому мы желаем выплачивать сумму, которую, как полагаем, в состоянии выплатить. Было бы достаточно легко сегодня предложить большую сумму, если бы не убеждение, что позднее станет очевидной невозможность таких выплат и что мы не избежим обвинения в даче обещания, которое не смогли выполнить.

— Германская налоговая политика слишком либеральна, — заявил один из присутствующих. — Директора предприятий тратят все на производственные нужды вместо выплаты налогов.

— Вы знаете, господа, что мы страдаем от жесточайшей инфляции. Перед лицом ежедневного падения стоимости денег налоговая политика иллюзорна. Пока мы не сумеем стабилизировать валюту, невозможно подсчитать наши средства от поступления налогов на реальной основе и еще меньше возможности платить по репарациям. Что же касается самофинансирования предприятий, то, конечно, нужно только радоваться тому, что наша промышленность — отброшенная

войной назад и не отвечающая современным требованиям — может встать на ноги. Без промышленности нет надежды ни на немецкий экспорт, ни на выплату репараций.

В полдень первого дня переговоров я встретился с господином Мак-Кенна, одним из самых выдающихся среди ведущих британских банкиров и бывшим министром финансов. Когда я сообщил ему об утренних дискуссиях, он широко улыбнулся:

— Немецкое предложение двадцати миллиардов марок слишком велико. Поскольку Германия способна делать платежи только за счет экспортной выручки, ей придется экспортировать в таких масштабах, что британская промышленность пострадает в непомерной степени.

Среди экономистов союзных держав Мак-Кенна был, видимо, первым, кто признавал так называемую трансферную проблему, которая обуславливала все репарации и экономические действия последующих десятилетий. Легко постановить на бумаге, что одна страна выплатит миллиарды другой. С одной стороны, эта проблема затрагивает государство-должника настолько, что оно должно собирать сумму долга посредством увеличения налогообложения и интенсификации труда. С другой стороны, она затрагивает страны-кредиторы, поскольку выплата долга не может осуществляться валютой страны-должника (в случае с Германией — имперскими марками), но может реализовываться лишь в золоте или товарах. Немецкие марки могли тратиться только в Германии, но экспорт немецких товаров в огромных количествах означал чрезмерное усиление конкуренции для других стран.

Моя поездка в Англию завершилась на следующий день завтраком, данным в мою честь в Клубе автомобилистов. Это был, во всяком случае, признак того, что мое присутствие и мои разъяснения воспринимались со вниманием и пониманием. Эксперты в финансовых кругах союзных держав стали понимать потребность обсуждения вопроса о репарациях с непредвзятых экономических позиций, так же как необходимость восстановления порядка в германской финансовой системе. Переговоры на правительственном уровне в последующие месяцы завершились решением созвать экономическую конференцию для обсуждения этих вопросов. Она состоялась в 1924 году в Париже под председательством чикагского банкира Чарльза Дауэса и известна в истории под названием конференции Дауэса.

Глава 22

СЕКРЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ МАРКИ

Летом 1923 года инфляционное бедствие Германии достигло кульминации. Пять лет после окончания Первой мировой войны в Германии свирепствовала лихорадка, которая угрожала подорвать остаток ее сил. Беспорядки возникали в разных районах Саксонии, Тюрингии и Баварии. На юге разглагольствовал Гитлер. В Саксонии коалиционное правительство коммунистов и социал-демократов Цайгнера дало волю красному террору. В Гамбурге уличные столкновения продолжались весь день, погибли шестьдесят пять человек. Неумолимо росла опасность коммунистического переворота.

Я считал своим долгом увезти свою семью из этого гиблого места и устроить ее в Швейцарии, так чтобы мне не мешали работать размышления о том, затянет ли меня в этот водоворот или нет. Поэтому я предоставил своим детям возможность усовершенствовать свои знания французского языка. Тринадцатилетнего сына определили учиться в школу Лозанны, а двадцатилетняя дочь прервала свои занятия в Гейдельберге, чтобы продолжить их в университете Лозанны.

Все сходились во мнении, что коммунистическую угрозу можно было отвести лишь при условии окончания борьбы против французской оккупации Рура (это было главной причиной быстрого роста инфляции) и стабилизации марки. В течение трех лет обсуждался широкий спектр различных планов стабилизации без достижения какого-либо определенного решения. Кабинет Штреземана решил наконец прекратить споры вокруг Рура и сосредоточиться на усилиях по стабилизации валюты.

Не следует преуменьшать заслуги Штреземана в политике летом 1923 года. Он не тратил времени на теоретизирование. Его цель состояла в создании такого положения во внутренних делах, которое обеспечит поддержку стабилизации достаточного большинства населения. Более того, ему удалось возбудить интерес западных союзников и привлечь их к сотрудничеству в деле упорядочения финансовых и экономических дел в Германии. Это сотрудничество привело к формированию группы международных экспертов в январе 1924 года, известной под названием «комитет Дауэса».

Успех зависел от возможности достижения союза правых и левых в проведении единой монетарной политики. В этой

связи правые политики, которые имели особенно прочные связи с сельским хозяйством, сыграли выдающуюся роль.

До сих пор сельское хозяйство извлекало значительные выгоды из инфляции, пока она давала возможность фермерам оплачивать свои долги девальвированной валютой, потому что немецкий закон придерживался принципа равенства марок. Это означало, что долги, набранные в золотых марках, могли погашаться равным количеством деноминированных бумажных марок. Кроме того, сельскохозяйственное сообщество использовало свои бумажные марки для закупки возможно большего количества разнообразного полезного оборудования и мебели, равно как и многих бесполезных вещей. Это был период, когда рояли можно было обнаружить во многих домах, обитатели которых отнюдь не отличались любовью к музыке.

Аграрные круги считали себя хозяевами в сложившейся обстановке, хотя с политической точки зрения они не поддерживали Штреземана, который придерживался в рейхстаге либерального направления. Но Штреземан знал, как приручить их.

Он дал свое благословение плану реформы валюты, выдвинутому членом консервативной партии немецких националистов Гельфферихом. Этот план предусматривал введение так называемой ржаной марки (Roggenmark). Несколько больших предприятий уже придумали и приняли идею выпуска облигаций, оплачиваемых не дензнаками, но их подобием (тонной угля, центнером поташа). Гельфферих пошел дальше: он выпустил талоны стоимостью в 100 марок, которые оплачивались определенным весом ржи и оставались в силе при условии обеспечения этим весом. Это, разумеется, нельзя было назвать стабильной валютой, поскольку цена ржи изменялась в зависимости от уровня потребления и урожая, но различие в стоимости удерживалось в рамках высокой и низкой цен на рожь.

Гельфферих старался использовать план введения ржаной марки в интересах своей партии, вверяя выпуск таких талонов не Имперскому, но Центральному банку, вскоре учрежденному. Это учреждение пользовалось предпочтением большей частью аграрных групп. Легко понять, что эти группы приобрели сильное влияние на германскую экономику.

Естественно, данная идея встретила бурный протест со стороны левых сил. После многочисленных споров достигли компромисса в форме так называемой рентной марки (Ren-

tenmark). Теоретически рентная марка равнялась золотой марке, но обеспечивалась она закладными на земельную собственность, так что любая сумма в рентных марках могла обмениваться в любое время на аналогичную сумму в ипотечных облигациях. Даже это, очевидно, не гарантировало стабильность стоимости, поскольку такая ипотечная облигация вызывала только колебания цен на фондовой бирже. Между тем надо было что-то делать.

Под давлением этого «надо» Штреземану удалось добиться большинства в рейхстаге в две трети, которое обеспечило правительству полную свободу принимать те решения в монетарной политике, которые оно считало нужными. Таким образом, использование рентной марки стало законом. Основали особый Рентный банк, но Имперский банк тоже выступил на арену, поскольку распределение и кредитование рентных марок было поручено его совету управляющих. Такой была обстановка, когда меня призвали осуществлять денежную реформу на практике.

Утром 12 ноября 1923 года меня вызвал на срочную беседу министр финансов доктор Лютер. Он представлял собой первоклассного администратора. Перед тем как возглавить министерство финансов, он был мэром Эссена и образцово выполнял свои функции. Он также полностью соответствовал своему посту министра финансов, но не чувствовал себя способным справиться с задачей реформирования национальной валюты и искал специалиста в этой сфере.

Совет управляющих нашего банка обслуживал энергичный комиссионер по имени Мюссигбродт (Müssigbrodt в переводе с немецкого «праздник хлеб»). Благодаря своему рвению и активности он заслужил негласное прозвище «старый хлопотун». Желая помочь мне, он спросил:

— Вам нужна, герр, ваша красная сумка?

Красная сумка представляла собой кожаный портфель, который я брал с собой во все поездки и на все конференции. В нем лежали разного рода документы и другие бумаги, которые могли мне понадобиться. В этот раз, однако, портфель мне не понадобился. Я покачал головой:

— Спасибо, Мюссигбродт, сегодня обойдусь без красной сумки.

Для беседы с министром финансов я был вполне готов. Знал, что два других банкира уже привлекались с просьбой

заняться денежной реформой в качестве уполномоченных Комиссии по национальной валюте. Оба отклонили предложение. Поэтому я хорошо представлял себе, о чем пойдет разговор с Лютером.

Очень коротко Лютер изложил передо мной суть своего предложения. Моим первым вопросом был следующий:

— Герр Лютер, почему вы сами не займетесь этим?

Он привел тот довод, что уже загружен работой.

— Почему два других банкира отказались, когда вы сделали им свое предложение?

— Вероятно, они не чувствуют себя способными справиться с этим делом. И один из них был настолько наивен, что согласился взяться за работу только после введения рентной марки. Но это полное непонимание проблемы. Как раз этот ввод рентной марки в обращение и представляет жизненно важную проблему.

— Почему вы не предложите Имперскому банку провести денежную реформу?

— Вы хорошо знаете, герр Шахт, что председатель Имперского банка, который сам по себе вполне способен сделать это, находится в натянутых отношениях с правительством и президентом рейха.

Я, конечно, знал это. Правительство, как и президент Эберт, не раз давали Гавенштейну (президенту Имперского банка) понять, что ему следует подать в отставку. Но Гавенштейн имел пожизненное назначение и перед уходом в отставку, видимо, хотел среди прочего удостовериться, что его преемник будет придерживаться тех же взглядов на финансовые проблемы, что и он сам. Не было также секретом его желание иметь своим преемником Гельффериха. Но это назначение зависело от президента рейха, а Гельфферих был не тем человеком, которому доверилось бы правительство и сам Эберт.

Я раздумывал над проблемой. Несмотря на принципиальную готовность переключиться с работы в частном банке на государственную службу в сфере национальной экономики, я все-таки осознавал, что рассматриваю рентную марку исключительно в свете чрезвычайной меры, от которой следует отказаться по возможности скорее. Я считал единственным правильным решением восстановление золотой марки, а это невозможно было сделать посредством Рентного банка, но было вполне осуществимо с помощью Имперского банка.

— Прошу вас дать мне несколько дней для тщательного обдумывания вопроса.

— Искренне сожалею, но это совершенно невозможно. Вам следует дать ответ сегодня и принять обязанности уполномоченного Комиссии по национальной экономике немедленно.

— Каковы полномочия этого должностного лица?

Лютер объяснил. Мне будет предоставлена свобода действий во всех вопросах, касающихся денег и кредита, и я буду иметь непосредственный контакт с правительством, минуя различные министерства.

— Вы согласны, г-н Лютер, чтобы я дал ответ о своем решении после полудня? Мне нужно завершить дела со своими коллегами и банком.

— Если вы примете решение после полудня, я буду вполне удовлетворен.

Я вернулся в банк, продумал свои планы и сообщил коллегам, что намерен принять правительственный пост, если банк освободит меня от контракта. Руководство учреждения не могло отговаривать меня слишком убедительно, поскольку банку как таковому было трудно сопротивляться правительственному предложению. Возможно также, что среди моих коллег были два-три человека, которые желали моего ухода. Ни один общественный деятель не может надеяться избежать недоброжелателей, а в моем случае обычные любители скандалов выступили на сцену позднее со сказками о большой сумме, которую, дескать, банк выплатил мне в качестве отступных. Правда состоит в том, что я никогда не добивался и не получал каких-либо отступных.

С уходом из банка я оставил все свои консультативные должности. Во всех банках было принято укреплять связи их директората и клиентуры (когда она представляла собой акционерные общества) посредством кооптирования ведущих банкиров в консультативные советы компаний. В их обязанности входило, прежде всего, развитие кредитных и финансовых отношений банков с этими учреждениями, а также консультации. С течением времени вошло в обыкновение преподносить эти консультативные должности в качестве доходных синекур. Однако помимо того, что вознаграждение за такую работу не всегда выплачивалось отдельным банковским служащим, но переводилось на счет банка, эта работа требова-

ла немалых усилий и нервов. Такие обязанности невозможно было переложить на подчиненных, поскольку они почти всегда предполагали принятие ответственных и быстрых решений. В результате количество консультативных должностей, занимаемых ведущими банкирами, быстро росло. Сам я в течение ряда лет занимал их в целом около семидесяти. По свидетельству моей секретарши, я проводил в течение года в поездах не менее ста ночей, чтобы выполнить свои консультативные обязательства. Это может дать представление о такой работе.

На следующее утро, 13 ноября 1923 года, я приступил к выполнению своих обязанностей в качестве уполномоченного Комиссии по национальной валюте. Любопытно отметить, что число 13 часто играло определенную роль в моей жизни. 13 марта 1924 года я основал Дисконтный банк золотой марки. 13 мая 1927 года явился «черной пятницей» на Берлинской фондовой бирже. 13 января 1931 года я прибыл в Шевенинген на Гагскую конференцию. 13 июля 1931 года канцлер Брюнинг вызвал меня для консультации в связи с банковским кризисом. 13 ноября 1923 года было днем, когда Штреземану удалось наконец провести закон, наделявший его полноценной властью, при помощи которой он подавил различные попытки организации мятежей и беспорядков по всей стране.

Четырьмя днями раньше, то есть вечером 9 ноября, мы пили пиво со Штреземаном, которого я знал уже двадцать лет, и обсуждали экономическое положение. Наш разговор неожиданно прервало сообщение из МИДа, информировавшее Штреземана о путче национал-социалистов Гитлера в Мюнхене.

Вплоть до 12 ноября, когда я сжег за собой мосты, моя частная жизнь протекала вполне счастливо. У меня была семья, круг друзей, приличный доход, дом с удобствами. Я делил свои деловые хлопоты с коллегами по работе, несшими равную со мной ответственность. Короче, если бы я не откликнулся на призыв помочь стране, то, вероятно, закончил бы свою жизнь в относительном покое и комфорте. Но я никогда не мог освободиться от переживаний по поводу благополучия народа. Никогда не рассматривал свою банковскую карьеру в качестве способа делать деньги. Скорее, я стремился использовать свою деятельность банкира для помощи немецкой экономике. Я понимал, что Германии угрожала опасность быть поглощенной коммунизмом, и считал своим

долгом не уклоняться от дела, которое, как я надеялся, было мне под силу.

Поскольку моя жена находилась в Лозанне, я не мог обсуждать дела с ней. Все, что я мог, — это сообщить ей о своем решении; это означало также, что мне приходилось действовать без ее совета. Мне приходилось идти в одиночку. Я был востребован политикой, хотел того или нет, без поддержки хотя бы одной политической партии. Правда, я состоял еще членом Германской демократической партии, но не ощущал привязанности к ней. Я не допускал ни в малейшей степени, чтобы на мои взгляды и убеждения оказывали какое-нибудь влияние партийные соображения. Что касается политики, то у меня не вызывало сомнений, что я должен вести себя как «кошка, гуляющая сама по себе». Моей сферой деятельности была политическая экономия, но она изменяется с течением времени и не приравнивается к партийно-политическим представлениям.

Смена работы повлекла за собой также полную смену моего социального окружения. Единственным человеком, который принял эту перемену вместе со мной, была фрейлейн Штеффек. После многолетнего проживания в Южной Африке она знала английский язык в совершенстве. На машинке она печатала быстрее, чем стенографировала, обладала настоящими организационными способностями, проявляла в отношениях с людьми сдержанность и такт. Отныне мой офис располагался в здании министерства финансов, и ее переход в это министерство был сопряжен с некоторыми трудностями, что стало очевидно после моего разговора с главой управления кадров.

— Мне придется взять с собой секретаршу, — начал я. — Кем вы ее устроите в смысле оклада?

— Зарплата секретарей у нас составляет двести марок в месяц.

— Мне кажется, что это очень мало. Когда фрейлейн Штеффек работала в нашем банке, ей платили шестьсот марок в месяц. Какова же зарплата уполномоченного Комиссии по национальной валюте?

— Уполномоченному полагается зарплата в четыреста марок.

— Это слишком мало в сравнении с моим нынешним доходом. Но у меня есть предложение: добавьте мою зарплату

к окладу фрейлейн Штеффек, чтобы она имела свои шестьсот марок. Я же откажусь от своих претензий по зарплате.

— Вы имеете в виду, что будете работать даром? — спросил кадровик, явно сбитый с толку.

— Да, при условии, что вы положите моей секретарше оклад в шестьсот марок.

Мой офис в министерстве представлял собой небольшую комнату, выходящую окнами на задний двор, которую ранее уборщица использовала в качестве подсобного помещения. Но в ней, по крайней мере, поместили письменный стол и телефон.

Через десять дней после моего назначения уполномоченным комиссии пало правительство Штреземана и его сменил кабинет Маркса. Это никак не отразилось на моем положении. Маркс был политиком, который не отличался энергичностью, но, с другой стороны, это был весьма добросердечный и непоколебимо честный человек. В ходе борьбы нескольких последующих месяцев он оказывал мне сдержанную, но безоговорочную поддержку.

Прошло несколько дней, прежде чем напечатали необходимое количество рентных марок. В это время девальвация бумажной марки резко возросла. Все предыдущие попытки установить фиксированную цену доллара на бирже провалились. Неделями мог покрываться только процент иностранной валюты, затребованный деловыми кругами и затем моментально зафиксированный Имперским банком. Вопреки этим мерам, однако, все иностранные валюты, особенно доллар, покупались за гораздо более высокие цены на черном рынке. Имперскому банку не оставалось ничего иного, кроме как потворствовать этому росту цен в первые несколько дней. 20 ноября 1923 года официальный курс доллара составлял 4 триллиона 200 миллиардов марок (4 200 000 000 000).

Именно благодаря покойному тайному советнику Кауфману, члену правления Имперского банка, определяющему голосу правления банка на фондовой бирже, была высказана просьба об установлении этого курса. Возможно, на Кауфмана повлияли те соображения, что курс доллара в мирное время составлял 4,2 марки. Если, следовательно, возникало желание транспонировать бумажную марку в прежнюю золотую марку, было необходимо только убрать обозначение триллиона, что делало это транспонирование в бухгалтерии удивительным.

тельно простым делом. Каждая нечетная сумма означала бы бесконечную работу по ее пересчитыванию.

Банковские книги были заполнены нулями, что породило много шуток, наиболее едкую из которых связывают с Карлом Фюрстенбергом. Он однажды спросил одного знакомого, почему Diskontegesellschaft пристроила два этажа к своему зданию. В ответ ему сказали, что это сделано из-за нулей, которые требовали все больше и больше места. На это Фюрстенберг, как утверждают, заметил:

— Я всегда думал, что нули в здании Diskontegesellschaft размещены на первом этаже.

На этом этаже располагалось правление компании.

Официальный курс валюты на бирже сохранялся на уровне 4,2 триллиона, между тем в последнюю неделю ноября доллар покупали на черном рынке за 12 триллионов марок.

В эти недели ноября в Германии сложилось любопытное положение, когда на финансовых рынках циркулировали три денежные единицы, так сказать, бок о бок — это бумажная марка, рентная марка и — теоретически — прежняя золотая марка, которую я стремился вновь ввести посредством Имперского банка.

Следовало одолеть двух врагов стабилизации — черный рынок и «чрезвычайные деньги», выпускаемые многими государственными предприятиями и частными компаниями. Эти «чрезвычайные деньги» имели хождение наряду с бумажной маркой, и до тех пор, пока они принимались Имперским банком, стабилизация была невозможна. В этом случае нельзя было и помышлять о контроле Имперским банком процесса эмиссии денег: «чрезвычайные деньги» навязывались ему извне. Наступило время покончить с такой системой, когда «каждый сам себе Имперский банк».

Первый шаг, предпринятый Имперским банком, состоял в объявлении того, что отныне уплата «чрезвычайными деньгами» не принимается. Это означало, что для корпораций и компаний не было больше никакого резона их выпускать. Ибо такие деньги, не принимаемые Имперским банком и не имеющие хождения наряду с бумажной маркой, но опиравшиеся только на кредитование отдельных фирм и муниципалитетов, больше не принимались никем.

Решение Имперского банка вызвало бурю негодования всех тех групп, которым выпуск «чрезвычайных денег» при-

носил большие прибыли. Причина негодования, особенно в промышленных районах земли Рейнланд-Вестфалия, состояла отчасти в осознании того, что отныне прибыли от «чрезвычайных денег» станут неуклонно уменьшаться, отчасти также в смятении тех муниципалитетов, которые размещали заказы и делали инвестиции, опираясь на платежи «чрезвычайными деньгами». Но в данный момент стоял вопрос не о выгодах или невыгодах той или иной заинтересованной стороны, но о стабильных деньгах для всей экономики.

Дебаты с представителями Имперского банка были намечены в ратуше Кельна 25 ноября 1923 года. Их организовали ведущие муниципалитеты и деловые круги земли Рейнланд-Вестфалия под руководством мэра Кельна. Я принимал участие в этой встрече в качестве управляющего Комиссии по национальной валюте. Легко представить себе напряжение, с которым ожидали итогов этой дискуссии не только заинтересованные группы, но и все общество в целом.

Добрых три часа подряд один оратор за другим обращались к участникам встречи. У каждого была лишь одна просьба, а именно отмена решения Имперского банка об отказе принимать «чрезвычайные деньги». Глубоким разочарованием для меня было то, что не прозвучало ни единого голоса, владелец которого понимал или допускал неизбежность полного фиаско стабилизировать валюту в случае реакцептации «чрезвычайных денег». Фактически каждое выступление характеризовалось абсолютным недоверием к успешному осуществлению плана стабилизации. Это еще раз доказывало не то, что большая встреча не дает возможности разобраться в существующей ситуации, но то, что собрание не сможет принять решение относительно дальнейших действий. Если бы существовала возможность обсудить вопрос с каждым участником отдельно, кого-то из них можно было переубедить. Но на общей встрече достижение какого-то понимания проблемы не имело перспективы.

Поток просьб, обращений и угроз обрушился градом на мою голову, не произведя на меня никакого впечатления. Я позволил всем ораторам высказываться без единой попытки перебить их. Наконец поднялся и сказал:

— Господа, последние три часа вы делали все возможное, чтобы переубедить меня. Вполне допускаю, что прекращение выпуска «чрезвычайных денег» влечет за собой неприятности,

смятение, даже значительные трудности для вас. Тем не менее ни один из ваших доводов не перевешивает необходимость восстановления немецких денег в качестве стабильной валюты. Сожалею, что среди вас так много людей, которые высказали сомнения в успехе стабилизации марки. На это могу ответить, что стабилизация марки будет успешно осуществлена независимо от трудностей, которые могут возникать в отдельных случаях. Огромная масса немецких трудящихся должна снова — благодаря стабильной валюте — почувствовать твердую почву под ногами. Поэтому я заканчиваю это обсуждение заявлением, что Имперский банк будет держаться своего решения об отказе принимать «чрезвычайные деньги». Вам следует снова привыкать к составлению бюджета фиксированными цифрами.

Такая акция вначале не прибавила мне популярности. Но и у меня не прибавилось уважения к экономической и политической позиции участников встречи. Меня ободряло то, что стабилизация марки осуществима и что те самые группы, которые в этот ноябрьский день подвергали меня нападкам и гонениям, будут вынуждены через несколько месяцев признать, что я выбрал правильный путь.

Кроме того, следовало принять радикальные меры в отношении черного рынка валюты.

Успех этих мер ожидался, главным образом, в связи с тем, что, хотя рентная марка вводилась легально, она не получила статуса легального тендера, а распределение кредитов в рентных марках осуществлялось через Имперский, а не Рентный банк. С этих двух позиций Имперский банк мог подтверждать и развивать свою деятельность как органа, обладающего исключительной ответственностью за монетарную политику.

Выражение «легальный тендер» подразумевает право любого лица оплачивать свои долги деньгами, легально находящимися в обращении, а также обязательство каждого кредитора принимать такие деньги в качестве платежного средства. Если бы рентная марка не располагала такой квалификацией, то никого нельзя было бы заставить воспринимать ее как легальный тендер.

Любопытно, впрочем, что биржевые игроки упустили из виду эту характеристику рентной марки. Покупка и продажа иностранной валюты, особенно доллара, осуществлялась большей частью так называемыми «срочными сделками». Договор о покупке заключался по существующим в этот день ценам,

между тем платежи завершались только в конце месяца по ценам так называемого ультимо, то есть последнего дня месяца. К ультимо ноября курс доллара на черном рынке возрос ровно до 12 триллионов марок. Теперь выяснилось, что многие игроки иностранной валютой не располагали достаточным количеством денег, чтобы удовлетворить свои обязательства на ультимо ноября. Имперский банк был перегружен заявками на кредит, которые прежде удовлетворялись без помех. Ныне, однако, Имперский банк отказывался предоставлять кредиты спекулянтам. Тем не менее он объявил о своей готовности покупать любую иностранную валюту, но лишь по официальной цене 4,2 триллиона марок за доллар, как было установлено 20 ноября. Многим спекулянтам не оставалось ничего другого, кроме как снова продавать свою иностранную валюту Имперскому банку, так что каждый, который покупал доллары по курсу 12 триллионов марок за доллар, был вынужден продавать их по курсу Имперского банка 4,2 триллиона.

Подобное «кровопускание» привело игроков в такой шок, что крупные спекуляции иностранной валютой в отношении официального курса Имперского банка на некоторое время приостановились. С разгромом биржевых спекулянтов и прекращением выпуска «чрезвычайных денег» был выигран первый раунд битвы за стабильную валюту. Но я понимал, что за этим последуют новые сражения.

Среди многочисленных обращений ко мне в моем официальном статусе значительная их часть состояла из просьб об устройстве на работу в мой отдел. Каждый полагал, что с учреждением ведомства уполномоченного Комиссии по национальной валюте появилась новая всеобъемлющая властная структура. У меня же не было ни одного сотрудника. Моим единственным помощником оставалась секретарша. Позднее репортеры как-то поинтересовались у нее, каким образом я работаю в качестве уполномоченного комиссии.

Фрейлейн Штеффек на их вопросы отвечала:

— Что он делает? Сидит в кресле и курит в министерстве финансов в своей маленькой темной комнате, в которой еще стоит запах старого линолеума. Читает ли он письма? Нет, писем не читает. Пишет ли письма? Нет, писем не пишет. Зато много разговаривает по телефону. Звонит по телефону всюду, и частным лицам, и в международные учреждения, которые имеют хоть какое-нибудь отношение к деньгам и иностранной

валюте или к Имперскому банку и министру финансов. И опять курит. В это время мы не едим совершенно. Обычно домой уходим поздно, часто садимся на последний поезд, едем третьим классом. Больше он ничего не делает.

Глава 23

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИМПЕРСКОГО БАНКА

13 ноября ознаменовало веку в истории стабилизации марки посредством фиксации курса доллара отметкой в 4,2 триллиона бумажных марок. В этот день произошло другое роковое событие. Совершенно неожиданно умер Гавенштейн, председатель Имперского банка.

Дебаты вокруг кандидатуры преемника Гавенштейна сосредоточились, главным образом, на двух фигурах. Одной был Карл Гельфферих, директор банка и представитель Германской национальной партии в рейхстаге. Другую представлял Яльмар Шахт, управляющий Комиссии по национальной валюте и один из основателей Германской демократической партии. С профессиональной точки зрения преимущество имел Гельфферих как бывший профессор, к тому же написавший несколько научных трудов и статей по монетарной системе. В активе Шахта имелся непосредственно недавний успех на посту управляющего комиссии. Оба кандидата сделали профессиональную карьеру в банковской сфере.

Сначала я не принимал участия в дебатах вокруг кандидатуры преемника Гавенштейна. Но когда стали злоупотреблять критикой, я подал голос.

Совет директоров Имперского банка как финансовый орган был наделен правом выражать свое экспертное мнение по поводу кандидатур на председательство в банке. Директора были прекрасно осведомлены о пожеланиях покойного председателя в этом отношении и, вполне естественно, хотели осуществить эти пожелания путем назначения Гельффериха. Тем не менее по непонятным причинам они позволили себе клюнуть на распространявшуюся клевету относительно моей личной честности в связи с инцидентом с оружием, который произошел у меня в 1915 году в Бельгии с герром фон Луммом. Конечно, брюссельский инцидент был представлен не открыто и объективно, но в форме пренебрежительных на-

мекон и инсинуаций. К счастью, однако, Штреземан в качестве канцлера распорядился, по моей просьбе, тщательно расследовать брюссельское дело за несколько недель до моего назначения уполномоченным комиссии, и я мог сослаться на его письмо как на полное доказательство своей невинности. Поэтому маленькая интрижка не достигла цели, и моя кандидатура была утверждена.

Беседа, на которую я был приглашен президентом Эбертом, возможно, послужила склонению чаши весов в мою пользу. До этого я был лишь немного знаком с Эбертом. Теперь представился удобный случай для довольно продолжительной дискуссии по вопросам политической экономии, в ходе которой я с большим удовлетворением осознал, как мало этот человек был подвержен партийно-политическим предрасположениям.

— Вы, конечно, понимаете, герр Шахт, что с профессиональной точки зрения мы не можем рассматривать герра Гельффериха менее квалифицированным, чем вы. С другой стороны, вполне естественно отдать предпочтение человеку, чье мировоззрение склоняется влево больше, чем мировоззрение Гельффериха.

— Весьма признателен, господин президент, за высокую оценку. Должен признаться с сожалением, что, хотя придерживаюсь широких либеральных взглядов, я ни в коем случае не социал-демократ. С точки зрения экономической политики я выступаю против раздутой государственной бюрократии и ожидаю улучшения нашего экономического положения в первую очередь от беспрепятственного развития частного предпринимательства.

Эберт отмел мои возражения:

— По-моему, тот факт, социал-демократ вы или нет, не имеет никакого отношения к данному вопросу, столь же не важно, склоняетесь ли вы больше к социализму или либерализму. Вы начали успешную работу по стабилизации нашей валюты. Но это только начало, и потребуются дальнейшие непрерывные усилия для доведения нашей монетарной системы до уровня определенной и прочной стабильности и сохранения такого положения. Вопрос, который я обязан вам задать, состоит в следующем: вы уверены в том, что доведете работу по стабилизации до положительного завершения?

У меня не было колебаний.

— Я тщательно продумал и проверил способы и средства проведения стабилизационной политики. Уверен, что смогу довести дело до успешного конца. Можете не сомневаться, что я отдам осуществлению этой цели все свои силы и знания.

Мы обменялись крепким рукопожатием, и Эберт завершил беседу словами:

— Замечательно! Мы еще увидимся.

В дальнейшем последовали довольно горячие споры. Вердикт правления Имперского банка был вынесен явно не в мою пользу. Консультативная группа центральной комиссии Имперского банка, в которую входили около сорока известных представителей бизнес-сообщества, высказалась против моего назначения, за исключением трех человек. Но этот вердикт имел значение лишь как мнение профессионалов. Окончательное решение зависело от правительства и федерального совета, а также от последней инстанции — президента. Федеральный совет проголосовал в целом за мое назначение, за исключением одного голоса — от Баварии. 22 декабря 1923 года я получил документ, составленный должным образом и подписанный президентом Эбертом, о назначении меня на должность пожизненного председателя Имперского банка.

Я вкратце писал жене о происходивших перепалках и спорах. Теперь, однако, я сообщил ей новость о своем назначении по телефону. Ведь это назначение вновь ознаменовало явную перемену нашего образа жизни. После этого я немедленно отправился в Швейцарию отпраздновать канун Рождества и само Рождество с женой и детьми.

Мы отмечали Рождество со свечами и елкой в своих двух комнатах пансионата. Пели немецкие рождественские песни и читали Евангелие. Пусть обстановка была не совсем домашней, но совместное пребывание в ней делало наше времяпрепровождение весьма радостным.

Вернулись в Берлин 27 декабря. Я распорядился переправить все свои бумаги из «темной» комнаты в министерстве финансов в светлые и просторные председательские апартаменты Имперского банка. Затем наведаясь к вице-председателю банка герру фон Глазенаппу. У меня был вопрос к нему, и от его ответа зависела моя последующая деятельность в банке.

Глазенапп, как и Гавенштейн, был прусским чиновником старой школы с первоклассными знаниями в области права. Его семья принадлежала к мелкопоместному дворянству Помера-

нии. Видимо, он разбирался в вопросах монетарной политики лучше Гавенштейна и заслужил высокую оценку участников международных дискуссий, касавшихся интересов Германии. В общении был приветлив и по-настоящему обходителен. Хотя на него и повлияли отчасти предрассудки окружения, тем не менее он достаточно непредвзято прислушивался к более разумным суждениям и более обоснованным доводам. Он обладал развитым литературным вкусом и оказывал большую практическую помощь своему старшему сыну, который позднее стал известным специалистом по Индии и переводил стихи с санскрита.

— Господин фон Глазенапп, — начал я, — мне пришла в голову мысль справиться у вас, имеются ли у Имперского банка планы по возврату в обращение валюты на основе золотого стандарта; если имеются, то каковы они. Полагаю, вы можете просветить меня по этому вопросу.

Приятная, хотя и несколько смущенная улыбка сопровождала его ответ:

— У банка нет никаких планов или намерений в этом отношении, господин председатель.

— Я так и думал, господин фон Глазенапп. Фактически другого ответа не ожидал. Тем не менее это вынуждает меня отложить на несколько дней вступление в должность. Перед этим хочу навестить управляющего Банком Англии, чтобы обсудить с ним положение с немецкой и международной валютой.

Последовал интенсивный обмен телеграммами с немецким посольством в Лондоне. Я справлялся, не согласится ли господин Монтегю Норман, управляющий Банком Англии, принять меня, и если согласится, то когда это будет удобно. Я был заинтересован в том, чтобы встреча состоялась как можно раньше. Ответ пришел быстро: меня рады видеть, и если возможно, то немедленно. Я сообщил о намерении выехать в Лондон вечером 30 декабря.

Перед рассказом о своем первом посещении Банка Англии в качестве председателя Имперского банка (посещении, которое принесло важные плоды) мне хотелось бы коротко описать заключительные стадии моей подготовки к вступлению в должность.

По возвращении из Лондона в начале января я назначил заседание совета директоров.

— Пользуюсь случаем, господа, чтобы приветствовать вас, как своих коллег, — начал я. — Сегодня я приступаю к вы-

полнению обязанностей председателя Имперского банка и сознаю, что делаю это вопреки вашему единодушному нежеланию видеть меня в этом качестве. Понимаю ваше отношение, поскольку до сих пор вы знали меня весьма поверхностно. Вот почему я также готов понять, что кто-то из вас не стал бы работать со мной, если бы нашел работу в другом месте. Буду рад помочь любому из вас, кто пожелает перейти в другое учреждение. С другой стороны, что касается меня, то я не стану обижаться на такое отношение ко мне лично и буду счастлив видеть в Имперском банке любого из тех, кто искренне желает сотрудничать со мной. Поэтому прошу вас дать мне знать завтра утром, хотите ли вы поменять работу или готовы работать со мной. Приятного дня, господа.

Вслед за этим я удалился в свой кабинет. Через полчаса ко мне явился разгоряченный герр фон Глазенапп, чтобы заверить меня от имени всех директоров об их искренней готовности со мной сотрудничать.

— Благодарю вас за это заверение, господин фон Глазенапп, — сказал я. — Ценю искреннюю привязанность членов совета к работе в Имперском банке и уверен, что наша совместная работа будет выполняться в обстановке доброжелательства и взаимного доверия.

Я не разочаровался в своих ожиданиях. Мои отношения с коллегами по совету установились и сохранялись удовлетворительными, доверительными и дружелюбными. Это происходило не только из-за их честности, но также из-за того, что каждый из них профессионально соответствовал участку своей работы, а их профессионализм подвергся в последующие годы жестоким испытаниям.

Первая встреча с сорока членами центральной комиссии прошла несколько более непринужденно. Согласно уставу, совет директоров Имперского банка был обязан ежемесячно созывать сессию центральной комиссии. Я не вспомнил об этом правиле, пока утром 30 января мой личный помощник не привлек моего внимания к тому, что в этом месяце так и не собиралась предписанная уставом сессия.

— В таком случае займитесь этим делом и созовите ежемесячную встречу завтра, 31 января. Оповестите о ней телеграммами зарубежных членов комиссии.

На следующее утро члены центральной комиссии собрались в большом Зале императоров Имперского банка, названном

так потому, что его стены украшали портреты трех императоров в полный рост — Вильгельма I, Фридриха III и Вильгельма II. Зал был так спланирован, что для приемов он имел проход в соседнюю резиденцию президента. Во время одного вечернего приема я прохаживался по Залу императоров с супругой президента Эберта. Она с несколько удивленным выражением лица посмотрела на картины и сказала с улыбкой столь же очаровательной, сколь многозначительной:

— Вы еще храните здесь портреты императоров!

— Конечно! В обязанности республики не входит стирать со страниц истории память о прошлом Германии. Но если вы будете так любезны, чтобы оглянуться вокруг, то увидите бронзовый бюст своего супруга в другом конце зала.

Именно в этом Зале императоров и собрались члены центральной комиссии. Кивнув нескольким знакомым, я сел в свое кресло и предложил всем тоже садиться.

— Господа, — начал я, — имею честь приветствовать вас здесь как новый председатель банка. Конечно, мне известно, что за некоторыми исключениями вы все проголосовали против моего назначения. Это сослужило мне хорошую службу во время моего визита в Лондон в начале месяца, поскольку помогло другим странам признать, что экономическая политика, проводившаяся до сих пор Имперским банком, претерпевает радикальные изменения. У вас будет возможность сформировать собственное мнение об этой политике в течение последующих нескольких недель и месяцев. Сегодня на этом собрание можно закрыть, если у вас не найдется еще что-нибудь сказать.

Три члена комиссии, которые проголосовали за меня, удовлетворенно улыбнулись, когда один из моих главных оппонентов, хорошо известный берлинский банкир, попросил разрешение говорить и от имени всех присутствовавших принес мне извинения, а также заверил в их лояльности. Я с благодарностью принял его заявление и закрыл заседание.

Глава 24

БАНК АНГЛИИ

В 8 часов накануне Нового, 1923 года мой поезд прибыл на вокзал в Ливерпуле. Я договорился с господином Дюфур-Феронсом, советником посольства Германии, что он встретит

меня на вокзале и проводит в отель. Перед нашим отбытием моя секретарша спросила, нет ли у меня для нее другого задания. Я сказал шутливо:

— Загляните в том Брокгауса (энциклопедия) на букву «Б» — там что-то написано о Банке Англии.

Фрейлейн Штеффек восприняла шутливое замечание всерьез и, когда мы прибыли в лондонский отель, передала мне том Брокгауса. Ей пришлось везти его назад в Германию непрочитанным!

Дюфур ожидал меня на вокзале, как и договорились. Я был немало удивлен, увидев рядом с ним высокого мужчину с заостренной седой бородкой и пытливыми, пронизательными глазами. Он представился Монтегю Норманом, управляющим Банком Англии. Крепко пожав мою руку, он сказал по-английски:

— Сердечно рад видеть вас, искренне приветствую ваш приезд. Мне особенно приятно, что вы откликнулись на мое приглашение так быстро. Пришел встретить вас, но долго не задержу, поскольку вы, должно быть, утомились с дороги. Приходите ко мне, если хотите, в Банк Англии завтра в одиннадцать часов.

— Но, господин управляющий, завтра Новый год, вы, конечно, не пойдете в банк?

— Не имеет значения. Хочу поговорить с вами как можно раньше и жду вас в одиннадцать часов. Надеюсь, мы найдем общий язык.

Дюфур провожал меня до отеля. Я не скрывал своего большого удовлетворения тем, что мой английский коллега потрудился встретить меня, особенно в канун Нового года и в столь поздний час.

— Да, — сказал Дюфур, — Норман очень хотел с вами познакомиться. Он обсудит с вами, безусловно, жизненно важные вопросы, и можете положиться на его искреннее понимание. Когда я сообщил ему о вашем приезде и высказал надежду, что вы поладите друг с другом, он ответил: «Мне хочется поладить с ним».

Дюфур не был профессиональным дипломатом. Он происходил из старой титулованной гугенотской семьи, которая в течение нескольких поколений пользовалась большим уважением в деловом сообществе Лейпцига. После Первой мировой войны влиятельные политики сочли, что профессио-

нальные дипломаты старого стиля извлекут много пользы от включения в свои ряды выдающихся деловых людей. В МИДе назначили на различные дипломатические должности за рубежом несколько крупных фигур делового мира. Среди тех немногих, чье назначение можно было назвать успешным, Дюфур занимал первое место. Он был не только умным, дальновидным деловым человеком, но также обладал большим объемом всесторонних знаний и врожденным тактом, что явилось результатом семейной традиции. Этого недоставало многим деловым людям, привлеченным на дипломатическую службу. Дюфур придерживался твердых принципов в жизни и оставался безукоризненно надежным человеком. В международном общении он чувствовал себя как рыба в воде как с языковой, так и с деловой точки зрения. Его помощь значительно облегчила достижение целей моего визита.

Я, конечно, чувствовал большую ответственность за свою миссию. Лишь очень немногие в правительстве понимали, какое серьезное воздействие могут оказать итоги моего визита на германскую политику. Наша борьба за восстановление стабильной валюты была далеко не закончена. Страна экономически была полностью истощена. Надвигалось заседание комитета Дауэса. Все зависело от возможности добиться понимания западными союзниками нашего положения и создать дружественную атмосферу переговоров. В свете всего этого мои лондонские переговоры представлялись очень важными.

В отеле «Карлтон», где мы остановились, были в полном разгаре новогодние празднества. Комнаты заполняли мужчины в сюртуках и женщины в роскошных вечерних платьях. У меня же не было настроения танцевать под музыку, пить шампанское, есть печенье и конфеты. Несколько встревоженный, я рано лег спать.

На следующее утро, в первый день Нового года, я познакомился с Норманом ближе. Наш разговор велся в дружелюбной манере даже тогда, когда поднимались весьма острые проблемы. В отношении нашего положения я был предельно откровенен. Вскоре мы сосредоточились на жизненно важном вопросе — вопросе о немецкой валюте.

— У вас есть сколько-нибудь определенные планы спасения вашей валюты в таких неустойчивых условиях? Или вы дожидаетесь решений комитета Дауэса? Вам известно, что

члены комитета намерены рассмотреть вопрос о немецкой валюте в первую очередь?

— Разумеется, господин управляющий, я буду очень рад, если комитет Дауэса станет сотрудничать с нами в деле стабилизации немецкой валюты. Но мне не хотелось бы опираться только на его решения. Кроме того, я не хочу ждать, когда завершится обсуждение этих решений, — на это уйдут месяцы. Но, даже если комитет будет действовать быстро, его решения, как вы понимаете, должны будут пройти процедуры ратификации в различных законодательных органах заинтересованных стран. Такие ратификации займут много времени и создадут много осложнений. Помимо прочего, я придерживаюсь мнения, что мы не должны опираться на других. Мы должны действовать сами, и ввиду нестабильной экономической обстановки действовать быстро.

— Из вашего ответа я делаю вывод, что у вас есть собственные планы. В чем же они заключаются?

— Прежде всего, как только закончатся споры вокруг Рура, необходимо заняться восстановлением германской промышленности. Для этого нужно создать возможности кредитования, которые помогут вести торговлю на стабильном монетарном основании. Однако в настоящее время мне не хватает средств для достижения этой цели.

— Значит, вы рассчитываете на иностранные кредиты? Думаю, вы едва ли их получите в данный момент в скольконибудь значимом объеме. Гораздо вероятнее, что другие страны дождутся итогов работы комитета Дауэса, прежде чем оказывать финансовую помощь.

— Мои планы не ограничиваются одним лишь получением кредитов. Я намерен учредить второй кредитный банк в дополнение к Имперскому банку — банк, действующий полностью на основе золотого стандарта. Этот банк будет выдавать кредиты исключительно в иностранной валюте и отдавать предпочтение тем отраслям немецкой промышленности, которые способны возобновить экспорт. Предположим, я назову этот банк Золотым дисконтным банком (Golddiscountbank).

— Откуда вы возьмете средства для этого банка?

— Я думаю, банк начнет свою деятельность с капитала двести миллионов марок. Капитал должен состоять исключительно из иностранной валюты, скажем в фунтах стерлингов. Наверняка можно будет собрать половину этой валюты в са-

мой Германии. Оставшуюся половину я хотел бы позаимствовать у Банка Англии.

— Вы предлагаете Банку Англии стать акционером Золотого дисконтного банка?

— Нет, дело не в этом. Мне хотелось бы получить от вас кредит на три года для Имперского банка на сумму сто миллионов марок в фунтах стерлингов. С этими деньгами Имперский банк доберет вторую половину капитала для Золотого дисконтного банка.

Норман замолк, обдумывая вопрос. Идея создания Золотого дисконтного банка показалась ему крайне необычной. Недостаточно хорошо зная немецкую экономику, он не мог сразу определить степень эффективности такого банка.

— Кто будет директора банка?

— Управление Золотым дисконтным банком будет осуществляться всецело Имперским банком.

— Кто будет заимствовать у банка?

— Учитывая преобладание в немецкой экономике промышленности Рейнланд-Вестфалии, а также ввиду серьезного ущерба от оккупации Рура, кредиты будут использоваться, насколько позволит оккупация Рура, для финансирования промышленных отраслей Рейнланд-Вестфалии.

— Для такого проекта двухсот миллионов марок, вероятно, будет недостаточно.

— Естественно, я подумал об этом и хотел бы получить ваше согласие и поддержку для следующего проекта. Так как это, по сути, вопрос обеспечения фондами для финансирования поставок сырья и экспортных товаров, полагаю, что векселя, которые получит Золотой дисконтный банк, станут выгодным вложением для лондонского денежного рынка. Поэтому я прошу у вас любезности допустить их на английский рынок.

Снова пауза. Норман понимал, что без санкции Банка Англии такие векселя не будут учитываться британскими банкирами в сколько-нибудь приемлемом количестве. Он, кажется, колебался. Тогда я выложил третью карту.

— Господин Норман, Золотой дисконтный банк будет эмиссионным банком, выпускающим банкноты на базе золотого капитала в двести миллионов марок. Я намерен выпускать эти банкноты в фунтах стерлингов.

— Вы намерены выпускать в Германии банкноты в виде иностранной валюты?

— На первый взгляд идея может показаться вам экстраординарной. Но если экспортные фирмы используют иностранную валюту в своих операциях, то почему я не могу воспользоваться иностранной валютой в своих сделках с ними?

Норман опять замолчал, размышляя.

— Подумайте, господин управляющий, — продолжил я, — какие перспективы откроет эта мера для экономического сотрудничества между мировой державой Великобританией и Германией. Если мы хотим упрочить мир в Европе, то нужно освободиться от ограничений, навязанных резолюциями конференций и декларацией конгресса. Европейские страны должны быть тесно связаны экономически. В конце концов, мы должны когда-нибудь начать практическое движение в этом направлении.

Норман слушал с явно возрастающим интересом.

— У вас замечательные идеи, господин председатель.

Он стал воспринимать мои планы более благожелательно. Мы обсудили весь спектр сопутствующих вопросов и проблем.

— Хорошо, господин председатель. Думаю, на сегодня достаточно. Я внимательно изучу все эти вопросы. Будьте любезны, приходите завтра в десять часов. Мы продолжим разговор.

Прибыв на следующее утро, я сразу понял, что мои доводы предыдущего дня все-таки произвели впечатление на Нормана. Он пребывал в благодушном настроении и попросил меня остаться на совместный ланч после переговоров, поскольку хотел представить меня членам совета управляющих и некоторым своим особо приближенным коллегам. Он также сообщил о своем намерении обсудить в тот же день мои предложения с влиятельными деятелями лондонского Сити и выразил надежду, что сможет утром дать мне определенный ответ.

— Сегодня же мне хотелось бы сообщить вам о другом деле, господин председатель, и узнать ваше мнение. Я получил письмо от господина Финали, президента Парижско-Нидерландского банка. Он сообщает, что французский банковский синдикат вместе с группой банкиров Рейнской области и с согласия немецкого правительства намерен учредить свой собственный центральный банк в Рейнской области, который будет выпускать свои банкноты независимо от Имперского банка. Господин Финали просит меня назвать несколько лондонских банков, которые могли бы присоединиться к новому

синдикату. Мне очень хотелось бы знать, господин председатель, известно ли вам об этом плане и что вы думаете о нем.

Увы, я знал об этом плане. У меня нет желания углубляться в эти достойные сожаления сепаратистские тенденции, которые проявились в 1923 году в Рейнской области и Палатинате и которые отзываются болью в памяти немецкого народа. Я не хочу этого делать, тем более что некоторые лица, потворствовавшие этим тенденциям или, во всяком случае, не сопротивлявшиеся им, все еще продолжают активную общественную деятельность. Я надеялся, что прекращение споров вокруг Рура позволит Штреземану положить конец подобным явлениям. Это, однако, оказалось возможным только в политической сфере. В экономической же области деятельность сепаратистов продолжалась. Неспособность правительства эффективно помочь быстрому экономическому восстановлению земли Рейнланд-Вестфалия, а также усилия деловых группировок Рейнланда получить хоть какую-нибудь поддержку привели в конце концов к такой пагубной ситуации. Кабинет Маркса поддался давлению заинтересованных сторон и разрешил учредить независимый эмиссионный банк Рейнланда с участием капитала ряда западных стран.

Это было все, что я знал. Чего я не знал до сих пор, так это того, что подготовка к созданию сепаратистского банка продвинулась настолько далеко, что уже велись англо-французские переговоры о скорейшей реализации проекта. Я не сразу ответил на вопрос Нормана и не смог полностью скрыть свое внутреннее состояние.

— Господин управляющий, мне известно, что правительство Германии дало согласие на реализацию банковского проекта.

— Не сомневаюсь, что французское заявление относительно согласия германского правительства носит окончательный характер. Однако меня не очень интересует это согласие. Меня интересует, что думают об этом в Имперском банке.

Я снова перевел дыхание.

— Позиция Имперского банка ясна и непоколебима. Имперский банк определенно против этого и подобных проектов, которые имеют целью ограничить его верховенство в денежных вопросах на территории германского рейха.

— Благодарю вас, господин председатель. Мне этого достаточно. А теперь пойдем на ланч.

В комнатах, предназначенных для членов совета управляющих, имелось мало из того, что характеризует современный офис: наоборот, там преобладала уютная приватная атмосфера. Кабинет Нормана был обставлен массивной мебелью из красного дерева. Так же выглядела столовая, где весь персонал совета имел обыкновение собираться на ланч. Помещение было высоким и просторным, но в нем весь день должен был гореть электрический свет, поскольку соседние улицы были узки и дома, расположенные напротив, скрадывали значительную часть дневного света. В 1924 году банк еще не реконструировали, он сохранял старинный вид, за что приобрел прозвище «Старая леди с улицы Треднидл».

С горделивым видом Норман повел меня по обширному зданию и с некоторым волнением вывел во внутренний дворик, напоминающий испанское патио, в центре которого стоял мемориал в честь сотрудников банка, павших на фронтах Первой мировой войны. Этот мемориал произвел на меня сильное впечатление. Он изображал святого Христофора, переходившего вброд реку с младенцем Христом на плече.

Во время ланча я был неофициально представлен всем членам совета управляющих и заведующим отделами. Они общались в абсолютно свободной, непринужденной манере, что являло собой приятную противоположность моим прежним встречам с представителями западных кругов в Париже и Лондоне. Очевидно, Норман что-то уже сообщил им обо мне. Он явно был лидером в этом кругу. Управляющий Банком Англии избирается ежегодно на период одного года. Норман неизменно переизбирался на этот пост в течение двадцати лет, независимо от перемен в британском правительстве.

Через несколько лет мои отношения с Норманом переросли в настоящую дружбу. В юности он получил музыкальное образование в Дрездене и сохранил самые приятные воспоминания о своем пребывании в Германии. При всем своем мягкосердечии и внешней невозмутимости это был человек большой решимости и упорства в достижении цели. В молодости он участвовал в войне с бурами и часто проводил свой отпуск в Южной Африке. Он совершил много поездок в Америку, где имел немало настоящих друзей. Он вел постоянную переписку и имел частые личные контакты с руководителями многих иностранных центральных банков.

Когда моя дочь Инга родила третьего ребенка, Норман стал его крестным. На крестины он приехал в Берлин и держал ребенка, которого назвали Норман Яльмар, над купелью.

После Второй мировой войны мы возобновили нашу переписку. К тому времени я был в отставке и не отличался хорошим здоровьем. Мне хотелось съездить к нему, но я не смог получить английскую визу. Большим горем для меня стало то, что мне отказали в визе даже тогда, когда я хотел присутствовать на похоронах Нормана. Тогда я был недостаточно денацифицирован. Самого Нормана это не очень беспокоило.

Глава 25

ОЧАГ СЕПАРАТИЗМА

На следующее утро мы с Норманом продолжили свой разговор.

— Я основательно изучил ваше предложение. Обсудил его не только с членами своего совета, но также с приятелями-банкирами в Сити. Вы полагаете, что сумеете собрать в Германии сто миллионов марок в иностранной валюте?

— Уверен, что располагаю для этого всеми возможностями.

— Тогда я готов предоставить вам кредит Банка Англии на трехлетний срок в целях учреждения Золотого дисконтного банка.

— Весьма благодарен вам, господин управляющий. Полагаю, что у меня будет право погасить этот кредит досрочно?

— Конечно, против этого не будет возражений.

— Какова процентная ставка кредита?

— Мы предполагаем выдавать его под пять процентов.

Если вспомнить, что в то время процентная ставка в Германии составляла около десяти процентов даже для экономически здоровых заемщиков, то легко понять, что ставка Банка Англии была весьма льготной. Я принял ее без всякого торга. Вопрос о гарантиях и поручительстве не поднимался. Норман довольствовался простым обязательством со стороны Имперского банка.

— Господин председатель, мы с друзьями внимательно рассмотрели вопрос о возможности учета ваших векселей на Лондонской бирже. Группа столичных банкиров готова при-

нимать векселя стоимостью в несколько миллионов марок при условии, что они будут индоссированы Золотым дисконтным банком, так что вы можете рассчитывать в любом случае на полмиллиарда оборотного капитала для вашего банка.

Я снова выразил свою глубокую признательность. Золотой дисконтный банк представлялся мне реальным средством, дающим возможность обеспечить здоровый рост промышленности Рейнланд-Вестфалии.

Но у Нормана для меня был приготовлен еще один сюрприз.

— Прежде чем вы уедете из Лондона, — сказал он, — я хотел бы ознакомить вас с письмом, которое вчера направил в Париж господину Финали.

Он передал мне копию этого письма, в котором содержалось не более двадцати строк. В весьма вежливых выражениях он подтверждал получение письма Финали и добавлял, что в отношении предложенного проекта центрального банка в Рейнланде Банк Англии менее полагается на одобрение германского правительства, чем на мнение Имперского банка. В этой связи Норман считал, что он вправе предполагать неприятие Имперским банком такого проекта. Вследствие этого он выражал сожаление, что не может назвать ни одного английского банка, готового присоединиться к французскому синдикату.

Я вернул копию письма Норману. Его поступок глубоко растрогал меня. Я сразу понял, что это письмо наносило смертельный удар по сепаратизму Рейнланда. Определенные деловые круги Рейнланда согласились на проект учреждения центрального банка при иностранной поддержке отнюдь не из политической мести, но в силу суровой необходимости, поскольку их экономическое положение без денег и кредита больше не позволяло обеспечивать работой трудящихся их сферы производства. Но эти мотивы не уменьшали политический ущерб, который мог быть нанесен стране в результате подчинения такой суровой необходимости.

Мы с секретаршей покинули Банк Англии с чувством глубокой благодарности за помощь, которой нас удостоили. Норман проводил нас до выхода во двор, где мы сели в машину, которая повезла нас на вокзал. Обычный лондонский туман сменился снегом, падающим с низкого зимнего неба крупными хлопьями при свете уличных фонарей. Норман по-

дошел к машине, взял с переднего сиденья плед и покрыл им наши колени. Затем он махал нам со ступеней порога рукой на прощание, пока мы не скрылись во тьме.

— Никогда не видела вас столь воодушевленным, — сказала мне фрейлейн Штеффек, когда мы с ней смотрели с носовой части корабля, как исчезает в тумане Англия.

Если бы я предполагал, что учреждение Золотого дисконтного банка пройдет легко, то меня ожидало бы горькое разочарование. Сопrotивление проекту оказывалось в первую очередь со стороны делового сообщества Рейнланда, которое решило создать свой собственный центральный банк и считало председателя Имперского банка своим врагом. Гуго Штиннес зашел в последующие несколько дней так далеко, что посоветовал правительству убедить деловых людей Рейнланда отказаться от каких-либо контактов со мной. Но к счастью или несчастью, им приходилось иметь дело в первую очередь как раз со мной.

Едва я вернулся в Имперский банк, как получил приглашение в ведомство канцлера на конференцию с участием промышленников Рейнланда по вопросу об учреждении центрального банка Рейнланда. Канцлер господин Маркс председательствовал на конференции. Присутствовали министр финансов господин Лютер, несколько постоянных глав отделов и ведущих представителей делового сообщества Рейнланда. Последняя группа явилась на конференцию в несколько экзальтированном состоянии: разве французы не обещали предоставить часть необходимого капитала? Кроме того, ведущие политики Рейнланда сумели всего несколько дней назад добиться отставки господина Брахта, прусского госсекретаря, который упорно и мужественно отстаивал прусские интересы в Рейнланде. Под давлением этих сил возникла необходимость отстранения Брахта от должности.

Конференция началась с долгих рассуждений представителей Рейнланда о безнадежном экономическом положении и настоятельного призыва к тому, чтобы в соответствии с французскими пожеланиями правительство официально поддержало их согласие учредить центральный банк Рейнланда. Доводы, которые они привели, показались мне весомыми, но недостаточно убедительными. Во время этих выступлений я набросал короткое стихотворение и передал его коллегам, сидевшим по нашу сторону стола, вызвав их сдавленный смех:

Рейнландцы, раскалившись добела,
Пышут огнем на Брахта и Шахта.
Усилия Брахта обуздали,
Шахт остается непобежденным.

Канцлер предоставил слово мне. Я согласился с тем, что рейнландцы правильно охарактеризовали положение, но подчеркнул необходимость самопомощи. Не замедлил я указать и на политические последствия, которые неизбежно вызовет наше принятие французской помощи.

— К несчастью, — парировала противная сторона, — правительство до сих пор не было в состоянии помочь нам. Наша программа самопомощи может принести плоды только при поддержке французского капитала. Или вы знаете другой способ, господин Шахт?

— Да, есть другой способ.

После этих слов я рассказал о своем плане создания Золотого дисконтного банка во всех подробностях. Утаил всего один пункт — письмо Нормана к Финали. В ходе последующих событий я не проронил о нем ни слова. Я впервые упоминаю о нем по истечении тридцатилетнего периода. Не делал я этого все указанное время, поскольку знал то, чего не могли знать рейнландцы, а именно — французы начали трусить.

Разумеется, представители Рейнланда выдвинули множество возражений против моего плана, который они назвали неосуществимым, и, когда я опроверг эти возражения, они наконец остановились на утверждении, что мне не удастся собрать в Германии 100 миллионов марок в иностранной валюте. А эта сумма должна составить половину капитала Золотого дисконтного банка.

Такой ход дискуссии побудил канцлера заметить:

— Господин Шахт, нам придется прийти сегодня к определенному решению, давать или воздержаться от согласия учредить центральный банк Рейнланда. Учитывая возражения, выдвинутые этими господами, мы можем, полагаю, прийти к такому решению, если четко уясним себе, сможете вы или нет собрать эти сто миллионов марок.

Поскольку правительственная конференция состоялась сразу же после моего возвращения из Лондона, у меня не было возможности прозондировать обстановку или предпринять какие-либо меры для получения этих 100 миллионов. Поэтому мне пришлось либо соглашаться на риск правитель-

ственного решения в пользу рейнландцев, либо брать на себя всю ответственность за нахождение этой суммы. Я сказал:

— Господин имперский канцлер, я берусь за сбор ста миллионов марок и уверен, что найду эту сумму.

— В таких обстоятельствах, господа, — сказал канцлер, — вы понимаете, что ввиду ответственности, которую взял на себя председатель Имперского банка, правительство не считает себя вправе выдать разрешение на учреждение центрального банка Рейнланда.

После выражения своей неудовлетворенности и разочарования рейнландцы покинули конференцию.

В дни, последовавшие непосредственно за конференцией, я организовал встречи с представителями нескольких банков и банковских фирм и через короткое время с удовлетворением убедился, что необходимая сумма в иностранной валюте собрана.

Теперь я мог без промедления приступить к учреждению Золотого дисконтного банка. Для этого необходимо было провести через рейхстаг соответствующий законопроект. Мы подготовили такой проект, и он был представлен правительством в рейхстаге, откуда прошел перед обсуждением через различные комитеты. Здесь я снова встретил сопротивление. Консервативные элементы, которые уже выражали серьезное недовольство в вопросе о рентных марках, подозревали, что их влияние будет ограничено еще больше. Они поручили Гельффериху бросить мне вызов. Один из его аргументов был таким же, какой я выдвигал против французского участия. Он выражал опасения относительно иностранного влияния на руководство Имперского банка. Я с легкостью возразил, что участие капитала в предприятии в представлении французов — особенно в связи с преобладанием иностранного капитала — могло привести как раз к такому нежелательному результату. В моем же случае это был вопрос обычного заимствования, которое я могу выплатить в любое время в течение трех лет. Не было никаких признаков чьего-либо влияния на политику Имперского банка.

Наконец Гельфферих заявил, что опасается, как бы процентная ставка займа не оказалась слишком обременительной для экономики страны и убыточной для Имперского банка.

— Какой процент вам придется выплачивать, господин Шахт?

Мой ответ поверг всех в явное изумление. Даже Гельфферих не нашел что ответить на мое краткое замечание:

— Пять процентов, господин Гельфферих.

Каждый знал, что в это время типичная процентная ставка превышала эту цифру вдвое и даже больше. Дебаты в комитете завершились резолюцией, предусматривавшей представление законопроекта об учреждении Золотого дисконтного банка пленарной сессии рейхстага.

Но испытания в связи с планом создания Золотого дисконтного банка еще не закончились, поскольку в это время в Париже собрался комитет Дауэса. Его участники были немало расстроены, когда узнали, чего мне удалось достичь за прошедшее время с точки зрения монетарной политики. Конечно, мне пришлось сообщить им о плане создания Золотого дисконтного банка. Они, естественно, хотели приписать себе заслугу окончательной стабилизации немецкой валюты и делали все возможное для отсрочки фактического создания банка. Экономика Германии неизбежно пострадала бы от этой политики промедления, с которой я не мог смириться. Поэтому я должен был прибегнуть к приему, которым часто пользовался в последующие годы: я активизировал свою общественную деятельность.

Выступая в Кенигсберге в начале марта 1924 года, я разъяснил суть политики отсрочек комитета Дауэса и заявил, что больше не смогу нести ответственность за поддержание рентной марки, если на моем пути будут постоянно возводить препятствия. Я вызвал значительное неудовольствие со стороны комитета, но достиг своей цели — комитет снял возражения моему плану.

Золотой дисконтный банк был учрежден 13 мая 1924 года. Вплоть до краха Германии в 1945 году он успешно способствовал в качестве вспомогательного финансового органа Имперского банка сохранению валютной стабильности и росту германского экспорта. Последовательный прогресс стабилизации благодаря политике Имперского банка привел к необходимости для Золотого дисконтного банка продумать выпуск банкнотов. Да, мы печатали векселя Золотого дисконтного банка, оплачиваемые в фунтах стерлингов, как было оговорено с Норманом, но они так и не были пущены в обращение, поскольку в этот интервал времени имперская марка достигла и затем закрепила свой золотой паритет.

Глава 26

ГОСПОДИН ПУАНКАРЕ

23 января 1924 года я прибыл по приглашению комитета Дауэса в Париж. Перед поездкой в Берлин члены комитета предпочли сначала обсудить экономическое положение Германии в Париже, и потребовалось мое присутствие для представления необходимой информации. После полудня в день прибытия мне пришлось явиться в подкомитет под председательством американца Оуэна Янга. Каждый человек, переживший годы, которые последовали сразу после краха Германии в 1945 году, может представить себе атмосферу антигерманских настроений того времени и понять, что я воспринял свою новую миссию с некоторой внутренней тревогой.

Оуэн Янг встретил меня в подлинной американской манере сердечным рукопожатием и неизменным: «Как поживаете?» Французы пожимали мою руку с явной неохотой, бельгийцы — нерешительно, англичане — безразлично. Чувство напряжения спало только тогда, когда итальянец, профессор Флора из Болоньи, тепло пожал мне руку и произнес на хорошем староавстрийском диалекте: «Сердечно рад».

Затем начались испытания. Секретарь подкомитета, бельгиец, приготовил длинный вопросник. Не знаю, можно ли сравнить этот вопросник с тем, что был предъявлен после 1945 года, но, насколько я могу судить по памяти, число вопросов в нем было не меньше. Как показал первый вопрос и ответы на него, для ответов на все вопросы потребовалось бы несколько дней. Практичный американец вскоре решил прекратить эту процедуру.

— Господа, с такими темпами мы никогда не закончим. Думаю, нам лучше попросить господина Шахта подготовить связный отчет об экономическом и финансовом положении в Германии, каким оно было раньше и каким стало теперь.

Даже в то время американцы имели такой вес в международных делах, что никто не смел возражать. Подобный поворот событий стал для меня неожиданностью, но обстановка в Германии, конечно, была мне настолько знакома, что я заявил без всяких колебаний о своей готовности выполнить просьбу комитета. Поэтому в течение почти двух часов я информировал их экспромтом во всех подробностях и на английском языке. Я рассказал, как война, принудительные

поставки материалов за рубеж, конфликт вокруг Рура и инфляция истощили до предела ресурсы Германии. Я прибавил к этому то, чего мы достигли тем временем собственными силами. Рассказал о рентной марке, Имперском банке, Золотом дисконтном банке и завершил свою речь словами:

— Думаю, господа, я представил вам исчерпывающий отчет о положении Германии. У меня только одна просьба. Мне необходимо быть на родине: первые достижения начавшейся политики требуют этого. Прошу вас поэтому позволить мне вернуться в Берлин как можно скорее.

Последовала неожиданная реакция. Подкомитет выразил удовлетворение моим отчетом, но отметил, что не может быть и речи о моем досрочном возвращении в Германию на этом этапе. Между тем меры, которые я предпринял в Берлине, вызвали живейший интерес. Однако эти меры их несколько разочаровывали, потому что комитет Дауэса прибыл в Европу, в конце концов, с очевидной целью стабилизировать германскую валюту, но его участники обнаружили, что значительная часть этой работы уже выполнена. За рубежом не должно было сложиться впечатление, что комитет Дауэса был излишним в этой важной работе. Поэтому общественность проинформировали о том, что после первых дебатов с моим участием комитет с удовлетворением отметил совпадение моих идей и целей с его собственными намерениями. Сообщалось, что дебаты продолжатся.

Произошел явный поворот к лучшему в дискуссии, хотя на следующем пленарном заседании я все еще чувствовал себя ответчиком на скамье подсудимых. Члены комитета сидели за длинным полукруглым столом, в то время как я отчитывался, сидя на некотором подобии «позорного стула» напротив полукруга. Но я испытывал значительное удовлетворение от того, что Германия благодаря своим собственным усилиям положила успешное начало работы по стабилизации и заслужила уважение, а также обозначила свою позицию в дальнейшем обсуждении проблем.

Поскольку мне пришлось продлить свое временное пребывание в Париже, я нанес там несколько визитов. В первую очередь посетил своего коллегу господина Робино, управляющего Банком Франции, который принял меня вежливо. Второй мой визит состоялся к господину Леону Барту, председателю репарационной комиссии, под эгидой которой созывался и соби-

рался комитет Дауэса. Я считал своим долгом нанести эти два визита. Неожиданно получил поручение из ведомства канцлера встретиться с господином Мильераном, президентом республики. Мильеран был правым социалистом с репутацией оппортуниста. В ходе нашей беседы я нашел его довольно откровенным во многих отношениях, но страдающим некоторой узостью политического кругозора, которую я обнаружил и в господине Барту. В течение получасового разговора мне не удалось убедить президента в том, что франко-германское взаимопонимание, которое я определял как насущную необходимость, могло быть очень быстро восстановлено более тесными экономическими связями. Там, где шла речь о Германии, Мильеран придерживался своей адвокатской и политической позиции.

Этот визит к главе французского государства, от которого я не мог отказаться, не погасил мой интерес к встречам с другими французскими политиками. Между тем мое посещение Мильерана обеспокоило премьер-министра господина Пуанкаре. Однажды меня навестил господин Барту и постарался уговорить меня встретиться с премьер-министром.

— Я прибыл в Париж, господин Барту, не для политических дискуссий. Естественно, я встречался с вами как с председателем репарационной комиссии. Если я встречался с президентом, то только потому, что он сам попросил об этом. У меня нет желания просить о посещении господина Пуанкаре. Если он пожелает увидеться со мной, то в его власти сообщить мне об этом. В таком случае, конечно, будет весьма невежливым с моей стороны не откликнуться на такое желание. Я не хочу быть невежливым.

— Но, господин Шахт, поймите, раз вы нанесли визит господину Мильерану, господин Пуанкаре придает особое значение вашему посещению его. Он — глава правительства и поэтому не может пройти мимо того факта, что, посетив президента, вы проигнорировали главу правительства.

— У меня нет ни малейшего желания игнорировать господина Пуанкаре. Мне отлично известно его важное политическое положение. Но я присутствую здесь как представитель деловых кругов по просьбе комитета Дауэса и не имею ничего общего с политикой. Комитет Дауэса не входит в сферу деятельности главы французского правительства, но находится в сфере вашей компетенции, господин Барту, как председателя репарационной комиссии.

— Вы не понимаете, господин Шахт! Господин Пуанкаре настаивает на вашем визите.

— Тогда пусть он сообщит мне об этом.

— Он не может этого сделать. Национальное собрание сочтет такой шаг с его стороны подозрительным с политической точки зрения.

Я не отступал, настаивал на своем. Понадобилось еще два дня уговоров, в которых приняли участие также представители французского МИДа, прежде чем я уступил. В конце концов, Пуанкаре был наиболее влиятельным деятелем во всем Союзном совете.

— Уверяю вас, господин Шахт, — сказал в заключение Барту, когда подготовка к визиту была закончена, — если вы явитесь завтра в Кэ д'Орсе в пять вечера, то премьер-министр примет вас незамедлительно.

На следующий день ровно в пять часов вечера я прибыл в здание МИДа на набережной Кэ д'Орсе, где имел свою резиденцию господин Пуанкаре. От меня приняли пальто, шляпу и повели в одну из тех роскошно обставленных комнат в стиле эпохи Людовика XVI, которые восхищают нас даже сегодня. Часы на камине показывали ровно пять часов вечера. Я подождал пять минут. Прошло десять минут. С растущим нетерпением я прождал еще пять минут. Я помнил о заверении Барту, что задержки не будет. Подождал еще пять минут. Затем мое терпение лопнуло. Я не видел причин мириться с неучтивостью даже со стороны французского премьер-министра. Я попросил служащего вернуть мне шляпу и пальто, а также сообщить его превосходительству, что, к сожалению, я не располагал временем ждать его дальше. Служащий пытался удержать меня, но я быстро покинул здание. Уже спустился по лестнице, пересек передний дворик и сворачивал на боковую дорожку, когда услышал, что меня окликают по имени. Двое служащих министерства, один в красном, другой в черном облачении, нагнали меня и сообщили, что премьер-министр принимал гостей, а сейчас просит меня вернуться. Он попросил своих гостей подождать, пока он меня примет. Поскольку я не хотел быть неучтивым, то вернулся. Господин Пуанкаре стоял у входа в свой кабинет и немедленно меня принял.

Через несколько недель этот случай был преподнесен в сатирическом еженедельнике Парижа под заголовком «Доктор Шахт не может ждать».

Моя беседа с господином Пуанкаре длилась почти час. Я обрисовал ему германскую ситуацию. Объяснил, насколько невозможно для нас выплачивать репарации, составляющие в целом сумму в 120 триллионов марок. Попытался дать ему понять, что Германия способна оплачивать долг только за счет экспортных товаров и в таком объеме, который не вынесут другие страны, даже сама Франция. Я заметил, что подобный экспорт подорвет конкурентоспособность промышленности союзных западных стран. Однако иных возможностей погасить необходимую сумму немецких репараций другим странам не существует.

Было ясно, что передо мной высокоинтеллигентный и культурный человек. Но было столь же очевидно, что этот человек готов подчинить все прочие соображения своим политическим целям, например цели доведения Германии до состояния полной утраты дееспособности и деградации.

— Господин премьер-министр, вы могли бы прикрепить к каждому немецкому дому табличку с надписью «Этот дом — собственность господина Пуанкаре», ни на йоту не изменив ситуацию. Право собственника домов не даст вам ни малейшей выгоды. Вы даже не сможете перевести ренту с немецкой на французскую валюту.

Пуанкаре оставался непреклонным. Он прекрасно понимал, о чем я говорю, но его единственным желанием было держать Германию в подчинении.

Я поднялся.

— Сожалею, что в данных обстоятельствах продолжать наш разговор бессмысленно. Я покидаю эту комнату менее надежным, чем при входе в нее.

Мы простились холодно.

От одного представителя его окружения я узнал в последующие дни, что, по словам Пуанкаре, я был первым немцем, который ясно объяснил, чего хочет Германия, и первым собеседником, который прервал разговор с ним.

Разумеется, мне пришлось сообщить об этом разговоре нашему послу в Париже, и тот, в свою очередь, переслал информацию в Берлин. В результате рассказ о моем визите к Пуанкаре во всех деталях быстро получил широкое распространение. Нашего посла привело в ужас мое поведение во время встречи с французским премьером, многие члены правительства укоризненно покачивали головой. Лишь генерал фон Сект усмех-

нулся, когда услышал эту историю. И эта усмешка значила для меня больше, чем все покачивания головой.

Понадобилось еще восемь лет, прежде чем союзники на Западе поняли, что политика репараций в целом явилась злом, способным нанести ущерб не только Германии, но и им самим. Из 120 миллиардов марок, которые Германии полагалось выплатить, фактически в период между 1924 и 1932 годами она выплатила 10—12 миллиардов. И они не получили возмещения дополнительными экспортными поставками, на которые рассчитывали. В течение этих восьми лет Германия не экспортировала сверх обычных объемов. Державы-победительницы оплачивались от выручки с займов, которые другие страны, действовавшие в полном неведении относительно ресурсов Германии, навязывали ей до такой степени, что в 1931 году выявилась неспособность Германии выплачивать даже проценты по этим займам. Наконец в 1932 году последовала конференция в Лозанне, на которой обязательства по репарациям были, по существу, списаны. Из предписанных 120 миллиардов было выплачено 10 процентов. С другой стороны, абсолютно все иностранные займы, предоставленные Германии, которые достигали ровно 20 миллиардов, оставались неуплаченными. Союзные правительства добились выплаты репараций на сумму в 10—12 миллиардов, однако частные иностранные вкладчики потеряли деньги на займах, предоставленных Германии.

Но в 1924 году во время моего визита в Париж французы были одержимы иллюзиями выбить из Германии миллиарды и миллиарды.

В этот период мне надо было совершить однодневную деловую поездку из Парижа в Лондон. Мой единственный шанс заключался в том, чтобы воспользоваться ночным поездом и перебраться из Дьеппа в Ньюхейвен. Как немец я был поставлен в конец длинной очереди, проходящей паспортный контроль на границе. Когда наконец подошла моя очередь, мне пришлось отвечать на длинный ряд вопросов идиотского содержания.

— Ваше имя?

— Шахт.

— Имя отца?

— Тоже Шахт.

Наконец, потеряв терпение, я спросил:

— Разве вы не читаете газеты?

— Конечно, читаю, — ответил несколько удивленный чиновник. До сих пор именно *он* задавал вопросы.

— Тогда вам следовало бы знать мое имя. Разве вы не читали, что я участвую в Париже в переговорах по репарациям?

По лицу чиновника расплылась улыбка. Он стал более дружелюбным.

— Вот как! Значит, я могу записать в графу «Причина поездки» «Выплата репараций»?

— Да, вы определенно можете записать это.

Глава 27

ТРУДНОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

К сожалению, комитет Дауэса отвлекал меня от работы слишком долго. Благодаря готовности Имперского банка иногда принимать рентную марку по курсу золотой марки ее можно было рассматривать теперь как легальный тендер. Соответственно, определенные круги возобновляли свою практику продажи рентных марок за рубеж за иностранную валюту, но без намерения использовать эту валюту для оплаты импорта, а для пополнения своих запасов стабильных ценных бумаг. В начале февраля 1924 года рентная марка котировалась ниже номинала, и вследствие этого ее стоимость упала почти на 15 процентов.

Когда я снова смог взяться за выполнение своих обязанностей в Имперском банке и понял, что марке опять приходится противостоять спекуляции, мы с коллегами посоветовались и решили предпринять радикальный шаг. Прекраснодушные призывы к сохранению стабильности марки были бесполезны. Необходимо было показать спекулянтам, что Имперский банк не ограничится просто словами, но предпримет практические действия.

Если публика теряет доверие к валюте, то даже самая высокая учетная ставка не испугает спекулянта. Не важно, платит ли он 10, 20 или 30 процентов в год, если стоимость валюты падает на 5, 10 или 15 процентов от месяца к месяцу. Бесполезно поэтому бороться со спекулянтами иностранной валютой высокой процентной ставкой: нам следовало сосредоточить усилия на перекрытии источников поступления ва-

люты. Мы решили полностью прекратить выдачу кредитов деловому сообществу со стороны Имперского банка. Понимали, что это прекращение будет выглядеть не только неудобным, если выразиться помягче, но даже окажется до некоторой степени несправедливым, поскольку ударит не только по виноватым, но также по невинным. Утешались мыслью, что оно не продлится долго и что условия обмена валюты нормализуются в максимально короткий срок.

Чтобы привести в действие необходимый механизм, мы прибегли к методу, который затем часто применялся в политической сфере. В субботу, 5 апреля 1924 года, после закрытия фондовой биржи было объявлено, что с понедельника 7 апреля Имперский банк не будет увеличивать свои авуары в иностранной валюте и, следовательно, не станет принимать валюту в дальнейшем. Мы дали публике полтора дня на ознакомление с нашим заявлением.

Предпринятый нами шаг вошел в прямое противоречие с традиционными правилами центральных банков. Возможно даже, впервые в экономической истории центральный банк преднамеренно отказался гарантировать кредит. Согласно традиционным представлениям, назначение центрального банка состоит в авансировании валютой в любое время и противодействию избыточному притоку валюты простым путем повышения учетных ставок. Но, как уже упоминалось, никакая дисконтная политика не в состоянии угнаться за девальвацией валюты.

Акция Имперского банка вызвала панику в деловом мире. Бурю, бушевавшую вокруг меня, можно сравнить с мощным ураганом. То, что какой-нибудь председатель Имперского банка посмеет прибегнуть к таким мерам, противоречило не только теории, всему деловому миру показался возмутительным короткий срок, в течение которого было невозможно успеть предпринять соответствующие контрмеры. Но сама кратковременность осуществления нашего плана была рассчитана на достижение желаемого результата.

Мне пришлось нанести молниеносный удар спекулянтам иностранной валютой и не оставить им времени выпутаться из своей дилеммы. Это был вопрос не материального, но в первую очередь морального воздействия. Людям раз и навсегда следовало дать понять, что Имперский банк воспользуется любыми средствами, чтобы обеспечить стабильность марки.

Если бы немецкое деловое сообщество оказало с самого начала достаточную поддержку новой валюте, 7 апреля 1924 года никогда бы не произошло. Теперь, однако, дела достигли того рубежа, когда нам пришлось пойти на риск пробы сил между спекулятивными интересами отдельных лиц и интересами всего немецкого народа. Я ни на миг не сомневался, что защита общих интересов обеспечит Имперскому банку поддержку народных масс.

Между тем «разрушитель немецкой промышленности» было наименее ругательным эпитетом, которым меня удостаивали. Один упрек, который я принял всерьез, заключался в том, что я поступал несправедливо по отношению к честным деловым людям. Мы начали нейтрализовать несправедливость в последующие дни и недели путем наиболее заботливого обращения со своими клиентами. Мы не уменьшили свой портфельный капитал, но сохранили его на прежнем уровне. Любая сумма денег, поступившая в Имперский банк от ценных бумаг с наступившим сроком платежа, использовалась для предоставления кредита нуждавшимся предприятиям. Поскольку Имперский банк контролировал почти четыреста предприятий и филиалов по всей стране, такая политика вскоре доказала свою состоятельность. Спекулянты, с другой стороны, не продлевали срока выплаты кредитов и не выдавали новые кредиты. Поэтому они были вынуждены прибегать к той же акции, какую я навязал им в конце ноября 1923 года, а именно передать свою припасенную иностранную валюту в Имперский банк в обмен на имперские марки.

Результаты этой акции были поразительно быстрыми и эффективными. Между 7 апреля и 3 июня 1924 года, то есть в течение пятидесяти семи дней, в немецкий Имперский банк было возвращено не менее 800 миллионов марок в иностранной валюте. С последних лет войны не представлялось возможности удовлетворять все запросы делового сообщества в иностранной валюте. Месяцами в инфляционный период нам удавалось удовлетворять лишь *один* процент таких запросов. 3 июля Имперский банк смог впервые полностью удовлетворить запросы в иностранной валюте. И он сохранял способность делать это до тех пор, пока не утратил ее в результате финансового краха 1931 года. Но об этом позже.

За рубежом этот болезненный, но быстрый процесс оздоровления произвел поразительное впечатление. Он завершил-

ся до того, как вступили в силу решения комитета Дауэса. Возросло доверие к руководству Имперским банком не только в самой Германии, но особенно в других странах. Вторая волна инфляции в эти роковые месяцы могла бы нанести Германии почти непоправимый ущерб. По всей вероятности, это спровоцировало бы западных союзников осуществить значительно большее вмешательство и более широкий контроль над немецкой экономикой и финансами. Решительная акция Имперского банка и полное овладение им опасной ситуацией продемонстрировали всему миру, что Германия в состоянии восстановить свою позицию надежного финансового партнера. Наш международный кредитный рейтинг установился на удовлетворительном уровне. Репутация Германии как честного делового партнера была спасена.

Решения комитета Дауэса и их последующие результаты хорошо известны. Они привели к реформе Имперского банка, которая предусматривала учреждение наблюдательного органа, включавшего семь иностранцев и семь немцев в дополнение к немецкому совету директоров и немецкому председателю. Британскому члену комитета Дауэса, сэру Роберту Киндерсли, и мне поручили разработку отдельных положений в рамках этой политически определенной директивы. Добрая воля с обеих сторон выразилась в достижении взаимного доверия, которое сделало возможным сохранение иностранного влияния в управлении Имперским банком в разумных границах. Председатель Имперского банка стал председателем не только немецкого совета директоров, но также международного наблюдательного органа, который функционировал шесть лет до 1930 года. В течение этого периода не раз возникали неприятные споры или расхождения во мнениях. Но решения вопреки воле большинства не принимались. Со всех точек зрения мы гармонично сотрудничали. Среди всех иностранных участников установилась атмосфера взаимного доверия, многие из них стали моими хорошими друзьями.

Особо близкие отношения наладились у меня с голландским представителем, профессором Брюинзом, который был также уполномоченным по печатанию банкнотов. Подружился также с англичанином сэром Чарльзом Эддисом, швейцарским профессором Бахманом, американцем Мак-Гарахом и итальянцем сеньором Фелтринелли. Я установил хорошие рабочие отношения даже с представителем Бельгии, господи-

ном Калленсом, и французом, господином Сержаном. Тесно сотрудничал также с Паркером Гилбертом, которого назначили агентом по репарациям во исполнение решений комитета Дауэса и в обязанности которого входил надзор за выплатой репараций.

В целом 1924 год стал наиболее впечатляющим в моей карьере. Он завершился успешным выпуском облигаций так называемого займа Дауэса в западных и нейтральных странах, на выручку от которого в Имперский банк поступило 800 миллионов золотых марок в иностранной валюте. Эта сумма позволила банку работать дальше, обладая солидным резервом золота и иностранной валюты.

Я был вправе гордиться результатами своего труда, и особое удовлетворение вызывало признание их со стороны других стран. Когда все завершилось, я получил письмо от Оуэна Д. Янга из комитета Дауэса. В нем говорилось:

«Дорогой господин Шахт!

Сегодня я нашел среди своих бумаг письмо, которое господин Бейтс (секретарь комитета Дауэса) написал одному из своих влиятельных друзей в Америке. Не могу устоять перед соблазном процитировать фрагмент письма, касающийся вас. Он выражает мои чувства, равно как и чувства господина Бейтса.

«С января этого года Шахт был надежной опорой Берлина в любом смысле этого слова... Чтобы избежать новой волны инфляции, он был настолько непреклонен в прекращении кредита, что в некоторых отраслях германской промышленности произошли банкротства. Несмотря на угрожающие письма, резкую критику и политическую оппозицию, он и глазом не моргнул, проявив необыкновенную решимость».

В последний же день этого года я получил поздравительное письмо от барона Бруно Шредера, главы английской банковской фирмы «Шредер и К^о», в котором были такие слова:

«Вы можете гордиться своей деятельностью в старом году, поскольку я уверен, что, если бы не вы, в Лондоне не возникла бы атмосфера, которая явилась столь необходимой для возрождения нашей несчастной Родины».

Не меньшее удовлетворение я испытал от удачных попыток восстановления международного доверия к Германии. Наш кредит вновь утвердился на прочном фундаменте. Теперь нам нужно было достойно распорядиться этим кредитом. Мне лично было совершенно ясно, что для восстановления промышленности Германии придется закупать сырье, продовольствие и даже, возможно, зарубежное оборудование. Это диктовал здравый смысл. Но такие займы не должны переходить разумные границы. По плану Дауэса мы были обязаны ежегодно выплачивать в среднем два миллиарда золотых марок. Этот долг приходилось выплачивать в иностранной валюте, и эту валюту можно было добыть за счет увеличения экспорта. Если бы нам также пришлось выплачивать проценты и основной долг в иностранной валюте, то наша ежегодная задолженность зарубежным странам увеличилась бы с каждым займом и заставляла нас экспортировать во все больших количествах.

С самого моего поступления на работу в Имперский банк я подчеркивал опасности, исходящие от такой задолженности, во всех правительственных инстанциях, в которые имел доступ, а также в публичных выступлениях дома и за рубежом. Весь шестилетний период моей работы в качестве председателя Имперского банка был заполнен борьбой за ограничение нашей задолженности в иностранной валюте.

Мои оппоненты в этой борьбе были столь же близоруки, сколь многочисленны. Их можно было обнаружить в деловом мире, в муниципалитетах и в не меньшей степени в правительственных учреждениях. Обнищание Германии, вызванное войной, ужасало. Промышленность отчаянно нуждалась не только в денежных средствах на закупку сырья, но и в капитальных инвестициях в восстановление и модернизацию средств производства. Было бы пустой тратой времени ожидать, что этот капитал можно получить путем экономичного управления и бережливости населения. Более быстрый результат мог быть достигнут за счет иностранного займа. В течение последующих нескольких лет многие крупные предприниматели в результате займов оказались в долгах.

К этому прибавлялся другой фактор. Окончание войны ознаменовалось в Германии появлением признаков революционной ситуации и занятием революционными политиками ответственных постов. Революции, однако, можно предотвра-

тить, если народные массы увидят другие перспективы благополучной жизни. Но вместо того, чтобы настроиться после поражения на максимально скромную жизнь и экономичное управление, люди стали одержимы идеями повышения жизненного уровня и хорошей жизни. Их поддерживали муниципальные организации с преобладанием социал-демократов и политиков, придерживающихся аналогичных взглядов. Многие муниципалитеты набрали кредитов в иностранной валюте, найдя подходящих инвесторов за рубежом, особенно в Соединенных Штатах Америки, а также в Швейцарии, Голландии и других странах.

К сожалению, ослепленные иллюзиями, социал-демократы не могли понять, что все иностранные деньги, которые не служили улучшению нашего производства, были обречены дать явно противоположный социальный эффект. Трата иностранной валюты только за рубежом вела к увеличению импорта зарубежных товаров, особенно готовых изделий. Это означало, что страдали немецкие производители таких изделий, что, в свою очередь, приводило к безработице.

Даже если могла возникнуть мысль, что промышленность в состоянии возместить и проценты, и задолженность по самим займам, за счет экспорта, то это совершенно определенно не распространялось на государственные учреждения, доход которых формировался не от экспортной выручки, но от налогов в немецкой валюте. Предпринимателям в целом приходилось, следовательно, искать иностранную валюту на покрытие процентов и сумм государственных займов за рубежом. Государственные органы сдавали иностранную валюту от займов за рубежом в Имперский банк, за которую последнему приходилось платить в марках. Когда же приходило время для госорганов выплачивать проценты и суммы займов в иностранной валюте, Имперскому банку следовало обеспечивать их иностранной валютой и получать взамен только марки. В данном случае госорганы сознательно действовали вопреки обязательствам предпринимателей. Я как-то попытался иносказательно объяснить это одному молодому предпринимателю. Молодой человек взял займы английскую валюту и инвестировал в данцигской валюте. Когда этот человек спросил меня, правильно ли он поступил, я ответил: «Если ты должен своему кредитору так много кур, тебе не нужно содержать уток».

С течением времени в страну поступило более 20 миллиардов в иностранной валюте, и наша задолженность увеличилась на такую же сумму. Если бы эта иностранная валюта оставалась в Имперском банке, он был бы в состоянии расплачиваться ею в любое время. Это, однако, не представлялось возможным, так как в то время нам следовало покрывать свои обязательства по плану Дауэса. Каждый год агент по репарациям требовал с Имперского банка свои два миллиарда золотых марок в иностранной валюте. Деньги, приходившие в страну в виде иностранных займов, уходили из нее на выплату обязательств по плану Дауэса.

В эту дразнящую, но очень опасную игру можно было играть лишь до тех пор, пока иностранные займы поступали в Германию. Но как только эти иностранные займы прекратили бы поступать, выплата репараций по плану Дауэса автоматически остановилась бы. Ведь иностранные займы использовались, главным образом, для оплаты репараций. Если бы мы побыстрее прекратили принимать иностранные займы, вопрос о репарациях был бы разрешен гораздо раньше. Вместо этого политические круги того времени упорствовали в обременении Германии иностранными займами, то есть иностранными долгами, несмотря на постоянные предупреждения Имперского банка. И вина таких политиков в этом отношении очевидна.

К сожалению, другие страны также не внимали моим предупреждениям. Международные финансовые посредники и банковские фирмы соревновались друг с другом за навязывание Германии этих займов. Иностранные посредники практически не слезали с промышленных воротил и муниципальных властей в предложениях кредитов. Невозможно было пройти мимо отеля «Алдон» на улице Унтер-ден-Линден без того, чтобы к вам не обратился какой-нибудь иностранный представитель, интересующийся, нет ли частного или муниципального предприятия, которому можно было бы предложить кредит.

Снова и снова Имперский банк в интересах укрепления немецкой валюты пытался уговорить правительство предоставить банку право вето на принятие иностранных кредитов. Просьба неизменно отвергалась. Канцлер Брюнинг был первым в правительстве, кто осенью 1931 года признал, что накопление долгов является большой ошибкой. Но тогда уже

было поздно. В июле 1931 года разразился банковский кризис. Его жертвами стали те экономные иностранные инвесторы, которые, поверив рекомендациям своих банков, подписались на займы Германии.

К весне 1925 года я почувствовал, что положение с валютой достаточно контролируемо, чтобы позволить себе длительный отпуск. Мы с женой и двумя детьми сели на пароход компании Стиннеса «Генерал Сан-Мартин», который должен был пройти из Генуи по чудной части акватории Средиземноморья. Это был один из тех так называемых «туров», когда пароход останавливается в различных портах, где проходят экскурсии по достопримечательным местам.

Я воспользовался поездкой для изучения вместе с детьми истории средиземноморских стран с древнейших времен до современности — не в форме «уроков», но путем обсуждения того, что дети уже знали, что мы видели и что рассказывали нам пассажиры-попутчики.

По возвращении в Берлин из круиза по Средиземноморью я немедленно включился в борьбу с репарациями. Это дело принесло мне новые тревоги и заботы. Но, прежде чем начать повествование об этом, следует упомянуть один забавный эпизод.

Однажды утром я обнаружил на своем письменном столе витиевато оформленный музыкальный сборник, какие были модны в начале 20-х годов. Я открыл его и с изумлением прочел: «Песня менестреля», слова Яльмара Шахта». Это действительно было одно из стихотворений, которое я написал в возрасте девятнадцати лет для коллеги-студента, пожелавшего переложить его на музыку для оперетты. Издатель сборника откуда-то добыл его, явно рассчитывая на сенсацию, когда узнают, что председатель Имперского банка пишет в свободное время популярные «хиты». Я воспротивился подобной дешевой популярности и отказал в праве на публикацию своей «Песни менестреля».

Часть четвертая

В БОРЬБЕ ПРОТИВ РЕПАРАЦИЙ

Глава 28

ИМПЕРСКИЙ БАНК ИЗНУТРИ

Я вполне заслужил отпуск, который взял весной 1925 года. Кроме того, после успехов Имперского банка в предыдущем году мне казалось, что впереди нас ждут спокойные времена. В период, последовавший непосредственно за событиями 1924 года, я обратил всю свою энергию на совершенствование работы сотрудников банка, делая все, что в моих силах, для поддержания и консолидации традиций верности долгу, прилежания и качественного обслуживания нашей клиентуры. Каждый член Имперского банка проникся духом этих традиций.

То, что мы сами готовили себе смену, приносило на данный момент наибольшую пользу. Да, в совет управления входило несколько экспертов по административному праву со стороны. Однако помимо них высшие должности занимали те, кто поднялся на них с низких постов. Каждый молодой человек, поступивший на работу в Имперский банк, имел шанс стать членом правления. В банковских учреждениях господствовала подлинная демократия. Всякому, кто успешно прошел испытательный срок, была гарантирована работа на всю жизнь. То же относилось к обслуживающему персоналу, не занимающемуся непосредственно банковским делом, — курьерам, служащим и инкассаторам, которые были сведены в одну группу «учетчики» (Geldzähler). Среди них тоже поддерживались традиции и аккуратность. Они носили костюмы из голубой ткани с позолоченными пуговицами и красными воротниками. Многие из них пришли к нам из императорского двора после распада империи. Их часто при-

влекали в помощь при выполнении официальных функций. Они хорошо знали, как обращаться с гостями, умели работать в гардеробной, хранить фарфор и обслуживать стол. Не было ничего необычного в том, что другие учреждения и даже частные лица «заимствовали» некоторых из наших учетчиков для своих торжеств. Одним из этих заемщиков стал позднее Адольф Гитлер, который постоянно пользовался людьми, прошедшими подготовку в нашем банке и императорском дворе.

Хотя эти учетчики не отвечали требованиям банковской карьеры, такие возможности открывались для их детей. Не раз случалось, что сыновья некоторых из учетчиков делали академическую карьеру и даже порой занимали высокие должности в самом Имперском банке. Служитель моей приемной по имени Лебен овладел самостоятельно столькими предметами на английском и французском языках, что я регулярно брал его своим личным помощником, когда выезжал за рубеж. Не только я один, но все сотрудники, причастные к управлению Имперским банком, помнили о необходимости помогать в продвижении наиболее сознательных и способных работников.

Наша смена численно выросла до такой степени, что каждый новый «диетик» (Diäter) — так мы называли новичков — должен был проходить двухлетний испытательный срок, прежде чем мы принимали его в штат. Предельный возраст для новичка составлял двадцать шесть лет. Сначала он несколько месяцев стажировался, затем проходил тесты перед зачислением на постоянную работу. Этот период испытаний давал нам возможность оценить характер и поведение новичка. Экзамен проводила комиссия, состоявшая из высокопоставленных сотрудников Имперского банка.

Если податель заявления на работу успешно проходил экзамен и зачислялся в штат, перед ним открывался ряд промежуточных должностей от инспектора банка до старшего инспектора. Через несколько лет, если молодой сотрудник был достаточно честолюбив, чтобы двигаться по карьерной лестнице, банк предоставлял ему трехмесячный учебный отпуск с сохранением оклада, по окончании которого он проходил экзамен на замещение более высоких должностей. Если он сдавал экзамен, то становился советником банка (Bankrat) и мог продвигаться дальше по служебной лестнице

в правлении. Во время моего председательства несколько членов правления добились своих постов именно таким образом. Прежнее академическое или неакадемическое образование не играло никакой роли. В целом такая демократическая система основывалась не на политическом или социальном статусе, но единственно на способностях и характере человека.

Применению такого принципа я оказывал свою горячую поддержку двумя способами. Во-первых, я был всегда доступен любому члену персонала, от уборщицы и рассыльного до служащих высших рангов. Во-вторых, я постоянно поощрял своих коллег свободно выражать критические замечания и несогласие при обсуждении с ними предлагавшихся решений. «Поддакивающие» работники не могли со мной сработаться. С другой стороны, если кто-нибудь выдвигал хорошо продуманную, обоснованную точку зрения или предложение, он всегда мог рассчитывать на мою поддержку. Когда уволился господин фон Глазенапп и мне пришлось искать заместителя, я выбрал коллегу, поднявшегося из низов.

Помимо персональных вопросов, я уделял внимание любым техническим новшествам, которые могли послужить на пользу общения между деловым миром и Имперским банком. Одной из существенных проблем такого рода было введение системы денежных трансферов по телеграфу. Я осознал крайнюю необходимость таких ускоренных трансферов для монетарной политики после краха 1945 года. В случае перевода денег из одного города в другой (в годы, предшествовавшие возобновлению нормальной работы трансферной системы в центральных земельных банках) проходило четыре, пять или даже шесть дней между отправлением платежа и его получением. Это означало, что такие суммы оставались вне обращения в течение нескольких дней в результате задержек в переводе с одного счета на другой. Если представить, что в мирное время Имперский банк имел обыкновение обращаться с суммами в несколько миллиардов марок в день, то понимаешь, каковы потери в процентах от этой тормозящей системы. Технические трудности переводной системы были значительны еще и потому, что следовало тщательно учитывать вопросы безопасности и злоупотреблений. Тем не менее эти трудности были преодолены. После введения системы телеграфных безналичных расчетов стало возможным перевести любую

сумму в течение двух часов, скажем, из Берлина в Мюнхен или в любой другой пункт назначения.

Меня никогда не беспокоило техническое выполнение текущих операций. Оценкой и распределением кредитов занимались мои коллеги. Это может показаться абсурдным, но я никогда не работал ни с одной банкнотой Имперского банка. Очень мало я занимался ценными бумагами. Мой письменный стол всегда был пуст. В прежние годы я как-то посетил своего предшественника Гавенштейна и обнаружил его погруженным в массу документов. Соглашусь с американским железнодорожным магнатом Гарриманом, которого однажды провели по зданию банка Вены и показали комнату, где сидел сотрудник, заваленный кипами бумаг. На вопрос, кто этот человек, и ответ, что это один из управляющих банком, Гарриман воскликнул: «Не может быть! Управляющий должен сидеть, вытянув ноги на пустой письменный стол и лениво затягиваясь сигарой!» Главными предметами на моем столе были пепельница и небольшая бронзовая статуэтка Фридриха Великого, под эгидой которого был основан Имперский банк.

В решении проблем, которые действительно меня касались, я получал поддержку не только своих коллег по правлению, но также экономического и статистического отдела. Сотрудники отдела располагали обширной библиотекой, огромным собранием научного материала и первоклассными работами известных политэкономистов. Отдел был создан моим бывшим недоброжелателем фон Луммом, и я должен отдать ему должное безоговорочно, отдел был образцовым. В мое время отдел возглавлял доктор Нордхофф, чрезвычайно добросовестный и щепетильный человек, непревзойденный знаток всех валютных проблем. В течение многих лет мне приходилось выступать по вопросам денежного обращения и политической экономии в больших и малых аудиториях. Я неизменно консультировался по материалам для своих речей с сотрудниками отдела и всегда просил критической оценки доктора Нордхоффа.

— Вы хранитель разума банка, доктор Нордхофф. Не упускайте ничего, кроме совершенно ненужного материала.

— Вы можете положиться на меня, господин председатель.

Наш дом находился в непосредственной близости от моего офиса. Он обслуживался техническим персоналом банка, так

же как и офис. Часто случалось, что я неожиданно сталкивался с рабочим или механиком, занятым какой-то работой в нашем доме, о появлении которого я заранее не знал. Если я встречал случайно одного из этих незваных посетителей на пути в ванную комнату в пижаме или ночном белье, мне всегда говорили: «Вахтер прислал меня проверить проржавевшую трубу в центральном отоплении. Где-то протечка, но я обязательно найду ее». Фактически мы были лишены приватной обстановки.

Хотя число посетителей не уменьшалось, я взял за правило никого не заставлять ждать, если способен оказать помощь. Все назначения бесед пунктуально соблюдались. Если появлялся неожиданный посетитель, которому не было назначено время приема, выходила фрейлейн Штеффек и говорила: «Зайдите к нему на минутку-две, не более. Просто обменяйтесь рукопожатием». Все ценили ее такт и доброту.

Мероприятия нашей жизни в обществе я с удовольствием передал в распоряжение своей весьма искушенной супруги. Она сообщала мне о своих требованиях для проведения вечера, и все, что оставалось на мою долю, состояло в предоставлении необходимых консультаций. Иногда нас посещали гости или она уходила на концерт знаменитой певицы Маргарет Клозе. Или опять-таки мы заказывали билеты для посещения оперного театра с компанией друзей. Наша дочь приглашала в дом друзей и подруг, были танцы. Нас посещали министры, банкиры, иностранцы, дипломаты. Вечера в Берлине почти всегда были заняты каким-нибудь общественным мероприятием. Очень часто они предоставляли возможность обсудить экономические и финансовые проблемы после ухода от обеденного стола.

Наша домашняя прислуга была хорошо воспитана, но бывали тем не менее случаи, когда она оказывалась не на высоте. Однажды вечером к нам в гости пришел папский нунций Пацелли, будущий папа. Он был в полном церковном облачении и после того, как служанка подала ему плащ, протянул ей руку с епископским кольцом для целования. Но эта добрая душа — стойкая евангелистка из Восточной Пруссии — не имела никакого представления о том, что ей следовало делать, и приветливо пожала руку нунция. Он искренне смеялся, когда позднее рассказывал нам об этом случае.

После того как обстановка в Германии несколько нормализовалась, правительство стало поощрять определенные формы социальной жизни. Президент и разные министры давали приемы и танцевальные вечера, которые, по крайней мере внешне, немного отличались от приемов во время существования империи. Следить тогда за тем, чтобы все «шло по плану», было, конечно, первейшей обязанностью лакеев и дворецких. Большинство из них не захотели менять должность и сейчас были наняты новыми работодателями. Правда, их униформы были проще и скромнее, чем раньше. Темы же разговоров на этих мероприятиях составляли еще больший контраст. Но, несмотря на многие шероховатости, по поводу которых морщили носы апостолы ушедшего времени, было понятно, что прилагаются усилия в целях восстановить достойный и представительный социальный порядок.

Многие министры буржуазного происхождения, особенно их жены, вели себя так, что их манеры поведения можно было назвать достойными и привлекательными. Задавали тон президент и фрау Эберт, и легкость, с которой они приняли изменившуюся реальность как само собой разумеющееся, заставляла устыдиться многих представителей предвоенного общества. Моя жена была свидетельницей одного разговора, происходившего на приеме. Некто выражал восхищение одной из картин Джотто, выставленной в галерее Питти во Флоренции, и фрау Эберт говорила, что испытывала такие же чувства. Еще одна фрау оказалась достаточно бестактной, чтобы усомниться, видела ли вообще жена президента эту картину. На это фрау Эберт улыбнулась и тихо ответила: «Видела, когда была служанкой одной дамы и ездила в Италию со своей хозяйкой».

Глава 29

НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Когда я по окончании средиземноморского круиза сошел с борта парохода «Генерал Сан-Мартин» в Гамбурге, то предвкушал менее напряженную работу. К сожалению, обстоятельства сложились иначе. Трудное рождение новой имперской марки успешно состоялось, но имели место послеродовые осложнения.

Почти через две недели после возвращения я принял наследника большого промышленного концерна, основатель которого умер годом раньше. Наследник хотел обсудить со мной финансовое положение предприятия. Он показал мне балансовый отчет всех своих активов. Цифры впечатляли, хотя указывали на серьезную задолженность. Тем не менее доход значительно превышал задолженность, и я пришел к выводу, что мой гость хотел разобраться в своих долгах.

— Очень рад, — сказал я, — что вам удалось сохранить крупное состояние, которое вам оставил отец. Полагаю, вы пришли посоветоваться со мной насчет ваших долгов?

— Честно говоря, господин председатель, они меня ужасно беспокоят.

— Сообщите подробности.

— Среди моих пассивов — векселя на девяносто миллионов марок, у меня нет необходимых запасов ликвидности, чтобы оплатить их.

— Так, мне кажется, что выход есть.

— К сожалению, все не так просто. Понимаете, эти пассивы должны выплачиваться не в марках, но в фунтах стерлингов.

— Не пытайтесь рассказывать мне, что вы задолжали векселей на сумму в девяносто миллионов марок, подлежащих оплате в фунтах стерлингов! Кто, скажите ради бога, мог предоставить вам такие огромные кредиты в фунтах стерлингов?

— Несколько банков Лондона.

— Когда истекает срок выплаты?

— Через четырнадцать дней.

Я с трудом скрывал свое удивление и возмущение.

— Понимаю, что вы унаследовали тяжелое бремя. Понимаю также, что вы не хотите расставаться с какой-либо частью своего имущества. Однако, если вы приобрели состояние ценой такого сокрушительного долгового бремени, то должны обязательно реализовать часть активов и приобрести ликвидность, которая в будущем спасет вас от падения в подобную финансовую пропасть.

— Поймите, господин председатель, я не мог привести свои дела в порядок за столь короткий срок после смерти отца. Кроме того, мне приходится учитывать семейные чувства. Члены семьи возражают даже против частичного раздела нашего семейного состояния — из уважения к покойно-

му отцу. Их легко понять. Вот почему я стараюсь сохранить состояние в целости.

— Очень хорошо понимаю это и сочувствую. Чего я не могу понять как страж немецкой валюты, так это того, как вы влезли в столь огромные долги в иностранной валюте. Выплатить сегодня — через год после стабилизации — девяносто миллионов марок в фунтах стерлингов нелегкая задача даже для Имперского банка.

— Мои друзья, английские банкиры, всегда были готовы предоставить эти кредиты. Но я полностью сознаю теперь, что нельзя было заимствовать так много из-за рубежа. Единственное, что мне остается, — это обратиться за помощью в Имперский банк.

И что мне оставалось делать, кроме как взяться за дело самому? Краха концерна, даже не из-за чрезмерных долгов, но просто из-за нехватки ликвидности, нельзя было допустить в интересах немецкой экономики и ее вновь обретенного кредитного статуса за рубежом. Я организовал встречу представителей четырех или пяти крупных немецких банков, которые имели дело с концерном, убедив их предоставить кредит в 90 миллионов марок и сотрудничать в реализации части собственности этого предприятия. С другой стороны, Имперский банк обеспечил эквивалент 90 миллионов марок в фунтах стерлингов. Вся сумма была переведена в Лондон ко времени истечения срока оплаты векселей, к большому изумлению заинтересованных в деле учреждений в Сити. Сколь бы ни была тяжела и неприятна эта жертва для Имперского банка, она с лихвой компенсировалась произведенным на Лондон впечатлением в связи с быстрым выполнением обязательства по крупной сумме в фунтах стерлингов. Для других стран это было еще одним доказательством того, что Имперский банк полностью контролировал ситуацию с обменом валюты и положение имперской марки в международной торговле.

Все это позволило мне не только выступать за ограничение долгосрочных иностранных заимствований, но также заострить внимание на вопросе краткосрочных заимствований за рубежом немецкими промышленными фирмами, страховыми компаниями и банками.

Во время дружеских бесед с управляющими некоторых крупных банков я убедился в том, что они брали за рубежом

краткосрочные кредиты, достигавшие крупных сумм в иностранной валюте. Эквивалент этих сумм в имперских марках изымался со счетов банковской клиентуры. Подобные сделки совершались с наилучшими намерениями с обеих сторон. Иностранные банкиры были весьма довольны высокими процентными ставками, которых они добивались в Германии за предоставлявшиеся деньги, но многие из них искренне стремились помочь немецкой промышленности. Немецкие же банки, принимавшие эти иностранные деньги, должно быть, еще больше воодушевлялись проявлением такой доброй воли. Меня, однако, волновали мотивы, лежавшие за пределами этих большей частью деловых соображений банков. Поэтому я указывал некоторым директорам банков на особые, беспокойвшие меня угрозы.

— Вы сказали, — говорил я им, — что получили сотни миллионов краткосрочных иностранных кредитов. Если из-за непредвиденных обстоятельств от вас неожиданно потребуют вернуть эти суммы, Имперский банк не сможет обеспечить их иностранной валютой. Ваши коллеги в других банках тоже взяли аналогичные суммы и, как и вы, совершенно напрасно, полагаются на Имперский банк в случае неожиданных требований выплатить заимствованную сумму. Вы знаете, что из поступающей иностранной валюты Имперский банк должен выплачивать репарации по два миллиарда в год. Оставшихся запасов золота и иностранной валюты будет поэтому совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить требования, которые выдвинут вам в вышеупомянутых обстоятельствах.

— Понимаю, господин председатель, к сожалению, вы правы. Обсудим этот вопрос с коллегами по правлению. Интересно, нельзя ли нам перевести краткосрочную задолженность в иностранной валюте в долгосрочные кредиты посредством выпуска облигаций?

— Я бы предпочел, чтобы вы совсем ликвидировали значительную часть своих краткосрочных заимствований в иностранной валюте. Но в данное время ваше предложение выглядит довольно резонным.

В результате таких собеседований банки действительно выпускали облигации и брали за рубежом долгосрочные кредиты, за счет которых выплачивали свои краткосрочные обязательства в иностранной валюте.

Но если я еще мог понять стремление банков помочь немецкой промышленности посредством кредитов на выручку от займов в иностранной валюте, то совсем отказывался понимать действия некоторых банковских учреждений, которые предоставляли такую выручку в распоряжение фондовой биржи с целью спекуляций ценными бумагами. Мне казалось чудовищным, что фондовая биржа играла иностранной валютой за счет Имперского банка. Я снова и снова убеждал директоров прекратить эту скандальную практику. Призывал банки рекомендовать клиентам выделять больше денег на покупку ценных бумаг банка и поэтому оформлять такие покупки на чисто кредитной основе. В одном случае я пошел так далеко, что лишил права посредничества один из крупных банков, не сумевший выполнить требования Имперского банка. Эта мера быстро отрезвила его. Однако, поскольку мои действия в целом не приносили пользу, я в начале мая 1927 года потребовал от банков резко ограничить кредиты клиентам-держателям ценных бумаг. К сожалению, банки оповестили об этой мере без предварительной договоренности с Имперским банком, и такая сенсация привела к значительному падению стоимости ценных бумаг на Берлинской фондовой бирже в пятницу 13 мая.

Этот день вошел в историю Берлинской фондовой биржи под названием «черная пятница». Меня снова атаковали со всех сторон. Хотя я сожалел, что упомянутая мера была проведена в жизнь весьма неуклюжим способом, сама эта мера была необходима. Она, видимо, способствовала тому, что катастрофа на Нью-Йоркской фондовой бирже, происшедшая через два года, нанесла немецкой бирже меньше ущерба, чем случилось бы, если бы я позволил продолжать спекуляции без всякого контроля.

Вечером той самой «черной пятницы» мы с женой присутствовали на приеме в Потсдаме. Я сидел рядом с хозяйкой дома, которая сообщила удрученным тоном, что понесла крупные потери на бирже в этот день.

— Но каким образом, дорогая, вы столько потеряли? Какие ценные бумаги у вас были?

Она назвала несколько весьма перспективных акций.

— Это же первоклассные ценные бумаги. Если они действительно упали в цене сегодня, то их стоимость как акций сохранится. Их цена снова поднимется.

— Увы, доктор Шахт, я просто *была вынуждена* их продать.

— Почему вам было необходимо непременно продать их?

— Видите ли, я купила акции на кредит от банка, и теперь пришлось искать деньги на возмещение кредита. Поскольку наличности у меня не было, я была вынуждена продать эти бумаги.

— Дорогая фрау Бланк, если вы ведете дела таким образом, то помочь вам ничем не могу. Над входом в здание Нью-Йоркской фондовой биржи помещен афоризм, на который стоит обратить внимание:

Продающий то, что ему не принадлежит,
Должен платить, иначе попадет в тюрьму.

«Черная пятница» не прибавила мне популярности. Не прибавила также мне симпатий со стороны вечно нуждавшихся в деньгах политиков и деловых людей моя борьба против иностранных кредитов. Более того, в 1926 году я официально и полностью отстранился от политики, поскольку в вопросе о так называемой экспроприации члены руководства Германской демократической партии сплотились против защиты частной собственности. Да, они отказались от такого курса по размышлению, но я не пожелал участвовать в колеблющихся политических программах.

Согласно плану Дауэса председатель Имперского банка стал занимать свою должность четыре года вместо пожизненного срока. Мой первый четырехлетний срок закончился осенью 1928 года. Когда встал вопрос о моем переизбрании, левым газетам удалось распространить слух о моем кишечном недомогании, которое, дескать, делает невозможным для меня переизбрание.

В самозащите я всегда больше полагался на дела, чем на слова. Поэтому позвонил дочери, которая училась в Гейдельбергском университете.

— На следующей неделе в Цюрихе, — сообщил я, — состоится ежегодное собрание Союза по изучению социальной политики. Я согласился приехать и хочу знать, поедешь ли ты со мной.

Дочь была в восторге. Она собрала чемодан и приехала. Мы вместе участвовали в работе ассамблеи. С полудня в субботу до утра в понедельник заседаний не проводилось. Мы

сели в машину и за четыре часа доехали на максимальной скорости из Цюриха в Лаутербруннен. Здесь едва успели на последний поезд, ехавший на станцию Айгерглетчер. Там мы провели двое суток на высоте 3970 метров. Выпив немного и потанцевав, мы неожиданно встретили фрау Штреземан, которая также остановилась здесь.

На следующее утро мы поехали первым поездом в Юнгфрауйох, вынули свои ледорубы, связались веревкой с гидом и начали взбираться вверх. Мне был тогда пятьдесят один год, и я не совершал восхождений более двадцати лет. Несмотря на это, я не сказал бы, что нашел восхождение более трудным, чем моя дочь. Лишь однажды во время преодоления расселины в леднике гиду пришлось помочь мне. Видимость была неважной, но красивые виды значили для меня меньше, чем удаля альпиниста. Я даже находил туман пониже вершины хребта весьма удобным, так как взгляды по сторонам в пропасть лишали бы меня самообладания.

Мы добрались до вершины горы из Йоха через три часа. Я несколько не устал, не чувствовал стеснения в сердце. На самом деле я был в прекрасном настроении, несмотря на изменение высоты в течение шестнадцати часов на три с лишним тысячи метров. После короткого отдыха мы спустились вниз. Позавтракали в Юнгфрауйохе, поймали 3-часовой поезд на Лаутербруннен и, приехав в Цюрих, поужинали в отеле «Долдер».

Подобно всем другим, кто совершали восхождение на Юнгфрау, я получил обычное официальное удостоверение. Вставил его в рамку и повесил в своей приемной в Имперском банке, чтобы каждый посетитель мог лично убедиться в крепком состоянии моего здоровья. Вскоре слухи о моем недомогании утихли.

В 1926 году я приобрел недвижимость в семидесяти милях от Берлина, недалеко от Рейнсберга и Нойруппина. Окруженный озерами Гюлен с его окрестностями, поросшими лесом, воистину стал для меня источником восстановления сил. Время от времени, когда дневная работа меня несколько утомляла, я вспоминал свой Гюленский девиз:

Нет беды горше, но Гюлен ее предчувствует.
Нет раны глубже, но Гюлен ее залечивает.
Нет удара сильнее, но Гюлен его отражает.
Нет радости больше, но Гюлен ее дополняет.

Глава 30

ТУЧИ НА ГОРИЗОНТЕ

Покупка Гюлена вскоре доказала, что это был мудрый и дальновидный шаг. Человек в моем ненадежном, полуэкономическом-полуполитическом положении нуждался в жилище вне столицы, нуждался в крепости, куда можно было бы удалиться, когда численность его врагов становилась слишком большой.

В годы, последовавшие за периодом инфляции, моя роль как председателя Имперского банка представляется мне в первую очередь ролью цепного пса, зорко следящего за состоянием нашей валюты и заботящегося о том, чтобы ее котировки на бирже не падали. Я тщательно регистрировал малейшие изменения на валютном рынке, каждую значимую котировку, нарушающую паритет новой германской марки. Любое нарастание признаков опасности влекло за собой быстрое вмешательство с моей стороны. Сегодня мне представляется вполне естественным, что я не всегда прибегал к мягким методам и что мои оппоненты на свободном рынке, заинтересованные лишь в личной выгоде, но не в общем благосостоянии, избегали меня. Ни один человек, защищающий дело, в которое верит, не сможет постоянно ограничиваться мягкими словами и дружескими предостережениями.

Для гарантий выплаты Германией репараций комитет Дауэса ввел доверенных посредников в правления Имперского банка и другие немецкие экономические учреждения. Эти люди, работавшие под руководством Паркера Гилберта, агента по репарациям, практически контролировали платежеспособность Германии. В их функции входило следить за тем, чтобы репарационные платежи пунктуально переводились.

Но в состоянии ли мы были выплачивать репарации — переводить ежегодно за рубеж более двух миллиардов марок в иностранной валюте? Нет, это было выше наших возможностей. Тем не менее переводы продолжались. И делали мы это посредством заимствования денег за рубежом, которые потом переводили туда же.

Другие страны давали нам деньги взаймы. Но кому? Политикам? Конечно нет. Политики занимались ловлей голосов избирателей в своих странах, обещая им, что Германия вы-

платит огромные суммы репараций. Экономисты и деловые люди были мудрее, дальновиднее политиков. Они видели ту большую опасность, которая грозила такой стране, как наша, если ее вывести из международной конкуренции. Они понимали, что было бы правильнее и разумнее предоставить Германии экономический шанс. В то время такие люди, как Монтегю Норман, делали больше во имя упрочения мира, чем любой партийный политик со своим вечным лейтмотивом в обращении к своим последователям: «Германия должна платить...»

В книге «Прекращение выплаты репараций» (1931) я завершил точный подсчет денег, которые вливались в Германию и снова уходили из нее в течение шести лет после периода инфляции. Даже тогда я высказывался вполне откровенно о трофеях, которые приобрели после войны другие страны, в виде немецкой собственности *без* подведения ее под рубрику «Репарации». Эти трофеи составляли огромную сумму. Одни лишь немецкие колонии, которые были переданы «мандатариям», стоили от 80 до 100 миллиардов марок.

Но политики не унимались: они добивались также твердой валюты. Поэтому вымогали ежегодные репарационные выплаты.

Основными жертвами этой политики становились иностранные заимодавцы. Они ссужали деньги немецким фирмам, государственным компаниям, корпорациям, муниципалитетам и городам. Имперский банк обменивал эти иностранные переводы (валюту) на немецкие деньги. Валюта же собиралась в фондах, из которых выплачивались репарации. Таким образом, зарубежные политики получали деньги, которые отдельные зарубежные капиталисты отправляли в Германию в виде займов и кредитов.

Такой способ расчетов налагал на вновь возрождавшуюся германскую экономику огромное бремя долгов. Ведь вместе с долгосрочными и краткосрочными кредитами мы брали на себя ответственность не только за окончательную выплату этих сумм, но также за проценты на них. К репарациям прибавлялись проценты по иностранным займам.

Теперь читатели понимают, почему вскоре после занятия поста председателя Имперского банка я стал предостерегать против чрезмерного заимствования за рубежом, особенно для таких проектов, как плавательные бассейны, развлекательные

павильоны, библиотеки и спортплощадки. В мирное время это все признаки растущего процветания, но они не соответствовали нашей стране, обнищавшей и разоренной войной и послевоенными трудностями.

Но, как это часто случается в истории, мои предостережения воспринимались далеко не всеми. В новом политическом статусе — республики вместо империи — Германия раздробилась на множество мелких земель, общин, районов, провинций. Все они яростно соперничали друг с другом за заимствования.

Наряду с этой переменной стал играть свою роль партбилет. Он довольно часто заменял квалификацию, эффективность, профессиональную подготовку. Партийные интересы стали важным фактором заимствования за рубежом. Представители партий соперничали друг с другом в том, кто сделал больше «для народа». Кто добивался большего, получал большинство голосов избирателей.

Состязание личных и общих соображений, призванных облагодетельствовать всех, происходило совершенно открыто. Это не означало, однако, что публика понимала подобную мелочную игру. Наоборот, каждый индивид рассчитывал, со своей собственной точки зрения, как деньги от этих иностранных инвестиций могут повысить жизненный уровень немцев. Коллективная задолженность без личной ответственности — очень опасная игра, которая не могла оставаться незамеченной агентом по репарациям Паркером Гилбертом. Он понял, что немецкие платежи по репарациям не были реальными, что страна выплачивала долги не путем наращивания экспорта, но посредством заимствования денег. Полная неспособность Германии перевести за рубеж иностранную валюту была вопросом времени.

Понимание этого привело к созыву новой конференции, на этот раз под председательством американца Оуэна Янга, который уже играл важную роль в работе комитета Дауэса. Конференция, разработавшая так называемый план Янга, собралась весной 1929 года. Подготовка к этой конференции был посвящен весь 1928 год.

В начале 1927 года состоялась сессия общества Фридриха Листа — на ней я коротко остановлюсь, поскольку на эту сессию упала тень грядущих событий, которые постепенно были вынесены на обсуждение конференции Янга.

В связи с этой сессией и моим председательством в Имперском банке я занял полуофициальное положение в правительстве. Поэтому я не делал публичных заявлений, но обратился к узкому кругу членов общества Фридриха Листа, приглашенных на заседание, среди которых были представители газет *Frankfurter Zeitung* и *Berliner Tageblatt*. Обе эти газеты способствовали образованию Германской демократической партии в 1918 году. Когда я позднее вышел из партии, они ополчились против меня. Тем не менее я полагал, что их представители понимали разницу между публичным выражением мнения и приватным разговором. Как выяснилось, я ошибался в этом.

Суть моих аргументов в 1927 году состояла в категорическом отрицании доводов, которые как-то оправдывали выплату репараций с экономической, политической или моральной точек зрения. Я заявлял, что считаю своим долгом решительно добиваться отмены репараций. Доказывал, что не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как постоянно падает жизненный уровень немецких рабочих в результате ежегодного перевода за границу миллиардов марок.

Из-за злоупотребления конфиденциальностью мои слова стали известны в Париже, и впоследствии это сыграло свою роль.

В 1928 году происходила подготовка к Парижской конференции с целью реструктуризации долгов Германии по репарациям. Требовалась большая и тщательная работа. Она легла в основном на экономический и статистический отдел Имперского банка.

Конференция Янга открылась в Париже в феврале 1929 года в отеле «Георг V», новом фешенебельном здании, больше известном молодому поколению как место, где постоянно останавливалась Рита Хейворт.

Атмосфера конференции была явно более дружественной, чем пятью годами раньше на конференции Дауэса. Теперь все мы сидели за одним столом — немцы вместе с американцами, англичанами, французами, бельгийцами и японцами.

Председатель Имперского банка (я) возглавлял немецкую делегацию, которая включала, среди прочих, генерального директора фирмы *Vereinigte Stahlwerke AG* Феглера и его заместителя, тайного советника Касла, от Национальной ассоциации немецких промышленников и моего заместителя

Мельхиора от гамбургской банковской фирмы «Варбург и К°». В мое непосредственное окружение входили директор Блесинг и моя секретарша фрейлейн Штеффек от Имперского банка.

Америку представляли Оуэн Янг и Джек Морган, старший сын еще более великого Пирпонта Моргана. С французской стороны присутствовал господин Моро, президент Центрального банка.

Среди наших переводчиков выделялся Пауль Шмидт, который недавно добился известности своей увлекательной книгой «Статист на дипломатической сцене».

Конференция сосредоточилась на двух главных вопросах. Во-первых, уровень сумм, которого Германия должна достичь в будущем, чтобы выполнять ежегодные платежи по репарациям. Во-вторых, пропорция, в которой сумма должна переводиться в иностранной валюте без ущерба германской экономике.

Второй вопрос имел решающее значение.

Как глава немецкой делегации я подготовил план действий. Перед обсуждением вопроса о переводе репарационных платежей я стремился, прежде всего, посредством предоставления исчерпывающих данных убедить конференцию уменьшить репарации на возможно большую сумму. Затянувшаяся дискуссия вокруг этих данных привела вскоре к некоторой усталости. Джек Морган первым взял несколько дней отдыха, которые провел на своей яхте, совершившей круиз по Средиземноморью. Но и другие участники конференции хотели расслабиться.

Поскольку приближалась Пасха, я решил, что мы, немцы, должны тоже взять передышку на несколько дней. Внес предложение, чтобы каждый из экспертов западных союзников выдвинул минимальное требование, на которое имел полномочия от имени своей страны. Предложение было принято и дало возможность мне с женой посетить замки Туреня в живописной долине Луары.

Когда я снова встретился по возвращении из поездки со своими коллегами за столом конференции, то обнаружил, что мое предложение дало поразительный результат. Представители западных союзников фактически ни разу не контактировали друг с другом по вопросу сумм, которые им следовало запрашивать. Каждый из них явно опасался упреков союзни-

ков, что его корысть переходит все границы. Вышло так, что, когда председательствующий американец попросил огласить соответствующие цифры и это сделали, отдельные требования значительно превосходили общую сумму, предусмотренную планом Дауэса, в то время как целью конференции было уменьшить немецкий долг по репарациям. Такой итог, поразивший каждого из участников конференции, вызвал чувство смутения, которое в конце концов произвело взрыв веселья и несколько улучшило наше настроение.

Это, однако, не изменило упрямую позицию наших оппонентов в ходе конференции. Французы не стеснялись прибегать к закулисным методам давления наряду с реальными аргументами. Однажды я получил известие из Берлина, что все французские банки в Берлине, которым немцы значительно задолжали, неожиданно потребовали возврата долгов, либо приобретенных в рассрочку, либо взятых на определенный срок. То, что это случилось без предварительного уведомления в один и тот же день и что в это были вовлечены все французские банки, указывало на преднамеренную акцию, явно продиктованную сверху.

Подобная акция привела к резкому сокращению резервов Имперского банка в золоте и иностранной валюте, так же как и других банков, обязанных обращаться в Имперский банк за иностранной валютой для покрытия платежей по долгам Франции. Мне предстояло немедленно ответить контрударом.

Я повидался с Паркером Гилбертом, который находился в Париже большую часть времени проведения конференции, и сообщил ему, что случилось, хотя он, конечно, был сам прекрасно осведомлен о происшедшем событии. В ходе нашего с Гилбертом разговора выяснилось совершенно очевидно, что как французы, так и господин Гилберт (если он действительно одобрял французскую акцию) сильно просчитались. Они рассчитывали заставить меня пойти им навстречу в вопросе задолженности, а между тем сыграли мне на руку и предоставили новые аргументы в выступлении против чрезмерного бремени перевода валюты.

Я спросил Гилберта:

— Считаете ли вы французскую акцию достойной или политически целесообразной?

Он не понял, что я имею в виду. Пожал плечами и сказал:

— Вам не следует удивляться. Французы считают, что вы пытаетесь уклониться от оплаты. Они стремятся показать вам воочию, к чему это ведет.

— Могу сообщить вам, господин Гилберт, в нескольких словах, к чему это ведет, и полагаю, французы очень скоро отменят эти меры. Если это взыскание долгов — не очень значительных — будет явно угрожать немецкой валюте, что отмечается на фондовой бирже в последние несколько дней, если немецкая валюта будет дестабилизирована оплатой займов в иностранной валюте, то совершенно очевидно, что выплаты репараций, о которых французы еще мечтают, просто станут невозможными.

Гилберт стал бледнее, чем обычно, и занервничал. Я же продолжал спокойно:

— Если французские банки не отзовут своих требований, я поблагодарю на следующем заседании французскую делегацию за предоставление мне столь убедительного доказательства невозможности перевода платежей по репарациям, которых они добиваются.

В результате этого разговора Гилберт сказал, что разыщет моего коллегу господина Моро, президента французского Центрального банка, и передаст ему суть моих возражений. Буквально на следующее утро он позвонил мне:

— Господин Шахт, в связи с нашим вчерашним разговором хочу сообщить, что французские банки отзывают свои извещения. Поэтому надеюсь, что вы не станете ссылаться на этот инцидент в ходе конференции. Уверен, вы разделяете мое мнение, что упоминание этого вопроса вызовет очень неприятный обмен взаимными обвинениями и неблагоприятно скажется на атмосфере конференции.

Мне пришлось, разумеется, согласиться с этим. Я был рад, что все окончилось благополучно, и вопрос о французской акции не поднимался на конференции.

Поездка по Туреню стала последним приятным эпизодом в ходе проведения конференции Янга. Забавный инцидент с требованиями отдельных стран западных союзников воплотился в замечательной карикатуре, опубликованной французской юмористической газетой *Le Rire*. Эта история получила широкую известность. За ней последовали весьма серьезные дебаты на конференции, работа которой приближалась к концу. На горизонте уже виднелись грозовые тучи.

Глава 31

Я ПОДПИСЫВАЮ ПЛАН ЯНГА

После провала попыток дополнить план Янга, основанный на минимальных требованиях к Германии бывших врагов, председатель конференции справедливо выступил с обращением в нашу сторону.

— Теперь, — сказал он, — немецкие эксперты должны сообщить о том, что они смогут предпринять.

На вопрос о том, когда мы сможем представить немецкий меморандум, я ответил:

— На завтрашнем заседании.

Мы работали над составлением меморандума всю ночь напролет. В нашем сознании его содержание сложилось достаточно ясно, но теперь его надо было сформулировать и изложить в ясной манере.

На следующее утро мы без задержки передали свой меморандум в копиях на немецком и английском языках. Его составили четыре немецких эксперта, работавших в полном согласии с чиновниками, которые помогали нашей делегации. Не буду перечислять подробно суммы, которые мы приводили: они все еще оставались значительными. Но пока мы не могли надеяться на отмену репараций. Нам казалось более важным обсудить факторы, которые в наибольшей степени влияли на способность Германии осуществлять платежи.

Меморандум произвел впечатление политического взрыва. Причиной возбуждения было следующее предложение: «Утрата восточных провинций, переданных Польше, сократила посевные площади Германии до такой степени, что серьезно подорвала германскую платежеспособность». Враждебная печать немедленно подняла вой: «Господин Шахт требует возвращения утраченных восточных провинций!»

Не меньше шума вызвал другой аргумент данного меморандума. Мы указали, что могли бы увеличить репарационные платежи лишь при условии обладания своими колониями, утрата которых лишила нас возможности обеспечить себя зарубежным сырьем на собственные деньги.

«Доктор Шахт хочет вернуть немецкие колонии!», — завопила враждебная пресса, которая неверно представила и истолковала оба приведенных примера. Сегодня не найдется человека, который отрицал бы обоснованность наших аргу-

ментов. Фактически мы не выдвигали никаких требований — мы лишь предлагали объяснения и стимулировали работу мысли.

В день, когда мы передали свой меморандум, начались события, которые привели через восемь месяцев к моей отставке с поста председателя Имперского банка.

Если бы вражда исходила только от недоброжелательной прессы в странах западных союзников, мы бы отмахнулись с полным безразличием. Но, как это часто случалось в истории Германии, именно наша собственная страна всадила нож в спину своего представителя.

Эксперты, работавшие над планом Янга, были подобраны на четко определенном условии выражения своих мнений независимо от правительств соответствующих стран. Несомненно, это сделали для того, чтобы избежать впечатления, будто существовало намерение навязать Германии новые продиктованные извне решения. В последние десять лет додумались хотя бы до этого. Различные правительства поощрили, таким образом, прислать на конференцию своих лучших экспертов. Ведь в отсутствие общих рекомендаций только от лучших экспертов можно было ожидать заключений, которые соотносятся с государственным видением проблем.

К концу мая я вновь вернулся в Германию, чтобы составить впечатление об общей атмосфере. Этот неофициальный визит был необходим также потому, что в Париже мы были лишены возможности свободно говорить по телефону. Едва кто-нибудь из нас поднимал телефонную трубку и спрашивал немецкий номер, как подключалась французская служба прослушивания. Это выглядело как предвосхищение будущих методов гестапо. Меня отчасти раздражало, отчасти забавляло такое ограничение личной свободы. Услышав подключение подслушивающего устройства, я говорил по-французски:

— Все в порядке, слухачи, можете отключаться. Я вполне определенно не буду говорить то, что вас, возможно, интересует.

Разумеется, произошло то, чего мы и ожидали: западные союзники сочли наши цифры слишком заниженными. Поэтому Оуэн Янг, председатель конференции, выработал компромиссное предложение, усреднив цифры западных союзников и наши. То, что компромисс предложил сам пред-

седатель, придало первому соответствующий вес и обязывающую силу.

Во время своей поездки в Берлин в конце мая я убедился, что в германском кабинете отсутствует единство мнений в отношении к предложенному компромиссу. Министр Вирт старался убедить меня взять на себя всю ответственность за цифры плана Янга. Он придерживался той точки зрения, что я должен освободить правительство от подозрений в малейшей причастности к этому делу.

— Кто-то должен сунуть голову в петлю, — сухо заметил министр.

На это я ответил в том же тоне:

— Это будет не моя голова, господин Вирт.

Все это достаточно удручало и раздражало, однако существовали и другие факторы, унижающие достоинство немецких участников конференции по плану Янга. Германское правительство не погнушалось официально отмежеваться от меня как идейного вдохновителя Парижского меморандума.

Я излагаю здесь только голые факты, без ссылок на подспудные тенденции. Фактом является то, что, пока мы в Париже боролись за каждую немецкую марку, прусский министр внутренних дел Северинг публично заявил, что Германия может позволить себе ежегодную выплату репараций в 2 миллиарда марок.

Другой факт состоит в том, что, едва я представил свой меморандум на конференции по плану Янга, как британский посол в Париже Тиррель обратился за разъяснениями к немецкому послу Кюльману (который находился в Париже с частным визитом). Он протестовал против так называемых политических требований, которые я, по его словам, выдвинул. Кюльман просто переправил жалобу Тирреля в Берлин без комментариев и без уведомления меня. Вследствие этого дезинформированный Штреземан заявлял различным представителям западных стран, что у господина Шахта нет полномочий выступать с такими требованиями.

Никто не потрудился получить точную информацию о том, что мы говорили или писали. Страна бросила нас в беде. Это отсутствие согласованности показалось непостижимым больше за рубежом, чем у нас, в Германии. Но за рубежом теперь поняли, что я веду безнадежную борьбу не только про-

тив западных участников конференции, стремившихся отхватить как можно больший кусок от немецкого пирога, но также против собственного правительства.

Между тем конференция длилась уже почти четыре месяца и приближалось время, когда нам следовало прийти к какому-то решению. Я вернулся в Париж и вместе с Феглером посетил председателя конференции. Мы сообщили ему, что готовы согласиться с планом на основе предложений Янга, но на определенных условиях. Сразу после этого разговора мы получили правительственную телеграмму с требованием принять план, что фактически явилось завершением конференции. Соглашение по плану Янга было подписано в Париже 7 июня 1929 года.

В любой другой стране может показаться невероятным, чтобы усилиям делегации, которая уполномочена властями принимать важные решения, затрагивающие внешнюю политику, мешала партийная борьба в парламенте и прессе. Мы не избежали такого несчастья. Левые были откровенно готовы принять любые суммы платежей на основе плана Дауэса. Правые всегда были против любых платежей по репарациям. Газета *Vorwärts* в номере от 11 мая 1929 года опубликовала очень едкую карикатуру. Шахт спереди, слева. На заднем плане две фигуры, одна с лавровым венком, другая с автоматом. Под карикатурой надпись: «Для националистов ситуация в Париже — луч света. Если переговоры сорвутся — Шахт получит лавровый венок, если он договорится с нашими врагами — автомат наготове».

Решение согласиться с планом Дауэса для меня, разумеется, не было легким. Я считал платежи по репарациям абсолютно бессмысленными с экономической точки зрения, даже те платежи, которые предусматривал план Дауэса. Я четко выражал убеждение в этом, когда конференция собралась в полном составе для подписания соглашения. Если же я все-таки подписал документ, то в силу убеждения, что эта экономическая нецелесообразность выявится очень скоро и вынудит начать новые переговоры. План Янга был фактически ратифицирован соответствующими правительствами в марте 1930 года, мораторий Гувера на репарации был объявлен в начале июня 1931 года.

Само собой разумеется, что я не пренебрегал политическими последствиями в случае отказа Германии одобрить план Янга. От нашей готовности подписать документ зависели вывод оккупационных сил западных союзников из Рейнской области и улучшение всей международной обстановки.

Несмотря на некоторые приятные воспоминания, общее впечатление от периода проведения конференции в Париже несколько мрачноватое. Особенно мне памятен спор с моим коллегой, господином Моро из Центрального банка Франции. В критический момент переговоров он вдруг напомнил мне слова, которые я произнес в конфиденциальном порядке в узком кругу участников собрания в Пирмонте в 1927 году, и связал это с моей позицией на конференции. Оппоненты явно передали мои высказывания Франции.

— Господин Шахт, я сожалею, что вы не желаете прийти к пониманию того, что здесь происходит! — воскликнул Моро. — Разве два года назад в Пирмонте вы не высказывали намерение прекратить платить репарации?

Я не позволил себе уронить достоинство и ответил в том же тоне:

— То, что я думаю, господин Моро, об оправдании или отрицании репараций, здесь обсуждать неуместно, но как можно утверждать, что я не желаю платить, когда мы только что внесли предложение о выплате более одного миллиарда шести миллионов марок в год?

Он ничего не ответил. Но мысль о том, что меня снова порицали соотечественники, долго не давала успокоиться.

Окончательное формулирование соглашения по плану Янга длилось до 6 июня. Церемония подписания документа состоялась на следующий день в отеле «Георг V».

Думаю, все сознавали «историческое значение» момента, включая, вероятно, богиню судьбы. Едва мы поставили свои подписи под документом и, как принято, поздравили друг друга с бедой, к которой снова вернулись, как загорелись занавеси на одном из окон. Огонь перекинулся на другие занавеси. Однако прибежали служащие отеля, сорвали пылающие портьеры и плотно скатали их, чтобы погасить огонь. Но впечатление от этого не забылось. Оно не предвещало стабильности и последовательности нашей работе.

Еще одним дурным предзнаменованием стала отставка моего коллеги Феглера. Понятно, что план Янга был накануне принятия, спорная сумма выплат обсуждалась, естественно, во всей Германии и вызывала сильную оппозицию в кругах юристов и промышленников. Видимо, Феглер не хотел подвергаться критике коллег по профессии. Он оставил свой пост под предлогом несогласия с незначительным, второстепенным пунктом соглашения, хотя до этого работал со мной над каждой мелочью.

В день подписания документа мне вспомнились слова, высказанные в первый день работы конференции моим многоопытным британским коллегой сэром Джошуа Стэмпом. «Это не экономическая конференция, — сказал он, — но политическая». Для каждого из нас было очевидно — за исключением нескольких фанатиков, — что с точки зрения экономики план Янга был совершенно абсурден. Решение, подписывать его или нет, не зависело от экономической пригодности плана. Вопрос заключался в том, оправдан ли отказ подписывать план, поскольку это влекло за собой опасные политические последствия, или, подписав план, следовало продолжать сопротивление выплатам репараций до тех пор, пока не подвернется случай, когда с ними будет покончено раз и навсегда. Я принял решение в пользу второго метода действий. План содержал несколько статей и параграфов, которые при умелом применении могли быть использованы в наших целях. Дело было за тем, чтобы немецкие политики взяли мнение экспертов за исходный рубеж своей политики. Но они пренебрегали этим. Они оставались такими же слабыми и нерешительными, какими были во время дискуссии на конференции.

В Германии политические дебаты вокруг плана Янга продолжались. Они стали одним из звеньев в серии битв против бремени, под которым постоянно стонала германская экономика и которое становилось все тяжелее, особенно когда осенью 1929 года в Америке появились первые признаки приближавшегося мирового кризиса. В германской экономике кризис развивался особенно интенсивно и привел к дефляции, которая, в свою очередь, обусловила крах существовавших политических партий. Если бы Германия отказалась подписать план Янга, это не имело бы никакого значения для критического развития событий. Скорее это оказало бы негативное влияние на обстановку.

Я вновь столкнулся с проблемой, порожденной переговорами по плану Янга, во всей ее нелепости. Когда сразу после конференции я направился в Мариенбад увидеться с женой, она приветствовала меня на вокзале словами: «Тебе не следовало подписывать план!»

Глава 32

ДАЛЕКОИДУЩАЯ ИДЕЯ

План Янга отличался от плана Дауэса некоторыми характерными деталями. Ответственность за перевод платежей теперь возлагалась на немцев, но для чрезвычайной ситуации имелась защитная статья, предусматривавшая пересмотр такого порядка. Ежегодная сумма платежей по репарациям была уменьшена в среднем на полмиллиарда марок. Ликвидировались закладные в пользу западных союзников, которые контролировались иностранцами как гарантия выплаты репараций. Упразднились все иностранные контролирующие органы. Имперский банк и государственные железные дороги передавались полностью под управление немцев.

Когда в 1924 году появился план Дауэса, он произвел глубокое впечатление, потому что впервые вместо одностороннего произвольного диктата проблема репараций обсуждалась в обстановке, обычно ассоциируемой с выработкой контракта. В то время это воспринималось как фундаментальная перемена в международной политике. План Янга включал некоторое число улучшений, но никаких сенсационных изменений не произвел, и председатель конференции не прекращал искать некую выгодную с пропагандистской точки зрения идею, которую можно было бы предпослать плану Янга. Мне посчастливилось придумать такую идею, и я предложил ее Оуэну Янгу.

Я начал с характеристики репарационной политики от начала до нынешнего времени. Особую трудность для меня представляло разъяснение того, почему нельзя было выплачивать долги по репарациям с прибыли от экспорта. В течение последних пяти лет мы не раз получали такую прибыль. И все же производили выплаты репараций из займов, предоставленных нам в эти годы другими странами, в порядке, который не мог продолжаться бесконечно. Проценты с каждым

годом увеличивали нашу задолженность, и сами кредиты не всегда предоставлялись. Требовалось поэтому предпринять решительные меры для увеличения экспортной прибыли.

В дополнение к этой общей характеристике ситуации я подчеркнул, что американская политика щедрого предоставления кредитов Германии целиком ошибочна. Германия являлась промышленной державой, которая даже после войны была хорошо оснащена для промышленного производства, поэтому ей не надо было влезать в столь значительные долги. Экономическая история последних десятилетий предъявила убедительное доказательство того, что кредиты должны предоставляться в первую очередь для помощи слаборазвитым странам в целях полного использования их сырья и постепенной индустриализации. До войны европейские фондовые рынки предоставляли связанные кредиты на экономическое развитие слаборазвитых стран Балкан и Южной Америки, а также других заморских территорий. Англия, Франция, Германия и другие страны не нуждались в иностранных кредитах: наоборот, они были кредиторами и поставщиками капиталов в слаборазвитые страны.

Германия находилась теперь в бедственном положении и была не в состоянии предоставлять кредиты другим. Если союзные державы действительно хотят помочь ей удовлетворить свои долговые обязательства, им следует предоставлять кредиты слаборазвитым странам и таким образом помочь последним занять положение, когда они смогут покупать промышленное оборудование в Германии. Поощрение конкуренции Германии, как происходило до сих пор, с другими европейскими промышленными державами при существующем положении на мировых рынках не принесет пользы. Конкуренция Германии в этих сферах была одним из основных факторов, действовавших против международного мира и в направлении решения проблем посредством войны. Следует избегать повторения подобной конкурентной борьбы или добиваться хотя бы уменьшения ее ожесточенности посредством поисков новых рынков, предоставляющих всем промышленным державам возможности увеличения занятости и экспорта их товаров. Повышение благосостояния всех стран является фундаментальным экономическим принципом, позволяющим сохранить мир и избежать войн в будущем.

Оуэн Янг сразу заинтересовался, знаю ли я способ превращения своих идей в жизнь.

— Я бы не говорил вам, господин Янг, всего этого, если бы не смог предложить способа достижения своей цели на практике. Я бы предложил, чтобы в рамках плана Янга вы взяли на себя ответственность в интересах всех заинтересованных сторон основать совместно банк. Посредством этого банка, с одной стороны, распределялись бы репарационные платежи, а с другой — ему было бы доверено осуществлять финансовые операции с целью обеспечения слаборазвитых стран средствами разработки своих минеральных ресурсов и увеличения сельскохозяйственной продукции. Такая финансовая помощь позволит этим странам закупать промышленное оборудование — особенно в Германии, — необходимое для роста производства. Такого рода банк потребует финансового взаимодействия между побежденными и победителями, которое обеспечит общность интересов и которое, в свою очередь, укрепит взаимное доверие и понимание, а также будет способствовать сохранению и упрочению мира.

У меня еще сохранились живые воспоминания об обстановке, в которой происходил данный разговор. Оуэн Янг сидел в своем кресле, попыхивая трубкой, вытянув ноги и устремив на меня взор своих немигающих пронизательных глаз. Я по привычке излагал свои аргументы, не спеша прохаживаясь по комнате. Когда я закончил говорить, последовала короткая пауза. Затем все его лицо просветлело, и прозвучали уверенные слова:

— Доктор Шахт, вы предложили прекрасную идею, я собираюсь ознакомить с ней весь мир.

Все это происходило в конце весны 1929 года. Почти через двадцать лет — находясь еще под полицейским надзором и будучи вынужденным принимать гостей в скромной провинциальной гостинице на территории Люнебургской пустоши, куда меня «заключили» англичане, — я прочел план обеспечения мира, выдвинутый администрацией президента США Трумэна. В основе программы из четырех пунктов лежала идея, которая уже давно была у всех на устах. Суть идеи заключалась в том, что для обеспечения всеобщего благосостояния необходимо помочь слаборазвитым странам кредитами и поставками товаров. Это была замечательная идея, нашедшая повсюду доброжелательный прием. Кажется, никто

не осознавал, что она копировала мое предложение двадцатилетней давности, хотя и в 1929 году оно не ограничивалось простым предложением, но было официально включено в план Янга, который предусматривал создание Банка международных расчетов (БМР).

Если бы такая задача, нашедшая законодательное оформление, была осуществлена, то это, вероятно, оказало бы на международную экономическую ситуацию значительное влияние и способствовало бы мирному развитию событий. К сожалению, функционеры БМР не уделяли внимания данному пункту этой программы. В результате сильного влияния союзных стран, особенно Франции, они ограничились администрированием и распределением репарационных платежей, а также весьма полезным взаимодействием центральных банков различных стран. Но поскольку выплата репараций вскоре прекратилась, их деятельность в этом отношении ничего не дала. Мировой экономический кризис, последовавший за резким падением курса акций на Уолл-стрит в октябре 1929 года, также сорвал принятие любых действенных мер, которые я предлагал. Грозные события в мировой политике также помешали этому. Если бы БМР сразу же после своего основания проявил инициативу в вопросах финансовой помощи слаборазвитым странам, то, возможно, после Второй мировой войны он занял бы место так называемого Мирового банка (Международного банка реконструкции и развития), который сейчас действует в США. Политика Мирового банка нередко вызывает политическое недоверие, в то время как БМР при всем своем сходстве был бы свободен от этого. Даже сегодня не следует терять надежду на будущее сотрудничество между БМР и Мировым банком.

Мой Банк международных расчетов оставался замечательным средством пропаганды плана Янга. Нашей следующей задачей стала разработка устава БМР. До этого времени все международные конференции по вопросам германской экономики и финансов проводились вне Германии. В данном случае я был заинтересован, чтобы Германию включили в число стран, проводящих такие конференции. Мое предложение о проведении подобной конференции в Баден-Бадене коллеги с готовностью поддержали. Впервые местом встречи участников форума была выбрана Германия.

В октябре 1929 года мы заседали в Баден-Бадене в течение четырех недель. Несмотря на некоторые мелочные дискуссии, работа конференции проходила довольно ровно и, что важнее всего, в очень дружеской атмосфере. Знаменитый курорт с минеральными водами, который повидал так много коронованных особ Европы в своих прославленных отелях, утопал в лесах, горящих осенним цветом листвы, за которыми тянулись бесконечные холмы, покрытые хвойной растительностью, и горы Черного леса. После многочасовых дебатов в конференц-зале отеля «Стефания» мы уходили в хорошую погоду в лес, где освобождались от дневного напряжения.

Председательствовал на конференции в Баден-Бадене один из ведущих нью-йоркских банкиров Джексон Рейнольдс. Вторым представителем США был глава Первого национального банка Чикаго Мелвин Тэйлор. Французов и немцев вновь представляли главы их центральных банков, а главным британским представителем был сэр Чарльз Эддис, который много лет возглавлял Банковскую корпорацию в Гонконге и Шанхае, а теперь, помимо прочего, являлся членом правления Имперского банка.

Между тем моя идея создания Банка международных расчетов встретила настолько восторженный прием со стороны участников конференции по плану Янга, что вскоре среди них не осталось никого, кто не выступил бы с претензией на авторство этой идеи. В результате сразу несколько заинтересованных стран подали заявки на размещение штаб-квартиры этого учреждения у себя. Бельгия особенно надеялась на удовлетворение ее заявки. Со своей стороны я полагал, что политическая атмосфера в западных державах еще недостаточно благоприятна для Германии, чтобы поддержать бельгийские претензии. Поэтому я предложил разместить штаб-квартиру банка в Швейцарии.

Среди участников конференции не было существенных разногласий относительно принципов деятельности БМР. Некоторый негативный эффект был привнесен извне. Как раз в разгар дебатов произошел крах акций на Уолл-стрит.

Когда Джексон Рейнольдс подошел к столу с завтраком, я был вынужден заметить:

— Господин Рейнольдс, вы выглядите не очень бодрым. В чем дело?

— Вы не слышали о депешах из Нью-Йорка?

— Слышал, конечно. Но это не должно вас сильно за-
деть!

— К сожалению, это задело меня весьма серьезно, по-
скольку у меня большие обязательства на Уолл-стрит.

Через несколько минут пришел с сияющим лицом госпо-
дин Тэйлор, помахивая телеграммой из Нью-Йорка:

— Вы видели телеграммы из Нью-Йорка, господин
Шахт?

— Конечно. Как это отразилось на вас?

— Никак не отразилось. Когда я отправился из Нью-Йорка
в Европу с поездкой на несколько недель, то, как дальновид-
ный человек, продал все свои ценные бумаги.

Лицо Джексона вытягивалось все больше и больше, улыбка
Тэйлора становилась все шире и шире.

Рейнольдс и Тэйлор были большими друзьями как колле-
ги, но Тэйлор отличался бóльшим оптимизмом, чем Рей-
нольдс, хотя последний тоже не был лишен истинно амери-
канского юмора.

Нью-Йорк склонен считать себя очень серьезным, а Рей-
нольдс был типичным представителем Нью-Йорка. С другой
стороны, Тэйлор был типичным уроженцем Среднего Запада,
неизменно добродушным и доброжелательным по отношению
к окружающему миру. В то время, когда в Соединенных Шта-
тах господствовал сухой закон, родной город Тэйлора Чикаго
изобиловал торговцами спиртным.

Сам Тэйлор предпочитал бутылку хорошего немецкого
вина или кружку мюнхенского пива яблочному соку. Случи-
лось так, что день его рождения выпал на день проведения
одного из заседаний конференции. Поэтому я купил боль-
шую бутылку лучшего кирша «Черный лес», привязал к гор-
лышку букет роз и презентовал ему подарок с карточкой, на
которой написал следующие стихи, подражая песне «Янки-
дудл»:

Мальчик-янки высок и строен
И не слишком пьян, сэр.
Но сухой закон, в конце концов,
Не то, к чему он склонен, сэр.
Янки-дудл бережет твой разум,
Янки-дудл, денди.
Не думай, что справедлив запрет
На вишневку «Черный лес».

Подарок привел Тэйлора в восторг.

— Клянусь, доктор Шахт, я провезу эту бутылку через таможню без всякого труда, — заявил он. — Мои друзья в Чикаго тоже ее отведают.

Он сдержал свое слово. Через год я приехал в Чикаго с лекционной программой. Тэйлор взял меня с собой на одну вечеринку, где рассказал о случае в Баден-Бадене в присущей ему манере.

Как только конференция завершилась, Джексон Рейнольдс как председатель занял любопытную позицию. Он объявил, что должен разослать отчеты о конференции главам центральных банков участвовавших стран, прежде чем сообщить о ней прессе. Это означало бы, что отчеты следовало отправить почтой в Нью-Йорк, Токио и так далее и что журналисты только после этого смогли бы узнать о результатах. Такая позиция вызвала бурю протестов среди журналистов, но Рейнольдс отказался уступить.

Как-то раз меня посетил Луи Локнер, которого я хорошо знал как представителя агентства Associated Press в Берлине.

— Доктор Шахт, мы дни и недели напролет ожидали здесь итогов конференции. Не может быть и речи, чтобы нас отослали домой без информирования о них. Конференция всех интересует, а нам грозит перспектива уехать с пустыми руками. Так нельзя. Пожалуйста, помогите нам раздобыть отчет.

Перед ответом я несколько минут подумал над вопросом.

— Я не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо возражения совершенно правильной позиции председателя. Однако все равно сделаю все возможное, чтобы помочь вам.

После этого я пошел к Рейнольдсу:

— Господин Рейнольдс, я хорошо понимаю, что, как председатель, вы должны прежде всего отправить отчет главам различных центральных банков. Естественно, вы не будете возражать против передачи его прессе. Как председатель Имперского банка, прошу вас, если вам будет угодно, передать мне отчет официально. Не скрою, однако, что собираюсь сразу же передать его прессе.

Рейнольдс улыбнулся и сказал:

— Конечно, я не могу отказать вам в просьбе, доктор Шахт. Вы вправе получить отчет. Если вы со своей стороны возьмете на себя ответственность передать его прессе, то это

ваше дело, которое меня не касается. Я официально передам вам отчет.

Мы расстались с дружескими улыбками, а господин Локнер получил свой экземпляр отчета.

Через некоторое время на банкете для журналистов господин Локнер упомянул этот случай в своей речи, чтобы отдать должное моему пониманию профессии журналиста. Сам же я вспомнил о нем только тогда, когда жена рассказала мне один эпизод. В 1945 году она месяцами была в неведении о моем местопребывании, а я находился у американцев под арестом. Супруга обратилась среди прочих к господину Локнеру в Берлине, чтобы узнать у него, где я нахожусь. Господин Локнер послал своего секретаря в приемную, где она ожидала, с извещением, что как жену «военного преступника» он не может ее принять.

Глава 33

Я УХОЖУ В ОТСТАВКУ ИЗ ИМПЕРСКОГО БАНКА

С 1926 года, когда я вышел из демократической партии, левая печать заняла в отношении меня враждебную позицию. И не потому, что в противовес определенной секции партии я твердо отстаивал неприкосновенность частной собственности. В либеральных кругах меня считали персоной нон грата из-за таких событий, как «черная пятница», которые показали, что я не склонен способствовать процветанию необузданной спекуляции валютой. Кроме того, заявленная мной позиция с немецкой и общественной точки зрения в вопросе о репарациях привела в нервное состояние политиков-конъюнктурщиков. Наконец, мои настойчивые предостережения относительно трат на роскошь бюджетных денег, особенно муниципальными властями, не прибавляли мне друзей.

Враждебность таких политиков достигла кульминации, когда мне пришлось выступить против трактовки правительством Германии плана Янга.

Как и план Дауэса, принятый шесть лет назад, план Янга содержал статью о том, что план следует принимать или отвергать целиком. Так что, если бы после подписания экспертами плана какие-нибудь страны начали вносить в него из-

менения по своему усмотрению, для Германии не было бы ничего проще, как отказаться иметь дело с подобными процедурами.

Вместо этого правительство Германии начало переговоры с правительствами Польши и некоторых других государств по вопросам внесения важных изменений в план Янга. Только благодаря правительственным чиновникам, сохранявшим со мной дружбу, я постепенно узнал о ведении этих переговоров по возвращении из Баден-Бадена в начале ноября 1929 года. Лишь несколько недель назад я поддержал правительство, когда вместе с такими деятелями, как Северинг, подписал заявление против популистских требований. Теперь же мне пришлось столкнуться с тем, что германское правительство не только отвергло план Янга, под которым стояла и моя подпись, но даже не сообщило мне о своих намерениях. По этой причине я составил меморандум по поводу неминуемой деградации плана Янга, который передал 6 декабря правительству и в тот же день опубликовал в прессе. Это было как гром среди ясного неба.

В меморандуме я указал, что немецкие эксперты согласились на цифры плана Янга лишь с величайшими оговорками. Теперь, однако, немцев просят отказаться от претензий на имущество и выплату дополнительных сумм, которые были полностью оправданны и намного превышали все, что включено в план Янга. Этот план предусматривал замену всех других германских обязательств суммами, определенными в плане. Добровольное внесение платежей или отказ от претензий, на которые Германия ранее имела право, противоречили бы условиям плана Янга. Данный вердикт особенно касался соглашения с Польшей по вопросу о погашении стоимости собственности, по которому Германия отказалась от своих требований компенсации за имущество немецкого государства и граждан, уступленное Польше. От Германии также ожидался отказ от нескольких сотен миллионов марок, которые согласно плану Янга принадлежали ей по праву как выручка от погашения стоимости реквизированной немецкой собственности. Я закончил меморандум заявлением, что на такой искаженный и позорный план Янга я никогда не соглашусь.

Меморандум вызвал большое волнение. Напряженность в отношениях между правительством и мной возросла, а дальнейшие события только усилили ее.

Перед подписанием плана Янга мы объяснили германскому правительству, что подпишем его только при условии, что упомянутое правительство согласится провести радикальные финансовые реформы. Канцлер Герман Мюллер и министр финансов Гильфердинг выразили свое согласие. К сожалению, казна была настолько истощена экстравагантной финансовой политикой, что в декабре возникла угроза невозможности выплатить зарплаты госслужащим. Опять же без уведомления меня Гильфердинг договорился с американским финансовым синдикатом о предоставлении краткосрочного займа. Однако в ходе переговоров американская фирма сочла необходимым справиться в Имперском банке о том, согласен ли он на предоставление такого займа. На этот запрос Имперский банк дал отрицательный ответ. Я сообщил Гильфердингу о позиции Имперского банка по этому вопросу и сказал ему, что не намерен отвергать заем, но хочу рекомендовать предоставление Германии банковского кредита в несколько миллионов марок в том случае, если рейхстаг примет соответствующий закон, гарантирующий выплату займа тремя равными ежегодными платежами. Поставлено было также условие, чтобы правительство выполнило свое обещание провести финансовые реформы.

Левое большинство в рейхстаге было возмущено, но в конечном итоге не могло отказать в одобрении закона, которого я добивался. То, что эта мера получила название «закон Шахта», показывало, что общественное мнение определенно качнулось в мою сторону.

Гильфердинг ушел в отставку, и вместе с ним это сделал госсекретарь Попиц, который мотивировал свой поступок следующим заявлением: «Считаю вмешательство в государственную политику со стороны председателя Имперского банка неприемлемым». Я не обиделся на Попица, позиция которого была вполне понятной с правительственной точки зрения. Позднее мы возобновили дружеские отношения.

Место Гильфердинга занял представитель Германской народной партии Мольденгауэр, добродушный, веселый уроженец Рейнской области, предпочитавший видеть светлые стороны жизни. За несколько дней до назначения Мольденгауэра мы случайно встретились с ним на вечеринке в канун Нового года в доме одного из наших друзей. Кто-то спросил Мольденгауэра, чем занимается министр финансов, на что тот ответил:

«Я провожу весь день в управлении делами, пока у меня не начинает кружиться голова».

Должен признать, что Мольденгауэр знал свое дело и относился ревностно к исполнению своих обязанностей.

Выходные дни в конце года прошли тихо и спокойно. Стоялась помолвка нашей дочери Инги с дипломатом, вторым секретарем посольства господином фон Шерпенбергом. Мы назначили дату официальной церемонии помолвки на 12 января 1930 года. Но в первые дни января политическая жизнь находилась в полном разгаре, и она захватила меня полностью. В начале месяца представители заинтересованных правительств собрались на конференцию в Гааге, чтобы ратифицировать подписанный план Янга. Несмотря на мой меморандум от 6 декабря и мои разногласия с министерством финансов и рейхстагом, несмотря на то что я не получал никакой информации относительно намерений правительства, меня пригласили приехать в Гаагу, как только начались переговоры.

В Гааге мне пришлось убедиться, что все мои усилия придать плану Янга первоначальную форму оказались бесплодными. Лично мне не хотелось поступаться своими убеждениями. Я откровенно заявил, что если предложенные вредоносные изменения плана Янга будут приняты, то мне придется рассмотреть в качестве председателя Имперского банка целесообразность занятия поста в Международном банке в Базеле, который предусматривался планом Янга. Конечно, для правительства это была трудная проблема. Мольденгауэр попытался переубедить меня.

— Господин Шахт, — говорил он, — вы должны понять трудности, которые создает для правительства ваша позиция. Осмелюсь предложить, может, вы сочтете более удобным для себя уйти с поста председателя Имперского банка?

Следует напомнить, что согласно существовавшему закону председатель Имперского банка не мог быть отстранен от должности до истечения срока службы. Стоит упомянуть также, что это условие не было навязано извне, но восходит к немецкому закону от 1922 года, обеспечившему независимость Имперского банка от правительства. Лично я всегда полагал, что условие, предусматривающее невозможность отстранения председателя Имперского банка от должности, политически неприемлемо, тем более что до 1924 года срок

председательства был пожизненным. Мой немедленный ответ Мольденгауэру отражал это мнение.

— Я уйду со своего поста, господин Мольденгауэр, если к этому призовет меня президент республики, но не по желанию, разумеется, временного правительства.

Мольденгауэр позвонил по телефону и предложил госсекретарю Майснеру, чтобы тот побудил президента выразить желание моей отставки. Ответ Берлина, должно быть, несколько обескуражил его. Майснер сказал, что он никогда не осмелится даже заикнуться о таком предложении перед президентом, поскольку глава государства не захочет этого делать ни при каких обстоятельствах.

Адвокаты правительства были связаны по рукам и ногам. Представителей союзных держав заверили, что будет принят немецкий закон, который заставит председателя Имперского банка присоединиться к Банку международных расчетов. Журналисты спрашивали меня, соглашусь ли я с таким законом, на что я, улыбаясь, ответил:

— Я слишком законопослушный гражданин, чтобы отказываться подчиняться немецкому закону. Однако оставляю за собой право делать собственные выводы из такого предложения.

Положение выглядело безнадежным. 3 марта 1930 года я передал личное послание президенту фон Гинденбургу, в котором определил свои взгляды. 6 марта у меня была продолжительная беседа с президентом, в ходе которой я снова изложил суть моих возражений против отклонений от плана Янга. Поэтому я попросил его понять причину, которая заставляет меня вынести ему на суд решение о моей отставке.

Характер нашего разговора лучше всего передает письмо, которое в тот же день прислал мне президент фон Гинденбург.

«Дорогой председатель Имперского банка!

С сожалением узнал из вашего послания от 3-го числа сего месяца и нашего сегодняшнего разговора о вашем решении уйти в отставку с ответственного поста председателя Имперского банка. Как я уже говорил, я весьма огорчен этим решением. Поскольку мои попытки в ходе нашего сегодняшнего разговора убедить вас остаться в должности оказались напрасными, я должен отнестись к вашему решению как к окончательному.

На мою просьбу к вам хотя бы отсрочить отставку вы ответили, что определите дату своего ухода по соглашению с правлением и генеральным советом Имперского банка и что для вас не имеет значения, состоится ли отставка через четырнадцать дней или через три месяца. И я отметил также, что вы обещали проинформировать меня о своем возможном решении.

Далее, в ходе сегодняшней беседы вы согласились учесть мою просьбу не предавать гласности причины вашего решения, которые изложили мне в своем письме. Но вы также оставили за собой право выбора, в какой форме это сделать, поскольку сочли своим долгом объяснить общественности реальную причину своего решения. Поэтому я снова взываю к вашим чувствам патриотизма и ответственности, а также горячо желаю, чтобы вы представили публике какую-нибудь другую причину своей отставки, нежели ту, что изложили в конце своего письма. Особенно прошу вас изъять доводы, относящиеся к «свободе действий», предоставленной, по вашему мнению, планом Янга странам-кредиторам, среди которых вы особенно выделяете Польшу. Мне представляется это неверным истолкованием, которое до сих пор выдвигалось только радикальной оппозицией, но не поддерживалось правительством Франции. Поэтому было бы в высшей степени прискорбным и предосудительным, если бы вы представили простое заявление в Гааге (тем более по вопросу, который оправдан международным правом) как первый возможный шаг в навязывании новых санкций. Мне хотелось бы также попросить вас опустить замечание в конце вашего письма по поводу опасности, которая угрожает нашей валюте, а также намеки относительно возможности новой инфляции, поскольку такие замечания, исходящие от столь выдающегося лица, нанесут ущерб нашей экономике, вызвав отток капитала и трудности с получением займов.

Впоследствии у меня будет случай отметить ваш ценный и выдающийся труд для Германии, ваше служение нашей стране, когда ваше решение — о котором я так сожалею — станет свершившимся фактом.

Примите, пожалуйста, мои заверения в глубочайшем уважении и поверьте мне.

Искренне ваш,

фон Гинденбург».

Само собой разумеется, что вторая часть моего письма, объяснявшая мотивы моей отставки, была изменена при публикации. Я не собирался создавать ненужные трудности для правительства. К сожалению, я пострадал от этого, поскольку мою отставку иногда неверно воспринимали даже люди, исполненные самых благих намерений. Сегодня больше нет причин что-либо скрывать. Когда вступил в силу меморандум Гувера, план Янга прекратил существование — почти через пятнадцать месяцев после своего появления.

Пресса и рейхстаг обвиняли меня в том, что я якобы неоправданно чинил трудности для правительства. На это Мольденгауэр отвечал в рейхстаге с честью и достоинством: «Все наши дела с Шахтом осуществлялись на основе полного взаимопонимания, я же лично никогда не имел с ним серьезных разногласий... Действия доктора Шахта согласуются с его ощущением, что он больше не несет ответственности за план Янга. Никто не может отрицать тот факт, что план временно вызывал в правительстве некоторое смятение... Я сожалею о его отставке, но сознаю, что он выбрал путь, открытый для человека его положения».

Легко понять, что я тогда много размышлял о последних годах. 19 октября 1924 года, через год после моего назначения, федеральный канцлер (Маркс) писал:

«Перед вводом в обращение рентной марки 15 ноября прошлого года федеральное правительство нуждалось в помощи выдающегося эксперта по банковским вопросам, чтобы провести обусловленные им меры. В ответ на эту потребность вы сразу предоставили себя в распоряжение общества за несколько дней до того же 15 ноября. Большое значение вашего сотрудничества в деле введения в обращение рентной марки, а также стабилизации ценности новой валюты признается правительством с высокой оценкой и благодарностью.

С величайшим уважением и признательностью,
искренне ваш,

Маркс».

22 октября 1924 года отец прислал мне поздравительное письмо, написанное в его непретенциозном стиле, которое я храню как память:

«Дорогой Яльмар!

Мы с мамой шлем тебе самые сердечные поздравления в связи со вчерашним обращением федерального канцлера. Все, о чем я когда-либо мечтал и к чему стремился в юности, но так и не достиг, я вижу реализованным в тебе. Мы с мамой рады, что дожили до этого дня. Мы гордимся тобой и надеемся, что ты будешь пользоваться плодами своих трудов долгое время.

С любовью,

твои родители».

Глава 34

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

Оставление поста председателя Имперского банка далось мне нелегко. В течение более шести лет своего нахождения во главе банка мои отношения с коллегами-директорами и банковским персоналом приняли столь доверительный характер, что в банке восстановился и возрос «корпоративный дух», которым он славился с давних пор.

Кроме того, за время моей работы деятельность Имперского банка приносила немалую пользу немецкой экономике, а его репутация в финансовом мире достигла прежнего высокого уровня. Мы также поддерживали связи с ведущими центральными банками по всему миру.

Мои деловые поездки совершались не только в европейские столицы, но также в Нью-Йорк, где я нашел в лице Генри Стронга, тогдашнего главы Федерального резервного банка, особенно благожелательного друга и советника.

Стронг был первоклассным знатоком финансовых и банковских условий в Соединенных Штатах, горячо заинтересованным в координации деятельности американского денежного рынка с зарубежными рынками. Этой цели служили в дальнейшем наши встречи председателей центральных банков как в Европе, так и в США. Наши собрания в небоскребе Федерального резервного банка посещали главы центральных банков Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Берлина. Дискуссия неизменно проходила в атмосфере полной гармонии.

Даже в период сухого закона Стронг не пренебрегал алкоголем. В знак благодарности за его гостеприимство я прислал

ему однажды ящик самого тонкого во всей Германии (и самого крепкого) вина из Пфальца. Во время очередной встречи со мной и коллегами в Нью-Йорке он сказал:

— У меня осталась бутылка вашего прекрасного вина. Вы должны разделить ее со мной за ланчем.

Во время трапезы он поднял бокал и приветствовал нас словами:

— Господа, этот чудный свет мозельского прислал мне Шахт.

Я немного опешил, но затем рассмеялся и сказал:

— Стронг, если ты называешь это светом мозельского, то я пришлю тебе в следующий раз настоящий спирт.

Другой забавный эпизод был вызван тем, что Имперский банк поместил в Федеральный резервный банк в Нью-Йорке немалые депозиты в золоте. Стронг собрался не без гордости показать нам хранилища, расположенные в глубоком подвале под зданием, и заметил:

— Господин Шахт, вы увидите, где хранится золото Имперского банка.

Пока персонал банка разыскивал тайник с золотом Имперского банка, мы со Стронгом прогуливались по подземелью. Несколько минут подождали, наконец ему сообщили:

— Господин Стронг, мы не можем найти золото Имперского банка.

Стронг смутился, но я его успокоил:

— Не важно. Я верю, когда вы говорите, что золото там. Даже если его нет там, вы нашли хорошее место, куда его переместить.

К сожалению, я оставил одну существенную проблему нерешенной, когда подошло время отставки. Это проблема иностранных займов Германии.

Перед лицом сложившегося положения я говорил: «Без сомнения, в Германии не найдется человека, который допустил бы, чтобы автономия и федерализм стали препятствием финансовой и монетарной политики, несущей благо всей стране».

Я ошибался, к несчастью: таких людей было много. В результате финансовая политика страны влекла ее к катастрофе. Даже письмо президента Гинденбурга от 2 апреля 1930 года — даты моей официальной отставки — не могло рассеять тревогу.

«Когда в роковые дни 1923 года вас призвали на ответственный пост уполномоченного по национальной валюте, вы сыграли решающую роль в преодолении обстоятельств, которые представляли в то время величайшую опасность для Германии. Среди тех, кто имеет заслуги в воссоздании консолидированной валюты, ваше имя навсегда займет место в первом ряду.

В течение более шести лет пребывания председателем Имперского банка вы считали первейшим долгом сохранять и укреплять то, что было внедрено в практику при вашем дальновидном содействии».

Прекрасные, уважительные слова. Но — увы! — только слова, которые были бессильны предотвратить опасность, угрожавшую всей Германии и ее народу.

После ухода из Имперского банка мы с женой наконец уехали в Гюлен, поместье, которое я приобрел в 1926 году. Гюлен входит в состав небольшого города Линдова, который так живо описан Теодором Фонтане в его книге «Странствия по марке Бранденбург». Город расположен примерно в восьмидесяти трех километрах к северу от Берлина.

В студенческие дни в Берлине я часто видел Теодора Фонтане в театре, где тот считался выдающимся критиком. Мое личное восхищение им и его романами побудило меня позднее приобрести на аукционе то, что, насколько мне известно, является единственным портретом великого прусского поэта, написанным масляными красками. Это работа Ханса Фехнера, и она висит в моем кабинете до сих пор как напоминание об ушедших прекрасных днях.

Старая бранденбургская песня «Пари в вышине, о красный орел, пари высоко над болотами, песками и темными хвойными лесами» вполне соответствует характерным чертам Гюлена. Здесь большей частью типичная бранденбургская песчаная почва и сосновые леса, а кое-где встречаются болотистые луга, пастбища и сельскохозяйственные угодья. Гюлен отнюдь не был выгодным вложением в недвижимость. Однажды, когда мою дочь спросили, где находится поместье отца, она ответила: «Это зависит от направления ветра». Район был не слишком прибыльным, так как на большей его территории во время Первой мировой войны были вырублены леса, бревна использовались для крепежных стоек. Почти

треть территории, предназначенной для новых лесопосадок, оставалась выжженной с конца войны. Я взялся за интенсивное насаждение леса в этой местности и организовал посадку по меньшей мере трех миллионов деревьев.

Несмотря на плохое состояние пахотной земли и наличие лугов и пастбищ, я занимался и сельским хозяйством, что влекло за собой значительные расходы. С типичным честолюбием горожанина, который хочет «казаться фермером», я преуспел в получении приза за производство молока, между тем моя деятельность по разведению свиней вскоре обеспечила поросятами всех соседей.

Мне доставляли удовольствие не только сельскохозяйственные работы и лесопосадки, но также производство кирпичей, которое я наладил на небольшом острове ближайшего озера. Еще большее удовольствие я получал от прогулок час за часом в лесах с болотистыми полянами и красивыми видами озер, окружающих поместье с трех сторон.

Такое уникальное положение являлось, вероятно, причиной обилия дичи. Я не большой любитель охоты, предпочитаю заповедные места и всегда беру свою подзорную трубу, когда оставляю дома ружье.

Осенью сюда всегда приходили благородные олени, везде слышался рев самцов. Более или менее здесь водились косули, лисицы, барсуки, зайцы, нельзя не упомянуть и диких кабанов. Пернатые были представлены всеми видами ястребов, среди которых выделялся красный коршун. Среди водоплавающих птиц встречались цапля, крохаль, утка и гагара. Предметом нашей особой гордости была пара журавлей, которая каждый год возвращалась к своему гнезду посреди глубокого пруда.

Весной над Гюленом пролетали дикие гуси и лебеди по пути на север и как-то раз даже сели у нас на короткий отдых. А однажды нас посетили редкие гости — пара диких лебедей, которые свили у нас гнездо, и пара настоящих морских орлов, редко встречавшихся в марке Бранденбург. Между тем на наши озера часто прилетал рыбный орел.

Сам дом, окруженный древними дубами, вязами и соснами, располагался прямо на берегу озера. Здесь мы и обитали. В Гюлене нас посещали многие гости — охотники, родственники и друзья со всех концов страны и из-за рубежа. Не прерывал я связей и с сотрудниками Имперского банка. Я всег-

да поощрял спорт, и гребной клуб, совершавший поход на лодках, как-то раз пробыл у нас до вечера. Не было недостатка и в друзьях-политиках, а также возможностях для многих полезных дискуссий.

В течение трех лет, проведенных в Гюлене, я не участвовал в ежедневных политических мероприятиях, хотя, естественно, живо интересовался всеми крупными и важными событиями. Старался жить спокойной жизнью и держаться как можно дальше от общественной деятельности, хотя посещения гостей, возможно, не производили впечатления идиллического спокойствия и созерцательности провинциального существования. Моя дочь впоследствии рассказывала о совсем других впечатлениях. По ее словам, я ходил взад и вперед по дому и саду, как заключенный в клетку лев, и непрерывно курил сигары.

Но ее свидетельства не вполне соответствуют действительности. Гюлен всегда действовал на меня благотворно. Я всегда находил время выразить в стихах тот или иной забавный случай, происходивший во время моих прогулок. Вот пример.

ПОСЛЕДНИЙ ФАЗАН

Братец Лис господствует в лесу и подлеске,
Ни одной куропатки не остается на широком поле,
Что же касается фазанов — увы, и их мы лишены;
Остался всего лишь старый самец.
Хозяин сказал, что пора решиться
И показать Лису, что он надоел.
На свежей борозде вспаханного поля
Тщательно укрыта железная ловушка.
На следующий день хозяин смотрит, кто в ловушке —
О, сюрприз, неужели это последний фазан!

ЦАПЛИ

На одной из длинных жердей, невдалеке,
Где рыбаки сушат свои сети,
Сидят — когда я спускаюсь к озеру —
Пять серебристых цапель в ряд,
Припадая и вытягиваясь,
Увертываясь и наклоняясь,
Поворачиваясь и прислоняясь,

Важничая и красуясь.

Осторожно пробираясь среди пырея,

С ушами торчком и подергивая носом,

Приближается мой пес — останавливается — и — какая досада —

Все птицы вдруг уносятся ввысь.

В действительности у меня не было желания хоронить себя в Гулене. Я постоянно обдумывал вопрос о том, что могу сделать как частное лицо, чтобы помочь решению германской проблемы. Мир должен понять, что бремя репараций, навязанных Германии, губит не только немецкую экономику, но и всю мировую торговлю. Когда представлялись возможности в виде нескольких приглашений из-за рубежа, я посвящал свои поездки разъяснительной лекционной работе в Бухаресте, Берне, Копенгагене, Стокгольме и прежде всего в Америке.

Моя первая поездка состоялась по приглашению румынского правительства для выступления в Каролинуме на тему об экономическом положении в Германии. Мне не давали поручений представители каких-нибудь немецких кругов, я читал лекции по собственному побуждению, опираясь исключительно на свою репутацию эксперта по валютным и экономическим проблемам.

После лекции я воспользовался возможностью совершить поездку по стране со своим другом Радукяну, тогдашним министром труда в правительстве Маниу. Мы путешествовали отчасти на борту небольшого парохода, отчасти в автомобиле.

В течение нескольких дней пребывания в Румынии я встретился с выдающимися гражданами этой страны, в первую очередь с блестящим епископом Тойчем — тогда уже в летах — некоронованным, но повсюду признанным главой немцев Трансильвании. Он был также главой лютеранской церкви, к которой принадлежало все немецкое население страны. Я накопил много горьких впечатлений о внутреннем распаде и утрате твердости характера, проявленных населением моей страны со времени разрухи, которая последовала за Первой мировой войной. Здесь же проживала часть немецкого народа, исполненная гордости, помнившая свои традиции, демократичная и бесстрашная, консолидированная своим христианским вероисповеданием.

Епископ Тойч особенно пришелся мне по сердцу. Это был морально безупречный человек с твердым характером, поль-

зовавшийся авторитетом, весьма далекий от светской власти. Я ставлю его на один уровень с другими церковными иерархами различных христианских вероисповеданий, которых мне посчастливилось повидать в жизни. Это его святейшество папа Пий XII, который в бытность кардиналом Пацелли, папским нунцием, посещал наш дом. Это викарный епископ Мюнхена Нойхойзлер, который попал при Гитлере в концлагерь Дахау; он был настоящим священником и духовным отцом. Это покойный епископ Вурм из Вюртемберга, который помогал мне в лагере для интернированных в Людвигсбурге и во время суда по денацификации надо мной; он был неустанным поборником морали, справедливости и свободы.

Глава 35

КОНЕЦ РЕПАРАЦИЙ

Успех моих лекций в нейтральных странах не утешал меня. Мне пришлось проводить свою кампанию просвещения прямо в штаб-квартирах наших наиболее влиятельных политических оппонентов. Со времени конференций, проводившихся под председательством Дауэса и Янга, становилось все яснее, что Соединенные Штаты Америки представляют собой решающий экономический и политический фактор в судьбе Европы. Следовало попытаться добиться поддержки населения в моей борьбе.

Мой сын Йенс выразил желание поработать год в Америке. Поэтому мы с женой воспользовались случаем совершить поездку туда осенью 1930 года. Мой друг Мелвин Тэйлор изъявил готовность принять на работу Йенса в Первый национальный банк Чикаго сроком на год. Я ответил согласием на просьбу лекционного агентства Нью-Йорка прочитать несколько лекций по экономическим проблемам и подготовил в целом около десятка различных тем для обсуждения.

14 сентября 1930 года проводились выборы в рейхстаг. Я проголосовал утром, а в полдень мы сели на поезд, отправлявшийся в Лондон. По прибытии туда на следующее утро мы были поражены результатами выборов. Национал-социалистическая партия (НСДАП), имевшая до этих выборов двенадцать депутатов в рейхстаге, получила не менее ста семи мест.

Такой результат можно было объяснить только одним: неуклонным ухудшением экономического и социального положения немецкого народа. До сих пор я обращал мало внимания на национал-социалистическое движение. Не только потому, что мало интересовался политикой как таковой, но и из-за того, что моя достаточно уединенная жизнь в Гюлене и лекционные поездки почти не давали возможности заметить растущее влияние Гитлера.

Теперь, однако, итоги этих выборов предоставляли мне удобный случай указать на последствия, ожидающие Германию, если будет сохраняться нищета, сопутствовавшая выплате репараций. Мои друзья в Сити засыпали меня вопросами и начинали давать выход на бирже своему недоверию к экономическому и политическому состоянию Германии. Естественно, у меня не было желания ставить под угрозу кредиты для Германии. Я преднамеренно рекомендовал покупать немецкие облигации, котировавшиеся на Лондонской бирже. Моя деятельность сопровождалась за рубежом большим шумом и давала положительный эффект.

Мы провели в Лондоне несколько дней перед посадкой на пароход. Трансатлантический рейс проходил спокойно, пока незадолго до прибытия в Америку я не услышал по радио сообщения из Берлина о переговорах между правительством Германии и банковским синдикатом Нью-Йорка, возглавляемым фирмой «Ли, Хиггинсон и К^о». Оно ужаснуло меня. Правительство Германии снова стремилось скрыть истинное экономическое положение, накапливая долги за рубежом. На радиограмму, которую я послал правительству, был получен ответ, что поверенный в делах Германии в США Отто Кип даст мне полную информацию по этому вопросу по прибытии. Будучи теперь в статусе частного лица, я тем не менее проинформировал перед отбытием свое правительство о цели своей поездки и оправдывал свое обращение за разъяснениями желанием избежать неблагоприятной реакции в Америке в результате неоправданных заявлений.

Выборы 14 сентября не только дали сто семь мест в рейхстаге правым радикалам. Коммунистическая партия также увеличила свое представительство в нем с пятидесяти четырех до семидесяти семи депутатов. Правый и левый радикализм усилил свое влияние сверх всяких ожиданий. Умеренные пар-

тии, включая социал-демократов, потеряли в общей сложности сто восемнадцать мест.

Все тревоги, которые беспокоили меня во время пребывания на посту председателя Имперского банка, вернулись с новой силой. Неужели правительство Германии намерено продолжать свою пассивную политику?

По прибытии Кип ознакомил меня с подробностями переговоров о кредите, которые уже почти завершились. Мой друг Джордж Мернейн, партнер банковской фирмы «Ли, Хиггинсон и К°», поинтересовался, что я думаю об этой сделке, которая предусматривает трехлетний кредит, выплачиваемый третями в трехлетний период со следующего года. Я оказался в затруднительном положении, когда он спросил, считаю ли я, что выплата этого займа надежно обеспечена и что сделка разумна. Поэтому мой ответ был примерно таким:

— Разумеется, вы получите свои деньги назад, Мернейн. Будет ли это точно в срок — сомнительно. Что касается характеристики кредита как разумной меры, то я не вправе отвечать на этот вопрос, поскольку он носит политический характер.

Когда я заглянул в лекционное агентство, то с изрядной долей изумления обнаружил, что вместо оговоренных восьми—десяти лекций там скопилась буквально гора запросов. На меня особенно произвел впечатление тот факт, что среди различных тем, которые я предложил, почти на девяносто процентов запрашивалась тема репараций.

В течение последующих пятидесяти дней я читал лекции в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне на востоке США, в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско — на западе. Я выступал перед аудиториями студентов и профессоров, перед экономическими ассоциациями деловых людей, промышленниками и банкирами, в многочисленных клубах и на публичных собраниях. В течение этих пятидесяти дней я спал на сорока двух различных кроватях, двадцать две из которых представляли собой спальные места в пультмановских вагонах. Иногда я выступал трижды в день. Повсюду меня сопровождала супруга.

Все мои лекции читались на английском языке, и почти за всеми из них следовала откровенная дискуссия, в ходе которой из аудитории поступали вопросы по существу, обо-

дряющие и полезные в равной степени. Я неизменно предпочитал этот вал вопросов и ответов самому чтению лекции, поскольку чувствовал себя лучше в дебатах, чем в монологе. Более того, дебаты предоставляли мне большую возможность ознакомиться с психологией своих слушателей. На публичных обедах и частых частных встречах я устанавливал связи со многими американцами. Даже сегодня я сталкиваюсь со многими из тех, с кем встречался в то время.

Организация подобных мероприятий всегда была впечатляющей. Большинство лекций читалось сразу после какого-нибудь общественного обеда, на котором присутствовали порой до двух тысяч человек. Правда, в этих случаях трудно было избежать несколько однообразного меню: почти всегда подавалась либо баранина, либо курятина. На многих обедах за блюдом из кур следовало на десерт мороженое. Любая попытка изменить эту последовательность оказывалась бесплодной.

В ходе многих дебатов меня спрашивали о значении успеха национал-социалистов на последних выборах. Позднее, во время допроса на суде по денацификации, меня пытались обвинить в том, что я во время визита в Америку выступал в пользу национал-социализма. Это, конечно, вздор. Я указывал на успех национал-социалистов как на пример того, чем грозят дальнейшие усилия в целях взимания новых репарационных платежей с германского народа.

В результате моего лекционного турне местная пресса начала интересоваться вопросами репараций. К сожалению, меня разочаровывала позиция германского правительства. В своей первой лекции в Нью-Йорке сразу по прибытии я дал ясно понять, что если выплаты репараций продолжатся, то наступит время, когда перевод иностранной валюты из Германии окажется невозможным. Это первое выступление состоялось фактически перед аудиторией из шестисот приглашенных представителей бизнес-сообщества по инициативе Германо-американской торговой палаты. Я почувствовал себя на мгновение несколько неудобно, когда, поднявшись на подиум, оказался перед микрофоном и председатель собрания заявил: «Господа, пожалуйста, помолчите теперь, мы в эфире». Так как я впервые говорил по-английски после продолжительного перерыва, и говорил экспромтом, то был вынужден преодолевать известную нервозность, но мне уда-

лось справиться с ней без каких-либо нежелательных инцидентов.

Такой инцидент произошел позднее, когда мои замечания о возможном прекращении платежей были опубликованы в прессе в сенсационной манере подачи. В тот же день вместо замечания о том, что мои слова представляют собой точку зрения частного лица, германский министр финансов Дитрих объявил на встрече с журналистами в Берлине, что господин Шахт не был уполномочен делать заявления, которые ни в коей мере не отражают позицию германского правительства. Я никогда не утверждал обратного, и упреки Дитриха были до определенной степени не по адресу. Однако публичное дезавуирование меня производило впечатление, что существовала возможность продолжения выплат репараций. Беда заключалась в этом. В некотором раздражении я высказал Кипу свое недоумение в связи с этим высказыванием министра, предполагающим скрытое недоверие, и попросил передать это в Берлин. На следующий день Кип позвонил мне рано утром и сообщил ответ правительства, которое заверяло меня в полном доверии. Столь беззащитный двойственный подход разозлил меня, и я передал Кипу по телефону слова: «Пожалуйста, передайте в Берлин: «Ну и черт с вами».

К концу моего турне я получил предложение от американской фирмы опубликовать лучшие из моих лекций в виде книги. Ничто не могло доставить мне удовольствия больше, чем возможность усилить эффект от моих выступлений. Мы с издателем обсудили вопрос о названии. Мое предложение использовать название в духе Карлейля «Вниз по Ниагаре, а потом?» было отвергнуто. Наконец мы согласились на броском названии «Конец репараций». Ни один из нас не боялся предвосхитить событие, которое, как мы были уверены, осуществится.

Книга вышла в Нью-Йорке, затем в марте 1931 года в Берлине. Она пользовалась большим успехом. Вскоре после этого последовало издание книги в Лондоне. Меня немало позабавило, когда издатель заявил, что не может принять американский перевод книги и должен издать ее на английском языке! Вспомнилась шутка, как англичанин заметил своему американскому другу: «Наши страны не разделяет ничто, кроме языка».

К счастью, меня не обязывали ограничить свою кампанию публичными встречами. Я мог вести приватные разговоры со многими политиками. Одна из наиболее впечатляющих бесед состоялась с президентом Гувером. Наше знакомство с ним состоялось в период моей работы в Бельгии во время Первой мировой войны, когда Гувер оказывал помощь в обеспечении продовольствием бельгийского населения. Он был выдающимся деятелем нашего времени, но ему не повезло в том, что на его период президентства выпал мировой экономический кризис, который последовал за искусственно созданным послевоенным бумом. То, что его не переизбрали в 1932 году, следует объяснять только этим событием. Экономические кризисы чреваты политическими переменами.

Наша беседа тет-а-тет в Белом доме продолжалась почти час, в течение которого я смог ознакомить Гувера с опустошающим воздействием военных контрибуций. Он проявил полное понимание моей позиции. Однако между признанием факта и эффективными действиями необходим определенный интервал времени. Когда же в июне 1931 года, через шесть месяцев после моего турне, Гувер предложил союзным державам ввести мораторий на платежи по плану Янга, конец репараций был гарантирован.

По возвращении домой я выступал в Бремене и Мюнхене на ту же тему, не забыл я сделать личный доклад и канцлеру Брюнингу. Вечером накануне публикации моей книги и моего отъезда с лекциями в Стокгольм состоялись мои новые обстоятельные беседы о сложившейся ситуации с Брюнингом и его госсекретарем Пюндером. Я обещал прислать канцлеру первый экземпляр книги, когда она утром выйдет из печати.

Несмотря на мои прекрасные отношения с Брюнингом, несмотря на то что я питал и до сих пор питаю к нему высочайшее уважение за твердый характер, прямоту и откровенность, визит в Стокгольм вновь вовлек меня в конфликт с правительством. На вопрос шведского журналиста: «Что бы вы сделали, господин Шахт, если бы стали завтра канцлером?» — я ответил: «Покончил бы с репарациями в тот же день». Правительство отмежевалось от этого заявления так быстро, что это снова создало впечатление возможности переводов денег за рубеж. Через три с половиной месяца выплата репараций все равно прекратилась.

Глава 36

ВСТРЕЧА С ГИТЛЕРОМ

За время моего отсутствия политическое влияние резко увеличившихся радикальных партий — левого и правого крыла — стало ощущаться еще больше. Стало очевидным, что экономическое развитие не может продолжаться так, как прежде. На Брюнинга свалилось тяжелое бремя обеспечения каким-нибудь образом прожиточного уровня немецкого населения перед лицом постоянного давления из-за рубежа и последствий мирового экономического кризиса. Эта задача могла быть решена только в том случае, если бы центристы, включая националистов и социал-демократов, помогли Брюнингу. К сожалению, они этого не сделали. Представляя сильнейшую партию, социал-демократы отказывались сотрудничать с другими центристами, так что канцлер постоянно сталкивался в рейхстаге с опасностью вотума недоверия. В результате Брюнинг был вынужден все больше идти по пути так называемого президентского правительства, которое откликалось не на резолюции большинства в рейхстаге, но на конституционные прерогативы на основе указов президента. Массы уже стонали от нищеты, поддерживая, с одной стороны, национал-социалистов с их радикальными требованиями, а с другой — коммунистов. Казалось, что политические события в Германии вскоре дойдут до того, что не останется иного выхода, кроме как передать власть в рейхстаге либо правым, либо левым.

В декабре 1930 года один из моих давних друзей, фон Штаусс, который с 1915 года входил в правление Немецкого банка, попросил меня прийти на ужин, на который он пригласил также Германа Геринга. Естественно, мне хотелось воспользоваться возможностью увидеться с одним из выдающихся лидеров национал-социалистического движения. На этом ужине для трех персон обсуждались острые проблемы экономического положения, рост безработицы, робость германской внешней политики и тому подобные вопросы. Геринг оказался приветливым, вежливым компаньоном, хотя и не произвел на меня впечатления человека, компетентного в какой-либо сфере. Из этого разговора я не мог сделать заключение о том, что столкнулся с чем-либо, напоминающим непримиримый или нетерпимый политический радикализм.

Поэтому, когда вскоре после этого я получил приглашение на обед, который давали Геринг с супругой, меня не мучили угрызения совести относительно принятия приглашения, особенно учитывая тот факт, что на обеде будет присутствовать Адольф Гитлер.

Обед у Геринга состоялся 5 января 1931 года. Кроме нас с супругой, присутствовали Фриц Тиссен, сын от первого брака фрау Карин Геринг, и доктор Геббельс. В это время Геринги жили в уютном доме, который был обставлен удобной мебелью, подобранной с хорошим вкусом, без каких-либо признаков пошлости.

Фрау Геринг, высокая, стройная шведка с располагающим добрым характером, страдала серьезным сердечным недугом. После обеда, на который подали простой гороховый суп с беконом, она прилегла на диван, откуда слушала наш разговор, не принимая в нем участия.

Гитлер вошел после обеда. Он был одет в темные брюки и желто-коричневый френч — партийную форму одежды. Внешне он не выглядел ни претенциозным, ни аффектированным — ничто не выдавало в его поведении того, что он уже стал лидером немецкой партии, имеющей вторую по величине фракцию в рейхстаге. После многих слухов о Гитлере, которые дошли до нас, а также критики в его адрес, которую мы читали, его появление произвело на нас приятное впечатление.

Наш разговор быстро перешел на политические и экономические проблемы. На этой первой встрече я понял то, что всем нам пришлось пережить позднее. В разговоре с Гитлером его собеседники участвовали только на пять процентов, остальные девяносто пять процентов заполнял сам Гитлер. Он обладал поразительной манерой изложения своих мыслей. Все, что он говорил, выдавалось как неоспоримая истина. Однако его идеи не были лишены резона. Он явно заботился о том, чтобы избежать чего-либо, что могло показаться шокирующим для нас, представителей более традиционного общества.

Геббельс и Геринг были подчеркнута молчаливы и не пытались подкреплять аргументы Гитлера. Поскольку я пришел не для того, чтобы излагать Гитлеру свои политические и экономические взгляды, то довольствовался принятием к сведению его мнений и намерений. Что меня особенно поразило

в этом человеке, так это его абсолютная убежденность в правоте своих воззрений и решимость претворить их в практические действия.

Даже после первой встречи мне стало очевидно, что гитлеровская пропаганда будет оказывать огромное влияние на немецкое население, если не удастся преодолеть экономический кризис и отучить массы от радикализма.

После этого вечера я попытался в последующие недели убедить канцлера и других политиков, с которыми поддерживал связи, включить национал-социалистов в коалиционное правительство как можно скорее. Мне казалось, что только так можно было избежать полного перехода власти к праворадикальному движению. В коалиции, по крайней мере, национал-социализм мог бы удерживаться в разумных границах, получив возможность делить ответственность с правительством. Когда через год идея наконец была подхвачена, время уже было упущено.

Остаток 1931 года принес резкое ухудшение экономического и финансового положения, которому Брюнинг не мог противостоять без поддержки всех умеренных депутатов рейхстага. Была ли отставка Брюнинга вызвана этой невозможностью, либо отстраненностью социал-демократов, либо интригами Германской национальной партии — этот вопрос остается открытым. Вероятно, сыграли свою роль все три фактора.

Роковое решение фон Папена, преемника Брюнинга, распустить рейхстаг и объявить новые выборы стало последним фактором, приведшим к захвату Гитлером власти. 31 июля 1932 года 37,2 процента немецкого народа проголосовали за национал-социалистов и 14,3 процента — за коммунистов. Ситуация теперь прояснилась. Центристы в рейхстаге, от Германской национальной партии до социал-демократов, не проявили способности определять судьбу страны. В общественных дискуссии все чаще заползали такие слова, как военная диктатура и гражданская война.

В годы, последовавшие за крахом весной 1945 года, который покончил с национал-социалистическим режимом дома и за рубежом, снова и снова обсуждалось со всех возможных точек зрения, кто виноват в установлении гитлеровского режима. Партийно-политическая слепота снова вела к поношению отдельных лиц, обвинявшихся в подготовке почвы для

прихода Гитлера к власти. Однако надо понять раз и навсегда, что ни один из тех, кто подвергался таким обвинениям, до 31 июля 1931 года не примыкал к национал-социалистическому движению. Сам я до этой даты никогда не поддерживал Гитлера ни письменно, ни устно.

После краха считалось даже преступлением — или по меньшей мере аморальным поступком — лично встречаться с таким «преступником», как Гитлер. Такого рода совершенно непродуктивный политический взгляд фактически неоснован, потому что представители тех кругов, которые сегодня громче всех осуждают контакты с этим преступником, на самом деле сами искали и добивались контактов с ним в 1932 году. В качестве примера я процитирую человека, на моральную чистоплотность которого никто не сможет бросить тень.

Мой друг Пауль Рорбах, упомянутый в первых главах, придерживался мнения, что с таким аморальным человеком, как Гитлер, нельзя иметь никаких отношений, и выразил это мнение в письме к Брюнингу. Ответ Брюнинга от 31 августа 1932 года был следующим:

«В течение прошедших недель люди, не принадлежавшие к моей партии, призывали меня не отказываться от дискуссии с лидерами национал-социалистов. Пока вопрос о переговорах между национал-социалистами и правительством рассматривался, я не мог принимать участие в таких дискуссиях из опасения сорвать переговоры. Поскольку, однако, правительству не удалось прийти к соглашению с НСДАП (нацистской партией) — что предвидели компетентные политики во время отпуска рейхстага, — в ответ на возобновившиеся обращения патриотически настроенных граждан я заявил о готовности искать контактов с ней.

Такая дискуссия помогла бы определить, возможно ли сформировать каким-то образом конституционное правительство, и я счел своим неременным долгом способствовать ей. Полагаю, что на мне лежит обязанность сейчас, как ранее перед всеми теми, кто выбирал президента рейха, не жалеть усилий для укрепления президентской власти и предотвращения любого уклонения на неконституционный путь. Из этого вы поймете, что мои действия определяются не какой-либо обидой, но тревогой за судьбу страны.

Полностью согласен с вами в осуждении событий в городе Бытом, а также заявлений господина Гитлера в этом отношении. Если тем не менее вы будете возражать против моих бесед с лидерами Национал-социалистической партии, то можете узнать из газет, что даже правительство не отказывается иметь дело с господином Гитлером после упомянутых событий. Фактически мой интерес ограничивается этой дискуссией. Действительные переговоры находятся в руках людей, связанных с центристской партией, которая была прямо номинирована партийными комитетами вести такие переговоры».

Политическая необходимость соглашения с Национал-социалистической партией и ее лидером по вопросу о правительстве, которая признавалась всеми центристскими партиями после итогов выборов от 13 июля 1932 года, показала, что национал-социалисты были сильнейшей партией в рейхстаге. И, несмотря на сокращение голосов национал-социалистов на вторых выборах в рейхстаг в ноябре 1932 года, оставалось фактом, что добиться большинства в рейхстаге было невозможно без союза с крайне левыми или крайне правыми. Перспектива союза с коммунистами порождала еще больше опасений, чем с национал-социалистами.

До июля 1932 года ко мне периодически подходили один-два национал-социалиста и спрашивали совета, мотивируя это тем, что я встречался с Гитлером. Среди них был экономический советник Гитлера господин Кеплер, по профессии инженер-механик, а еще раньше — партнер владельца небольшой фабрики по производству клея в Гейдельберге.

В другом случае Геринг договорился, чтобы я встретился с Ревером, позднее гауляйтером, который в 1932 году стал первым национал-социалистическим премьер-министром земли Ольденбург. Реверу пришла в голову фантастическая идея относительно введения особого денежного обращения в Ольденбурге и осуществления всех платежей переводом с одного жиросчета на другой. Я с трудом оставался вежливым или серьезным перед лицом такого вздора. Когда я спросил, как господин Ревер предлагает осуществлять, например, платежи за женские чулки из Чемница, от которых не откажутся легко даже провинциалки Ольденбурга, он ответил: «Ладно, нам просто придется приобрести немного валюты Чем-

ница». (Ревер, отличавшийся сомнительными знаниями в области финансов, в данном случае воспринимал город в Саксонии так, словно это была иностранная территория со своей валютой.)

Я быстро оборвал разговор с Ревером и его коллегами-специалистами, послав Гитлеру телеграмму об итогах нашей беседы.

В целом Карл Ревер был неплохим человеком. Он имел небольшое дело в Камеруне и повидал мир, что впоследствии сделало его весьма скептическим по отношению к прегрешениям его партии. Однажды, гуляя в муниципальном парке Бремена с известным промышленником Францем Степельфилдом, он неожиданно спросил:

— Как вы думаете, сколько деревьев в этом парке, Франц?

— Забавный вопрос, — ответил Степельфилд, оглядевшись. — Навскидку я бы сказал, четыреста, Карл.

— Этого будет недостаточно, Франц, чтобы повесить всех нас.

Как раз Ревер избежал казни через повешение. Он умер естественной смертью.

После нескольких встреч с людьми, претендовавшими на то, чтобы представлять немецкую экономическую мысль, включая не одну беседу с Готфридом Федером, я спрашивал себя, что станет с немецкой экономикой, если подобные теории будут претворяться в жизнь.

Меня стали одолевать сомнения, оправдано ли мое стремление держаться полностью в стороне от государственных дел.

Глава 37

БАНКОВСКИЙ КРИЗИС

В марте 1931 года произошло событие, которое я мог расценить только как штормовое предупреждение. Крупнейший банк Австрии Кредитаншталь оказался не в состоянии оплачивать иностранные долги. Он прекратил платежи за рубеж и перешел под опеку своих иностранных кредиторов. Это был тяжелый удар по системе международных кредитов, и стало ясно, что Германия не избежит подобного влияния. Иностранные кредиторы начали требовать назад кредиты, которые прежде предоставили Германии.

События теперь развивались так, как я предполагал ранее. Частные фирмы не могли обеспечить себя иностранной валютой из собственных ресурсов и были вынуждены покупать ее у Имперского банка. Резервы Имперского банка в иностранной валюте и золоте таяли с пугающей быстротой. Поскольку количество резервов неизменно публиковалось Имперским банком в его еженедельных отчетах, каждый иностранный кредитор мог проследить динамику уменьшения запасов золота и иностранной валюты, что приводило к устойчивому росту отзовов кредитов.

3 июня 1931 года в условиях крайне накалившейся экономической и политической атмосферы я получил приглашение в гостиницу «Белый олень» близ Дрездена, в которой разместились все так называемые немецкие ассоциации (клубы, общества, союзы). Это была последняя конференция, насколько я помню, в ходе которой сторонники невмешательства в кредитно-денежную политику попытались защитить свои идеи.

Я воспользовался случаем обратиться к аудитории и указал, что сама сущность банковских кредитов в трудных условиях требует особого внимания со стороны кредиторов. Кредитор не должен осложнять положение должника принудительным отзывом кредитов, вызывая тем самым некредитоспособность, которой можно было бы избежать проявлением некоторого терпения.

У меня была надежда, что Имперский банк воспользуется этими рекомендациями, чтобы объявить мораторий и таким образом остановить беспредельную утечку иностранной валюты из резервов. Любопытно, однако, что Имперский банк не проявил достаточного понимания ситуации. Центральный банк может в любое время справляться с потоком требований со стороны клиентов с помощью увеличения выпуска банкнотов, таким образом способствуя преодолению банками трудностей и позволяя им осуществить все платежи. В случае же с наплывом требований иностранной валюты центральный банк полностью зависит от своих резервов в иностранной валюте. Имперский банк придерживался мнения, что все иностранные требования должны быть удовлетворены как можно скорее и тогда этот наплыв прекратится. Все случилось в точности наоборот. Чем больше зарубежные страны осознавали факт уменьшения резервов Имперского

банка в иностранной валюте, тем сильнее они стремились вернуть свои деньги до того, как эти резервы полностью иссякнут. Всяк за себя!

Полное истощение валютных резервов Имперского банка совпало с крахом одного из крупных банков. По сравнению с другими банками Данат-банк был теснее всех связан с иностранной валютой. В то время ему нанес сильный удар крах Hordwolle-Gesellschaft (Северное предприятие по производству шерсти) в Бремене, которому банк предоставил крупные кредиты. Данат-банк столкнулся с необходимостью отсрочки платежей.

11 июля я с семьей находился дома, когда раздался телефонный звонок. Канцлер Брюнинг просил меня телеграммой прибыть в Берлин.

Когда я приехал на следующее утро, то обнаружил в ведомстве канцлера два бурных заседания. В одной комнате собрались управляющие банков, обвинявшие друг друга в провоцировании тяжелой финансовой ситуации и непрофессиональном поведении. В другой комнате с еще большим гвалтом министры, главы отделов, чиновники правительства и Имперского банка обсуждали необходимость принятия соответствующих мер. Меня пригласили занять место справа от Брюнинга, и я впервые узнал некоторые подробности, проливающие свет на состояние дел, весь ужас которого я не мог себе представить во время своего изолированного существования в Гюлене. Все банки были вынуждены осуществлять колоссальные платежи, и теперь вместе и по отдельности столкнулись с невозможностью выполнить свои зарубежные обязательства. Резервы в иностранной валюте Имперского банка почти иссякли. Кроме Данат-банка понесли тяжелые потери и другие банки. Необходимость для Германии немедленно ввести мораторий на платежи в иностранной валюте теперь была очевидной. Кроме того, осталось прояснить вопрос об отсрочке платежей Данат-банком.

Я всегда придерживался мнения, что в вопросе предоставления кредитов ответственность за ценные бумаги и ликвидность несет не только заимодавец, но и кредитор. Он не должен допускать, чтобы к нему относились строки из Гете:

Ты позволяешь бедняку накапливать долги,
Так оставь должника в его бедности.

Когда в 1929 году Генеральная страховая компания Франкфурта (ГСКФ) оказалась в трудном положении, старый барон Шредер, глава известной англо-американской банковской фирмы, встретился со мной в Лондоне:

— Господин Шахт, в качестве председателя Имперского банка вам нужно проследить за тем, чтобы я не потерял свои деньги. Что бы ни случилось с ГСКФ, я должен вернуть свои кредиты.

Я сделал вид, что весьма удивлен, и холодно ответил:

— Я всегда полагал, барон, что страховые компании являются не заемщиками, но, наоборот, заимодавцами. Не понимаю, на каком основании вы предоставляли кредиты ГСКФ, в частности в иностранной валюте. Далее, хотелось бы вас спросить: сколько вы заработали на процентах и комиссии при выдаче этого кредита?

— Включая комиссию, мы давали кредит под девять-десять процентов.

— Какой процент вы имели бы, если бы кредитовали деньги в Англии?

— Около четырех процентов.

— Тогда, пожалуйста, барон, вычтите переплату в пять процентов из суммы кредита, и, надеюсь, вы удовлетворитесь относительно низкой выручкой за свой аванс.

В данном случае я выступил за то, чтобы мелким клиентам Данат-банка дали гарантии выплаты 10 тысяч марок по каждому индивидуальному счету. Однако крупным кредиторам пришлось бы подождать постепенной реализации имущества Данат-банка. Мелкий кредитор, не имеющий возможности отслеживать экономическое и финансовое положение и полагающийся на репутацию банка, должен быть защищен. Крупный кредитор, обязанный внимательно следить за развитием событий, должен учитывать возможность убытков от последствий своих действий.

Мое предложение встретило резкие возражения со стороны госсекретаря министра финансов господина Шеффера (не путать с тезкой, который позднее стал министром финансов). Шеффер заявил, что если иностранные вкладчики не будут удовлетворены, то престижу рейха будет нанесен непоправимый ущерб. Вскоре после этого благодаря поддержке его друзей-банкиров господина Шеффера назначили ликвидатором шведской спичечной фирмы «Крюгер и Толл», и в этой должности он до сих пор пребывает в Стокгольме.

Вопрос был решен в соответствии с идеями Шеффера. С другой стороны, было решено, что Данат-банк больше не должен функционировать, но его следует ликвидировать. Я покинул заседание.

И снова число «тринадцать» последовало за вечером, богатым событиями, снова оно стало решающим днем для меня. 13 июля в Гюлене зазвонил телефон. Канцлер Брюнинг во второй раз попросил меня приехать в столицу. По прибытии он предложил мне принять пост главы Имперской комиссии и в этом качестве водворить порядок среди хаотичного банковского кризиса. Я искренне поблагодарил его за доверие.

— Я уже работал в ранге главы Имперской комиссии раньше, господин канцлер, хотя в то время также уже имелось высокопоставленное лицо, а именно председатель Имперского банка, который располагал достаточной квалификацией, чтобы разрешить валютную проблему. В то время я также осознал, что вследствие разногласий между правительством и председателем Имперского банка правительство должно прибегнуть к назначению главы специальной комиссии. С другой стороны, сегодня у вас есть председатель Имперского банка, который пользуется доверием правительства и сотрудничает с правительством в полном согласии. Поэтому сегодня он тот самый человек, который необходим, чтобы спасти банки от кризиса. Задача, которую вы передо мной поставили, как раз и входит в компетенцию председателя Имперского банка.

Брюнинг намекнул, что в ходе банковского кризиса Имперский банк до сих пор не проявлял инициативы и не оказывал ему особой поддержки. Решение вопроса о Данат-банке теперь находилось в руках правительства.

— В данном случае, господин канцлер, я сожалею, что не могу что-либо предпринять. Долг правительства — просто объявить мораторий на платежи по иностранным кредитам. На мой взгляд, разрешение внутреннего финансового кризиса — дело Имперского банка.

Брюнинг выглядел неудовлетворенным и снова попросил меня принять его предложение. Я сказал, что мы не придем к какому-либо решению в обход председателя Имперского банка. Ни на йоту я не уступил даже тогда, когда президент Гинденбург прислал своего госсекретаря господина Майснера, который передал личное желание президента, чтобы я принял назначение. Я всегда питал глубокое уважение к ста-

рому господину в его статусе воина, но не к его политической компетентности и решениям.

Я вернулся в свое убежище в Гюлене и больше не принимал участия в банковской деятельности. Данат-банк был поглощен Дрезднер-банком, которому правительство было обязано дальнейшей существенной поддержкой. Крах Данат-банка и борьба с кризисом обошлись стране общими убытками в 400 миллионов марок.

Меня даже не проинформировали о степени участия Имперского банка в возвращении национальных финансов на здоровую основу. Незадолго до краха председатель Имперского банка господин Лютер вылетал в Лондон, Париж и Базель с целью получения в последний момент кредитной поддержки, которая не могла быть предоставлена (как можно было предвидеть) ввиду неизбежного моратория на зарубежные платежи. Только после введения моратория было объявлено, что центральные банки союзных стран предоставляют в распоряжение Лютера золотой депозит на сумму 400 миллионов марок. Это было сделано через посредничество Банка международного баланса международных платежей в Базеле под ставку 4 процента.

Мировая экономика пострадала и от другого удара — девальвации фунта стерлингов, которую британское правительство произвело 20 сентября 1931 года. Это стало началом эры валютных девальваций, которые затронули многие страны, включая Соединенные Штаты. Великобритания позднее провела еще одну девальвацию. Она нанесла смертельный удар по доверию к международным монетарным и кредитным сделкам.

На следующий день Феглер — мой коллега во время работы на конференции по плану Янга — неожиданно посетил меня и попросил совета, что теперь нужно делать Германии. Должна ли она сохранять золотой паритет, как до сей поры (хотя он существовал только в теории по отношению к другим странам), или ей нужно следовать примеру Великобритании и провести девальвацию? Я пытался уклониться от ответов на его вопросы и снова сослался на председателя Имперского банка как на лицо, достаточно квалифицированное в этих делах. Поскольку, однако, Феглер настаивал, я наконец сказал ему в телефонном разговоре: «Если бы я был председателем Имперского банка, господин Феглер, то сразу

же сел бы в самолет, летящий в Лондон. До краха такая акция была бы бесполезной и предосудительной. *Теперь* же имеется шанс, что мы можем получить значительные экономические выгоды от Британии, если согласимся на девальвацию. В данный момент британское правительство чувствует себя крайне неуверенно в результате девальвации фунта. Оно определенно будет готово предоставить нам экономические выгоды, если мы оправдаем или даже поддержим его меру по девальвации. Но без такого торга, то есть без получения некоторого эквивалента, Германии нет никакого смысла девальвировать марку».

Восьмью годами раньше я стремился наладить теснейшие связи между двумя крупнейшими европейскими державами посредством эмиссии фунтовых банкнотов Золотым дисконтным банком, и мои усилия тогда заслужили общее признание. Теперь второй импульс мог поднять эту идею на ступень выше.

Глава 38

«ХАРЦБУРГСКИЙ ФРОНТ»

Моя жена периодически страдала сердечными болями, поэтому мы провели конец лета 1931 года в Кудове, на курорте Силезии, специализировавшемся по кардиологическим болезням. Там я получил однажды телеграмму от председателя Германской национальной партии, приглашавшего меня присутствовать на сессии национально ориентированных партий и ассоциаций в Бад-Харцбурге, посвященной обсуждению позиции в отношении политики правительства. Он просил меня сделать доклад об экономическом положении страны, и я не видел причин отказаться от приглашения.

Я узнал из газет, что Гугенберг и Гитлер согласились провести общую демонстрацию и что одна или две другие группы пожелали принять в ней участие.

В Харцбурге я убедился, что присутствовавшие группировки едины в оппозиции существующему правительству, но в других отношениях весьма отличаются друг от друга. Было очевидно также недовольство Гитлера тем фактом, что инициатива проведения собрания исходила от лидера Германской национальной партии Гугенберга. Гитлер приложил бы все

усилия для того, чтобы его сторонники уклонились от участия в марше под немецким национальным флагом. Позже велось много разговоров о «Харцбургском фронте», но в действительности такого фронта не существовало вовсе. Если эта открытая встреча называется «Харцбургским фронтом», то этот фронт родился 11 октября и в тот же вечер прекратил свое существование.

Мои собственные замечания были кратки, но по существу. «Тот факт, — начал я, — что деловой человек без партийной принадлежности может выступать сегодня перед вами, является еще одним свидетельством того, что значение этой ассамблеи выходит далеко за рамки партийного мероприятия. Интересы германской экономики на самом деле неразрывно связаны с конечным успехом национального движения. Производство сократилось по крайней мере на треть. Число безработных огромно. Непрерывающиеся банкротства попросту отражают нашу безответственность во внутренней политике, так же как невозможность выплачивать в срок иностранные кредиты отражает нашу безответственность перед иностранными кредиторами. Наша валюта больше не служит развитию торговли, но просто прикрывает неплатежеспособность наших финансовых учреждений и властей. Таково состояние дел в Германии сегодня.

Однако даже большую опасность, чем эти ошеломляющие факты, представляют ложные основания, которые лежат до сих пор в основе господствующей системы управления, ее неискренность, двойные стандарты, отсутствие свободы действий. Наше финансовое положение, в частности, всегда было — и еще остается — хуже, чем преподносится публике.

Программа, которую будет осуществлять национальное правительство, основывается на нескольких фундаментальных идеях. Это та же программа, которую осуществлял Фридрих Великий после Семилетней войны, а именно: опора исключительно на собственные ресурсы, извлечение из собственной земли всего, что можно извлечь, и, в конце концов, экономная жизнь, накопление средств и напряженная работа целого поколения».

Мои замечания содержали, конечно, резкую критику внутренней экономической политики правительства, но в то время в стране сложилась обстановка, которая требовала острой критики для того, чтобы вызвать перемены к лучшему.

Я решил немедленно покинуть Харцбург и ехать с женой в Меран. На следующее утро, поднявшись с постели в Мюнхене, я прочитал заголовки в утренних газетах: «Бегство Шахта за рубеж из страха перед мерами правительства после своей речи в Харцбурге».

Решение я принял быстро. Сказал жене, которая пришла встретить меня на вокзале, что нам нужно отложить поездку на день. Затем купил билет на скорый поезд в Берлин, который останавливался лишь в Нюрнберге и Галле и должен был доставить меня обратно в столицу за шесть часов. В Нюрнберге ко мне в купе пришли журналисты с опубликованной статьей министра финансов Дитриха, который выразил в самых резких выражениях свое неодобрение содержания моей речи в Харцбурге. Через два часа был готов мой ответ. Я вручил его для публикации журналистам, ожидавшим меня в Галле. По прибытии в Берлин, еще через два часа, мои разъяснения уже были помещены в вечерних газетах. Пресса сделала свою работу быстро и эффективно.

Я понял, что министр финансов Дитрих, должно быть, почувствовал себя особенно задетым моим выступлением в Харцбурге. То, что мои замечания вошли впоследствии в официальное заявление Имперского банка, доставило мне глубокое удовлетворение. Лично мне было жаль Дитриха, которого я считал вполне достойным человеком и квалифицированным специалистом. Поразительно, что мы снова встретились лицом к лицу в 1947 году на процессе по денацификации в Людвигсбурге, и я с удовлетворением слышал из уст Дитриха, что мы поддерживали прекрасные личные отношения.

Скорее всего, Дитрих сознавал безнадежность финансового и кредитного состояния Германии, но не мог найти выход из тупика. В Людвигсбурге он подтвердил, что в 1932 году на пособия по безработице для одного рейха, то есть без местных пособий, уходило до 3 миллиардов марок, которые тратились без всякой экономической отдачи. К этому я мог добавить, что моя схема обмена облигаций «Мефо» на пособия для обеспечения работы (которая играла важную роль во время суда по денацификации надо мной) никогда не требовала более 3 миллиардов марок в год, с той только разницей, что ее сопровождало соответствующее увеличение производства.

В декабре 1931 года я попал в серьезную автомобильную аварию, когда отвозил своего сына Йенса в университет Росток. Мчась на предельной скорости, шофер наехал на обледеневшую поверхность дороги. Машина перевернулась. Сын и шофер не пострадали и смогли выбраться из машины, меня же пришлось отнести с сотрясением мозга в дом у дороги, и я был без сознания в течение двух часов. Когда пришел в себя, то не мог шевелить ногами. Три недели пролежал в больнице, пока мозг не оправился от потери крови. Еще две недели я прыгал на костылях в Гюлене, пока наконец не восстановил способность нормально двигаться.

Меня не волновала партийная политика. 1 июня 1932 года приступил к работе кабинет Папена. Когда формировался этот кабинет, я только однажды выразил мнение в ответ на вопрос о том, кто мог бы стать министром финансов, что на этот пост следует выбрать графа Шверина фон Крозига, до этого постоянного секретаря министерства.

Между тем число безработных продолжало неуклонно расти. Брюнинг, а затем и Папен прилагали усилия создать рабочие места посредством выдачи пособий в виде так называемых трудовых ваучеров, но они не могли исправить положение, поскольку процент таких пособий в сравнении с миллионами безработных был ничтожно мал.

С другой стороны, в сфере внешней политики Папен продолжил усилия Брюнинга с целью прекращения выплаты репараций не просто де-факто, но также де-юре посредством соглашения. Благодаря предварительной работе Брюнинга Папену удалось подписать на Лозаннской конференции в последней половине июля юридический смертный приговор репарациям. Если бы этот успех был использован своевременно в пропагандистских целях, то он мог бы склонить общественное мнение в поддержку режима Папена. К сожалению, успех в Лозанне слишком запоздал, поскольку через несколько дней после него состоялись выборы в рейхстаг, инспирированные Папеном. Они принесли беспрецедентные итоги — двести тридцать депутатских мест Гитлеру, сделав национал-социалистов крупнейшей партией в рейхстаге. Отныне ни одно правительство не могло обладать большинством в рейхстаге без поддержки либо национал-социалистов, либо коммунистов, которым удалось обеспечить восемьдесят девять мест.

В последующие месяцы предпринимались попытки склонить Гитлера к участию в коалиционном правительстве, где в лучшем случае он должен был занять второе место. В 1931 году, когда я советовал это сделать, такие попытки были еще возможны. Теперь глава крупнейшей партии Гитлер требовал единовластия. Абсурдность ситуации состояла в том, что этот политик — которого уже со страхом считали будущим диктатором — смог основывать свои претензии на общепризнанных принципах демократической парламентской процедуры, в рамках которой лидер крупнейшей партии, по крайней мере, обладал правом на попытку сформировать правительство.

С детства мне прививали демократические взгляды. В моем представлении воля народа должна была всегда оставаться высшим законом для правительства, независимо от государственного устройства — республики или монархии. По этой причине я считал, что правительство не должно пренебрегать канцлерством Адольфа Гитлера, если оно желало избежать риска военной диктатуры или гражданской войны. Я выступал против обеих этих возможностей.

После бессилия и слабости предыдущих кабинетов, которые допустили рост безработицы до 6 миллионов, итоги выборов 31 июля 1932 года позволяли мне впервые надеяться на возможность прихода к власти устойчивого и энергичного правительства. Мотив, который побудил меня выйти из своего до этого ревностно оберегавшегося уединения, исходит во многом из того, что я узнавал из случайных разговоров с национал-социалистическими политэкономами. Если люди, подобные Готфриду Федеру и Реверу, возьмут под свой контроль банковскую и монетарную систему, то это, как я мог уже видеть, будет означать крах германской экономической политики, несмотря на парламентскую силу правительства Гитлера. Работа Имперского банка рухнет, если ей будет угрожать легковесность теневой валюты Федера или даже раскол валют а-ля Ревер. Я считал своим долгом предотвратить эту угрозу. Поэтому дал Гитлеру понять устно и письменно, что, если он придет к власти, я не откажусь сотрудничать с ним. Позднее это поставили мне в вину. Но ни тогда, ни по прошествии времени я не встречал предложений какой-либо альтернативы канцлерству Гитлера.

Когда наконец в январе 1933 года сам Гинденбург уже не видел выхода, он созвал лидеров всех центристских партий,

чтобы посоветоваться о возможном решении. Ни один из присутствовавших участников встречи не предложил ничего. Даже председатель Социал-демократической партии господин Вельс сказал президенту, что придется передать должность канцлера Гитлеру в надежде, что она вскоре окажется ему не под силу.

Уместно задать вопрос: каковы были обстоятельства, сделавшие возможным приход Гитлера к власти? Ответ дал в июне 1934 года ведущий социал-демократ Виктор Шифф в журнале *Magazine of Socialism*, публиковавшемся за рубежом:

«Если и существует точка зрения, по которой мы не имеем и не можем иметь разногласий, то это, конечно, точка зрения, что Гитлер обязан своим возвышением и конечной победой мировому экономическому кризису. Он был обязан ими отчаянию безработных, образованной молодежи, для которой не было будущего, мелким предпринимателям и ремесленникам, ожидавшим банкротства, фермерам, столкнувшимся с падением цен на сельскохозяйственную продукцию. Здесь все мы оказались не на высоте. Да, мы справедливо порицали капитализм за кризис, но не могли предложить массам ничего, кроме социалистического лозунга».

Полагаю, что каждый, кто прочтет это заявление, поймет мою решимость сделать рискованную попытку остановить в условиях сильной власти экономическое обнищание, обеспечить шесть с половиной миллионов безработных зарплатой и пропитанием.

После провала всех попыток уговорить Гитлера войти в кабинет министров, возглавляемый одной из умеренных партий, Папен снова прибег к тщетному усилию добиться большинства посредством новых выборов в рейхстаг. В этих ноябрьских выборах национал-социалисты действительно потеряли тридцать четыре места, но в сравнении с этим число голосов, поданных за коммунистов, возросло с восьмидесяти девяти до ста. Совершенно очевидно, что, если бы Гитлер не справился со своими обязанностями, неудовлетворенность побудила бы избирателей искать спасения слева. После выборов Папен ушел в отставку. Начались разговоры о целесообразности диктатуры как последнего средства.

Пост канцлера достался генералу Шлейхеру, учтивому политику, более привыкшему к атмосфере интриг, чем к парадному плацу. Он постарался прежде всего подыскать другого кандидата на канцлерство и связывался по этому поводу со многими политиками. Однажды он попросил и меня встретиться с ним и предложил, чтобы я взялся за это дело. Хотя я сразу отказался, мне было интересно ознакомиться с его политическим видением ситуации. Я попросил его рассказать о своей программе. Его суждения были настолько бесцветны, что у меня было время оглядеть комнату. Она была так же бесцветна, как и речь этого человека, — без какого-либо личного штриха или признака индивидуального вкуса. Строго определенное количество кресел, несколько убогих картин на стенах, холодных и невыразительных. Манера Шлейхера говорить, хотя и совершенно безучастная, все же выдавала стремление расположить к себе собеседника. Однако ему не удавалось это сделать из-за отсутствия хотя бы одной конструктивной идеи или подобия энтузиазма. Это был типичный закулисный политик, хладнокровный и расчетливый. Должно быть, ему стоило много сил занять пост канцлера и таким образом открыть себя для публичной критики. Шлейхер возлагал последнюю надежду на раскол в Национал-социалистической партии. Когда он выразил эту надежду в разговоре со мной, я прервал его:

— Думаю, генерал, вы недооцениваете железную дисциплину этой партии, столь усердно насаждаемую Гитлером. От каждого, кто пытается возражать, он избавляется без всяких церемоний.

В день, когда Шлейхер произносил инаугурационную речь в качестве вновь назначенного канцлера, я обедал с Зельдте и другими. За трапезой мы слушали речь Шлейхера по радио. Чем больше он говорил, тем больше угасало наше желание слушать. Ко времени, когда мы занялись мороженым, наши мозги дошли до точки замерзания. Речь Шлейхера отличалась полным отсутствием идей и чувств. Она звучала как похоронный звон по Веймарской республике. Даже он не посмел попытаться установить военную диктатуру.

Три недели спустя президент назначил Гитлера канцлером. Я держался в стороне от этих событий и не претендовал на какую-либо министерскую должность. Я почти не имел контактов с партией Гитлера. Когда мы встретились однажды

в ноябре 1932 года, я спросил его, настаивает ли он на вступлении в партию как условия сотрудничества. К моему большому облегчению, Гитлер дал отрицательный ответ. Я никогда не принял бы подчиненную должность под партийной юрисдикцией. Я хотел сохранить свою свободу, никогда не был членом этой партии.

Глава 39

СНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИМПЕРСКОГО БАНКА

В первые недели прихода Гитлера к власти я встретился с ним лишь однажды, но это было значимое событие. Мне случилось присутствовать в комнате с группой его соратников, когда он впервые обратился к немецкому народу по радио. Его речь начиналась словами: «Дайте мне четыре года». Мне показалось, что я впервые имею возможность заглянуть в душу этого человека. У меня было впечатление, что бремя его новой ответственности было слишком тяжело для него. В этот момент я ясно почувствовал, что значило переместиться из рядов оппозиционных пропагандистов на ответственный правительственный пост. Я ощущал его внешнее и внутреннее волнение, которое не было простым «разыгрыванием роли», но реальным состоянием. Это укрепляло мою надежду на возможность направить этого человека на истинный путь.

В ходе переговоров по поводу назначения Гитлера президент — и, вероятно, Гугенберг тоже — подчинился необходимости проведения еще одних выборов. Они были намечены на 5 марта 1933 года. Неясно, почему они должны были состояться. Не считая коммунистов, Гитлер и партия Гугенберга составляли большинство в существующем законодательном собрании. Если, несмотря на это, Гитлер все же настаивал на выборах, то он, должно быть, вынашивал надежду (тем более что теперь он пришел к власти) достижения большинства для своей Национал-социалистической партии. Это привело бы к созданию новой ситуации, которая позволила бы ему сформировать чисто национал-социалистический кабинет вместо национального правительства. Но попытка провалилась.

Совершенно неожиданно я получил приглашение от Германа Геринга на собрание 25 февраля в резиденции предсе-

дателя рейхстага, которую он занял по своему официальному статусу. Я встретил там много промышленников — почти все они были мне знакомы, — которых Геринг пригласил, чтобы оказать финансовую поддержку выборам в рейхстаг. Я знал, что большинство присутствовавших лиц не были сторонниками национал-социалистического движения. Тем не менее они не отказались от приглашения. Геринг поприветствовал гостей и разъяснил, что цель встречи заключается в сборе средств в предвыборный фонд правых партий. Затем прибыл Гитлер и изложил свои политические взгляды в такой убедительной форме, что, к моему удивлению, когда он закончил, поднялся Крупп фон Болен и от имени собравшихся гостей выразил полную готовность поддержать правительство Гитлера. Мое удивление было вызвано и тем, что мне было известно об отклонении четыре недели назад тем же самым Круппом фон Боленом приглашения посетить дом Фрица Тиссена, где Гитлер собирался обратиться с речью к промышленникам земли Рейнланд-Вестфалия.

В тот вечер в предвыборный фонд было собрано 3 миллиона марок. Гитлер попросил меня распорядиться проведением этого фонда через банковские процедуры, на что я согласился. В последующие годы много писали о том, насколько Национал-социалистическая партия была обременена долгами в конце 1932 года. На основе собственного опыта работы с фондом на мартовские выборы могу назвать эти утверждения смехотворными. Если бы партия действительно нуждалась в деньгах, она могла бы, по крайней мере, затребовать свою долю из этих 3 миллионов. На самом деле это было не так. Из 3 миллионов марок 2 миллиона 400 тысяч были полностью использованы правыми партиями, включая национал-социалистов. В итоге выборов на балансе осталось 600 тысяч марок. Нужно отдать должное национал-социалистическому движению за то, что большая часть его пропагандистской деятельности оплачивалась за счет его собственных членов.

Вскоре после 25 февраля произошел поджог Рейхстага. Теперь совершенно ясно, что эту акцию нельзя было навешивать на Коммунистическую партию. До какой степени отдельные национал-социалисты соучаствовали в планировании и осуществлении ее, трудно установить, но в свете всего того, что вскрылось, можно считать непреложным фактом: Геб-

бельс и Геринг играли в этом ведущую роль — один в планировании, другой в осуществлении плана. По моему собственному твердому убеждению, Гитлер сам был одержим этой идеей. По высказанным позднее словам супруги одного из ведущих партийных лидеров, окружение Гитлера хотело «положить тлеющие руины Рейхстага на его стол как сюрприз». Во всяком случае, пожар Рейхстага послужил удобным предлогом для окончательного устранения Коммунистической партии с политической сцены.

Проблемы, стоявшие перед правительством Гитлера, были нелегкими. Цифры безработицы с самого низкого уровня летом 1927 года росли год за годом бешеными темпами и достигли своего пика зимой 1931/32 года. Следующая зима вновь показала тенденцию на повышение. Безработица наиболее затронула строительную индустрию, в которой составила девяносто процентов. Безработицу нельзя было преодолеть без крупных государственных заказов, и такое преодоление требовало огромных расходов. Заводы опустели, станки стояли без движения, запасы гнили, а рабочие томились без дела.

Лишь значительно позднее я узнал, что Гитлер посылал за председателем Имперского банка доктором Лютером, чтобы узнать, сколько средств банк может выделить на создание рабочих мест. Подумав над этим, Лютер, как утверждают, назвал сумму в 150 миллионов марок. Если это утверждение верно, то понятно разочарование Гитлера беседой с Лютером. Цифра, объявленная Лютером, была бы вполне достаточной для обеспечения работой ровно на четыре дня и пять часов всех немецких безработных с зарплатой 5 марок в день. Она была столь же бесполезной, сколь и 3 миллиарда марок на пособия по безработице, которые растаяли как дым в 1932 году.

В середине марта 1933 года Гитлер послал за мной и задал мне тот же вопрос, что и Лютеру, однако не обмолвившись ни словом о разговоре с председателем Имперского банка.

— Честно говоря, господин канцлер, я не могу назвать какую-либо конкретную сумму. Мое мнение таково: что бы ни случилось, нам нужно положить конец безработице, и поэтому Имперский банк должен обеспечить все необходимое для увода с улиц последнего безработного.

Последовала короткая пауза. Затем Гитлер взглянул на меня и спросил:

— Вы готовы снова принять на себя руководство Имперским банком?

Я понимал далекоидущий подтекст этого вопроса. Предпочел бы, чтобы Брюнинг спросил меня об этом в июле 1931 года. Теперь же этот вопрос задавал мне канцлер, с мировоззрением и пропагандой, с методами политической борьбы и даже отдельными акциями которого я часто не соглашался. Должен ли я отказаться от предложения, руководствуясь такими соображениями, или обязан посвятить всю свою энергию спасению шести с половиной миллионов человек от безработицы?

Во время суда по денацификации, которому я подвергся после краха Германии, против меня неоднократно выдвигалось одно и то же идиотское обвинение:

— Если бы вы не помогли Гитлеру, он бы обанкротился в своих усилиях.

Я отвечал с понятной горячностью:

— Не могу поверить, что успех Гитлера зависел только от меня. Он нашел бы другие способы и других помощников. Он был не из тех людей, которые готовы сдаться. Вас, сэр, обрадовало бы, если бы Гитлер погиб без моей помощи. Но с ним бы погиб и весь рабочий класс Германии. Даже вы не стали бы оправдывать это.

Поскольку мне предоставлялась теперь возможность покончить с безработицей, все другие соображения должны были отступить на задний план.

— Не считаю справедливым, господин канцлер, чтобы мое замещение должности влекло за собой отстранение от нее председателя Имперского банка господина Лютера.

— Не сомневаюсь в этом. В любом случае господин Лютер не останется председателем Имперского банка. Я имею на него другие виды.

— Если так, то я готов возобновить работу в качестве председателя Имперского банка.

17 мая 1933 года — почти через три года после моей добровольной отставки — я вновь приступил к работе, на этот раз в более трудных условиях, чем в конце 1923 года, и с более тяжелым бременем ответственности.

В Веймарской республике мое жалованье составляло 200 тысяч марок. В 1924 году оно было установлено на том же уровне, что и зарплата генерального агента по репарациям.

Имелись очевидные основания, почему следовало придерживаться цифры прежнего оклада. На мой запрос Гитлер ответил, что оставляет установление зарплаты на мое усмотрение. Я отклонил его предложение и передал решение этого вопроса триумvirату, состоявшему из министра финансов, министра экономики и меня. Я предложил, чтобы мой оклад составлял тридцать процентов от прежней цифры, то есть 600 тысяч марок, включая все мои официальные расходы. На этом и согласились. Я стремился показать пример партийным боссам, чтобы и они получали свое вознаграждение в разумных границах. К сожалению, они не последовали этому примеру.

Первая программа по созданию рабочих мест (программа Рейнхардта), рассмотренная правительством, имела целью ремонт и перестройку домов, заводов и оборудования. На эту программу Имперский банк выделил один миллиард марок.

Следующим делом, которым предстояло заняться — и им занялись очень скоро, — было строительство национальных автобанов. На это я санкционировал первоначальный кредит в 600 миллионов марок, которые, однако, следовало возместить из национального бюджета. В течение очень короткого времени Управление государственными железными дорогами занялось строительством автобанов. Чтобы эти автомобильные трассы окупались, я с самого начала договорился с Гитлером о тесном взаимодействии в работе дорожного и железнодорожного ведомств. Не могу сказать, почему впоследствии эта цель была упущена из виду, поскольку с течением времени, после получения возмещения на сумму 600 миллионов марок для Имперского банка, я больше не имел дел со строительством автобанов.

После краха Германии немецких государственных, земельных и общинных деятелей постоянно обвиняли в явной готовности предлагать свои услуги «преступнику» Гитлеру. Однако при правлении Гитлера они постоянно получали средства, позволявшие им заниматься проектами, которые они давно хотели осуществить, но не могли этого сделать при прежних правительствах. Многие из них испытали подъем позитивных эмоций от того, что наконец смогли снова выполнять действительно нужную руководящую работу. Ана-

лиз национал-социалистической «философии» совершенно их не интересовал: все, чего они желали, заключалось в немедленных мерах правительства с целью поощрения деловой активности и удовлетворения потребностей населения. Множились сообщения из отдельных земель и общин, свидетельствовавшие о том, что безработица сократилась или даже исчезла вовсе.

Что касается «философского» мировоззренческого конфликта, то ему следовало происходить в высших сферах. В рейхстаге. Именно там я пережил свое первое большое разочарование.

Правые партии все вместе составляли в рейхстаге шестьдесят процентов голосов, из которых одни национал-социалисты имели почти пятьдесят процентов. Поэтому рейхстаг мог вполне претворять в жизнь идеи кабинета. Большинства в две трети всех голосов требовали только решения с целью внесения конституционных изменений. Нежелательные конституционные изменения не могли быть проведены одной Национал-социалистической партией. Правые депутаты, не входившие в Национал-социалистическую партию, и депутаты умеренных партий были в состоянии заставить уважать конституционные нормы. Почему в этих обстоятельствах был введен благоприятствующий акт от 23 марта 1933 года, который дал правительству полномочия производить конституционные изменения, было и осталось тайной. Рейхстаг сдал свои контролирующие полномочия без всякой нужды, создав таким образом легальную основу для практически всех мер, к которым Гитлер прибегал впоследствии вопреки бывшей конституции.

Я присутствовал на этой сессии рейхстага как зритель и наблюдал с нарастающим разочарованием, как умеренные пренебрегали собственными шансами. Именно благодаря этому закону Гитлер установил диктатуру. Среди этих депутатов имелось порядочное число людей, которые по любопытному совпадению сегодня занимают ведущие политические позиции в Федеративной Республике Германии и которые превозносят парламентскую демократию как альфу и омегу германской конституции.

В последующие месяцы я был вынужден с сожалением наблюдать, как центристские партии доводили свое самоистязание до степени самоубийства. Умеренные партии распада-

лись одна за другой. Депутаты рейхстага, избранные народом для выражения интересов народа, пренебрегли обещаниями, которые давали избирателям. По собственной воле они отказались от власти и влияния без всякого уведомления тех же самых избирателей. Демократия сама вырыла себе могилу.

Глава 40

ВИЗИТ К РУЗВЕЛЬТУ

Мировой экономический кризис обуздали. Упадок международной валютной и кредитной системы продолжался еще почти три с половиной года, а в Соединенных Штатах новая администрация Демократической партии, находившаяся у власти с марта 1933 года, добивалась проведения Международной экономической конференции, которая должна была выработать решение, способное распутать мировой экономический клубок. Союзные державы договорились провести конференцию в Лондоне. Она проходила в июне—июле 1933 года и собрала представителей более шестидесяти стран со всего света.

В рамках подготовки Международной экономической конференции Рамсей Макдональд прежде всего отправился весной 1933 года из Великобритании в Нью-Йорк для бесед с новым президентом Франклином Делано Рузвельтом.

Незадолго до прибытия Макдональда в Нью-Йорк Рузвельт удивил мир девальвацией доллара на сорок процентов — в той же пропорции, в какой Великобритания девальвировала фунт стерлингов в сентябре 1931 года. Причины, побудившие Рузвельта предпринять этот шаг, были не те же, что и в Лондоне, удовлетворявшем финансовые нужды страны. Америка располагала самыми крупными золотыми резервами, доллар был наиболее устойчивой валютой в мире. Благодаря Первой мировой войне платежный баланс Соединенных Штатов резко изменился в пользу американцев. С точки зрения валютной или финансовой политики не было никакой побудительной причины для девальвации.

Если, несмотря на это, Америка все же сделала ставку на девальвацию, то, очевидно, потому, что хотела воспользоваться теми же самыми коммерческими выгодами, которые извлекла Великобритания из девальвации фунта стерлингов.

Первым результатом девальвации всегда является понижение цены экспорта из страны, проводившей девальвацию. Британская девальвация 1931 года способствовала в соответствующей степени увеличению британского экспорта. Целью Рузвельта было откровенное противодействие этому искусственному предпочтению в пользу Великобритании.

Легко представить себе, что беседа Рузвельта и Макдональда не привела к сколько-нибудь определенному согласию. Господин Эррио проявил себя лучше. Франция назначила его своим представителем на Международной экономической конференции, но сначала послала его в качестве эмиссара к Рузвельту. Французская политика всегда знала, как привлечь к себе симпатии других стран, фокусируя их внимание на культурном аспекте ее миссии. В течение десятилетий Париж был и остается местом притяжения для каждого путешественника, который предпочитает проводить свободное время в приобщении к искусству, среди интеллектуальной и материальной красоты.

В рамках подготовки к Международной экономической конференции пришлось направить своего представителя к Рузвельту и германскому правительству. Для этого выбрали меня. В мае я прибыл в Вашингтон в сопровождении различных чиновников из правительства и Имперского банка. Пробыл там восемь дней.

В мой первый визит президент Рузвельт принял меня на террасе Белого дома. Это был грузный, статный мужчина. В компании он держался естественно, непринужденно и владел тем типом сдержанной вежливости, которая не тяготит только потому, что всегда сопровождается шуткой.

Мы вместе вошли в его кабинет, где на диване осталась заметная вмятина от его более чем двухсотфунтового веса. За первой беседой последовали три другие, которые происходили в той же комнате. Без сомнения, это был превосходный политический игрок, человек большого ума, обладавший, при всей своей откровенности, определенной скрытностью. Этот человек был озабочен прежде всего своей ролью лидера политической партии и лишь затем своей ответственностью за экономическое положение.

В отношении меня был педантично соблюден весь дипломатический этикет. Сначала в Белом доме состоялся большой ланч, на котором председательствовал Рузвельт. На дру-

гой вечер Корделл Халл дал ужин в мою честь, а также в честь китайского представителя, который прибыл для участия в подготовке Международной экономической конференции. Я впервые встретился с этим китайским господином в Вашингтоне и позднее часто беседовал с ним в Берлине, где он посещал меня официально, а также бывал гостем в нашем доме. Его звали Х.Х. Кун, он был двоюродным братом Чан Кайши.

Вспоминается один эпизод за ужином. Я сидел справа от Корделла Халла, слева же от него находился тогдашний министр финансов. Оркестр играл, как обычно, музыку — это неизменно делается, чтобы заполнить паузы в разговоре, — когда я вдруг услышал исполнение совершенно необычной мелодии. По окончании музыкального фрагмента Кун заметил:

— Звучит почти как китайская музыка.

Мой сосед, министр финансов, осанисто повернулся ко мне и прошептал:

— Я могу гордиться. Эта мелодия специально написана мною в честь приема китайского представителя.

Мой первый деловой разговор с Рузвельтом показал, что Эррио, покинувшему Вашингтон лишь за день до моего прибытия, удалось полностью вовлечь Рузвельта в сферу французских интересов. Я потратил много сил на то, чтобы посредством разъяснения особенностей обстановки в Германии доказать ему, что немецкие проблемы были значительно важнее французских. Тем не менее мне удалось это сделать в ходе последующих бесед. Я постепенно подвигал Рузвельта к осознанию того факта, что даже после отмены репараций для Германии невозможно продолжать погашение процентов и выданных в рассрочку многочисленных кредитов в иностранной валюте, которые наша страна набрала вопреки моим предостережениям в период между 1924 и 1930 годами.

Я взял быка за рога во время беседы, которая происходила в кабинете Рузвельта в присутствии госсекретаря США Корделла Халла и нашего немецкого посла доктора Лютера. Я прямо заявил, что в ближайшее время Германия будет вынуждена прекратить погашение процентов по американским кредитам. Корделл Халл занервничал, Лютер заерзал в своем кресле. Сам же я приготовился к взрыву негодования со стороны Рузвельта. К нашему удивлению, ничего подобного не

случилось. Он громко хлопнул себя по бедру и воскликнул со смехом:

— Так и надо банкирам Уолл-стрит!

На следующий день произошло продолжение этого эпизода. Меня попросили посетить Корделла Халла в Госдепартаменте. Он торжественно вышел в своем застегнутом на все пуговицы сюртуке и передал мне конверт с коротким замечанием:

— Я уполномочен передать вам это от президента.

Я взял конверт и поинтересовался, следует ли мне прочесть письмо сразу. На это Халл ответил утвердительно. В конверте находился весьма короткий текст, сообщавший только то, что президент был крайне удивлен моим вчерашним заявлением. По истечении двадцати четырех часов мне казалось, что президент не испытывал никакого удивления, но я, естественно, предпочел вложить записку в конверт без комментариев. Перед моим отбытием состоялась краткая официальная беседа.

Корделл Халл был прямой противоположностью Рузвельту. В то время как Рузвельт представлял собой нечто от современного менеджера, действующего по импульсу и интуиции, Корделл Халл, казалось, пришел в современный мир прямо из эпохи Авраама Линкольна. Худощавый, среднего роста, со слегка склоненной головой и крепко сжатыми губами, он всегда держался прямо, избегал проявления любых эмоций и сохранял абсолютно бесстрастное выражение лица во время обсуждения даже самых волнующих тем. Его старомодный сюртук всегда был застегнут на все пуговицы. Он носил старомодный галстук. Я всегда представлял себе старого колонизатора именно таким, каким был Корделл Халл.

Когда мне выпадали часы досуга, я покидал отель «Мей-флауэр» и совершал короткие прогулки по городу и к знаменитой горе Вернон. Тогда Вашингтон еще не разросся до такой степени и не был столь перегружен бюрократическими учреждениями, как сейчас, но выглядел еще живописным, уютным городом с впечатляющими зданиями посольств и широким разнообразием архитектурных стилей. Каждая страна стремилась построить «по-домашнему» даже свою дипломатическую резиденцию. Германское посольство, к сожалению, представляло исключение. Поскольку мы утратили прошлое здание из-за войны, теперь наше посольство раз-

мещалось в арендованном здании высотой в несколько этажей, которое не выглядело уютным.

Когда я прощался с Рузвельтом в его личном кабинете, он помахал мне рукой с дивана и сказал:

— Вы произвели здесь хорошее впечатление, потому что высказывались со всех точек зрения откровенно и искренне.

Я поблагодарил его и попрощался в надежде, что мой визит в любом случае не был напрасным.

Мне нужно было уезжать морским путем на следующий вечер. Морские лайнеры, как правило, отправлялись из бухты Нью-Йорка после полуночи. Поэтому я смог получить приглашение друга-еврея, который поинтересовался, не зайду ли я как-нибудь, чтобы рассказать группе его друзей об антисемитизме национал-социалистов. Я хорошо понимал, что в данном случае поднималась большая тема, с каким бы тактом и деликатностью она ни обсуждалась. С другой стороны, я также чувствовал потребность так или иначе обсудить эти антисемитские настроения с представителями еврейских кругов — настроения, которые, по большей части, искусственно насаждались в Германии, но также проявлялись неоднократно в остальном мире.

Другом, пригласившим меня, был Дэвид Сарнофф, человек чрезвычайно талантливый и весьма компетентный в вопросах международной политики. Он сопровождал американскую делегацию на конференцию Янга в Париже в 1929 году и показал себя последовательно доброжелательным и участливым по отношению к нам, немцам. Мальчиком десяти лет он прибыл в Америку из России и благодаря своему острому уму и энергии пробился в руководство одной из крупнейших радиоконпаний. В его обставленном со вкусом частном доме в Нью-Йорке он дал изысканный обед с участием двенадцати—четырнадцати человек. Все они были евреями, за исключением Оуэна Д. Янга, Альфреда Смита (кандидата в президенты от католического населения) и генерального секретаря Ассоциации христианской молодежи. Еврейские гости были мне знакомы лично или заочно. В этот вечер я впервые встретил знаменитого раввина Вайса.

После обеда я выступал, по привычке тактично и любезно, но также по возможности честно. Тот же факт, что после моего выступления дискуссии не произошло, показал, что в соответствии с моим ожиданием я не убедил никого. Тем не

менее мой хозяин тепло пожал мне руку и, провожая до двери, сказал: «Доктор Шахт, вы прекрасный дипломат».

Через несколько недель участники Международной экономической конференции встретились в Лондоне, куда правительство Гитлера направило делегацию во главе с министром иностранных дел бароном фон Нейратом, в которую включили Гугенберга и меня. Национал-социалистический элемент был представлен господами Кеплером и Кругманом, мэром Гамбурга.

Работа конференции раздробилась на бесчисленные комиссии и комитеты. Самой важной темой было возвращение к стабильной валютной системе. Наряду с этим, как часто уже случалось раньше и так же часто впоследствии, мы вели дискуссии о том, какие меры можно принять с точки зрения торговой политики для активизации мировой торговли. Несмотря на энергичную подготовку, конференции не хватало настоящего руководства. Ожидать единодушных решений от делегатов шестидесяти государств, возможно, тоже не было удачной идеей. Помнится, что принятие какой-то малозначащей резолюции чуть не сорвалось из-за возражений представителя Афганистана.

Открытие конференции, как и ожидалось от подобных мероприятий в Лондоне, было весьма впечатляющим. На королевском приеме мы смогли обменяться рукопожатием с королем Георгом V и королевой Марией. Король выступил с обращением к нам на открытии форума.

В ходе конференции произошел неприятный инцидент в немецкой делегации. Гугенберг счел справедливым передать в секретариат конференции меморандум по колониальной политике, который предварительно не обсудил с главой нашей делегации, бароном фон Нейратом, или с нами, его коллегами. Меморандум вызвал неприязненное отношение, поскольку действительно был неуместен на Международной экономической конференции. Он повлек за собой неприятные последствия для самого Гугенберга: вызванный Гитлером отчитаться, он подал в отставку с постов главы министерств экономики и сельского хозяйства, оставив, таким образом, серьезную брешь в рядах представителей правительства, не являвшихся членами Национал-социалистической партии. В министерстве сельского хозяйства его сменил писатель романтического направления, национал-социалист Вальтер

Дарре, а в министерстве экономики — Курт Шмитт, до этого управляющий директор компании «Страховой альянс», который вскоре счел необходимым надеть мундир СС и таким образом занять место в рядах национал-социалистических боссов, хотя был либералом по своим деловым и экономическим взглядам.

Международная экономическая конференция была прервана, не достигнув практических результатов. Мне выпало выступить с прощальной речью от имени немецкой делегации, кульминацией которой стали следующие слова: «В связи с неудачей в достижении международного соглашения для каждой страны становится необходимым сейчас в первую очередь привести в порядок собственную экономику. Если это будет сделано, новая Международная экономическая конференция, возможно, получит лучший шанс на успех».

Глава 41

КОНВЕРСИОННЫЙ ФОНД И МЕФО-ВАУЧЕРЫ

В мае, после моего возвращения из Америки и перед отбытием в Лондон, я организовал встречу банковских представителей наших кредиторов в других странах. Они прибыли из Франции, Великобритании, Соединенных Штатов, Бельгии, Голландии, Швейцарии, Швеции. Каждый из них руководствовался намерением бдительно блюсти интересы своих соотечественников-кредиторов. Правда, они прибыли без легального мандата — было бы невозможно обеспечить такой мандат из-за большого количества кредиторов, — тем не менее они были облечены полномочиями самим доверием, которое им оказали кредиторы соответствующих стран.

На этой Берлинской конференции я представил все финансовые и экономические данные, которые доказывали неспособность Германии продолжать погашение процентов по ее иностранным долгам. Поскольку постепенно становилось ясно, что Германия сможет выплачивать долги только в том случае, если достигнет соответствующей величины экспорта, я остановился прежде всего на препятствиях, которые чинят нашей экспортной торговле другие страны.

В годовом обозрении в конце 1931 года *Frankfurter Zeitung* подтвердила, что вокруг тех стран, которые до сих пор погло-

щали четыре пятых германского экспорта, были воздвигнуты непомерно высокие тарифные стены. Во Франции же тарифы не только подняли, но впервые были установлены тарифные квоты, ограничивающие количество импортируемых товаров. Польша повысила пошлины на промышленные товары на сто процентов. Многие страны не удовлетворились повышением тарифов, но последовали примеру Франции и ограничили количество импортированных товаров введением квот. Затем последовали создание импортных монополий, специальных импортных пошлин, принудительные расходы на производство отечественных товаров и тому подобные меры. В дополнение к этому Британия и несколько других стран девальвировали свою валюту, приобретая таким образом значительные преимущества над Германией на мировых рынках.

Ни при каких обстоятельствах я не собирался принимать необходимые меры в одностороннем порядке, без правовой доверенности представителей кредиторов. Поэтому мы договорились, что после совместных консультаций Имперскому банку придется выстроить ряд очередных задач. Были тщательно изучены бухгалтерские книги Имперского банка, и, несмотря на болезненный характер некоторых решений, было признано, что я выложил все карты на стол. Совместно с представителями кредиторов я определил принципы, которых следовало придерживаться:

а) Согласились в том, что оставшиеся резервы Имперского банка в золоте и иностранной валюте достигли столь низкого уровня, что любое дальнейшее их снижение будет представлять угрозу самому функционированию Имперского банка в качестве центрального банковского учреждения и что желательно, чтобы эти резервы постепенно возрастали.

б) Далее признали, что ситуация с неблагоприятным платежным балансом требовала защиты германских резервов в иностранной валюте.

в) По общему признанию, необходимо наращивать германский экспорт всеми возможными мерами, поскольку добиться возобновления платежей можно только таким способом. Ибо в долгосрочной перспективе международные долги можно выплатить за счет свободного импорта и экспорта товаров и услуг.

г) В отношении ограничений на трансферы, которые стали необходимыми, было признано, что они *не* должны рас-

пространяться на кредиты по планам Дауэса и Янга, по крайней мере на проценты по этим кредитам.

д) С другой стороны, что касается оставшихся кредитов и долгов, то ни один из них не должен иметь приоритета над другими. В то же время было выражено пожелание, чтобы Имперский банк рассмотрел предложение о выделении определенного количества иностранной валюты для погашения этих обязательств в течение, скажем, шести месяцев.

Помимо этих принципов, договорились, чтобы прежде всего с 1 июля 1933 года и далее были полностью переведены суммы по процентам и амортизационные платежи по кредиту в соответствии с планом Дауэса от 1924 года. С другой стороны, по кредиту плана Янга следовало перевести только суммы по процентам. Перевод по амортизационным платежам по кредитам плана Янга и другим кредитам был отсрочен. Переводы по другим процентам и дивидендам сокращались наполовину.

Эти переговоры — которые возобновлялись каждые полгода с внесением изменений в трансферные проценты — свидетельствовали о том, что ограничения на трансферы и наращивание германской экспортной торговли производились в полном соответствии с идеями кредиторов. То, что меня позднее неоднократно порицали за эти самые меры, выдает вопиющее незнание реальных обстоятельств.

Но даже если бы трансферные платежи по кредитам были упразднены, я бы не позволил немецким должникам уклониться от их обязательств. С этой целью я создал так называемый Конверсионный фонд. В него немецкие заемщики иностранных кредитов были обязаны вносить суммы по процентам и амортизационным платежам в германских рейхсмарках по мере наступления сроков погашения долгов. Время от времени Имперский банк производил переводы таких сумм в иностранной валюте.

Остановка платежей по процентам означала, конечно, что иностранные кредиторы несли существенные потери. Верно, что суммы выплачивались им марками из Конверсионного фонда, но они не могли обменивать их на свою собственную валюту. Чтобы кредиторы не оставались полностью неудовлетворенными, Имперский банк дал поручение Золотому дисконтному банку скупать эти кредиты за половину их номинальной стоимости. Сделки в этих ваучерах за кредитные

марки, известные как сертификаты, вскоре стали весьма распространёнными. Прибыль, получаемая от сбережения пятидесяти процентов, шла на развитие экспорта. Использование Германией сертификатов для финансирования дополнительного экспорта поощряло интерес стран-кредиторов к закупкам возможно большего количества товаров в Германии, чтобы сохранить или увеличить ее способность переводить платежи.

С течением времени чем больше немецких марок накапливалось в Конверсионном фонде, тем более старательно другие страны искали возможности тратить эти марки. В интересах стран-кредиторов в Германии создавалось много подобных возможностей, таких как туризм, гуманитарная помощь, инвестирование, покупка определенных товаров. Эта система различных категорий марки — туристическая марка, регистрационная марка, марка Аски (специальная марка для иностранных счетов) — подвергалась активной критике и насмешкам. Суть в том, что система работала ради выгоды иностранного кредитора, чтобы компенсировать потери, которые он понес первоначально. После Второй мировой войны подобным принципом руководствовались многие другие страны. Например, Англия располагает сегодня бóльшим разнообразием категорий фунта стерлингов, чем имела тогда Германия в отношении марки.

Помимо огромной и трудной задачи регулирования иностранных кредитов, приходилось заниматься вопросом финансирования проектов по созданию рабочих мест. Того первого миллиарда, который был выделен с моей санкции, оказалось недостаточно, как мы и предполагали с самого начала. Я полагал, что если имеются неиспользуемые заводы, оборудование и запасы, должен быть также неиспользованный капитал, залежавшийся в предпринимательских концернах. Изъять этот капитал посредством выпуска государственных займов не представлялось возможным. Вера людей в способность государства платить была подорвана прежними правительствами. Мне нужно было, следовательно, найти способ изъятия этого залежалого капитала из сейфов и карманов, куда он был помещен без опасения, что он останется там слишком долго и потеряет свою ценность.

В ходе этих размышлений появилась схема, которая позднее получила известность как «мефо-ваучеры» (Mefo-Wechsel). Название «Мефо» происходит от Metall-Forschungs A.G. (Научно-исследовательская компания по металлу), это компания с ограниченной ответственностью, основанная при поощрении правительства четырьмя большими фирмами — Siemens, Gutehoffnungshütte, Krupp и Rhein Stahl. Государство взяло на себя прямую ответственность и гарантии всех долгов этой небольшой компании. Отныне все поставщики государственных заказов выставляли свои требования в мефо-ваучерах. Имперский банк выражал готовность в любое время обменивать эти ваучеры на наличную валюту. В основе схемы мефо-ваучеров лежала простая и ясная идея.

Что касается работы системы, то государство могло использовать мефо-ваучеры для оплаты своих заказов деловым компаниям — заказов, которые с течением времени распространились и на финансирование вооружений. Поставщики могли немедленно обменять свои ваучеры на наличность в Имперском банке.

Оставался вопрос: до какой степени Имперский банк будет вынужден обменивать мефо-ваучеры на наличность, имеющуюся в его распоряжении? В этой связи случилось то, что я ожидал, а именно: деньги, которые лежали без употребления в сейфах и кассах производственных фирм, не рассчитанные на долговременные инвестиции, были немедленно использованы для приобретения этих кратковременных инвестиций. Поскольку ваучеры приносили четыре процента годовых и могли обмениваться в любое время на наличные деньги в Имперском банке, они заняли место, так сказать, наличной валюты и приносили проценты в придачу. За четыре года общее число мефо-ваучеров выросло до 12 миллиардов марок. Вышеупомянутые меры позволили добрым 6 миллиардам из этой суммы быть поглощенными рынком, а это означало, что они не предъявлялись Имперскому банку, избегая таким образом инфляционного воздействия при обеспечении фондов для финансирования проектов создания рабочих мест, а также при любом падении стоимости денег.

Когда производство снова наладилось — благодаря накоплению мефо-ваучеров, — а деньги на рынке выправились, мефо-ваучеры стали особо привилегированными ценными бумагами для кратковременных инвестиций банков. Любые

ваучеры, не поглощенные рынком, могли немедленно включаться в портфельный капитал Имперского банка. Если предположить, что в 1930 году активы Имперского банка в ценных бумагах и обеспеченных кредитах упали до суммы менее 2 миллиардов марок, легко понять, насколько огромно было падение товарооборота в германском производстве и как велик учет мефо-ваучеров Имперским банком без нанесения, таким образом, ущерба валюте.

Вероятно, следует объяснить несколько технических деталей для непосвященных, так как многие читатели не знакомы с терминологией. Использование обменных ценных бумаг для торговли возросло потому, что покупатель товара обычно должен ждать около трех месяцев, прежде чем перепродать его и получить свою продажную цену. Чтобы продать свой товар и удовлетворить продавца, он выдает последнему долговую расписку, называемую векселем, который оплачивается по истечении трех месяцев. Платежная способность таких векселей регулируется очень строгим законом, который делает этот метод предпочтительным для торговых целей. По получении векселя вычитается трехмесячный процент, то есть вексель дисконтируется. Норма, по которой рассчитывается вычет, считается учетной ставкой. Вексель можно использовать в виде платежа по долгам, которые не обеспечиваются какой-нибудь покупкой товаров. Имперский банк обязан учитывать только коммерческие векселя с определенным числом подписей.

С 1934 года и до самого начала Второй мировой войны система мефо-ваучеров была признана всем международным банковским сообществом как изобретательный и хорошо адаптированный метод обеспечения фондов. Только после краха 1945 года фанатики денацификации пытались поймать меня в ловушку, представляя систему как несправедливую и незаконную. Столяры, торговые клерки, регистраторы и секретари, которые обеспечивали судоустройство трибуналов по денацификации, ничего не знали об экономических потребностях 30-х годов, не могли они понять и уместность системы мефо-ваучеров.

Несмотря на возражения как административного суда, так и Высшего административного суда Гамбурга, Макс Брауэр, председатель гамбургского сената, то есть высшее должностное лицо коммерческого города-земли, не постыдился во-

преки этим двум вердиктам и под защитой своего статуса неприкосновенности назвать систему мефо-ваучеров жульничеством. Прочитую несколько предложений из вердикта Высшего административного суда Гамбурга:

«Директорат Имперского банка действовал в рамках разумных монетарных целей, когда в выборе методов заблаговременного обеспечения фондов он принимал во внимание то, что увеличение объема денежной массы приведет также к росту производства. В связи с государственными мерами по созданию рабочих мест система мефо-ваучеров была хорошо приспособлена для осуществления этой цели. Она образовывала реальную основу для преодоления экономической депрессии. Отказавшись от упорной приверженности к страховочному принципу, за что порицали предыдущее руководство Имперского банка, и придерживаясь функций современного банка по обеспечению средствами государственных инвестиций, Имперский банк действовал в соответствии с требованиями здравого смысла».

Между тем федеральный министр экономики господин Шмитт работал со значительным рвением, однако постоянно сталкивался с сопротивлением партийных групп своим усилиям по поддержанию здравомыслия в экономической политике перед лицом сомнительных и абсурдных требований партии. Вскоре он устал от такой борьбы, тем более что не смог ничего сделать для исправления условий, которые имели тенденцию к постоянному понижению поступлений иностранной валюты в Германию. Пережив небольшой приступ во время произнесения речи, он воспользовался этим случаем, чтобы попросить Гитлера освободить его от занимаемого поста.

Время от времени Гитлер обсуждал со мной положение с иностранной валютой. В одном случае я участвовал в общей дискуссии в его кабинете вместе с министром финансов фон Крозигом. Гитлер справился вначале у Крозига, каким образом можно улучшить ситуацию с иностранной валютой. Когда Крозиг не дал вразумительного ответа, он обратился ко мне:

— Что бы сделали вы, господин Шахт, если бы были министром финансов?

Я ответил сразу и прямо:

— Никогда бы не делал закупок больше, чем имею средств на оплату, и покупал бы как можно больше у тех стран, которые покупают у меня.

Мы расстались в этот день без принятия какого-либо решения. 26 июля 1934 года мне неожиданно позвонили, вызвав на беседу с Гитлером в Байройт, куда он поехал на музыкальный фестиваль. Там я встретился с господином фон Папеном, которого, как и меня, неожиданно вызвали по телефону.

Сначала Гитлер побеседовал утром 27 июля с фон Папеном.

Через некоторое время фон Папен вышел и сказал мне, что выразил готовность ехать послом в Вену.

Затем к Гитлеру пригласили меня, он сообщил, что у него из головы не выходит наш последний разговор.

— Из-за болезни федеральный министр господин Шмитт не вернется к исполнению своих обязанностей. Мне нужно подыскать кого-нибудь на этот пост, и хотелось бы спросить вас, господин Шахт, не могли бы вы в дополнение к своим обязанностям председателя Имперского банка заняться также руководством министерства экономики?

Снова я столкнулся с трудным решением. Направления, по которым развивалась партия, манера ее боссов вмешиваться во все сферы управления, их стремление захватить в свои руки как можно больше власти, их вражда к евреям, выставление ими церкви на посмешище — все это становилось так же очевидным для меня, как и для всего остального мира. И я горячо осуждал это. Отвратительнее всего были события, связанные с путчем Рема четыремя неделями раньше. В какой позиции, спрашивал я себя в то время, можно начать обуздание или предотвратить злоупотребление властью в правительстве и партии? Оставалась одна, и только одна, возможность работы изнутри. Это возможность использования самой правительственной деятельности для борьбы с эксцессами системы и направления ее политики по верному пути. В качестве министра экономики я располагал бы большими возможностями осуществить свои идеи на практике, чем в ранге председателя Имперского банка.

Я выразил в принципе согласие принять предложение, но хотел прояснить предварительно один вопрос.

— Прежде чем принять новую должность, мне хотелось бы знать, как, по вашему мнению, я должен вести себя с евреями?

— В экономических вопросах евреи могут вести себя так же, как до сих пор.

Я запомнил этот ответ и приводил его позднее, когда имел случай обсуждать вопрос о преследованиях евреев Гитлером. Будучи главой министерства экономики, я защищал каждого еврея от нанесения ему незаконного экономического ущерба со стороны партии.

Глава 42

ОПЛОТ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Я приступил к руководству министерством экономики буквально через четыре недели после мятежа Рема. В это время я был слишком погружен в выполнение своих обязанностей, чтобы уделять особое внимание революционным тенденциям в какой-либо из партийных фракций. Поэтому оставался в неведении относительно всех подробностей, касавшихся подготовки этого заговора: фактически сообщения прессы о путче застали меня врасплох.

Накануне вечером мы с женой ожидали на ужин доктора Геббельса с супругой. Мой секретарь несколько раз звонил в дом Геббельсов справиться, что случилось, но не получал ответа.

В маленьком докторе, который оказывал через министерство пропаганды пагубное влияние не только на немецкий народ, но также на Адольфа Гитлера, я инстинктивно чувствовал своего врага. Он ненавидел меня. В его представлении экономика была необходимым злом. Разумеется, он никоим образом не мог позволить, чтобы экономист в правительстве лишил его звания «первого интеллектуала».

Из своей нелюбви втягиваться в ненужные интриги и вражду я пригласил его на ужин, но, как уже упоминалось, он не пришел. На следующее утро я узнал причину его невежливости. В Мюнхене и окрестностях был подавлен под руководством Гитлера путч со стороны верхушки штурмовых отрядов СА. Погибло много людей, часть которых не имела ничего общего с СА.

Теперь известно, что в то время состоялся конфликт, в ходе которого одна группа, возглавляемая Гитлером и включавшая также Геринга, Гейдриха, Гимmlера и Геббельса, обезвредила другую группу. Тот факт, что отдельные сатрапы извлекли выгоды из этого события, чтобы разрешить свои личные междоусобицы и добавить их на общий счет, придает мрачный оттенок всему этому делу.

Узнав первые подробности, я содрогнулся. В периоды консолидации вслед за скрытой гражданской войной такие события, возможно, неизбежны. Что меня насторожило, так это ложь и увертки, при помощи которых извращались и замалчивались факты.

Хотя погибли сотни людей — и среди них мюнхенец, неверно опознанная жертва, — Гитлер в речи в рейхстаге от 3 июля 1934 года назвал цифру погибших всего в семьдесят семь человек. Даже среди этих семидесяти семи были лица, которые явно не имели отношения к мятежу Рема.

В учебнике по истории, вышедшем через год, вместо объективного рассказа об этом событии вообще приводится замечание, что Гитлер как «верховный судья немецкого народа» подверг заговорщиков заслуженному наказанию. Если замечание, что Гитлер является верховным судьей немецкого народа, подразумевало абсолютную, внесудебную власть над жизнью и смертью отдельных граждан, то это было воистину чудовищное утверждение. Я не мог не сказать Гитлеру, когда встретился с ним после этого события:

— Как вы можете брать на себя ответственность за определение судьбы человека без какой-либо юридической процедуры? Независимо от обстоятельств вы должны санкционировать проведение судов, даже если они касаются суммарных судебных разбирательств.

Любопытно, что Гитлер воспринял вопрос спокойно, отделавшись несколькими неубедительными отговорками.

Еще более возмутило меня, что такой человек, как министр юстиции Гюртнер, которого я знал как справедливо мыслящего человека, должен был внести в правительство законопроект, согласно которому расстрелы 30 июня признавались «законными». Эти убийства и казни не могли быть законными. Не было ни одного законного предписания, которое поддерживало бы подобные акции. Можно было бы объявить амнистию, но не выдавать ложь за правду.

Эти последние события указали мне яснее, чем когда-либо, путь, которым мне надо было следовать. Я должен любыми средствами поддерживать правду и справедливость, где бы это ни требовалось, в правительстве или в моем министерстве и Имперском банке.

Я начал искать союзников — но где их можно было найти? Военные безропотно восприняли тот факт, что был убит генерал Шлейхер, один из выдающихся представителей их корпуса. Гражданские министры признавали расстрелы 30 июня законными. Центристские политические партии сообща и отдельно распускались по собственному желанию. Фон Папен произнес в мае 1934 года в Марбурге смелую речь, в которой открыто предостерег слушателей против высмеивания христианских принципов, как это принято в партии у сторонников Гитлера. Но после того как ему тоже угрожали 30 июня, он подал в отставку из правительства и с поста вице-канцлера, а через несколько недель был назначен послом в Вену.

Можно ли было рассчитывать на помощь со стороны социал-демократов? На открытии нового германского бундестага в 1948 году бывший министр, социал-демократ Пауль Лебе в качестве почетного председателя начал вступительную речь с упоминания героического сопротивления социал-демократов во время «последней сессии рейхстага» 23 марта 1933 года. В этот день Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) действительно единодушно проголосовала против благоприятствующего акта. Но господин Лебе преднамеренно дезориентировал слушателей, когда называл эту сессию «последней сессией рейхстага». Последняя сессия рейхстага состоялась 17 мая 1933 года, и на ней произошли весьма любопытные события.

Господин Северинг, свидетель на Нюрнбергском трибунале, и господин Россмманн, депутат от СДПГ, бывший свидетелем во время суда по денацификации надо мной, констатировали, что с самого начала считали Гитлера канцлером войны. Вся борьба на выборах 5 марта 1933 года, — так заявлял Россмманн, — велась социал-демократами под тем лозунгом, что избрание Гитлера означало открытие пути к войне. 17 мая 1933 года те же самые социал-демократы пришли в полное согласие с Гитлером. На этой сессии Гитлер добился специального вотума доверия по вопросу о своей внешней политике. В этой связи социал-демократы не только *не* про-

голосовали против Гитлера, но даже не воздержались. Они вместе с другими партиями в рейхстаге голосовали за доверие внешней политике Гитлера. Тогда они явно пришли к заключению, что Гитлер *не* являлся канцлером войны. Какой поддержки я мог ожидать от социал-демократов?

А церковь? Разве католическая церковь не примирилась с Гитлером посредством конкордата? Разве 20 августа 1935 года конференция епископов в Фульде не телеграфировала Гитлеру: «Епископы, собравшиеся в Фульде перед предстоящей конференцией, шлют вождю и канцлеру германского рейха свои заверения в преданности и уважении, которые согласно Божественному повелению мы обязаны передать держателю высшей власти и авторитета в государстве»?

Преступление в Потемпе, сотни убийств 30 июня 1934 года и все другие злодеяния не помешали конференции епископов выразить лояльность и уважение инспиратору этих акций.

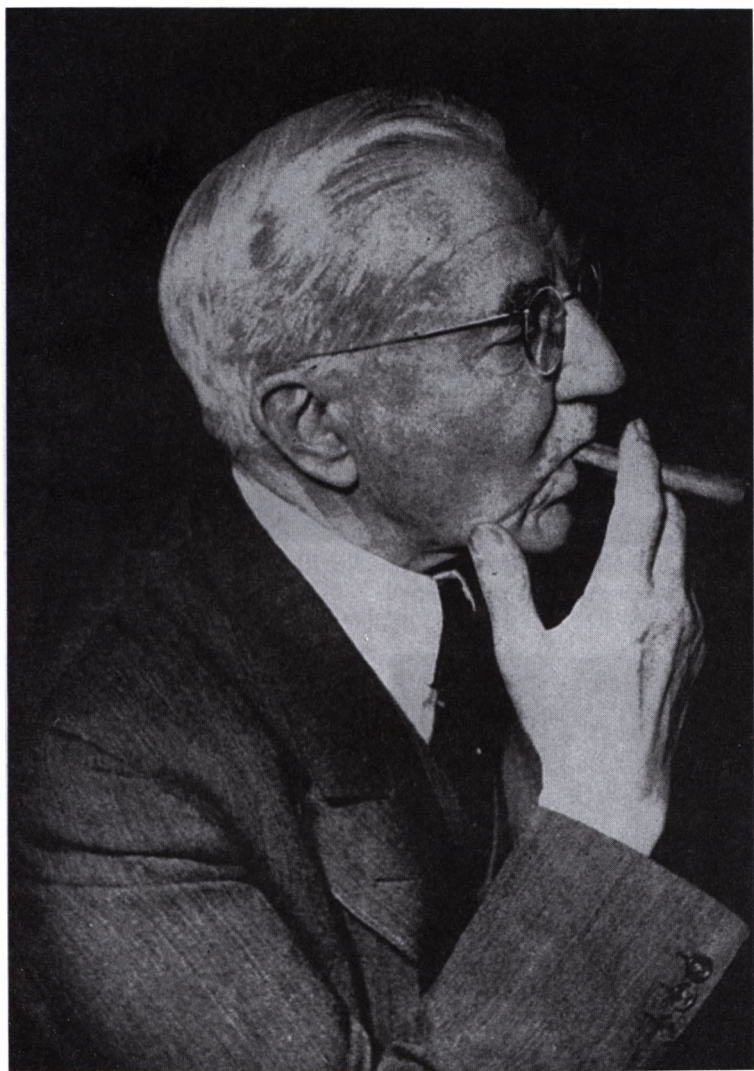
Отличалась ли от католиков евангелическая церковь? 27 июля 1934 года после переговоров с Гитлером епископы этой церкви опубликовали следующую декларацию:

«Воодушевленные величественным событием, когда главы немецкой евангелической церкви собрались вместе в присутствии канцлера рейха, они единодушно подтверждают свою безусловную лояльность Третьему рейху и его фюреру. Руководители церкви осуждают в самых решительных выражениях все инсинуации критиков государства, нации и движения, которые несут угрозу Третьему рейху».

Оставались только деловое и научное сообщества. Но лидеры делового мира принимали во внимание лишь то, что при новой власти они освободились от тревог, связанных с обеспечением их предприятий рабочей силой и социальным обеспечением рабочих. Ученые же погрузились в свои дела и исследования.

Еще более безнадежными с точки зрения сопротивления режиму были эмигранты, а также те, кто, настаивая на своих убеждениях, не был готов идти ради них на жертвы.

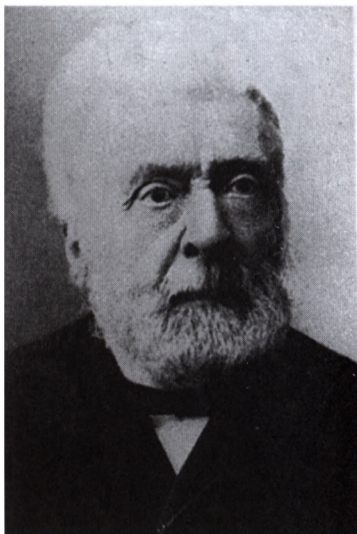
Вскоре я хорошо понял, что могу ожидать мало помощи от третьих лиц в борьбе за справедливость и достоинство. Тем не менее я не собирался следовать другим путем. И я уверен, что ни на мгновение не отступал от своего пути.



Человек с сигарой



Прадед, Кристиан фон Эггерс



Дед Шахта по отцовской линии



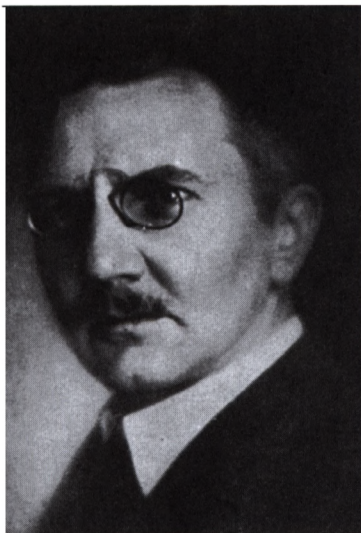
Отец, Вильгельм Шахт



Мать, Констанца, баронесса фон Эггерс



Студент Шахт в 1895 году



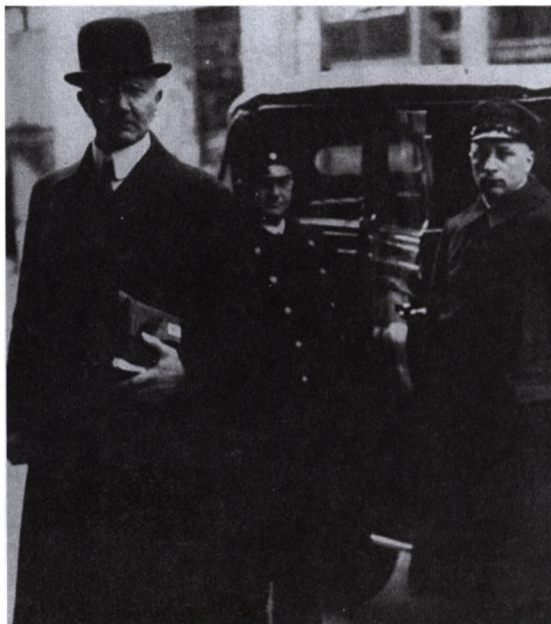
В начале нового века: доктор философии, журналист, экономист



Со старшей дочерью, родившейся в 1903 году



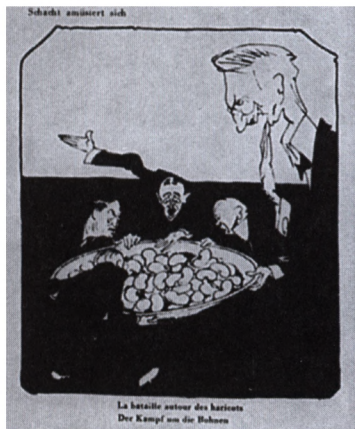
С первой женой Луизой и их сыном Йенсом, родившимся в 1910 году



На фоне Имперского банка, председателем которого он был. Позади шофер Ризель, который служил ему много лет



Карикатура, опубликованная в Muenchner Illustrierte Presse, изображающая участие Шахта в конференции по плану Янга



Знаменитая карикатура в Auh Escoutes 18 мая 1929 года

E r n e n n u n g s u r k u n d e

Gemäß den Vorschriften des Bankgesetzes vom
30. August 1924 in der Fassung des Gesetzes vom 13. März
1930 wird

Herr Dr. Hjalmar Schacht

auf Grund der heute erfolgten Wahl hiermit vom 17. März,
1933 ab auf die Dauer von vier Jahren zum Präsidenten
des Reichsbank-Direktoriums ernannt.

Berlin, den 17. März 1933.

Berlin, den 16. März 1933.

Die Mitglieder des Generalrates

Der Reichspräsident:

Paul Hindenburg

Dr. Hjalmar Schacht
Franz Mendelssohn
Dr. Wassermann

Der Reichskanzler:

Adolf Hitler

Dr. Hjalmar Schacht
Dr. Mendelssohn
Dr. Wassermann
Dr. Varburg

Подписи под письмом о назначении Шахта председателем Имперского банка. Подпись Гитлера рядом с подписями трех еврейских банкиров - фон Мендельсона, Вассермана и Варбурга



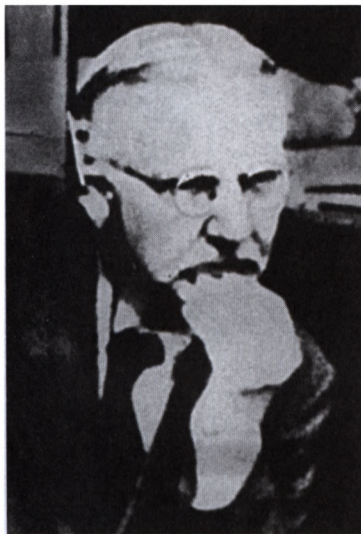
Шахт и Гитлер в 1934 году на церемонии закладки первого камня в фундамент нового здания Имперского банка



В тюрьме, после ареста агентами гестапо в 1944 году



В зале суда Нюрбергского трибунала



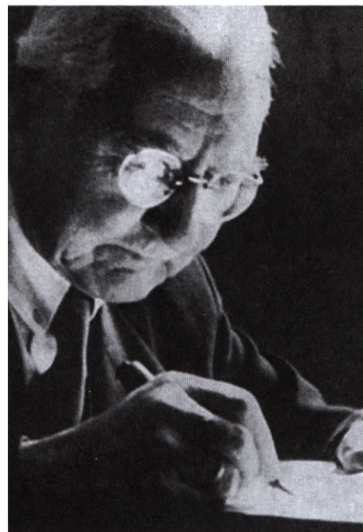
**На скамье подсудимых
Нюрнбергского трибунала**



**Во время двухлетнего заключения
властями Вюртемберг-Баварии**



Шахт с младшими дочерьми



За работой над мемуарами



Перед своим домом в Мюнхене вместе с женой и бывшим премьер-министром Хайдерабада Мирзой Исмаилом



Генерал Нагиб советуется с доктором Шахтом по экономическим вопросам

2 августа 1934 года я приступил к работе в качестве главы министерства экономики. И прежде всего я созвал руководящих работников министерства и призвал их судить справедливо и беспристрастно, не допускать никакого партийного вмешательства. Я буду поддерживать любого сотрудника, который придерживается этого принципа. Мое министерство должно быть оплотом справедливости.

Снова и снова мне приходилось подкреплять свои слова делами как в Имперском банке, так и в министерстве. Когда коллега по Имперскому банку Халс подвергся нападкам в *Sturmer* за свое еврейское происхождение, я вынудил Гитлера санкционировать публичное опровержение и принести извинения моему коллеге. Когда управляющего филиала Имперского банка в Арнсвальде публично обругали за то, что он покупал товары у еврейских торговцев, и было невозможно добиться публичного же извинения, я пошел на закрытие филиала до тех пор, пока на одиннадцатый день гауляйтер Арнсвальда не согласился публично извиниться и наказать виновного чиновника. Когда глава отдела Шперл и постоянный секретарь министерства экономики Шнивинд предстали перед общественным прокурором по обвинению в нарушении так называемого Закона об измене, я пригрозил отставкой, если оба этих человека не будут немедленно освобождены и с них не будут сняты все обвинения. Когда на сотрудника Имперского банка, домовладельца, поместили в прессе карикатуру в связи со спором вокруг аренды, я не успокоился до тех пор, пока с честью не разрешил это дело. Это всего лишь несколько примеров, которые сохранились в памяти.

Я не ограничивался защитой сотрудников своих ведомств, но также атаковал. Сразу после первоначального выступления на собрании сотрудников министерства экономики я послал за господином Готфридом Федером, которого Гитлер ранее назначил госсекретарем в министерстве. Я сообщил ему, что его связи с министерством прекращаются в день моего вступления в должность.

— Но, господин министр, я намерен лояльно сотрудничать с вами.

— Возможно, господин Федер, но я не готов к этому.

После этого Федер удалился. Он останется в памяти как изобретатель «легковесной валюты».

Через несколько дней после моего вступления в должность министра Гиммлер прислал ко мне своего адъютанта Кранефуса, который заявил:

— Мой шеф, глава СС, поручил сообщить вам, господин министр, что он не желает видеть вас во главе министерства экономики. У руководителя СС совершенно иной подход к экономике. Вы встретите сильную оппозицию и недовольство со стороны СС. Поэтому господин Гиммлер советует вам добровольно покинуть пост министра и вручить фюреру прошение об отставке. В этом случае господин Гиммлер готов не чинить вам препятствий на посту председателя Имперского банка.

— Дорогой господин Кранефус, — ответил я, — ваше сообщение весьма интересно. К сожалению, я не могу пойти навстречу пожеланиям господина Гиммлера, поскольку на должность меня назначил сам канцлер. Сообщите, пожалуйста, господину Гиммлеру, что имеется два способа отстранить меня от должности. Во-первых, уговорить канцлера пересмотреть свое назначение. Я немедленно подчинюсь его приказу. Во-вторых, застрелить меня спереди, поскольку я не позволю, чтобы в меня стреляли сзади.

— Я передам ваши слова руководителю СС с большим огорчением. Вы непременно навлечете на себя неприязнь СС из-за этого.

— Естественно, я очень сожалею об этом, господин Кранефус. Но даже в этом случае могу я попросить господина Гиммлера оказать мне услугу?

— Какую именно?

— Я постоянно вижу двух солдат в форме СС перед дверью своего кабинета. Полагаю, это охрана, предоставленная моему предшественнику, господину Шмитту, в его звании группенфюрера СС. Попросите, пожалуйста, господина Гиммлера отозвать этих охранников.

На следующий день охрана исчезла.

Аналогичный инцидент произошел через два года. Господин Кеплер, которого я уже упоминал несколько раз, имел наглость заявить одному из моих сотрудников, что больше не нуждается в том, чтобы следовать моим указаниям, поскольку фюрер вскоре «выгонит» меня. Я ответил ему в виде циркуляра для штатных сотрудников министерства, в котором запретил им вести дела с господином Кеплером, а швей-

царам — пропускать его в здание. Поскольку Кеплер был личным советником Гитлера по экономическим вопросам, а его кабинет находился рядом с кабинетом Гитлера, эта мера была довольно опасной. Через несколько лет Кеплеру удалось отплатить мне за это в вопросе об австрийских шиллингах.

Кроме того, мне пришлось противостоять некоторое время неприятностям, которые чинил министр внутренних дел господин Фрик. Однажды он издал приказ, по которому ни один служащий-масон не должен был получать повышения по службе или занимать ответственную должность. Мой ответ был, как всегда, краток и по существу. Я сообщил господину Фрику, что не в состоянии заставить своих подчиненных выполнять этот приказ, поскольку сам, будучи масоном, возглавляю Имперский банк. Мой отказ не повлек за собой никаких последствий. С этого времени я отличал и использовал всех масонов в штате учреждения согласно их квалификации и характеру.

В другой раз я сообщил министру внутренних дел о своем фундаментальном подходе к кадровым вопросам, поскольку постоянно замечал, что партийные боссы пытались распространять свое дурное влияние на деятельность персонала моих ведомств. Я писал Фрику:

«Положение работника становится невыносимым в государстве, в котором сотрудник в принципе не может ничего предпринять вопреки воле партийного начальства. Для государства опасно назначать людей без специальной профессиональной подготовки на официальные посты и должности исключительно на основании членства в партии. Такая практика имеет тенденцию привлекать на официальную службу людей, которые из-за отсутствия знаний и способностей не могут придать такой службе какой-либо авторитет».

Подпись, которую президент рейха поставил на документе о назначении меня министром экономики, была последней официальной подписью Гинденбурга. Вначале она представляет собой жирные размашистые штрихи, во второй своей части — неровные линии, нанесенные дрожащей рукой. 2 августа президент скончался. 1 августа Гитлер уже заставил кабинет принять резолюцию о совмещении в его лице постов

канцлера и президента рейха. Эта резолюция была утверждена на плебисците 19 августа. По мнению американского прокурора Нюрнбергского суда, этот день стал реальным началом абсолютного деспотизма.

Глава 43

НОВЫЙ ПЛАН

Две мои должности обеспечивали мне полную занятость. Я начинал утро в Имперском банке и около полудня перемещался в министерство на улице Унтер-ден-Линден. Туда со мной приходила моя секретарша фрейлейн Штеффек. В течение трех лет моего отсутствия в Имперском банке она работала в департаменте статистики и ждала моего возвращения. Коллеги иногда подшучивали над ней, но она реагировала на это без обиды.

В то время ее прозвище СС часто смущало ее, поскольку напоминало СС (Schutzstaffeln — охранные отряды) Гиммлера. Но оно имело совершенно другое происхождение. Когда она сопровождала меня в 1924 году в поездке на конференцию в Лондон, одна газета прокомментировала важную роль, которую играли для немецкой делегации женщины-секретарши. Их называли «улыбающимися рабынями» (smiling slaves), которые выполняли свои обязанности с неизменным удовольствием. Начальные буквы этих слов, поразивших мое воображение, пристали к ней в виде прозвища.

Как и я, она решительно и откровенно сопротивлялась всем партийным посягательствам. Однажды, когда я был в очередной раз в Лондоне, позвонил один партийный эксперт, очевидно пожелавший съездить в Лондон и потребовавший в связи с этим определенную сумму в английских фунтах.

— С какой целью? — поинтересовалась фрейлейн Штеффек.

— Нам нужно вылететь в Лондон с очень важной телеграммой для доктора Шахта.

— Телеграмма в Лондон стоит пять марок. Вы можете оплатить ее на немецкой почте за немецкие деньги.

— Текст телеграммы носит закрытый характер.

— Тогда воспользуйтесь шифром, — сказала невозмутимо Штеффек. — Отправьте ее в зашифрованном виде в немецкое посольство. Это быстрее и дешевле, чем доставка на самолете.

«Штабной чин» звонил несколько раз, но ему не удалось уговорить СС.

В выполнении обязанностей министра экономики Гитлер предоставил мне такую же свободу и независимость, какой я пользовался в качестве председателя Имперского банка. Он ничего не смыслил в экономике. Пока я поддерживал торговый баланс и обеспечивал страну иностранной валютой, он не утруждал себя выяснением того, как я это делаю. До осени 1936 года Гитлер пресекал любое вмешательство в мою деятельность. Однако затем появился так называемый второй четырехлетний план, который вскоре привел к моей отставке с поста министра экономики.

Значительную часть моей иностранной валюты потреблял министр сельского хозяйства Дарре, вполне приличный малый, но больше философ, чем практик. Многие из его идей, такие как наследственное фермерское хозяйство, контролирование рынков, аннулирование фермерских долгов, стабилизация цен, борьба с расточительством и т. д., были разумны и успешны. Что не удалось Дарре, так это удовлетворить потребности страны в продовольствии за счет отечественного производства. Для этого Германия была слишком мала и недостаточно обеспечена природными ресурсами. Значительную часть наших продовольственных потребностей поневоле приходилось удовлетворять за счет импорта, для которого требовалась иностранная валюта. Между нами разразилась настоящая эпистолярная война. Однажды мне пришлось отвергнуть его запрос, закончив свое письмо словами: «Я не могу, как фокусник, доставать деньги из шляпы!»

Мировой экономический кризис серьезно сократил германский экспорт. Каждая страна за океаном и в Европе стремилась уменьшить импорт увеличением тарифов, ограничением квот или запретами на импорт. Тот факт, что Германия отставала в платежах по процентам на иностранные долги, побуждал отдельные страны реквизировать собственные платежи за импортируемые германские товары, хотя эта проблема касалась не государственных, но исключительно частных денег. Это вызывало также постоянное уменьшение поступлений в Германию иностранной валюты.

Я должен был как можно скорее найти способ активизации внешней торговли, который гарантировал бы получение Германией сырья и продовольствия. В сентябре 1934 года

вступила в силу моя программа внешней торговли, получившая известность с этих пор как новый план. Он представлял собой централизацию торговли, посредством которой импорт принудительно регулировался в зависимости от наличия платежных средств. Было создано двадцать пять центров надзора, которым поручили контролирование товарооборота во внешней торговле. Иностранные векселя, подлежащие оплате наличными или для расчетного счета, резервировались для санкционированных импортных сделок.

Такой порядок предусматривал создание широкого контрольного механизма и наличие большого числа чиновников, я выразил глубокое сожаление, когда он был вынесен на общий суд. Я сказал, что этого невозможно избежать, и выразил надежду, что вскоре можно будет восстановить нормальные условия торговли. С рядом зарубежных стран были заключены торговые соглашения, в рамках которых германские закупки в этих странах кредитовались по компенсационному счету и данные страны призывались использовать эти кредиты для закупок на германских рынках. Такая система особенно активно практиковалась в торговле с балканскими и южноамериканскими странами. Весной 1938 года соглашения о компенсационных счетах действовали в торговле не менее чем с двадцатью пятью странами, так что более половины германской внешней торговли осуществлялось через эти каналы. Посредством такой двусторонней торговой системы Германия смогла удовлетворять свои потребности в сырье и продовольствии.

Из-за такой политики я подвергался резким нападкам за рубежом. Она, конечно, противоречила прежним концепциям международной торговли и принципу наиболее благоприятствуемой нации. Ученые разных стран клеймили эту систему за отказ от хорошо известной всем экономической теории. Однако для меня больше значило не соответствие моей теории классической традиции, но то, что немецкий народ должен быть обеспечен необходимыми средствами для жизни. Сегодня, когда весь мир думает и действует в понятиях двусторонних договоров, читателю трудно представить смятение, которое породила торговая политика Германии в 30-х годах.

Подорвав концепцию частной собственности, навязав военные контрибуции, непосильные для экономики, дискри-

минируя немецкую политэкономия различными средствами по всему миру, отрицая свободу немецких предпринимателей передвигаться и жить за рубежом, навязанный Германии мир — все это потрясло сами основы, на которых строилась традиционная экономическая доктрина. Я испытал глубокое удовлетворение, когда во время открытия экономической конференции Британского Содружества 4 октября 1946 года — через несколько дней после моего оправдания в Нюрнберге — председатель Британской торговой палаты сэр Стаффорд Криппс заявил: «Шахт не примет участия в какой-либо из дискуссий на этой конференции, но его дух мы все ощутим. Вопрос состоит в том, сможет ли развиваться международная торговля, в частности торговля Великобритании, до необходимого уровня без внедрения на практике идей Шахта».

В 1936 году национал-социалистическая Германия достигла апогея своего международного престижа. Со всеми ограничениями, навязанными Версальским договором, было покончено. Несмотря на все трудности, теперь Германия располагала сбалансированной экономикой. Олимпийские игры, которые в этот год проводились в Берлине, привлекли огромное число иностранных гостей и представляли собой непрерывную череду блестящих празднеств, организованных не только с большим великолепием, то также с безупречным вкусом и совершенной организованностью. Это приписывают доктору Геббельсу, который в данном случае хорошо знал, что надо делать. Не важно, касалось ли это больших мероприятий на стадионах, куда зрители приглашались посмотреть театральные представления, или планов проведения экскурсий по местам достопримечательностей — все носило на себе печать необычности, причем без назойливого блеска. Помимо спортивных состязаний, венцом всего явился вечерний праздник на открытом воздухе на Павлиньем острове, расположенном на реке Гавел между Ванзее и Потсдамом. Остров связывал с берегом реки мост из лодок. Когда гости ступали на мост, их приветствовали по обеим сторонам девушки, одетые, как пажы, во все белое с бриджами до колен. Огромный парк на острове расцветивала иллюминация, в нем расставили бесчисленные столики, за которыми могло уместиться более тысячи гостей, обслуживавшихся служанками в белом. Особо подобранная музыка и воистину фантастический фейерверк создавали праздничное настроение. В каче-

стве сувенира каждый гость получал живописный подарок от фарфоровой фабрики Берлина.

Публичные появления Гитлера в эти дни тоже были образцовыми. Какие бы речи он ни произносил, они были умеренными, мирными и дружественными в отношении других народов.

Новый план хорошо работал не только для Германии. Все другие страны, с которыми были заключены двусторонние соглашения, переживали деловую активность, поскольку находили в Германии растущий рынок для своих товаров. Особенно это касалось поставок сельскохозяйственной продукции и сырья с Балкан, что вело к улучшению экономических условий в этих странах.

В 1936 году я совершил поездку на Балканы с целью консолидации позиций взаимной торговли.

В ходе этой поездки на меня произвело наибольшее впечатление далекоидущее культурное влияние на Балканы германского характера и обычаев. Как и в 1930 году, я видел, что в Румынии все образованные группы населения понимали по-немецки. Также и в Югославии хорватское население продолжало демонстрировать прежнюю тенденцию ориентации на Вену в вопросах языка, живописи, литературы и науки.

В Белграде германский посол фон Герен организовал вечерний прием с участием министра и ведущих представителей делового сообщества, на котором я разъяснил новую торговую политику Германии. Я подчеркнул, что целью Германии не является держать такие страны, как Югославия, на уровне аграрных держав. Со стороны индустриально развитых стран было бы большой ошибкой выступать против постепенной индустриализации аграрных государств. Потребность таких государств развивать промышленность вполне естественна и понятна. Конечно, они должны начинать с более простых предприятий, таких как чугунолитейные и алюминиевые заводы, а не автомобильные и часовые. Такое развитие не нанесет вреда индустриальным государствам: будет постепенно изменяться только природа аграрного экспорта. Чем выше будет уровень жизни в аграрных странах благодаря промышленному развитию, тем больше будет у них потребностей. Их

покупательная способность будет приносить пользу промышленно развитым странам.

Мне доставил истинное удовлетворение энтузиазм, с которым аудитория встретила эту речь, включая премьер-министра.

Поздней осенью того же года я совершил вторую поездку, на этот раз в Анкару и Тегеран. Вторая поездка, похожая на предыдущую, оказалась особенно интересной, поскольку ознакомила меня с двумя странами, нащупывавшими путь к демократии через диктатуру.

Глава турецкого государства Кемаль Ататюрк не смог встретиться со мной сразу по моем прибытии, поскольку лежал с простудой в постели. Два последующих дня были заполнены экономическими дискуссиями и социальными мероприятиями. На следующий вечер министерство иностранных дел дало ужин с присутствием дам. На часок-другой зашел премьер-министр Иненю, мы много пили, ели и разговаривали. Уже было поздно, когда разговор перешел на тему национальных танцев. Высокопоставленный чиновник турецкого правительства занял место в центре зала и исполнил сольный номер из непривычных для нас восточных танцев, которые состоят исключительно из последовательности ритмических движений. Мне сказали, что это один из турецких национальных танцев, и попросили показать немецкий танец. Я танцевал вальс, но он не был принят, поскольку вальс уже давно стал интернациональным танцем. Под влиянием момента я попросил оркестр сыграть «Тирольскую мелодию» и вместе с одной из немецких дам в качестве партнерши выполнил несколько разворотов, что было воспринято как немецкий образец танца и вызвало бурное ликование.

На третий и последний день нашего визита президент принял меня в своем дворце, несмотря на простуду, следы которой явно проступали на его лице. Я чувствовал себя довольно неловко во время этого посещения по весьма прозаической причине. Мне сказали, что Ататюрк предпочитает крепкие напитки и любит угощать своих гостей. Я же еще со студенческих лет отказался от алкоголя. Я почти не пью и избегаю любой возможности употреблять спиртные напитки, поскольку с трудом сохраняю при выпивке трезвую голову, а в данном случае это было особенно важно. Поэтому я об-

радовался, когда нам подали вначале кофе и пирожные. За этим последовала, однако, жидкость молочного вида в довольно больших бокалах. По виду это был хорошо известный арак.

Бывают моменты, когда внезапное появление чего-то неприятного и страх перед этим производят любопытный эффект. Во всяком случае, я нервничал, но решил не поддаваться. Призвав все свое мужество, я взял бокал, попробовал жидкость на вкус и выпил — это был чудный лимонад, которым я был обязан простуде своего хозяина. Мое внутреннее равновесие было восстановлено.

Состоялась продолжительная беседа об экономических проблемах, стоящих перед Германией и Турцией; из нее я вынес впечатление, что в комнате присутствовал диктатор, который полностью осознавал пределы своей власти и отказывался рассматривать непрактичные и утопические предложения. Вместо следования идее халифата он сосредоточил свои усилия на разрешении небольшой турецкой, чисто турецкой, проблемы. И достиг успеха.

На следующее утро мой пилот фон Гессель повел наш самолет из Аданы над узкими ущельями Тавра. После промежуточной посадки в Алеппо мы продолжили безостановочный полет через Пальмиру в Багдад и далее в Тегеран.

В это время персидского шаха не было в Тегеране. Он совершал инспекционную поездку по северу страны. Поскольку он выразил желание встретиться, мы поехали в Решт.

Реза-шах правил Персией с 1925 года. Его семья принадлежала к мелкопоместной знати, сам он был полковником русской армии, когда сверг последнего представителя династии Каджаров и захватил трон. Он пытался внедрить в сознание населения Персии фашистский дух и создать соответствующие организации с этой целью. Нам показали примеры этого в виде парадов мальчиков и девочек, одетых в униформу.

Реза-шах добился власти и утвердился в ней крайне жестокими средствами, его министры испытывали перед аудиторией животный страх. Через несколько месяцев после моего визита министр финансов, с которым у меня сложились особенно дружеские отношения, впал в немилость и в результате покончил жизнь самоубийством.

Министр иностранных дел напомнил нашему послу:

— Вы знаете, конечно, и, я надеюсь, господин Шах знает тоже — один поклон перед дверью, другой в дверном проходе и третий за дверью.

Наш посол успокоил его:

— Не тревожьтесь, это не первый монарх, которому наносит визит господин Шах.

Шах встретил меня с расprostертыми объятиями и лишил меня возможности отвешивать поклоны. Очень скоро мы нашли общую тему разговора. Разговор происходил на французском языке, переводил министр иностранных дел. Говорили главным образом об экономической обстановке в стране. Восемнадцатилетний наследник, только что вернувшийся из школы-пансионата в Швейцарии, присутствовал на беседе. В ответ же на мой вопрос, изучал ли он там немецкий язык, последовал лишь краткий ответ: «Нет». Когда я уходил, шах поднял руку в фашистском приветствии. Снова не случилось трех поклонов — одного внутри комнаты, другого в дверях и третьего за дверью.

Позднее, после полудня, мы поехали на восток вдоль побережья Каспийского моря в отель в Рамсаре, принадлежавший шаху и умело управляемый швейцарцем. Идея шаха состояла в том, чтобы создать фешенебельный приморский курорт в середине Каспийской Ривьеры. И действительно, там имелись возможности для такого курорта, который стал бы для всего Среднего Востока чем-то вроде Ниццы во Французской Ривьере. Климат и ландшафт отличались своеобразной прелестью. Однако требовались систематические и энергичные меры по борьбе с москитами, и я в ответ на просьбу шаха дал ему несколько полезных советов по этому вопросу.

Планы создания Ривьеры на Среднем Востоке были порушены Второй мировой войной. Наши утренние купания в Каспийском море дали нам возможность предвосхитить, что можно было сделать в этом месте.

В то время, однако, 18-летний наследник, давший отрицательный ответ на мой вопрос о знании им немецкого языка, не знал того, что он, как преемник отца на Павлиньем троне, женится на персидской принцессе, которая провела свое детство в Берлине и была дочерью немецкой матери. Когда я посетил Тегеран в 1952 году, то смог удостовериться, что супруга шаха говорила по-немецки столь же бегло, как моя жена и я.

Глава 44

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ О КАРТИНАХ

В вопросах живописи Гитлер претендовал на роль непрекаемого знатока, что связано, возможно, с его первоначальным намерением стать художником или архитектором. Он склонялся больше к оценке сути картины, чем мастерства художника. Гитлер проявлял постоянный интерес к Дому немецкой живописи в Мюнхене, который он построил взамен Стеклянного дворца, уничтоженного пожаром. Моя нынешняя жена, бывшая пять лет старшим научным сотрудником Дома немецкой живописи, могла более часто наблюдать признаки этого интереса, чем его опытные министры.

Скудные знания Гитлера по истории живописи отчетливо проявились в связи с картиной, которую он прислал мне на шестидесятилетие. Дар представлял собой работу Шпицвега под названием «Только мысли не облагаются налогами», которая изображала дилижанс, застрявший перед зданием таможни, с пассажирами и таможенниками, суевившимися вокруг. Картину обрамляла позолоченная рамка, к которой прикрепили небольшую пластинку с поздравительной подписью Гитлера.

Едва взглянув на картину, сияющую лакировкой, я сказал жене: «Совершенно определено, что картина не является подлинником».

Из знакомства с довольно многими работами Шпицвега я знал, что с годами на его холстах образовывались крохотные трещины, толщиной не больше волоса. В картине, подаренной Гитлером, их не было — она была гладкой, как атлас.

Я узнал, что эту картину для Гитлера приобрел Генрих Гофман. Он был личным и официальным фотографом фюрера.

Первое, что я предпринял, — это получил подтверждение специалистов, что картина, несомненно, является подделкой. Затем господин Цинкграф, известный в Мюнхене торговец живописью, помог мне найти владельца оригинала. Я повидался с ним и узнал несколько поразительных фактов. Оригинал, на который я смотрел, был написан кистью на холсте, подделка — на деревянной основе. Позднее я добыл неоспоримое доказательство того, что искомая древесина представляла собой экзотический вид, который не импортировался в Германию до 1900 года, в то время как картина датировалась

1870 годом. Кроме того, размеры подделки отличались от оригинала.

По нашему мнению, однако, наиболее любопытная особенность картины состояла в том, что краски оригинала ни в коей мере не совпадали с красками подделки. Затем при помощи моего друга в Мюнхене мы смогли установить, что много лет назад фирма Hanfstaengl опубликовала репродукции картин Шпицвега, включая ту, что находилась в моем распоряжении. Но сотрудники фирмы не смогли найти оригинал картины и ориентировались на черно-белую репродукцию, которую художник, подрядившийся выполнить работу, произвольно раскрасил без ведома издателей. Когда руководство фирмы Hanfstaengl узнало об этом, оно немедленно изъяло репродукцию из продажи. Одна из копий неправильно раскрашенной репродукции, однако, где-то сохранилась, поскольку моя подделка была выполнена с нее.

Итак, мы имели дело с подделкой, выполненной с подделки. Самым примечательным во всем этом было то, что напрашивался не особо лестный вывод о компетентности в сфере живописи Адольфа Гитлера, а также его советника и агента Гофмана.

Между тем я не мог устоять перед соблазном сообщить Гитлеру, что его подарок был подделкой. Гитлер явно расстроился и велел мне вернуть картину, но рамку с его подписью я оставил у себя. Через несколько месяцев Гитлер сообщил мне, что на самом деле картина подлинная: он получил письменное подтверждение эксперта об этом. Я попросил прислать мне данный сертификат, однако так и не получил его.

Вся эта история, должно быть, умерла бы естественной смертью, если бы не было возбуждено дело о подделках, в котором фигурировало не менее сорока трех подделок Шпицвега, включая мою картину. Суд обнаружил, что мелкий копировщик переписывал картины без всякого злого умысла по заказу какого-то дельца и что художники Мюнхена снабжали подделки подписью Шпицвега. В ходе судебных заседаний выяснилось также, что сертификат, упомянутый Гитлером, был сделан мошенником и приобретен у него Гофманом.

Господин Гофман сообщил мне письмом, что Гитлер хочет прислать мне другую картину взамен первой. Я ее так и не получил. Забавно, однако, добавление Гофмана о том, что он

не имел ничего общего с этим делом. Честно говоря, я и не думал, что он имел к этому какое-то отношение. Я вставил его письмо в золоченую рамку Гитлера и повесил в своей комнате вместо картины Шпицвега.

Вот еще одна забавная история о картинах. Когда фельдмаршал Бломберг праздновал сорокалетие своей службы в армии, я прочитал в газете, что Национал-социалистическая партия преподнесла ему написанный маслом портрет Блюхера.

Через несколько дней друзья-масоны прислали мне три фотографии. В сопроводительном письме сообщалось, что подаренная работа была копией портрета Блюхера, оригиналом которой владела в Мюнстере, Вестфалия, ложа «Три стропила».

На этой картине «маршал Вперед» был запечатлен в качестве магистра мюнстерской ложи. Позади алтаря, где лежала открытая Библия с мечом поверх, высилась фигура Блюхера с полными масонскими регалиями. С фартуком вокруг талии, с голубой лентой, на которой был выведен устав плотника, поперек груди, с вытянутой рукой, держащей молоток магистра, сам же молоток упирается в поверхность алтаря, стоящего рядом с циркулем и другими масонскими эмблемами.

Антиквар, который приобрел копию картины, вероятно, решил, что в таком виде картину невозможно продать. Поэтому он просто замазал краской масонские аксессуары. Фартук, лента, молоток исчезли. Оставалось одно неудобство: достопочтенный Блюхер указывал пальцем вниз на пустое пространство, что не имело объяснения.

В то время как первая фотография показывала картину в оригинальном виде, вторая воспроизводилась в изменениях, описанных выше. Но, боже мой, циркуль все еще оставался лежать на столе, что выглядело очень подозрительно. Библию можно было не трогать — ее можно воспринять как любую другую книгу, а меч, лежавший поверх нее, придавал картине желаемый воинственный колорит. Циркуль же должен был исчезнуть! Поэтому он тоже был замазан, и наконец — как было изображено на третьей фотографии — картина освободилась от оскорбительного содержания и выставлена на продажу.

Мне подумалось, что Бломберга позабавит трансформация, происшедшая с картиной, поэтому я описал ему в письме всю историю и приложил к ней фотографии. Но Бломберг

воспринял это всерьез. Он передал все фото заместителю фюрера Рудольфу Гессу, который сделал доклад шефу. В результате Гесс написал Бломбергу двухстраничное письмо, в котором, в частности, говорилось:

«Тот факт, что картина находилась первоначально в собственности масонов, а масонские знаки были замазаны, меня столь же поражает, как и вас... Очевидно, нельзя считать, что подарок имеет какую-то связь с отношением вермахта или партии к масонству.

То, что Блюхер был масоном, тоже не имеет значения, поскольку в то время, насколько известно, масонство ни преследовало целей, опасных для нашего народа, ни было, по всей вероятности, вовлечено в такой степени в международные альянсы, как теперь...

Должен признаться, что мне доставило большое удовольствие узнать, что портрет великого прусского полководца больше не находится в распоряжении масонов, но принадлежит вермахту. Меня особенно радует то, что партия стала инструментом — хотя и неосознанно — изъятия картины у тех, кто явно злоупотреблял ею, и передачи ее наиболее достойному собственнику.

Есть, однако, и другая сторона вопроса, а именно: каким образом партии пришлось заплатить за эту картину цену, соответствующую стоимости старой исторической работы, в то время как она была взята у первоначального собственника — ложи — без компенсации. Я распорядился разобраться в этом вопросе. Возможно, когда ложа была распущена, заинтересованные лица продали ее имущество государственным учреждениям. Если кто-то нажился на этой сделке, я прослежу за тем, чтобы его наказали, а выручку передали в Фонд спасения от зимних холодов.

Буду признателен вам, если вы доведете эти мои замечания до тех, кто вам пишет или будет писать по этой проблеме, особенно до бывших масонов».

Даже Рудольф Гесс не мог отрицать тот факт, что Блюхер, герой прусской истории и наиболее решительный противник диктатуры Наполеона, был «подлым масоном».

Знал ли Гитлер о музыке больше, чем о других видах искусства, мне так и не удалось выяснить, поскольку я не осо-

бо компетентен в музыке. Никогда не замечал, чтобы Гитлер был поклонником Баха или Бетховена, хотя могу утверждать, что он слушал «Мейстерзингера» Вагнера сотню раз. Во время обеда, когда я сидел рядом с министром экономики Функом, оркестр играл мелодию Франца Легара. Функ заметил:

— Фюрер особенно любит музыку Легара.

Хотя эта реплика исходила от Функа, который сам весьма увлекался музыкой, мне не показалось, что Гитлер обладал развитым вкусом в музыке. Я воспользовался случаем и пошутил:

— Жаль, что Легар был женат на еврейке.

На это Функ немедленно отреагировал:

— Лучше фюреру не знать об этом.

— Наоборот, господин Функ, вам следует проинформировать об этом фюрера.

— Нет, нет, только не это.

— Но, господин Функ, вам нужно это сделать, иначе в нем разовьется дурной художественный вкус.

Глава 45

РАЗНОГЛАСИЯ С ПАРТИЕЙ

С самого начала у меня не сложились отношения с партией. До работы в правительстве Гитлера я редко встречался с партийными функционерами. Старательно избегал партийных общественных мероприятий и посещал официальные собрания только тогда, когда не мог от них отделаться. Когда я случайно встречался с честным, порядочным членом партии, то старался поддерживать с ним знакомство. К сожалению, эти ответственные и трудолюбивые люди были менее заметны, чем хвастуны, нахалы и карьеристы, которых я часто раздражал своими саркастическими замечаниями, хотя и без особого успеха. Большинство из них явно не соответствовали интеллектом своим официальным должностям.

Мое нежелание поддаваться запугиваниям и резкие речи определенно помогали противостоять открытому вмешательству и требованиям партийных чиновников, но мне не всегда удавалось нейтрализовать интриги, которые плели за моей спиной. Да, Гитлер помогал мне в противоборстве с его при-

верженцами, но таким способом, чтобы они лишь терпели меня, и никогда не требовал от них сотрудничества со мной.

Весной 1937 года я воспользовался случаем посетить церемонию в Палате ремесел Берлина, в ходе которой ученикам присваивалась квалификация. Благодаря интригам лидера Трудового фронта доктора Лея Гитлер накануне вечером распорядился запретить мероприятие, на котором я должен был выступить. На следующее утро мне пришлось пригрозить Гитлеру отставкой, чтобы церемония состоялась. Вести о кознях Лея получили широкую огласку, и большой зал наполнили тысячи людей.

В своей речи я привел ряд аргументов против «философии», при помощи которой партия развращала молодежь. В частности, я говорил:

«Ни одно сообщество, и прежде всего государство, не может процветать без опоры на закон, порядок и дисциплину. Никакой порядок не сможет держаться на несправедливых принципах. Существует древнее латинское изречение: «Справедливость — фундамент царств» (*Justitia fundamentum regnorum*). В Библии это выражено следующими словами: «Праведность воодушевляет народ». Праведность, справедливость непримиримо противостоят всякой классовой розни. Поэтому вы должны не только уважать справедливость и закон, но обязаны противостоят несправедливости и беззаконию, где бы их ни встречали. Будьте открытыми и честными, не бойтесь правды. Другая замечательная притча говорит: «Стремись к правде до смерти, и Господь поможет тебе» (Экк., 4: 28). Это означает, что всякий, кто стоит за справедливость, порядочность и правду, будет чувствовать себя наделенным Божественной силой».

Я никогда не пренебрегал возможностью защищать людей, находящихся под моей юрисдикцией или вне ее. Если председатель Торговой палаты подвергался нападкам со стороны партии, он мог быть уверенным, что я сохраню его в занимаемой должности. Если партия угрожала государственным банкам и другим финансовым учреждениям, находившимся в моем ведении, то можно было заранее сделать вывод, что обидчикам это не пройдет даром. Я заботился о том, чтобы многие масоны либо продолжали службу, либо назначались на различные должности. Самую сложную проблему пред-

ставлял собой еврейский вопрос, о чем я должен рассказать подробнее.

В речи на обеде управленцев в Бремене 14 февраля 1936 года я сделал несколько саркастических замечаний по поводу разрушительных методов, которыми партия стремилась переделать мир. Я призвал партийных функционеров утешаться мыслью, что философия, которая неспособна завоевать мир в течение трех лет, может все-таки представлять некоторую ценность, добавив, что нельзя называть негодяем человека, который в течение трех лет не принял эту новую философию. Ссылаясь на тысячелетия истории Германии, я говорил языком, выразившим силу традиций:

— Мне особенно приятно видеть молодежь, уважающую возраст, что имеет место на этом банкете. Я говорю это не без ссылки на сегодняшний день, когда порой кажется, будто молодые воспитывают стариков вместо того, чтобы было наоборот.

По окончании этой речи Гиммлер, тоже присутствовавший на банкете, немедленно распорядился запретить публикацию ее текста в газетах. Оспорить меня словом в момент произнесения речи он не посмел.

Враждебность партии не могла, однако, помешать моим попыткам повести Гитлера по правильному пути. 3 мая 1935 года я принял участие в круизе на борту лайнера «Шарнхорст» Северогерманских линий Ллойда вместе с Гитлером, группой министров и их окружением. Перед встречей с Гитлером я подготовил краткий меморандум по важным для меня вопросам и вручил документ ему лично. Разумеется, я формулировал меморандум сообразно менталитету фюрера. Если я желал добиться от него каких-либо результатов, то должен был стать как можно ближе к его уровню.

Гитлер прочел документ и сразу послал за мной, чтобы объяснить отсутствие необходимости для меня смотреть на вещи столь трагично, — с течением времени, по его мнению, все образуется.

В меморандуме от 3 мая 1935 года, в частности, говорилось:

«1. Церковь

Официально Третий рейх опирается на христианство, поскольку церковь поддерживается государством. Далее, следует отметить стремление правительства объединить немецкие

церкви, насколько это возможно, на почве германских традиций. До сих пор не предпринято никаких законодательных мер для достижения этой цели, был назначен только имперский епископ (государственный епископ), вынужденный прибегать к незаконным мерам, которые только провоцируют сопротивление глав различных религиозных конфессий. Представителей духовенства подвергают арестам, обращаясь с ними как с уголовниками, что наносит ущерб их престижу и здоровью, и все это без малейшего обоснования. Чересчур усердные фанатики позволяют себе оскорблять и обижать представителей большинства существующих конфессий, которым государство не оказывает защиты, хотя обязано это делать. Эти обстоятельства вызвали сильнейшее негодование, особенно в англосаксонских и скандинавских странах, также потому, что они ранят чувства католиков в этих странах. Они породили далекоидущую неприязнь к Германии, которая во многих случаях выразилась в отказах иметь какие-либо деловые отношения с нашей страной.

2. Еврейский вопрос

...То, что обострило еврейский вопрос, так это опять же необузданная вражда против отдельных евреев не только вопреки закону, но также в нарушение четкого правительственного указа, который гарантирует возможность евреям заниматься предпринимательством. Бешеное преследование отдельных евреев под руководством или с ведома партийных групп, а также неспособность государства предпринять эффективные меры противодействия этому вызывают усиление еврейского бойкота германских экспортных товаров. Ведь каждый инцидент, даже самый малый, преувеличивается и широко оглашается за рубежом...

3. Гестапо

Ни один серьезный политик не будет отрицать роль гестапо как органа защиты против коммунизма и других сил, враждебных государству. Однако деятельность гестапо выходит за эти рамки: многочисленные аресты, отправка в концентрационные лагеря и т. д. происходят часто даже без знания задержанными лицами того, за что их арестовали, и нередко без наличия вины арестованного человека, по одному лишь подозрению. Верно, что министр внутренних дел

издает приказы, согласно которым такие аресты не разрешаются, но этим он только делает из себя посмешище, потому что гестапо не обращает никакого внимания на такие приказы. Семьсот лет назад Великая хартия вольностей гарантировала англичанам личную свободу, а через триста лет Закон о неприкосновенности личности объявил, что ни один британский гражданин не может быть арестован без предъявления ему обвинения и без права на судебное разбирательство. С тех пор право на личную свободу и требование справедливого суда считаются величайшей прерогативой цивилизованного человека. Вопреки этому действия гестапо навлекают на нас презрение всего мира, и это презрение может перейти в открытую враждебность, если — как уже случилось — гестапо будет бросать вызов международному праву и другим странам».

Не думаю, чтобы кто-нибудь еще в окружении Гитлера указывал ему столь же прямо и откровенно на ошибки и просчеты его системы. И это произошло в 1935 году, то есть через два года после его прихода к власти.

Его туманные заверения после ознакомления с моим меморандумом не удовлетворили меня. Я пошел дальше и на открытии 18 августа 1935 года Восточной ярмарки в Кенигсберге (Восточная Пруссия) выступил с речью, которая произвела широкий резонанс, получив название «кенигсбергская речь».

Я прекрасно сознавал, что из-за враждебности партии подвергаю себя величайшей личной опасности. Американский посол господин Додд писал в своих мемуарах, что я однажды вошел в его комнату со словами: «Я все еще жив».

Тот же посол навестил меня в декабре 1937 года, как раз перед своим отъездом в Нью-Йорк, и настоятельно попросил меня ехать с ним в Америку. Когда я, несколько удивленный, спросил его, почему он пришел с таким предложением, он ответил:

— Доктор Шахт, мне наверняка известно, что у СС есть приказ покончить с вами.

— Господин Додд, — ответил я, — весьма благодарен вам за заботу обо мне, но я не могу заставить себя эмигрировать. Сделаю все возможное, чтобы обезопасить себя от СС. Если не удастся, что ж, я погибну — вот и все.

Глава 46

КЕНИГСБЕРГСКАЯ РЕЧЬ

Моя первая публичная критика политики партии состоялась на открытии ярмарки в Кенигсберге. На мероприятии присутствовали несколько представителей других стран, в частности из Восточной Европы. Ярмарку было принято открывать речью какого-нибудь представителя министерства экономики. В этот раз я решил съездить сам, но никому не говорил о содержании своего выступления, хотя каждое его слово было тщательно обдуманно заранее. Поскольку почти все мои речи печатались в собственной типографии Имперского банка, я уже имел по приезду в Кенигсберг готовую копию выступления.

Меня не удивило, что вступительную речь должны были транслировать по радио Германии. Так было принято на подобных мероприятиях. Никто не ожидал чего-либо сенсационного.

Я говорил ясно и отчетливо и начал уже выражать неодобрение нападок партии на масонов и евреев, когда обергруппенфюрер СС Бах-Зелевски и два его компаньона в эсэсовской форме поднялись со своих мест среди слушателей и стали пробираться к выходу. Я оторвался от текста и хотел было сказать: «По коридору, господа, вторая дверь справа», когда вспомнил, что выступаю перед микрофоном. Поэтому перестал обращать внимание на уходящих господ и закончил речь без перерыва. Когда я покинул подиум, чтобы вернуться на свое место, мой сосед, гауляйтер Эрих Кох, заметил:

— Братец, братец, тебе предстоит тяжелый путь. (Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang.)

Я пожал плечами и утешился мыслью, что оказался в доброй компании с Мартином Лютером. В то же время осознал, что отныне буду считаться открытым противником партии.

Сразу после церемонии открытия я продиктовал письмо Гиммлеру, главе СС, протестуя в самых энергичных выражениях против поведения его обергруппенфюрера в присутствии исполняющего свои обязанности министра рейха и требуя его увольнения. Через несколько недель я с удовлетворением узнал, что господин Бах-Зелевски, хотя и не был наказан по-настоящему, все же был переведен в Силезию.

Теперь на сцену выступил Геббельс. Содержание моей речи ему, конечно, передали. Ее трансляция по радио была свершившимся фактом, но еще возможно было предотвратить ее публикацию в газетах. Речь все же появилась в прессе, с купюрами всех резких фрагментов.

Я не собирался принять эту изуродованную версию своего выступления и напечатал 10 тысяч копий его в Имперском банке. Затем выложил их на стойки наших отделений по всей стране. Спрос на копии был поразительным. Пришлось печатать их выпуск за выпуском — каждый в 10 тысячах экземпляров. Они расходились среди публики, постепенно достигнув общего числа 250 тысяч экземпляров.

На речь обратила внимание почти каждая зарубежная газета. Лондонский Economist писал: «Нельзя сомневаться в смелости господина Шахта... Стрелы, нацеленные на него руководством нацистской партии, пролетели в опасной близости от цели. Кенигсбергская речь в прошлое воскресенье представляла собой яростную контратаку на партию».

Датский же поэт Кай Мунк писал: «Дайте нам закон для евреев в нашей стране — вот нынешний лозунг Шахта, звучащий на всю Германию и являющийся прямым вызовом Геббельсу. Шахт или Геббельс, выбор между этими двумя именами. Кем и каким будет Гитлер, зависит от этого выбора».

Как известно, речь фон Папена в Марбурге привела к его временному аресту во время путча Рема в 1934 году, хотя он не имел к нему никакого отношения. Меня интересовало, что готовится лично для меня за кенигсбергскую речь. Я подверг критике идеи партии и ее представителей. Снесут ли они ее безропотно?

Имея в виду экономическую политику в представлении газеты *Völkischer Beobachter*, авторитетного партийного органа, я критиковал отсутствие в ней оценки трудностей наших финансовых проблем: «Какие усилия следует приложить в финансовой и экономической сферах для решения этой задачи — вот о чем не имеют ни малейшего представления эти легкомысленные дилетанты. Крупная газета, например, упоминает новую идею дать технической науке приоритет над бизнесом, согласно которой бизнес следует принудить идти в ногу с развитием технической науки, даже если ему суждено будет задохнуться в этой гонке. Автор, видимо, полагает,

что астма является особым стимулом для роста производства. Какое сердце трепетно не откликнется на такие фразы: «Флаг значит больше, чем банковский счет» или «Нация, а не национальная экономика имеет первостепенное значение». Такие сентенции обезоруживающе точны, но какая от них польза для экономиста в практической работе? Когда я недавно привлек внимание к тому, что в германскую экономику не следует вносить смятение, я прочел, что вопрос о мере, рассчитанной на смятение национальной экономики, является признаком либерализма. Мое предположение, что способность нашей нации к самозащите предполагает концентрацию всего — а под всем я имею в виду наши экономические и финансовые усилия, — отмели замечанием, что в настоящее время только старые бабки спрашивают с испугом: кто заплатит за все это? Рискуя получить ярлык старой бабки, я хочу подчеркнуть со всей убежденностью, что вопрос о том, как реально осуществить задачу, порученную нам, вызывает у меня серьезное беспокойство. Приукрашивать серьезность задачи, стоящей перед Германией, несколькими дешевыми фразами не просто бессмысленно, это ужасно опасно».

В сфере внешней политики я также сделал серьезное предупреждение партийным шовинистам: «Нужно подчеркнуть, что самоуважение требует уважения к другим; что следование собственным традициям и обычаям не подразумевает презрения к традициям и обычаям других; что признание достижений другого народа служит росту собственных достижений. И что единственный способ победить в экономической конкуренции состоит в повышении качества производства, а не в использовании насилия и обмана».

Любопытно, что партия никак не отреагировала официально на мою кенигсбергскую речь. Не было предпринято никаких попыток предотвратить распространение ее 250 тысяч печатных копий. Нигде не было опубликовано никаких опровергающих статей.

Примерно через неделю после Кенигсберга мне пришлось встретиться с Гитлером по другому поводу. Он старательно избегал критических замечаний в адрес моей речи, из которой процитировал лишь одно предложение: «Господин Шахт, вы были совершенно правы, когда сказали в Кенигсберге, что мы «все в одной лодке».

Это укрепило во мне убеждение, что я должен продолжать свою агитацию в пользу умеренной и честной политики, и я убедил Гитлера предоставить мне возможность выступить по проблемам финансовой и валютной политики перед высшим партийным руководством на предстоящем партийном съезде. Я надеялся произвести хотя бы часть впечатления, которое оказал несколькими выступлениями на слушателей Военной академии, когда настойчиво доказывал, что существуют естественные лимиты для вооружения Германии со стороны ее ограниченных экономических возможностей.

17 сентября 1935 года с согласия Гитлера я выступил по данной проблеме на партийном съезде в Нюрнберге в присутствии гауляйтеров, рейхсляйтеров и других высших партийных чинов. Я указал, что финансовая помощь рейху со стороны Имперского банка должна уменьшиться и что дальнейшее вооружение должно финансироваться за счет налогов и кредитов. По проблеме сырья я подчеркнул, что восемьдесят три процента нашей внешней торговли обеспечивается за счет бартера, то есть товары обмениваются на товары, и что только семнадцать процентов нашего экспорта дают нам свободно конвертируемую валюту. Этот процент я определил как совершенно неадекватный. Отметил, что другие страны уже снабдили нас товарами в кредит на стоимость 500 миллионов марок, нам остается расплатиться с ними экспортными товарами промышленного назначения. Наконец, я еще раз указал на ущерб, который наносят нашему экспорту крайности партийной политики.

«Возобновление насилия в наших культурных и расовых конфликтах вызвало широкое и вполне понятное ухудшение отношения к нам зарубежного общественного мнения в последние несколько месяцев. И речь идет не только о евреях, которые контролируют значительную часть международной торговли сырьем. Это относится также к тем, кто делает выводы, неблагоприятные для нашего правительства, в результате наших расхождений с протестантами, католиками, иудеями и масонами».

Я закончил выступление следующие словами: «Поэтому крайне необходимо поставить методы разрешения расовых и культурных конфликтов на правовую основу и согласовать их с политическими и экономическими требованиями».

Когда я замолк, Гитлер попросил меня оставить его наедине с соратниками. Как он прокомментировал мою речь, сказать не могу. Во всяком случае, из некоторых высказанных мне суждений я сделал вывод, что он дал строгие указания участникам совещания не подвергать меня преследованиям. Позднее я предположил, что это распоряжение представлялось ему не более чем стратегическим конъюнктурным ходом.

Тем не менее я был рад возможности изложить свои взгляды высшим партийным функционерам непосредственно. Именно с этой целью я приехал в Нюрнберг всего на один день и не принял участия ни в каких других мероприятиях съезда.

Глава 47

ЕВРЕЙСКИЙ И ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРОСЫ

До 1930 года в Германии очень редко наблюдались признаки какого-либо политического антисемитского движения. Поскольку этих признаков было очень мало, то их следует отнести скорее к экономическим мотивам, чем к расовой неприязни мелкой буржуазии. Частыми были смешанные браки. В представительном буржуазном обществе еврей был желанным гостем.

Причину того, что Гитлер использовал антисемитизм для пропаганды своих целей, нужно искать в венском периоде его жизни. В Германии ему способствовало то, что во время Веймарской республики из Польши, Румынии и России в страну хлынуло непропорционально большое количество восточных евреев, представлявших собой большей частью сомнительный или даже нечистоплотный элемент. Они воспользовались политической сумятицей не только для того, чтобы нажиться на инфляции, но также для активного подкупа чиновников, которые поручали им осуществление своих сделок на черном рынке. Тем не менее антисемитизм никогда не был популярен среди немецкого населения даже в период правления Гитлера. Каждая акция, затевавшаяся против евреев партией, проводилась специально отобранными членами партии, огромная масса населения в таких эксцессах участия не принимала.

В деловой сфере, когда партия посягала на права отдельных евреев, я вмешивался в каждом случае, который попадал в поле моего зрения, и успешно заступался за евреев, пока занимал пост министра экономики. В ноябре 1935 года я выпустил министерский циркуляр главе Национальной промышленной палаты, который передали всем филиалам организации. В нем говорилось:

«14 октября я попросил вас проинформировать группы промышленников, что в преддверии грядущей переоценки позиции по евреям в промышленной сфере филиалам организации не следует предпринимать никаких мер в отношении еврейских фирм. Ваше сообщение, так же как и другие инциденты, побуждают меня рекомендовать Национальной промышленной палате проследить за тем, чтобы все промышленные руководители регионального или специального уровня воздерживались от мер, которые противоречат действующему закону или являются явными прерогативами правительства. Это особенно касается вопроса занятости евреев в промышленных отраслях. Отдельные акции в этой связи неоднократно запрещались правительством и руководством партии, и я лично не потерплю этого. Это особенно касается мер, которые имеют целью ограничить сферу свободного промышленного предпринимательства на основании тех или иных характеристик либо членства в организации, вызывая таким образом изменения в условиях промышленной конкуренции.

Требую от вас гарантий того, чтобы о всяком нарушении в этом отношении мне докладывали незамедлительно».

Даже если мне не удалось восстановить еврейских брокеров на работе в фондовой бирже, право присутствия на Берлинской бирже оставалось за евреями в течение всего периода моего пребывания в должности. Мне также удалось осуществить и гарантировать, что вплоть до 1937 года включительно проспекты правительственных займов, предлагаемых для подписки многим банкам, также предоставлялись еврейским банковским фирмам Мендельсона, Блейхредера, Арнольда, Дрейфуса, Штрауса, Варбурга, Ауфхаузера и Беренса. Об этом объявили все крупные газеты.

Такая позиция вовлекла меня в конфликт с целой сворой гауляйтеров. Как пример ментальности этих типов при-

вою письмо, которое я получил от гауляйтера Мучманна, когда выступал от имени еврейской фирмы в Хемнице, которая подвергалась преследованиям и придиркам нацистской партии.

«Подтверждаю получение вашей телеграммы от 30 ноября 1936 года и выражаю удивление позицией, которую вы заняли в отношении неарийской фирмы «Кенигсфельд» в Хемнице. Эта позиция противоречит национал-социалистическому мировоззрению и саботирует, на мой взгляд, указания фюрера.

Поэтому прошу вас не вносить изменений в существующее положение, так как в противном случае я буду вынужден принять контрмеры, которые могут быть достаточно неприятными. Я воспользуюсь также случаем довести до сведения фюрера ваше отношение к этому делу самым ясным образом. Во всяком случае, я не намерен информировать подчиненные мне местные власти о ваших указаниях. Наоборот, придерживаюсь мнения, что ваша позиция характеризует вас как совершенно неподходящего человека на неподходящей должности».

Тон этого письма не только выдает невоспитанность. Он разнится от прямого обвинения в «противоречии национал-социалистическому мировоззрению», чего, по мнению Мучманна, достаточно для лишения моего вмешательства всякого морального оправдания, до «контрмер, которые могут быть достаточно неприятными», то есть до прямой угрозы насиле-ем. Письмо заканчивается в характерной для него вульгарной манере.

Тем более удивительным является то, что, когда я приехал в Хемниц урегулировать некое дело, гауляйтер Мучманн предпочел там не появляться.

Другой пример иллюстрирует правовую неразбериху, созданную партией во внутренней политике. Власти округа Гиссен отменили разрешение на торговлю еврейскому предпринимателю. На мои указания не чинить препятствий деятельности фирмы я получил ответ гауляйтера Шпренгера, не менее инфантильный, чем его коллеги Мучманна. При содействии министра внутренних дел Фрика мне удалось побудить даже секретную полицию выполнять мои указания,

на что гауляйтер Шпренгер ответил созданием собственной полицейской силы в пику секретной полиции.

Чтобы достичь полного взаимопонимания с партией ввиду роста числа посягательств на еврейские фирмы, я предложил провести дискуссию по данному вопросу заинтересованным министрам, а также представителю партии. Дискуссия состоялась в большом зале заседаний министерства экономики в присутствии нескольких министров и гауляйтера Вагнера (Мюнхен), представлявшего партию вместе со многими другими ее членами, а также государственных чиновников. Зал был забит людьми до отказа. Лишь только я припомнил во время суда надо мной в Людвигсбурге подробности этой сессии, как один из моих бывших сотрудников выступил под присягой со следующим заявлением:

«В своих бесконечных, крайне язвительных замечаниях доктор Шахт постоянно использовал в отношении партии выражение «варварская», так что министр внутренних дел Фрик выступил с протестом против чересчур резкой манеры доктора Шахта выражаться. Заседание длилось почти два часа. Позиция доктора Шахта была настолько агрессивной, что — помимо осторожных возражений со стороны Фрика — никто не набрался смелости выступить против него. Наконец произошел инцидент, о котором у меня до сих пор остались живые воспоминания и который снова пролил яркий свет на отношение доктора Шахта к партии. Один из молодых чиновников, представившийся сотрудником министерства пропаганды, ввязался в спор с доктором Шахтом напрямую. Он привел случай, когда Шахт публично защищал одного из своих штатных сотрудников, которого отругала партийная газета за сделку с еврейским торговцем. Он охарактеризовал поведение доктора Шахта как неуместное. Любые разногласия по еврейскому вопросу между правительством и партией должны разрешаться между ними самими, а не выставляться публике в такой манере. Доктор Шахт позволил ему высказаться, а затем обрушился на него со всей страстью. Он, Шахт, публично заступился за своего подчиненного, который подвергся прямым нападкам со стороны партии, и будет продолжать поступать так впредь. Он будет защищать своих сотрудников. Действия партии в упомянутом случае, по его словам, были подлыми, варварскими и постыдными. Каждое яростно произнесенное слово пронеслось эхом по всему залу, где царил мертвая тишина».

Один мой крещеный друг-еврей рассказывал мне, что антисемитизм основан на том, что христиане не могут простить евреям распятия Спасителя. Этот взгляд представляется мне крайне наивным. Христиане не питают неприязни к другим религиям. По-моему, есть единственный фактор, который делает евреев непопулярными. Это отнюдь не религиозная антитеза. Скорее, это то, что благодаря своим способностям еврей, где бы он ни жил в нееврейской среде обитания, стремится внедряться в интеллектуальную и культурную элиту этого сообщества. Даже в Германии процент евреев, которые стали рабочими или ремесленниками, крайне мал. Никто не был против свободы действий евреев в торговле и промышленном производстве. Но когда в юридической и медицинской профессиях оказывается необычно высокий процент евреев, когда большинством театров, прессой, филармониями руководят евреи, тогда это выглядит вторжением чуждого элемента в духовную жизнь коренной нации. Все вышеупомянутые профессии осуществляют цивилизаторское влияние. А цивилизация в исторической перспективе коренится в религии. За исключением недавно образованного государства Израиль нет другого государства, которое опирается на иудейскую религию. Поэтому нация, цивилизованность которой коренится в христианстве, стремится сохранить христианство как основу цивилизации и воспрепятствовать чуждым элементам внедриться в свою культурную жизнь.

Как показывает история многих государств, пока евреи не осознают этот факт, они будут сталкиваться с трудностями.

Я утвердился в христианстве с юности без предрассудков и нетерпимости. Мои религиозные убеждения не менялись с семнадцати лет, когда я составил собственное мнение по этому вопросу. Несколько лет я придерживался точки зрения, что религия может обходиться без церкви. Поэтому, когда женился, решил, что могу пренебречь церковной церемонией. Лишь благодаря своему уважаемому учителю Гансу Дельбрюку я осознал свою ошибку.

Если мораль, право, справедливость и цивилизация возникают из религии, невозможно представить себе государство, которое не выражает свой религиозный характер в том или ином виде. В церкви может быть много недостатков, она может

время от времени исправлять или менять свой внешний облик, но как сила и опора государства она необходима.

Общее религиозное исповедание важно для любого сообщества. Одно из наиболее коварных и вредных утверждений состоит в том, что религия — частное дело. Религия не может быть частным делом. Воплощенная в церкви, она образует фундамент каждого государства и каждой нации.

Для европейских наций с благополучием государства связаны христианское учение, личность Христа, проповедь христианской любви к ближнему. Любовь к ближнему распространяется также на приверженцев других религиозных вероучений — магометан, иудеев, буддистов, конфуцианцев, язычников. Государство гарантирует им полную терпимость и защиту. Но оно не может разрешить им занять такие позиции, с которых они будут оказывать влияние, позволяющее направлять духовную жизнь и мораль общества по направлениям, отличным от христианского. Религия — не частное дело: это краеугольный камень государства.

Осознание этого привело меня к добровольному участию в свадебной церемонии в церкви через несколько лет после нашего гражданского брака, и я никогда не сомневался в правильности этого решения.

У меня была масса возможностей продемонстрировать это убеждение при гитлеровском режиме. Нападки партии на церковь ясно показали мне опасность озверения, которое могло бы произойти, если бы эти происки увенчались успехом. Я не раз имел возможность обсуждать эти вопросы с Гитлером и мог напомнить следующие его заявления: «Я всегда говорил Розенбергу, что нельзя нападать на женщин и священников...»

В другой раз Гитлер вспомнил, когда говорил Розенбергу: «Не вмешивайся в эти вопросы, Розенберг. Ты не пророк и не основатель религии».

Сомневаюсь, чтобы Гитлер питал какие-нибудь искренние религиозные чувства, несмотря на его частые взывания к Провидению. Вероятно, он рассматривал эти вопросы исключительно с точки зрения борьбы за власть. Вот почему он позволял своим последователям нападать на церковь — он не хотел их терять.

За несколько недель до Рождества 1938 года меня пригласили на чай в семью, которая оказывала большую помощь

Гитлеру в те дни, когда он еще боролся за власть. Согласно принятому в доме обычаю я должен бы написать что-нибудь в книгу посетителей. Я написал: «Всякая сила ничего не стоит, кроме моральной силы».

Через несколько недель Гитлер посетил хозяйку этого дома и записал в книге посетителей, что это было самое прекрасное Рождество в его жизни. Это было после аншлюса Австрии и Судетской области. Затем он пролистал несколько страниц назад, увидел мою запись, немного промедлил, хлопнул ее и (как рассказывала мне впоследствии хозяйка дома) сердито бросил ее на стол.

Партийным бонзам, разумеется, не нравилось, что я открыто демонстрировал свою принадлежность к церкви и часто ездил в церковь Дахлема в правительственной машине, чтобы присутствовать на службе пастора Нимеллера. Хотя церковь находилась всего в пяти минутах ходьбы, мне доставляло большое удовлетворение видеть, как машина с правительственным флагом останавливается более чем на час на парковке перед церковью.

В декабре 1936 года Национальный комитет по церквям прислал мне вопросник, касающийся моего отношения к церкви, и переслал мой ответ в форме памфлета конфессиональной церкви в целях церковных выборов. Мой ответ был сформулирован таким образом: «Считаю пропаганду, ведущуюся определенными кругами против конфессиональных церквей, одним из факторов, наиболее вредящих национальному единству Германии и ее деятельности в остальном мире. Ведь мы были и остаемся зависимыми от остального мира в нашем экономическом, интеллектуальном и духовном существовании».

Через некоторое время я получил официальную телеграмму от Керля, одного из партийных министров и гуманиста с твердым характером. Керль был министром по делам церкви, а также министром планирования экологии, по причине чего его называли министром пространств и вечности. В его официальной телеграмме говорилось:

«Посылаю вам в конверте памфлет конфессионального фронта с вашим заявлением. Из памфлета вы можете убедиться, как заявления ведущих деятелей правительства используются оппонентами правительства в пропагандистских

целях в церковном конфликте. Опыт показывает, что таким образом затрудняется не только политика государства в сфере церковных отношений, но также воодушевляются и поощряются в своем упрямстве враги государства.

Я неоднократно замечал из других источников информации, что вы оказываете значительное влияние на устремления церковных групп. Поэтому буду вам очень обязан, если в будущем вы будете сдержаны в вопросах, касающихся церковной политики».

Я прекрасно понимал, что Керль, добрый и гуманный человек, написал это письмо при подстрекательстве определенных партийных кругов. Телеграмма, однако, предоставила мне благоприятный шанс уточнить свою точку зрения. Это следует из моего ответа:

«Цитата из памфлета, направленного мне, взята из телеграммы, которую я по просьбе адресата послал 5 декабря 1936 года Национальному комитету по церквям как официальному представителю евангелической церкви.

Если мне будет предоставлена возможность изложить свои взгляды по вопросам церкви в германском правительстве, то я особо подчеркну катастрофический эффект, который может произвести политика определенных партийных групп в этой связи».

Несмотря на мое положительное отношение к церкви, я никогда не был заинтересован в поощрении церковных разногласий. Я убежденный протестант, но всегда смотрел на общее исповедание двух конфессий в отношении христианской доктрины спасения как на существенное условие и всегда поддерживал любую попытку *сближения* между двумя церквями. Когда мы, бывало, обсуждали вопрос о единой церкви (*Una Sancta*) в лагере для интернированных Людвигсбурга, я всегда занимал активную конструктивную позицию. И в течение четырех лет пребывания политическим узником я всегда сознавал превосходство пасторской работы над проповедью. Меня всегда радовало то, что знавшие меня прелаты католической церкви никогда не отказывали мне в выражении сочувствия в худшие периоды суровых испытаний.

Когда замечательный человек, епископ фон Гален из Мюнстера, произносил проповеди против национал-социализма, получившие сразу широкую известность, я не замедлил открыто выразить ему свою поддержку. Когда его святейшество папа Пий XII послал мне приветствие с одним из своих епископов, я воспользовался случаем, чтобы совершить в декабре 1952 года поездку в Рим и попросить аудиенции его святейшества, которая была немедленно предоставлена. Я испытал большую радость от новой встречи с ним в приватной обстановке, в ходе которой просто выразил свое уважение и почтение этому церковному иерарху, не затрагивая ни одного жгучего вопроса современности. Это была просто встреча двух людей, оставившая во мне чувство глубокой благодарности и восхищения.

Глава 48

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Переворужение играло немалую роль в создании рабочих мест, хотя было бы неправильно утверждать, что создание рабочих мест зависело исключительно от гонки вооружений. Первая программа предусматривала лишь ремонт и восстановление зданий, заводов и оборудования. За ней последовала большая программа строительства автобанов. Далее во всех земельных округах начались работы по улучшению дорог, строительство новых зданий, гидротехнических сооружений, плотин и т. д.

Но причина того, что производству вооружений был вскоре отдан приоритет, заключалась не просто в политических целях режима, но также в том, что можно было разместить заказы среди большого количества существовавших заводов по всей стране, которые могли выполняться в равных пропорциях в каждой части рейха. Для строительства дорог, автобанов, плотин и тому подобных объектов нужно было перемещать рабочих из родных домов в места работ, вызывая нежелательные разлуки в семьях и неся большие расходы по их обустройству. Заказы же на производство вооружений для заводов по всей стране обеспечивали трудящихся работой в местах проживания и возможность не расставаться с семьями.

Среди неискоренимых глупостей, распространенных за рубежом, есть и та, которая упорствует в утверждении, будто я финансировал войну, преднамеренно замышлявшуюся Гитлером, а также необходимое для нее производство вооружений. Вся программа вооружений в той мере, в какой я способствовал ее финансированию, осуществлялась в соответствии с политической волей всех партий рейхстага. После прихода к власти Гитлер постоянно требовал ограничения производства вооружений во всех странах и соглашался на то, что Германия поступит так же, если другие страны примут эти требования. Снова и снова он указывал, что Версальский договор предусматривал разоружение держав-победительниц после того, как Германия действительно разоружится. На заседаниях Лиги Наций в Женеве вопрос о разоружении время от времени поднимался, иногда известные зарубежные государственные деятели указывали на необходимость разоружения союзных западных держав. Ни в один период своей истории Социал-демократическая партия не отрицала необходимости военных приготовлений в оборонительных целях.

С самого начала я не мыслил никакого производства вооружений, кроме тех, которые послужили бы защите нейтралитета Германии или отражению возможного нападения. На Нюрнбергском процессе Кейтель, преемник Бломберга в военном ведомстве, представил под присягой следующую таблицу ежегодных расходов на оборону:

В бюджетном году 1935/36	5 миллиардов марок
1936/37	7
1937/38	9
1938/39	11
1939/40	20,5

Из этого следующие суммы обеспечивались бюджетными ресурсами, то есть без привлечения дополнительных сумм из Имперского банка:

В бюджетном году 1935/36	1 миллиард марок
1936/37	3
1937/38	5
1938/39	11
1939/40	20,5

Из этого очевидно, что с конца бюджетного 1937/38 года Имперский банк больше не выплачивал и не выдавал кредитов рейху ни на один пфенниг.

Во время Нюрнбергского трибунала главный обвинитель от США ясно заявлял, что нельзя выдвигать обвинений против вооружений, не предназначенных для агрессивной войны.

С середины 1935 года я последовательно добивался ограничения производства вооружений. Ненадежные и неадекватные суммы, поступавшие в иностранной валюте, облегчали мою задачу. 24 декабря 1935 года я послал военному министру фон Бломбергу подробное письмо. Оно начиналось так:

«Вы ожидаете, что я предоставлю вам достаточные суммы в иностранной валюте для удовлетворения ваших нужд. Отвечая, я с сожалением констатирую, что в сложившихся обстоятельствах у меня нет для этого никакой возможности».

Впоследствии, в ходе многих министерских дискуссий, я постоянно стремился замедлить или ограничить гонку вооружений.

Мой четырехлетний период пребывания в должности председателя Имперского банка должен был истечь в середине марта 1937 года. Поскольку Гитлер намеревался назначить меня председателем на следующие четыре года, я стал размышлять, стоит ли мне вновь принимать эту должность. Я был готов сделать это только в том случае, если кредиты Имперского банка рейху будут прекращены раз и навсегда. Переговоры с министром финансов и военным министром привели к соглашению от 6 марта 1937 года, которое было достигнуто только потому, что я дважды давал понять господину Ламмерсу (начальнику Имперской канцелярии), что поручения, с которыми он приходил, бесполезны. Ламмерс приносил мне новый документ, продлевающий срок моего пребывания в должности. Дважды я отправлял его назад с уведомлением, что приму новое назначение только тогда, когда прекратится обмен валюты на мефо-ваучеры. Соглашение было составлено с учетом того, что Имперский банк обеспечит выдачу суммы в 3 миллиарда имперских марок в дополнение к 9 миллиардам, уже находящимся в об-

ращении. После этого, однако, мефо-ваучеры должны были прекратить существование.

Тем временем у меня была масса возможностей убедиться в ненадежности и неискренности Гитлера. Поэтому я сказал Ламмерсу, что готов выполнять это соглашение, пока не закончится выдача всех 12 миллиардов марок, но что приму продление срока пребывания в должности только на год. Если Гитлер со своей стороны не выполнит соглашения, то я оставлю свой пост в конце года. Таким способом мне удалось положить конец мефо-ваучерам. Я надеялся также, что положил конец дальнейшему вооружению.

Гитлер выполнил соглашение до последней буквы и в последующий год намеревался собрать деньги, договорившись о выпуске довольно крупных займов. В 1938 году министр финансов действительно выпустил два крупных займа, облигации которых раскупило население. Имперский банк рассмотрел дальнейшие возможности ограничения производства вооружений и порекомендовал выпустить облигации третьего займа, который был принят для продажи обычным банковским синдикатом, на полтора миллиарда марок. Теперь, однако, стало очевидным, что рынок капиталов истощился. Банки остались с полутора миллиардами марок на руках. Очевидное доказательство того, что при полной занятости рынка кредитов не останется в наличии денег для дальнейшей гонки вооружений.

2 января 1939 года я отправился на встречу с Гитлером в Оберзальцберге доложить о своих переговорах в Лондоне в декабре 1938 года. По этому случаю Гитлер сам сослался на финансовую ситуацию и сказал мне, что нашел способ собрать средства для покрытия государственных расходов. Я указал, что последний заем показал полное истощение рынка капиталов, и, более того, из так называемого возмещения евреями одного миллиарда марок, декретированного в ноябре, — первая четверть которого была добыта посредством вымогательства — только 170 миллионов марок были выплачены наличными. Оставшиеся 8 миллионов первой четверти министр финансов был вынужден принять лотами на недвижимость, ценными бумагами и прочим в качестве средства платежа. На это Гитлер заметил:

— Но мы ведь можем выпустить банкноты на основе этих ценных бумаг.

Теперь тайное стало явным! Я как-то говорил Гитлеру раньше: «Существуют только две причины, господин канцлер, которые могут обрушить национал-социалистический режим, — война и инфляция».

Я предполагал инфляцию в недалеком будущем. В то время я все еще полагал, что можно предотвратить возможность того, чтобы за инфляцией последовала война.

Я промолчал, а Гитлер продолжил:

— Когда я вернусь в Берлин, то попрошу вас и министра финансов встретиться со мной и обсудить этот вопрос, а также раскрою детали своих финансовых планов.

— Тогда, господин канцлер, перед тем, как состоится это обсуждение, может, вы позволите мне вручить вам заявление Имперского банка по этому вопросу.

Такое заявление, подписанное всеми восьмью членами совета директоров, было вручено Гитлеру 7 января. В нем говорилось:

«Валюте угрожает в значительной степени безрассудная политика расходов со стороны государственных властей. Безграничный рост расходов правительства обрекает на провал каждую попытку сбалансировать бюджет, ставит национальные финансы на грань банкротства, несмотря на ужесточение налоговых мер, и в результате оказывает пагубное воздействие на центральный банк и валюту. Не существует рецепта, финансового метода или денежного средства — какими бы они ни были изобретательными или хорошо продуманными, — не существует организации или меры контроля достаточно могущественной, чтобы сдерживать разрушающее влияние на валюту политики безудержных трат. Ни один центральный банк не способен сохранить стабильность валюты перед лицом инфляционной затратной политики государства. Во время двух экстенсивных операций, связанных с Востоком и Судетской областью, рост государственных расходов был неизбежным. Фактом является, однако, то, что с завершением этих акций не наблюдается признака уменьшения расходов. Наоборот, все указывает на преднамеренно планируемый рост расходов и, следовательно, становится настоятельной необходимостью привлечь внимание к влиянию этой политики на валюту страны. Нижеподписавшиеся члены совета директоров сознательно и с большим удовлетворением

служат великим целям, поставленным перед нами. Но сейчас достигнут предел, и они вынуждены призвать к прекращению трат».

Больше ничего не было слышно о предложении Гитлера встретиться со мной и министром финансов.

20 января 1939 года меня освободили от должности председателя Имперского банка.

Поскольку в Нюрнберге меня обвиняли только в связи с подготовкой войны — никаких обвинений относительно военных преступлений или бесчеловечного поведения против меня не выдвигали, — вердикт Нюрнбергского трибунала относительно моего участия в финансировании гонки вооружений особенно ценен. Последний параграф в решении о моем оправдании Международным военным трибуналом гласит:

«В 1936 году Шахт начал по финансовым соображениям выступать за ограничение программы вооружений. Если бы политика, которой он придерживался, была претворена в жизнь, Германия не смогла бы подготовиться к общей европейской войне. Настаивание на этой политике постепенно привело к его увольнению со всех важных экономических постов в Германии».

Глава 49

ГЕРМАН ГЕРИНГ

Герман Геринг был первым национал-социалистом, с которым я лично познакомился. Он происходил из буржуазной семьи, воспитывался в приличном окружении и получил образование в Военной академии. В годы Первой мировой войны он служил офицером и закончил ее капитаном люфтваффе. Отличался личной храбростью, не очень высокой культурой, но незаурядным умом. Пока он был вынужден жить скромно, в нем преобладали положительные черты характера.

Отрицательные качества Геринга стали развиваться, когда благодаря своему положению в партии он понял, что перед ним открылись широкие возможности для обогащения и влияния. Его корысть проявилась в поразительно короткий промежуток времени. Помню, как вскоре после прихода партии к власти знакомый предприниматель с веселой хитрин-

кой охарактеризовал его «хапугой». Геринг открыто выставлял напоказ свою корысть, что делает человек, обладающий властью и одновременно не слишком разборчивый в средствах, когда нарушает закон и справедливость.

Поскольку до осознания опасных свойств характера Геринга у меня сложились с ним хорошие отношения, я принял участие в праздновании в январе 1934 года дня его рождения. Подарил ему прекрасную картину, изображавшую бизона, одной известной в Берлине художницы-анималистки. За обедом место справа от Геринга — почетное место — занимал неизвестный мне человек, который, как позднее выяснилось, был успешным издателем. Весь период национал-социалистического правления он вел дела с Герингом на широкой основе с большой выгодой для себя. Он был обязан почетным местом за обеденным столом тому, что подарил хозяину экипаж и четырех лошадей.

Свадебный подарок Герингу от Имперского банка представлял собой обеденный сервиз из знаменитого фарфора Бреслау, изготовленный на Королевском фарфоровом заводе. После нашего предварительного осведомления о том, предлагал ли такой подарок кто-нибудь еще, в секретариате Геринга ответили, что нет, но одновременно попросили прислать перечень отдельных предметов сервиза. Мы выслали перечень. Его возвратили нам с замечанием, что в сервизе не хватает двух одинаковых разветвленных канделябров, и с просьбой добавить их в набор.

Во время празднования дня рождения позднее я заметил у Геринга сверкающий позолотой коктейль-кабинет, подарок Фронта немецких рабочих — полагаю, сами рабочие и не подозревали о таком подарке.

Помимо корысти в Геринге развилась склонность к хвастливости, часто доходившая до смешного. Он не только собирал драгоценные камни, золотые, платиновые украшения в больших количествах, но и носил их. Пользовался любой возможностью, чтобы показаться в новом мундире или костюме. Однажды, когда я вместе с зарубежными друзьями посетил замок в Каринхалле, чтобы посмотреть загон для бизонов, Геринг встретил нас в высоких кожаных ботфортах, кожаной безрукавке поверх белоснежной рубашки, в охотничьей шляпе с широкими полями, с охотничьим копьём длиной почти два метра в руке. В отличие от неприятзательного

в быту Гитлера, Геринг пользовался в полной мере богатствами, которые ему давало положение во власти, не обращая внимания и даже попирая все правовые и моральные соображения.

Любопытно, однако, что властная манера поведения Геринга не убавляла его популярности. Когда бы он ни появлялся на собраниях или других мероприятиях, где присутствовало много людей, он производил большое впечатление на всех своим помпезным видом, наигранной веселостью и грубоватой немецкой прямоотой.

Сначала Геринг пытался утвердиться в определенной независимости, но на уровне с Гитлером. Он считал себя более совершенной личностью и любил, когда его называли типом человека эпохи Просвещения. Помню, как в одном случае после спора с Гитлером он отзывался о нем при мне как об «этом прохвосте» (diesen Schwäzler). Но чем более незтичным было поведение Геринга, тем сильнее становилась его зависимость от Гитлера. Спустя немного лет, когда мои дискуссии с Гитлером стали более резкими, я однажды попросил Геринга поддержать мою позицию:

— Пожалуйста, господин Геринг, в следующий раз, когда вы увидите Гитлера, дайте ему понять, что вопрос стоит совсем иначе.

— Заверяю вас, господин Шахт, что так и сделаю.

Когда через несколько дней я справился о результатах его разговора с Гитлером, Геринг ответил:

— Видите ли, господин Шахт, я всегда стараюсь говорить Гитлеру именно то, что думаю, но, когда я вхожу в его кабинет, моя душа уходит в пятки.

Только у тех людей душа не уходит в пятки, совесть которых чиста, а поведение безупречно. Геринг не относился к таким людям.

К сожалению, именно благодаря мне Геринг приобрел решающее влияние в экономических вопросах. Я все еще не понимал, что даже самые выдающиеся и ответственные умы в правительстве не были готовы подчиняться законам своей страны. Я еще верил, что смогу побудить таких людей, как Гитлер и Геринг, следовать фундаментальным принципам законопослушных граждан.

В начале 1936 года Имперский банк установил, что зарубежные центральные банки предъявляют нам крупные партии

банкнотов в рейхсмарках для конвертирования в иностранные валюты. Хотя в Германии все были обязаны законом передавать в Имперский банк всю иностранную валюту, партия до сих пор не подчинялась этим требованиям, несмотря на получение значительных сумм от зарубежных организаций. Во благо или во вред, Имперский банк не заметил этого. Но вот мы столкнулись с открытым злоупотреблением, которое могло оказать губительное воздействие на нашу валюту. Поток немецких банкнотов, хлынувший в страну из-за рубежа, мог означать только то, что партийные функционеры посылали эти банкноты за границу в обход таможи и валютного контроля. Мы получили подтверждение этого, когда однажды пакет банкнот, который мы послали в один из партийных центров, вернулся к нам через центральный банк Голландии в точно такой же упаковке, в какой покинул Имперский банк.

Я доложил об этом Гитлеру и объяснил, что не имею власти заставить партийных чиновников соблюдать законы. Поэтому попросил, чтобы Гитлер назначил человека, который снял бы с моих плеч бремя валютного контроля, и в ответ на его просьбу предложить кандидатуру назвал Германа Геринга. В конце апреля 1936 года меня освободили от выполнения обязанностей осуществлять валютный контроль. Эту функцию, по распоряжению Гитлера, немедленно взял на себя Геринг с ощущением, что это трамплин к дальнейшему усилению своей власти.

Возможность реализовать свои намерения представилась Герингу на партийной конференции 1936 года. Моя неустанная борьба за сохранение и экономное использование сырья и иностранной валюты и постоянное настаивание на сдерживании гонки вооружений, должно быть, постепенно стали действовать Гитлеру на нервы. За несколько дней до открытия конференции в сентябре 1936 года Гитлер сообщил мне, что намеревается провозгласить на конференции новую экономическую программу, но не дал мне никакого представления о содержании этой программы. Я сразу же почувствовал опасность и попытался связаться с военным министром Бломбергом. Это был единственный из министров, к которому Гитлер мог прислушаться. Бломберг не поддержал меня. После того как я снова подробно разъяснил экономическое положение, он набрался храбрости и признал:

— Полностью сознаю, что вы правы, господин Шахт, но, знаете, я убежден, что фюрер найдет выход из наших затруднений.

Что еще я мог сделать, кроме как откланяться со словами:

— Дай бог, чтобы ваши слова оправдались.

На конференции Гитлер изложил автаркическую программу — так называемый четырехлетний план, — а Герман Геринг был назначен ее выполнять. Для этого Геринг создал организацию, которая вскоре набрала штат в семьсот сотрудников, почти как в министерстве экономики.

Четырехлетний план достиг сравнительно малого в смысле положительных результатов, за исключением того, что вокруг него часто поднимался ненужный шум. Это вызвало широкое и быстрое возобновление охранительных приготовлений за рубежом, где я всегда старался работать без фанфар. Что бы ни завершалось успехом в четырехлетнем плане, это было не что иное, как продолжение мер, которые я начинал в министерстве экономики. Теперь, однако, все делалось в спешке и преувеличивалось. Экстракция бензина из угля была организована мной. То же следует сказать об оснащении китобойного флота. Производство штапельного волокна в промышленных масштабах тоже было организовано благодаря принятым мной мерам. Четырехлетний план не выдвинул ничего нового — он просто наладил прежние производства в широких масштабах.

Расширение горных разработок тоже было начато мной. В конце 1937 года я связал их с четырехлетним планом и развитием промышленности, когда меня застало совершенно врасплох образование государственного концерна Hermann Goering Works. Не миллионы, но миллиарды марок вложил Герман Геринг в эксплуатацию так называемого Зальцгиттерского месторождения железной руды в Брюнвике. Сразу выяснилось, что при преобладающих методах обогащения руды это месторождение так и не станет рентабельным концерном, поэтому Hermann Goering Works выкупал каждое предприятие подобного профиля, до которого доходили его руки, — предприятие, которое приносило прибыль и помогало до некоторой степени прикрыть потери в ходе переработки руды. Необходимые средства — вместе и по отдельности — рейху следовало собирать посредством займов или оплаты акций.

Сначала я попытался продолжить работу министерства в соответствии и параллельно с четырехлетним планом, но очень скоро натолкнулся на меры, с которыми не хотел и не мог согласиться.

17 декабря 1936 года Геринг организовал встречу большого числа ведущих предпринимателей, чтобы ознакомить их с его планами. На этой встрече он выдвигал одну за другой идеи, которые явно противоречили любой политической системе и любому экономическому принципу. Если кто-либо ввозил в страну иностранную валюту (легальным или нелегальным способом), его никто бы не останавливал. Наказанию должны были подвергаться только те люди, которые прибегали к незаконным методам, но не привозили иностранную валюту. Геринг требовал, чтобы промышленность производила продукцию, независимо от прибылей и потерь.

Через несколько недель по случаю моего шестидесятилетия состоялась особая встреча в Национальной промышленной палате, на которой мне надлежало выступить. Это была практически та же аудитория, перед которой выступал Геринг. Когда я коснулся его заявлений — хотя без упоминания его имени, — каждый понимал, что мои замечания адресованы Герингу.

«Господа, — начал я, — хочу прежде всего со всей серьезностью указать на фактор, который является абсолютно фундаментальным в искусстве управления: никакая экономика не может функционировать и процветать в любом государстве, которое не опирается на прочно устоявшиеся принципы закона и порядка. Одной из целей законодательства, среди прочих, является гарантия действенности национальной экономики. Поэтому, господа, если кто-нибудь говорит: «Пренебрежение законом и правилами, установленными законом, не важно — это вообще ничего не значит», то я предупреждаю, что буду возбуждать судебные иски против любого лица, которое станет уклоняться от выполнения правил, установленных законом».

Это был выпад в сторону валютной политики Геринга. Нижеследующие высказывания направлялись против концепции предпринимательства, которой придерживался Геринг. «Вся работа, совершаемая не на экономических принципах, ведет к потерям. Когда кто-то говорит: «Ваше дело — производство, производите ли вы на экономически выгодной осно-

ве или нет, не важно», то я скажу, что, когда вы производите на экономически невыгодной основе, вы проматываете ценную субстанцию, из которой состоит немецкий народ. Если я посеял центнер зерна на акр, а урожай составил всего лишь три четверти центнера, то это такой кретинизм, который трудно вообразить. Не могу и не смею потворствовать неэкономическим методам лишь потому, что мне понравилось так поступать. Поступая так, я поглощаю жизненные силы немецкого народа».

Я полностью сознавал остроту своих реплик и конфликта с Герингом, к которому они могут привести. Заключил выступление следующими словами: «Поэтому, друзья, если мне дадут возможность продолжать работу с вами какое-то время...»

Окончание моей официальной экономической деятельности было не за горами.

К концу июля 1937 года Геринг издал приказ по горной промышленности без предварительного его обсуждения со мной и моей оценки, хотя надзор за работой горной промышленности находился в моей компетенции. Далее, он предложил, чтобы я востребовал последнюю иностранную валюту, еще остающуюся в частных руках, и использовал ее для импорта сырья из-за границы. Я воспользовался этими двумя акциями для проведения фундаментальной разграничительной линии между представлениями Германа Геринга об экономике и моими собственными представлениями в письме от 5 августа 1937 года, из которого воспроизвожу несколько выдержек:

«Благодаря инициированной мной новой торговой политике импорт сырья и полуфабрикатов возрос с 26 миллионов тонн до не менее 40 миллионов. В свете этого очевидно, что внешняя торговля предоставила нам быстрый и лучший шанс увеличить поставки сырья. Я воспользовался случаем перевести наш экспорт в страны, снабжающие нас сырьем, и посредством специальной клиринговой системы избежать оплаты наличными иностранной валютой.

Снова и снова я подчеркивал необходимость увеличения экспорта и делал все возможное, чтобы добиться этого. Излишняя загрузка нашей промышленности внутренними заказами, естественно, снижала готовность промышленных

предприятий экспортировать. Излишнее отвлечение сырья и рабочей силы на строительство государственных зданий, производство вооружений и четырехлетний план угрожает вызвать падение нашего экспорта. Хочу выразиться совершенно ясно, что если произойдет уменьшение резервов иностранной валюты, поступающей к нам через экспорт, то логично ожидать так же замедления поставок сырья, а это приведет к дальнейшим затруднениям в строительстве зданий, производстве оружия и выполнении четырехлетнего плана.

Поэтому — в дополнение к увеличению добычи сырья внутри страны — нашей главной целью должно быть продолжение наращивания запасов иностранной валюты посредством экспорта. Несмотря на это, одной из ваших первых мер стал приказ о сосредоточении всех иностранных ценных бумаг в распоряжении государства, так же как ускорение накопления долгов по экспорту и, кроме того, реализация — как можно больше — немецких акций за рубежом. Поступая так, вы расхитили часть нашего капитала и лишили текущий запас иностранной валюты дохода от регулярных платежей по процентам и дивидендам. Ваш новый проект увеличения внутренней добычи железной руды включает расходы на многие сотни миллионов марок, для которых до сих пор нет обеспечения. Обеспечение банкнотов и денег на счетах не ведет одновременно к обеспечению сырьем и продовольствием. Вы не сможете из ценных бумаг выпечь хлеб или отлить пушки. Использование сырья и рабочей силы для новых предприятий в той степени, которую вы запланировали, приведет к дальнейшим ограничениям снабжения сырьем отраслей промышленности, производящих товары на экспорт и для немецкого населения. Мы уже ощущаем нехватку многих потребительских товаров в повседневной жизни».

Я закончил этот комментарий следующими словами:

«Как вы помните, несколько месяцев назад я заявил, что для экономической политики необходимо единообразие. Я призывал вас организовать дела таким образом, чтобы вы взяли на себя руководство министерством экономики. Я отмечал ранее, что считаю вашу политику в вопросах иностранной валюты ошибочной и не могу делить с вами ответственность за нее».

Я послал копию этого письма Гитлеру с просьбой освободить меня от должности министра экономики.

Письмо несколько смутило Гитлера. Мой уход на данном этапе представлял для него большое неудобство. Я понимал, что столкнусь с немалыми трудностями в удовлетворении прошения об отставке. В тоталитарном государстве министру не просто оставить свой пост, так как на это требовалось согласие не только канцлера, но и президента рейха. Гитлер совмещал эти посты в одном лице.

Он немедленно вызвал меня в Оберзальцберг, где 11 августа между нами состоялся продолжительный разговор. В то время я еще не представлял себе, до какой степени Гитлер внутренне настроился против меня. В связи с объявлением его программы автаркии на партийной конференции в сентябре 1936 года он подготовил секретный меморандум, несколько выдержек из которого Геринг зачитал мне и некоторым другим лицам. Полный же его текст я узнал только тогда, когда мой сокамерник Шпеер (получивший копию меморандума от Гитлера при назначении на пост министра) ознакомил с ней суд. Фрагменты меморандума, которые Геринг *не* зачитывал нам прежде и которые я услышал впервые в Нюрнберге, представляли собой отрицание моей экономической политики. Прочитую только три положения:

«В функции национальных экономических учреждений не входит ломать голову над способами производства продукции. Министерство экономики не имеет к этому никакого отношения.

Здесь я должен решительно отвести предположение, что рост поставок сырья можно достичь ограничением национального производства вооружений.

Утверждение, что все доменные печи Германии нуждаются в реконструкции, не заслуживает рассмотрения, и, кроме того, это не имеет отношения к министерству экономики».

Возможно, и хорошо — для моего разговора с Гитлером, — что я ничего не знал об этих замечаниях, когда прибыл в Оберзальцберг. Я мог, таким образом, предполагать, что Гитлер примет до определенной степени беспристрастное решение.

Внешне наш разговор протекал в дружелюбном тоне. Я встретился с Гитлером, окруженным его верными клеветами, среди которых находился Шпеер, на солнечной террасе перед домом. Гитлер провел меня в свой просторный кабинет с широко открытыми окнами в жаркий летний день. Это означало, что большую часть нашего разговора можно было слышать снаружи.

Гитлер настоятельно просил меня взять назад мое прошение об отставке, но избегал объективного толкования экономических вопросов и только повторял, что не может со мной расстаться.

На это я ответил:

— Абсолютно необходимо, господин канцлер, чтобы экономическая политика страны проводилась единообразно. Поскольку мои идеи диаметрально противоположны идеям Геринга, я должен просить вас решить, принимаете вы его идеи или мои. Лично я нисколько не обижусь, если вы решите вопрос в пользу Геринга.

Гитлер все еще избегал ответа на мои конкретные аргументы. Он продолжал увещевать:

— Дорогой господин Шахт, вам нужно прийти к взаимопониманию с Герингом. Прошу вас предпринять еще одну попытку найти в какой-нибудь форме согласие с Герингом по методам работы. Я не хочу терять сотрудничество с вами, что бы ни случилось.

Пока я уверял, что нет ни малейшего шанса примирить две столь разнящиеся концепции, Гитлер возвращался к личным аспектам беседы и пытался произвести на меня впечатление высокими оценками всего, чего я до сих пор достиг. Со своей стороны, я понимал, что он хотел всего лишь выиграть время, чтобы найти способ выйти из временного неудобства. Поэтому меня не тронуло заверение Гитлера, вы сказанное со слезами на глазах:

— Но, Шахт, вы мне дороги.

Когда же тем не менее я продолжал настаивать на своем, он сказал:

— Вы же не откажетесь поговорить с Герингом еще раз? Я предоставлю вам для этого достаточно времени. Если по окончании двухмесячного срока вы снова сообщите мне о том, что не пришли к согласию о единообразии германской экономической политики, и будете настаивать на отставке, я сделаю все, что вы просите.

Я был несказанно рад этим словам. Немедленно выразил свое согласие и поменял тему разговора. Заговорил о прекрасной летней погоде и замечательном доме в Оберзальцберге. Затем попросил разрешения откланяться, после чего Гитлер проводил меня до моей машины.

Геринг ответил на мое письмо от 5 августа телеграммой значительно более длинной, чем моя. Мой ответ был очень краток:

«Делаю вывод из содержания вашего письма от 22 августа сего года, что в наших концепциях экономической политики имеются фундаментальные различия, которые — как надеюсь — побудят фюрера принять решение доверить проведение немецкой экономической политики вам».

За перепиской с Герингом последовали в начале октября дальнейшие переговоры с Гитлером, после которых я написал ему письмо, приводимое ниже:

«8 октября 1937 г.

Дорогой канцлер!

Вслед за нашим разговором от 6 октября сего года прошу отметить, что успешная немецкая политика может проводиться лишь под единым руководством. Ввиду чрезвычайной важности нашей экономики для боеготовности наших оборонительных сил невозможно больше терпеть соседство разнородного сборища государственных управленцев экономикой, непрекращающееся вмешательство посторонних элементов или помехи экономической деятельности со стороны Германского рабочего фронта.

Была лишь одна причина для назначения специального уполномоченного по четырехлетнему плану, а именно: облечь этот особый пост авторитетом лица с высоким статусом в государстве и партии, так же как направлять тенденцию развития к достижению желаемой цели. В соответствии с этой концепцией господин Геринг, премьер-министр (Пруссии. — *Пер.*), всегда заявлял, что не намеревался создавать какой-либо новый административный механизм, но для достижения необходимых результатов воспользуется существующими министерствами, поддерживая их политику и ответственность.

В действительности случилось все наоборот. Ведомство уполномоченного по четырехлетнему плану включает не-

сколько сот человек, а чиновники отдельных министерств игнорируются или замещаются по прихоти.

В министерстве экономики должен быть один глава. Кому надлежит быть этим главой, должны решить вы, *мой фюрер*, согласно степени вашего доверия к способностям и лояльности назначаемого лица. Специальные уполномоченные — включая, следовательно, специального уполномоченного по четырехлетнему плану — могут ведать только планированием, предлагаемыми мерами и пропагандой, но не чиновниками, которые должны действовать в соответствии с нормами существующего правительственного механизма. До сих пор, если отдельные министерства (министерства экономики, продовольствия, труда и торговли) конфликтовали друг с другом, Геринг, как премьер-министр и председатель так называемого совета министров, всегда разрешал их противоречия. Этой процедуры нужно придерживаться и в дальнейшем. В чрезвычайной обстановке, вытекающей из принципиальных вопросов, правильная процедура состоит в консультации с вами и сохранении права решения в вашем распоряжении.

В случае, *мой фюрер*, если вы не намерены передавать управление министерством экономики — включая его главу — центральной власти, то есть специальному уполномоченному по четырехлетнему плану, но намерены позволить министерству экономики оставаться в его статусе, осмелюсь изложить на прилагаемом листе бумаги несколько положений, без которых, как я твердо убежден, нельзя ответственно руководить министерством экономики.

Может, вас позабавит замечание, что общественное мнение уже реагирует на сложившуюся ситуацию. Сегодня я обнаружил на своем столе эти стихи:

Геринг сказал: дайте мне только четыре года и увидите —
От денежных пут я промышленность освобожу;
Вот Шахт послужит заложником,
Если я бегу, вы сможете задушить его.

Это перспектива, которая — честно говоря — меня не привлекает».

Решив настаивать на просьбе об отставке, я ушел 5 сентября в отпуск. В министерство экономики не возвращался. Поскольку никакого решения по вышеупомянутому письму не

было принято, я уведомил Гитлера о своей отставке. Между тем прошло два месяца. Нет нужды добавлять, что дальнейший разговор с Герингом, который по просьбе Гитлера состоялся 1 ноября, не принес соглашения. Наконец Геринг сказал:

— Но я ведь должен иметь возможность давать вам указания.

Я расстался с ним со словами:

— Не мне — моему преемнику.

Это была моя последняя встреча с Герингом. Наша следующая встреча состоялась в тюрьме Нюрнберга, когда нас поместили в камеру с двумя ваннами, где я — в одной ванне, а Геринг — в другой, сидели в мыльной пене с ног до головы. *Sic transit gloria mundi!* (Так проходит мирская слава! — *Пер.*)

Наконец 26 ноября 1937 года моя просьба об отставке была удовлетворена. Хотя после соглашения с Гитлером о моем уходе прошло более трех месяцев, он так и не подыскал подходящей кандидатуры на мою должность. Ему не оставалось ничего другого, как доверить министерство экономики Герману Герингу. Лишь следующей весной на этот пост был назначен Вальтер Функ.

Когда Геринг вошел в мой кабинет в министерстве, то воскликнул: «Как можно вынашивать великие мысли в столь маленькой комнате?»

Затем он сел за мой письменный стол, связался со мной в Имперском банке по телефону и пробасил в трубку: «Господин Шахт, я теперь сижу в вашем кресле!»

«Позаботьтесь не попасть в аварию!» — подумал я и положил трубку.

Глава 50

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Я никогда не претендовал на роль политика. Очевидно, мне недостает определенных качеств, необходимых для такой карьеры. Мне также кажется, что репутация политика зависит, как правило, не столько от его способностей, сколько от обстоятельств, благоприятствующих его успеху. Я не верю словам Муссолини на тот счет, что люди делают историю.

Люди, которые прославились в истории как великие политики, часто были всего лишь инструментами эпохи. Когда зреет время для нового восприятия, оно содействует многим политикам, которые при всех своих добрых намерениях и усилиях были бы в иные времена обречены на забвение.

Экономическая политика — часть общей политики. С увеличением значения с 1890 года экономической политики в Европе я неизбежно вовлекался во внешнюю политику. Я описывал свои поездки в Лондон и Париж в начале 20-х годов с целью привлечь за рубежом внимание к той идее, что репарации, навязанные в Версале, в целом вредоносны. В последующие годы я указывал снова и снова, что предоставление возможности Германии получать сырье и продовольствие за границей посредством своего труда и на свою валюту является единственной надежной основой для развития страны в мирном направлении.

В этом вопросе, так же как и в вопросе валюты, я был вынужден доказывать несостоятельность классических принципов учения о свободной торговле. Изучение трудов британских ученых-меркантилистов ясно показало мне, что политическая экономия отнюдь не абстрактная наука. Именно на требованиях к торговле ученые-меркантилисты основывали теоретические формулы, в соответствии с которыми смогли создать и защитить производство шерсти и судостроение своей страны.

После того как Англия преуспела в развитии крупной промышленности и обеспечении превосходства своего торгового флота, британские политэкономы начали выдвигать свободную торговлю, то есть неограниченную конкуренцию, на уровень стандартной экономической теории. Она достигла высшей точки в формулировке принципа наиболее благоприятствуемой нации, который должен был гарантировать британское экономическое превосходство на все времена, если бы в конце концов против этого не восстали другие страны в силу явной необходимости. Так называемая классическая политэкономия обязана своим долгим существованием блестящей пропаганде, которой британские ученые-экономисты смущали умы на континенте. И если какой-нибудь экономист добивается по случаю защиты интересов своей нации, его не понимают и высмеивают собственные соотечественники — особенно если он такой немец, как Фридрих Лист.

Экономическая свобода, как и политическая, — идеал, к которому люди самонадеянно стремятся, но не могут достичь, пока мыслят эту свободу как идеал. На изречение: «Все, что идет во благо моей стране, справедливо» — я всегда смотрел как на преступное. Ибо справедливость коренится в божественном принципе. С другой стороны, цель любой экономической политики должна заключаться в возможности гарантировать обеспечение средств существования своему собственному народу с экономической точки зрения: это всегда было первоочередным принципом моей деятельности.

В 1926 году я читал лекцию в Германской колониальной ассоциации, где выдвинул требование, чтобы те или иные заморские территории Германии были переданы ей в целях экономического развития. Даже в то время я характеризовал вопрос о немецком суверенитете над такой территорией как несущественный. Меня исключительно интересовало экономическое развитие, которое осуществлялось бы немецкими *предпринимателями* на немецкие деньги, поскольку только посредством наших собственных денег вопрос о добывании иностранной валюты стал бы гораздо менее существенным.

Сегодня доступ на малоразвитые территории повсеместно признается существенным для мировой экономической политики прекрасными речами и резолюциями. На практике, однако, для немецкого *предпринимателя* невозможен доступ на бывшие германские территории и открытие там дела без разрешения британских или французских властей. Ни один международный закон не служит для него защитой от произвольных действий правительств-мандатариев, которым он подчиняется.

На опыте двух мировых войн весь мир сегодня осознает, что германская проблема является центральной проблемой Европы. Если мы не сумеем предоставить Германии возможность обеспечивать себя сырьем и продовольствием, социальные проблемы Германии останутся грозным и разрушительным фактором мировой политики и торговли.

Гитлер, конечно, знал об этой жизненно важной проблеме. Чем больше у меня было оснований опасаться того, что он ищет другие способы ее решения, тем активнее я старался увлечь его своими идеями экономического развития заморских территорий. В начале лета 1936 года я почти склонил его к со-

гласию принять мое предложение. Я объяснял ему, что западным союзникам должно быть также выгодным найти решение проблемы удовлетворения потребностей немцев в сырье и продовольствии. Поэтому я попросил его согласиться на мою поездку в Париж, где я обсудил бы этот вопрос с правительством Леона Блюма, находившимся тогда у власти. После долгих споров он дал письменное согласие на мою поездку, к которой я готовился вместе с господином Франсуа-Понсе, французским послом в Берлине. Господин Франсуа-Понсе проинформировал свое правительство о моих намерениях и удостоверился, к моему большому удовлетворению, что Леон Блюм примет меня для переговоров.

О последующем пребывании в Париже и беседах с Леоном Блюмом и его министрами, в том числе министром финансов и будущим президентом республики Орионом, у меня сохранились самые приятные воспоминания. Меня принимали доброжелательно и обходительно, и вместо отклонения предложения, которого боялся Гитлер, я встретил широкое понимание того факта, что решение поднятого мной вопроса внесет большой вклад в обеспечение мира.

Естественно только, что Леон Блюм со своей стороны сомневался в искренности Гитлера. Его позиция мне была вполне понятна. Припоминаю один из наших разговоров во время прогулки в парке Елисейского дворца, когда он высказал удивление по поводу того, что Гитлер согласился на мою инициативу, особенно учитывая, что она связана с контактом с ним самим, премьером-социалистом.

— Конечно, Гитлер знает, господин Шахт, что...

— Разумеется, господин премьер-министр, — прервал я его, — Гитлер знает, что вы социалист, масон и еврей. Тем не менее он уполномочил меня выдвинуть эти предложения. Ваш посол в Берлине в курсе дела.

Леон Блюм выразил готовность — не касаясь вопроса о суверенитете — рассмотреть возможность передачи Германии подмандатной территории Камеруна для экономического развития, но подчеркнул, что должен будет связаться по данному вопросу с британским кабинетом министров. Я не мог не признать необходимость такого шага. В последующие месяцы Блюм основательно обсудил этот вопрос с британским правительством, и я ознакомил с обстановкой своего друга Монтегю Нормана. Отношение британского правительства к

предложению сначала было негативным, потом нерешительным и, наконец, склонным к ведению переговоров. К сожалению, это заняло более шести месяцев. Весной 1937 года дела продвинулись настолько, что этот вопрос наряду с другими должен был обсуждаться во время предполагавшегося визита в Лондон германского министра иностранных дел барона фон Нейрата. Затем неожиданно произошел инцидент с испанской Альмерией, который ударил Гитлера по касательной. Визит Нейрата в Лондон отменили, возможность была упущена. Бóльшая терпимость со стороны Англии могла способствовать иному развитию многих событий.

В апреле 1937 года я смог изложить свои взгляды королю бельгийцев во время своего визита в Брюссель. Он попросил меня дать оценку политической обстановки в немецком толковании.

— Вы знаете, господин Шахт, что Бельгия крайне заинтересована в возвращении к нормальному состоянию мировой торговли. Пожалуйста, скажите, как, по мнению немцев, можно изменить нынешнее неблагоприятное положение дел.

— Ваше величество может быть уверенным, что Германия вполне готова присоединиться к международному соглашению всех заинтересованных сторон об ограничении производства вооружений, так же как по вопросу сотрудничества в новой Лиге Наций при условии, что эта организация не будет настаивать на выполнении требований Версальского договора и санкциях. Но основа всякого мирного развития событий заключается в возможности для Германии обеспечивать продовольствием и работой свой народ.

— В чем вы видите шанс для этого?

— Ни политически, ни экономически мы не можем зависеть от благотворительности или капризов других великих держав. Я вижу единственное мирное средство получения доступа к сырью и продовольствию в восстановлении нашей деятельности на заморских территориях. Тогда мы сможем использовать свои ресурсы без препятствий.

— Понимаю вас. Хорошо знаю, что значит Конго для благосостояния бельгийцев. У вас есть надежда, что ваше предположение осуществится?

— Поскольку я верю, ваше величество, что союзники в конце концов признают справедливость моей идеи, то не те-

ряю надежды. Но медлительность, с которой этой проблемой занимаются политики, создает Германии трудностей больше, чем хорошо обеспеченным странам. Это, естественно, усугубляет ощущение ненадежности.

— У вас есть какие-нибудь конкретные предложения?

Поскольку я не считал оправданным раскрывать содержание своих бесед в Париже, то ответил:

— Так как я не политик, то предпочитаю не делать конкретных предложений. Но поскольку правительство Бельгии пользуется уважением своих друзей и может быть уверено в их внимании к своим действиям, то мне хотелось бы надеяться на сотрудничество Бельгии в разрешении этой проблемы.

Король попросил меня рассказать о наших отношениях с Россией.

— Прошу, ваше величество, еще раз учесть, что я не политик и не имею полномочий от своего правительства. Могу только высказать собственное мнение.

— Будьте любезны.

— Пока русское правительство продолжает пропаганду мировой революции, мы явно обязаны считать это угрозой для Германии. Такая высокоразвитая страна, как Германия, не может терпеть большевизм ни при каких условиях. Если события в России приведут к отказу от принципа мировой революции, Германия с большим удовлетворением вернется к прежним экономическим отношениям с этой страной.

В течение всего продолжительного разговора король бельгийцев был весьма приветлив в смысле не только обходительности, но и подлинной заинтересованности и желания помочь, где возможно.

После беседы с королем я навестил министра финансов господина де Мана, которого знал давно и с которым сблизился благодаря своей дочери, учившейся вместе с ним. Ввиду большой влияния де Мана в то время привожу отчет, который я написал сразу после своей поездки.

«Теоретически он — социалист, но с глубоким пониманием практических проблем. Разговор зашел, как это происходит здесь повсюду, на следующую тему: что можно сделать для исправления экономической ситуации и особенно для

вовлечения Германии в международные схемы развития. Я разъяснил наши идеи. Де Ман выразил полное понимание и подчеркнул свое горячее желание улучшить отношения с Германией. Согласился со мной по вопросу о колониях.

Он высказал только одну новую идею, а именно: что в случае всеобщего международного соглашения по монетарной проблеме нам следует привязать свою валюту к валютам других стран. Я ответил, что, как бы ни был настроен против любого рода инфляции, никогда не делал секрета из того, что готов к обсуждению вопроса о привязке немецкой валюты к другим, но при условии, что будет установлена окончательная система валютных паритетов, которая снова послужит прочной основой международной торговли.

Относительно общих настроений в Бельгии де Ман отметил, что они кардинально изменились в последние два года, особенно в том, что касается Германии. Тем не менее нельзя недооценивать роль, которую играет антагонизм левого толка фашистским идеям. Старые либеральные группировки утратили свое влияние.

Взаимодействие внутри кабинета, особенно между де Маном и ван Зеландом, развивается в направлении объединения усилий. Оно образовало, так сказать, единую силу, во главе которой стоит сам король».

Я воспроизвел этот отчет, во-первых, потому, что он проливает свет на международные проблемы, преобладавшие в то время, и, во-вторых, он является типичным примером направления, в котором я искал пользу от своих зарубежных контактов. Достижением экономического соглашения я надеялся помочь заложить фундамент прочного мирного сосуществования между народами.

С моим посещением Лондона в декабре 1938 года была связана особая проблема. Это был мой последний официальный визит за рубеж. Ему предшествовало позорное разрушение еврейских синагог 9 ноября 1938 года, а также контрибуция, наложенная на евреев, суммой в миллиард марок. Я не стал скрывать от Гитлера свое мнение по поводу последнего варварства, организованного Геббельсом, и сказал ему откровенно, что такого рода действия не должны продолжаться.

— Если вы не в состоянии сформулировать правовую основу проживания в Германии евреев в достойных услови-

ях, то должны, по крайней мере, создать им условия для эмиграции.

Сам Гитлер, казалось, еще не пришел в себя после бури возмущения, вызванной злодейством 9 ноября. Он бросил на меня вопросительный взгляд:

— Что вы предлагаете?

Я изложил свой план:

— Все имущество евреев в Германии должно быть передано попечительской компании, которая будет им распоряжаться в соответствии с законом. Эта трастовая компания станет управляться международной комиссией, в которой будут представлены также евреи. На основе имущества, содержащегося на надежном попечении, комиссия выпустит заем на международном рынке на сумму, скажем, полтора миллиарда марок. Заем будет выпущен примерно под пять процентов и будет выплачиваться ежегодными платежами в период двадцати — двадцати пяти лет. Германское правительство гарантирует перевод процентов и платежей в погашение займа в долларах, так что заем может быть выпущен в долларах. Евреев разных стран следует призвать подписываться на заем.

— А как быть с долларами?

— На долларовую выручку от займа каждый еврей, желающий эмигрировать, получит определенную сумму, которая поможет ему устроиться в другой стране и послужит фундаментом, на котором он будет строить новую жизнь.

Я понимал, что мое предложение не идеально. Но опасался, что любая возможность экономического существования для евреев будет подорвана партией, пока не будет что-то создано для предотвращения этого. Мое предложение означало, что еврейская собственность в Германии будет храниться в течение многих лет. Между тем могло произойти много новых событий.

К моему огромному удивлению, Гитлер заявил, что не возражает против моей попытки осуществить мою идею на практике. По моему предложению он санкционировал проведение мной политической дискуссии в Лондоне. Переговоры состоялись там с 14 по 17 декабря 1938 года. Я связался с лордом Берстедом из фирмы «Сэмюель и Сэмюель», который отреагировал согласием на предложение встретиться, в то время как другие фирмы, как он мне сообщил, от-

клонили его. Последовало обсуждение с американским и британским председателем так называемого комитета Эвиана господином Рабли и британским министром лордом Уинтертоном. Они оба, а также лорд Берстед проявили интерес к тому, чтобы отслеживать мой план и способствовать его осуществлению.

Однако эта попытка разрядить международную обстановку также провалилась, когда 20 января 1939 года Гитлер уволил меня с должности председателя Имперского банка. Официальные контакты с Лондоном были прекращены.

Часть пятая

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Глава 51

Я ПОРЫВАЮ С ГИТЛЕРОМ

С середины 1936 года мои отношения с Гитлером медленно, но неуклонно ухудшались. В первые годы мое влияние на его политику было значительным — особенно в экономической сфере, — однако со второй половины 1936 года оно быстро уменьшалось. Мое заявление в марте 1937 года, что он не может больше ожидать от меня денег; невозможность распространить его планы автаркии на продовольствие; полное исчерпание рынка капиталов Имперским банком и мое осуждение антисемитской политики партии — все эти факторы явно убедили его в том, что он не может рассчитывать на меня в реализации своих воинственных намерений, которые до сих пор ему удавалось скрывать.

Лишь во время Нюрнбергского суда я узнал, что уже в начале ноября 1937 года Гитлер в строгой секретности доверительно сообщил Верховному командованию вермахта и министру иностранных дел о своих военных планах. До этого я ничего не подозревал. Не расставался с надеждой на мирный исход. Понимание того, что события развиваются в опасном направлении, пришло ко мне в начале января 1938 года. Нет необходимости восстанавливать события, которые так часто описывались. Бломберг заключил брак с дамой, которая была замечена в недостойном поведении. Он подал в отставку с поста военного министра. Командующему сухопутными силами генералу фон Фричу были предъявлены необоснованные обвинения в гомосексуализме.

Шеф берлинской полиции граф Хельдорф рассказывал мне о подлой роли, сыгранной в обоих случаях гестапо, ру-

ководимым Гиммлером и Гейдрихом. В начале национал-социалистического движения Хельдорф принимал участие во многих эксцессах, но с течением времени и благодаря опыту пребывания в партии он изменил свои взгляды и попытался реабилитироваться, присоединившись к критически настроенным фракциям. Поэтому мои друзья и я были осведомлены обо всех деталях, касающихся *дел* Бломберга и Фрича.

Все указывало на то, что Гитлер явно вел дело к войне. Об этом свидетельствовала манера, в которой он разрешил оба вышеупомянутых дела, — без тени справедливости, порядочности и морали. О том же говорило его решение взять на себя командование вооруженными силами, увольнение фон Нейрата с поста министра иностранных дел, а также нескольких достойных генералов и дипломатов, которые его не устраивали.

События, связанные с Бломбергом и Фричем, произвели неприятное впечатление в стране и за рубежом. Это побудило Гитлера и Геринга ускорить принятие мер, ведущих к аншлюсу Австрии. Беспрецедентное ликование по поводу аншлюса Австрии, похожее на подобные явления в старом рейхе, подняло популярность Гитлера на недостижимый прежде уровень и заставило забыть неприятные инциденты с Бломбергом и Фричем.

После похода на Вену Имперский банк столкнулся с необходимостью поглощения Австрийского банка и подчинения, таким образом, австрийской экономики германской монетарной политике. В то время как партийные функционеры в Германии стремились представить бывшую экономическую и управленческую политику Австрии как вопиющий пример неэффективности, я отдавал должное выдающейся деятельности Австрийского национального банка и высокой международной репутации, которой он достиг и которую поддерживал несколько десятилетий. Некоторые горячие головы в штате банка пытались производить политические «чистки», но я с самого начала категорически отказался разрешить им это. Ни один сотрудник персонала банка не был уволен после того, как я принял руководство им. Председатель банка господин Кинбек был прежде министром финансов страны, способным адвокатом и финансистом. Правда, мне пришлось позволить ему уйти, поскольку не представилось возможности предложить ему равноценный пост, но я проследил за

тем, чтобы он ушел в отставку с полным пенсионным обеспечением и с честью, хотя было известно о его частично еврейских корнях.

Во время обсуждения, которое происходило через несколько дней после похода в Австрию, Гитлер объявил о намерении повысить рыночную стоимость австрийского шиллинга — до этого равнявшегося пятидесяти немецких пфеннигам — до $66\frac{2}{3}$ пфеннига. Госсекретарю Кеплеру удалось убедить Гитлера, что такой рост стоимости шиллинга увеличит стоимость денег в карманах рабочих. Он упустил, однако, то, что в карманах трудящихся было мало денег. Не учел он также того, что известно каждому студенту первого курса, изучающему политэкономия: последующий автоматический рост цен немедленно упраздняет любую искусственную переоценку стоимости денег. И кроме того, такая мера послужила только разбалансированию австрийской экономики. Единственными, кто нажился на повышении стоимости шиллинга, стали обладатели ценных бумаг с фиксированной процентной ставкой, то есть владельцы облигаций и закладных, которые получили большие суммы благодаря платежам по процентам и амортизации. О том, что именно эти капиталистические круги извлекут прибыль от данной меры, господ Кеплер и Гитлер как-то не подумали.

Я напрасно излагал свои взгляды, диаметрально противоположные проводившейся политике. Не в силах оказать какое-то влияние, я заявил Гитлеру:

— Среди ваших коллег имеется эксперт по валютным вопросам, признанный в мире авторитетом в данной сфере, вы же совершенно игнорируете его советы.

В ответ было сказано:

— Я поступаю так по политическим соображениям.

Если сегодня партийно-политические пристрастия стремятся преувеличить или преуменьшить исторический факт всеобщей радости австрийцев в связи с аншлюсом, то я хотел бы в опровержение этого привести свидетельства, которые наблюдал собственными глазами при личном общении с людьми. В те дни я был не только в Вене: путешествовал по всей Австрии и разговаривал с представителями всех слоев общества в столицах австрийских провинций. Нигде я не встречал иной реакции, кроме облегчения и надежды, что они наконец вырвутся из экономического и национального застоя.

Я разделял эту радость всем сердцем, но этого было недостаточно, чтобы развеять мои дурные предчувствия в связи с делом Бломберга—Фрича. В результате долгих и тревожных размышлений я был вынужден прийти к выводу, что продолжение существования гитлеровского режима несет величайшую угрозу отношениям нашей страны и нашего народа с народами других стран.

Вместе с друзьями я начал размышлять над тем, как свергнуть гитлеровский режим наилучшим способом. По делу Фрича я связывался с новым командующим сухопутными силами фон Браухичем. Встречался в Берлине с командующим армейской группы в Берлине фон Рунштедтом. Вел длительные переговоры с адмиралом Редером. Наконец, съездил к министру юстиции Гюртнеру. Со всеми ними я обсуждал опасность, угрожавшую стране, и просил их принять контрмеры в отношении Гитлера с высоты их военного и официального положения. Повсюду я наткнулся на глухую стену. Ни один из этих высокопоставленных деятелей не проявил готовности встать на защиту права и справедливости.

Каждый месяц я ездил в Базель на заседания представителей Банка по международным расчетам. Там у меня была возможность регулярного общения с коллегами по совету директоров и другими банкирами из западных стран. Несмотря на сдержанность, которой требовала государственная принадлежность каждого из нас, мы тем не менее обменивались в ходе своих разговоров полезными мнениями, не оставлявшими сомнений в отношении реакции на сложившуюся политическую атмосферу.

Чем больше усугублялась обстановка в Германии, тем сильнее росло мое желание использовать свои связи в Базеле как средство сохранения мира. В течение лета я слал запросы своему британскому коллеге Монтегю Норману в отношении того, возможно ли привести британскую политику в соответствие с моими усилиями по сохранению мира. До этого британская политика, казалось, предоставляла Гитлеру свободу действий на международной арене.

Когда я через четыре недели встретился с Норманом, он сказал:

— Я обсуждал твоё предложение с британским премьер-министром Невилем Чемберленом.

— И каков его ответ?

— Ответ таков: кто такой Шахт? Я веду дела с Гитлером.

Такой ответ вызвал у меня большое удивление. Мне казалось непостижимым, что британский премьер-министр придает так мало значения поддержанию определенных контактов с теми кругами, которые выступают за мир.

Постепенно во мне вызревало убеждение, что только смелая акция может покончить с гитлеровским режимом, поскольку попытка вести его в правильном направлении посредством открытого сопротивления со стороны ответственных генералов и министров оказалась бесплодной. Затем случайная реплика свела меня с генералом фон Вицлебенем. Я обнаружил в нем решительного противника режима. Сумел убедить его, что международный военный конфликт в условиях гитлеровского правления неизбежен, что только решительные акции приведут режим к падению.

Следующие месяцы прошли в подготовке *государственного переворота*. В нашем заговоре делалась ставка на дивизию под командованием генерала Брокдорф-Ахлефельда в Потсдаме. При помощи этой дивизии и бронетанковых сил, обещанных генералом Гальдером, который сменил на посту начальника Генштаба генерала Бека после его отставки, следовало арестовать Гитлера и его ближайших помощников и судить их судом Государственного трибунала в конце сентября 1938 года.

Прежде всего мы обсудили наши планы с генералом Бекем, поскольку он подозревал, что его отставка с поста начальника Генштаба летом 1938 года была вызвана именно воинственными планами Гитлера. Бек обладал сильным характером и высокой культурой. Он был широко образован не только в военной, но и других областях. Как начальник Генштаба, он пользовался абсолютным доверием армии и признавался моральным лидером штаба. Тем не менее Бек был больше теоретиком, чем практическим деятелем. Его отставка ускорила моральное разложение Генштаба. Его уход лишил высшие военные чины их единственного лидера, способного противостоять Гитлеру.

Предполагаемый государственный переворот не удалось осуществить из-за Мюнхенской конференции, которая привела к временному разрешению жгучего чешского вопроса.

Я рассказал о событиях этого месяца, насколько принимал в них участие, в своей книге «Расчет с Гитлером» (издатель-

ство «Ровольт», Гамбург, 1948 год). Поэтому ограничусь подведением итога следующим образом.

Хотя с этого времени существовала постоянная угроза моей жизни, я не мог полностью скрыть свое неприязненное отношение к режиму. Да, когда было необходимо, я прибегал к маскировке, как делал это прежде. Позднее, во время суда по денацификации, мне ставили эту маскировку в вину. Американский главный обвинитель дошел до того, что пытался усовестить меня за отсутствие в моих действиях чего-либо, дающего нить к моим намерениям устранить Гитлера. Я ответил, что не мог афишировать это заранее в газетах. Те, кто не был сведущ в искусстве маскировки, подвергали опасности свою жизнь и жизни других людей. У меня не было никакого желания погибнуть по воле Гитлера: наоборот, я хотел жить ради своего народа. Доказательством того, что я не хотел сохранить жизнь ради себя самого, было мое нахождение в течение семи лет под обвинением в государственной измене.

Проще всего для меня было бы невозвращение в Германию после поездки в Индию. Когда я уезжал в 1941 году в Швейцарию для проведения своего медового месяца, то мог бы остаться там без дальнейших тревог. В обоих случаях я вернулся в Германию, потому что не хотел уклоняться от беды, грозившей моему народу. Во взаимодействии с более чем дюжиной сообщников я играл ведущую роль в подготовке военного мятежа против Гитлера. Малейшая неосторожность, случайная или по небрежению, могла стоить мне головы. В течение семи долгих лет я жил под сенью постоянной опасности, не отказываясь ни на мгновение от своего намерения предотвратить войну, остановить ее и уничтожить Гитлера.

Каждое Рождество Имперский банк устраивал для молодых сотрудников вечеринку, на которой регулярно присутствовал и выступал председатель банка. В течение прошедших лет национал-социалисты делали все возможное — не без успеха, конечно, — чтобы привлечь служащих банка и воспитать их в духе так называемой национал-социалистической философии. Как-то раньше я призывал молодых сотрудников отмечать Рождество не только в светской манере, но и помнить, что для нас рождественские праздники были плодом тысячелетнего счастливого союза христианской веры и немецкого характера, на котором основана вся

наша цивилизация. В своем обращении к молодым людям на рождественской вечеринке 1938 года я сослался на события 9 ноября.

«Преднамеренные поджоги еврейских синагог, разрушение и разграбление еврейских предприятий, жестокое обращение с еврейскими гражданами являются такими бессмысленными и возмутительными акциями, которые заставляют каждого немца краснеть от стыда. Надеюсь, никто из вас не принимал участия в этих акциях. Если же кто-то участвовал в них, то я советую ему уволиться из банка как можно скорее. У нас в Имперском банке нет места для тех людей, которые не уважают жизнь, имущество и убеждения других. Имперский банк опирается на добрую волю и крепкую веру».

Эту речь слушали несколько партийных идеологов.

Последнее заседание кабинета проводилось 4 февраля 1938 года, и больше их не было. Главным вопросом заседания было сообщение, что генералу фон Фричу предъявили обвинения в преступлениях, о которых Гитлер тогда не сообщил подробностей. Дебатов не было.

Меморандум Имперского банка, в котором мы требовали остановить чрезмерные расходы на вооружение, был передан Гитлеру 7 января 1939 года. Ответа не последовало. Из некоторых источников мы узнали, что Гитлер, увидев под документом восемь подписей, воскликнул: «Да это мятеж!»

Гитлер всегда стремился пресекать возможность для своих министров или коллег собираться группами для обсуждения событий в стране. Позднее он издал письменное распоряжение, в котором специально подчеркнул, что его министры не должны собираться вместе для взаимных обменов мнениями ни при каких обстоятельствах. Восемь подписей под меморандумом Имперского банка сильно разозлили его.

19 января 1939 года я вернулся домой очень поздно и обнаружил целый ворох телефонограмм и телеграмм, требующих моего пунктуального прибытия в ведомство канцлера в 9.00 на следующее утро. На следующий день назначение было отложено по телефону до 9.15. Едва я вошел в гостиную, выходящую окнами в сад старой Имперской канцелярии, как появился фюрер, и состоялся следующий разговор:

— Я послал за вами, господин Шахт, чтобы вручить вам письменное извещение об увольнении с должности председателя Имперского банка.

Он протянул мне документ. Я молча взял документ, не глядя на него.

— Вы не вписываетесь в общую национал-социалистическую схему действий.

Я продолжал молчать. Наступила короткая пауза.

— Вы отказались от того, чтобы ваш персонал прошел политическую проверку.

Я по-прежнему хранил молчание. Последовала новая короткая пауза. Раздражение Гитлера усиливалось.

— Вы подвергали критике и осуждению события 9 ноября в присутствии своих сотрудников.

Я не отвечал Гитлеру, поскольку был полностью согласен с его замечанием, что не вписываюсь в партийную схему действий. Именно поэтому я постоянно ставил Гитлера в известность — и подкреплял слова делами, — что не позволю подвергать своих сотрудников нападкам со стороны партии. Если мне доверяют в работе, объяснял я, то кадры для нее я буду подбирать сам.

Я не считал нужным снова обсуждать этот вопрос. Но после упоминания Гитлером рождественской вечеринки для молодых сотрудников я ответил со всем сарказмом, на какой был способен:

— Если бы я знал, что вы одобрили эти события, то ничего бы не говорил о них.

Гитлер явно растерялся. Не без усилий он произнес:

— Я слишком расстроен, чтобы продолжать этот разговор.

— Я вернусь в любое время, когда вы успокоитесь.

— А то, чего вы ожидаете, господин Шахт, *не* случится. Не будет никакой инфляции.

— Это было бы неплохо, *мой фюрер*.

Он молча проводил меня через две комнаты до парадной двери. Я вышел на улицу.

В течение этого дня Гитлер, должно быть, размышлял над тем, как объяснить мой уход из Имперского банка публике. Как мне сообщили в Имперской канцелярии, сообщение об увольнении, составленное первоначально в жестких выражениях, значительно изменилось и в нем даже выразалась надежда, что Гитлер сможет продолжать пользоваться моими советами. В результате я так и не получил извещения о снятии меня с поста министра без портфеля.

В последовавшие непосредственно за отставкой дни я переехал из своей официальной резиденции в Имперском банке в небольшой дом в Шарлоттенбурге, который являлся моей собственностью. Назвал это место как свой официальный адрес в связи с исполнением обязанностей министра без портфеля. Это означало, что я отказался от всех претензий на официальные «функции», не подлежал и новому призыву на службу в качестве министра.

Вместе со мной Гитлер уволил двух моих коллег, которые чаще всех участвовали в прежних переговорах в министерстве финансов. Из других пяти членов правления трое подали в отставку, которая была принята после неприятных проволочек. Пухль и Крецшман, два последних члена правления, остались на своих постах. В отличие от остальных, они уже давно уступили партийному давлению. Мы же шестеро никогда не поддерживали партию.

Глава 52

ОТ ПОПЫТКИ ПЕРЕВОРОТА ДО ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО

Участие в подготовке *государственного переворота* в сентябре 1938 года, отказ предоставлять дальнейшие кредиты Гитлеру и увольнение 20 января 1939 года заставили меня желать временного отстранения от активной общественной жизни. О моем участии в попытке переворота знали не менее полдюжины человек, что повышало риск непредвиденной ошибки. Мое решительное осуждение дальнейшей гонки вооружений вело лишь к усилению напряженности в отношениях с Гитлером. Продолжительное пребывание вне Германии помогло бы забыть события последних месяцев до той степени, в какой я был лично заинтересован.

Поэтому я написал Гитлеру, что хочу отправиться в продолжительное заграничное путешествие, на что он согласился. Должно быть, он с облегчением принял тот факт, что я окажусь вдали от политической сцены.

В соответствии с принятой процедурой я нанес визит министру иностранных дел господину фон Риббентропу с целью ознакомить его с маршрутом моей предполагаемой поездки. Он приветствовал меня словами:

— Вы хотите совершить кругосветное путешествие?

— Это не поездка вокруг света, господин фон Риббентроп. Я хочу только посетить Восточную Азию, съездить в Китай и Японию.

— Но вы, конечно, знаете, господин Шахт, что мы находимся в тесном союзе с Японией, между тем наши отношения с Китаем весьма неустойчивы. По политическим соображениям я не могу одобрить вашу поездку в Восточную Азию.

— Но, господин Риббентроп, мы не разорвали дипотношений с Китаем. Не понимаю, по какой причине я не должен посещать обе страны. В конце концов, я еду как обычный турист, без всякой политической миссии.

— Это не имеет отношения к данному случаю. Сожалею, что не могу одобрить вашу поездку.

— Если так, то я поеду не дальше голландской Ост-Индии.

— К сожалению, это тоже невозможно. Голландская Ост-Индия расположена слишком близко к Восточной Азии, и там вы не сможете полностью избежать контактов с политиками из Восточной Азии.

Я начинал терять терпение, но, не желая доводить разговор до острой перепалки, сказал:

— Хорошо, тогда я ограничусь поездкой в британскую Индию.

— Также не подходит. Если вы поедете в британскую Индию, публика предположит, что вы растянете свою поездку до Восточной Азии.

Это уже было слишком.

— Отлично, господин Риббентроп, мне кажется, дело сводится к непродолжительной поездке в горы Гарц, — сказал я и вышел из кабинета.

Естественно, я отказался отступить перед такого рода аргументами и наконец обосновал поездку таким образом, что у МИДа больше не нашлось возражений против моего посещения Индии.

Впервые я завел дневник своих путешествий. По возвращении в Германию я оставил дневник на попечение друзей в Швейцарии, так как в нем содержалось столько негативных замечаний в адрес гитлеровского режима, что мне пришлось позаботиться о том, чтобы уберечь его от возможного перехвата. По этой самой причине я считаю эти записи своих вос-

поминаний очень ценными и сожалею, что не мог представить их Нюрнбергскому трибуналу. Дневник вернулся ко мне только в 1951 году.

Вот некоторые выдержки из него:

«Я снова вырвался на волю. Я сделал это потому, что никаким другим способом не смог разорвать путы, выкованные для нас поражением в войне. Не было напильника, чтобы перепилить эти оковы, нужна была только физическая сила. Единственный выход состоял в том, чтобы разорвать их, и я преднамеренно и откровенно способствовал этому. Но главная наша задача затем состояла в том, чтобы снова занять свое место и наладить плодотворное сотрудничество в международных рамках.

Мир слишком мал для нас, чтобы возводить войну в принцип. Народам следует научиться ладить друг с другом. Земля еще достаточно велика, чтобы предоставить жизненное пространство для всех наций.

Разница в мировоззрениях отделяет меня от тех элементов, которые полагают, что путем уничтожения и подавления других европейских наций можно достичь свободы развития. Жестокость как принцип, лживость как норма, вероломство как постоянная практика никогда не принесут успеха, потому что в истории наций, как и в жизни отдельных людей, существует нравственный закон, который нельзя нарушать безнаказанно. Если навязанный нам Версальский договор и прекратил существование, то только потому, что покоился на аморальном основании. Не удержатся и нынешние аморальные условия.

Эфемерный успех не сможет меня одурачить. Лучше сохранить самого себя, чем нисходить на историческую арену как полубог. Поэтому я выхожу из игры на некоторое время. Возможно, мне представится однажды свой шанс. Если так, это будет акт милости Божьей, если нет, я утешусь словами Гете: «Мы потеряем все, если не будем верны себе».

Поездка в Индию познакомила меня с впечатляющей картиной материального могущества Британской империи. Сталелитейная промышленность имела большие производственные возможности. Текстильная промышленность достигла апогея производства. Во многих других отраслях оно посто-

янно росло. Я не считал оправданным скрывать свои наблюдения от германских властей и поэтому сообщил о своем возвращении домой Гитлеру, Герингу и Риббентропу. От первых двух адресатов я не получил никакого ответа, Риббентроп хотя бы уведомил о получении моего письма.

Конфиденциальные сообщения, которые я получил сразу по возвращении в Берлин, были неутешительными. Долгое отсутствие — с начала марта по начало августа 1939 года — означало, что я упустил многое из происходящего на родине. Ссора с Польшей, преднамеренно раздувавшаяся Гитлером и наконец достигшая в соответствии с его планом кульминации в середине августа, неумолимо вела к вооруженному конфликту.

25 августа мне сообщили через ведомство адмирала Канариса, главы абвера, что нападение на Польшу вот-вот начнется. Я собирался воспользоваться добрыми услугами генерала Остера, чтобы немедленно добраться до Зоссена, где дислоцировался штаб вермахта. Хотел срочно предупредить генерала фон Браухича и попытаться побудить его принять контрмеры. Я взаимодействовал немало времени с генералом Томасом в усилиях предотвратить войну. Он через адмирала Канариса сообщил в Зоссен по телефону о моем намерении прибыть туда. В ответ Браухич отказался встретиться со мной и сказал, что если я буду настаивать, то он арестует меня.

Мы испытали временное облегчение, узнав почти сразу о том, что приказ о нападении отменен. Но тем более были удивлены, когда через восемь дней командование двинуло войска на Польшу. В вызове, брошенном Гитлером ультиматумами Англии и Франции, срок которых истек 3 сентября, я усматривал крушение своих последних надежд на предотвращение войны. Вспыхнул не просто конфликт между Германией и Польшей, но началась Вторая мировая война.

Позиция военного руководства казалась мне непостижимой. Во всех разговорах, которые я вел со знакомыми мне генералами, снова и снова выяснялось, что Гитлер неизменно призывал их не беспокоиться по вопросу о возможном вмешательстве западных держав в случае войны с Польшей. Когда срок ультиматумов истек, командование армии, люфтваффе и флота было обязано откровенно заявить Гитлеру о том, что он либо ошибался, либо преднамеренно вводил их в заблуждение. Они должны были дать ясно понять Гитлеру, что

Германия не готова вести Вторую мировую войну и никогда не выдержит ее бремени. Ничего подобного не случилось. Зло двигалось своим чередом.

Военное командование следует винить, однако, не просто в неисполнении своего морального и политического долга, но также в военной некомпетентности. На Нюрнбергском процессе фельдмаршал Мильх заявил, что в начале войны одни британские ВВС были сильнее люфтваффе. Адмирал Дениц констатировал на суде, что в начале войны Германия располагала в целом пятнадцатью подводными лодками, пригодными для использования в Атлантике. А генерал Йодль приводил данные о сухопутных силах, которые состояли всего из семидесяти пяти дивизий и часть их даже не имела штатной укомплектованности вооружением. Каким образом Верховное командование могло отважиться на вступление в мировую войну при столь катастрофической неподготовленности?

Из послевоенной литературы мир узнал о различных попытках арестовать Гитлера и предотвратить таким образом продолжение войны. Я знал почти обо всех этих попытках, одобрял их и содействовал им. На этих страницах, однако, я хочу рассказать только о собственном опыте в это время.

На рубеже 1939—1940 годов я жил как частное лицо иногда в Берлине, иногда в загородном доме. День за днем со мной связывались корреспонденты крупных американских журналов с просьбами ознакомить американскую публику с положением в Германии, немецким образом мышления и немецкими целями. В соответствии с принятыми правилами поведения я сообщал об этом Риббентропу, который давал добро на интервью, но просил присылать их письменные тексты перед отправкой. На это я не соглашался.

Через несколько недель я получил очередное предложение из Америки, о котором писал Гитлеру:

«Считаю своим долгом сообщить вам следующее.

20 декабря 1939 года я получил по телеграфу предложение от журнала *Foreign Affairs*, весьма известного американского периодического издания, освещающего проблемы внешней политики. Меня просят написать статью о позиции Германии в настоящем конфликте и добавляют, что мое имя пользуется там таким уважением, что любой материал под моим именем вызовет большой интерес. Я сообщил об этом предложе-

нии министру иностранных дел и, если это его заинтересует, готов предложить себя в его распоряжение для обсуждения данного вопроса. Министр иностранных дел предложил, чтобы я написал статью и прислал ее ему на просмотр. Поскольку я не могу согласиться с подобными условиями как из-за американцев, так и из-за себя лично, то отложил принятие предложения журнала.

Теперь я получил аналогичное предложение от редактора *Christian Science Monitor*, хорошо известной американской газеты. Не желаю связываться снова с министром иностранных дел по этому вопросу, не желаю также, чтобы второе предложение прошло без привлечения, по крайней мере, вашего внимания к тому, что у нас на родине явно недооцениваются возможности, предоставляемые нам для оказания немецкого влияния на американское общественное мнение».

По получении этого письма Гитлер пригласил меня к себе. Я подчеркнул, что публикации случайной статьи в американской печати недостаточно, чтобы повернуть вспять растущие антигерманские настроения в Соединенных Штатах. Предложил, чтобы мы послали туда кого-то, кто мог бы поддерживать постоянный контакт с американской общественностью и особенно с прессой. На вопрос, готов ли я взяться за это дело, ответил утвердительно. Гитлер благосклонно принял предложение и сказал, что обсудит его с Риббентропом. Больше я ничего не слышал об этом деле.

Вместо этого Риббентроп послал в США через некоторое время берлинского адвоката, члена партии... Этот господин пробыл там недолго. По возвращении он рассказывал мне, как плохо к нему относились. Ему постоянно угрожали по телефону, выгнали не менее чем из четырех отелей после короткого проживания там, он не смог получить доступ ни в один клуб.

Еще возможно было улучшить наши отношения с Америкой, когда заместитель госсекретаря США Саммер Уэллес совершил в начале марта 1940 года поездку по европейским странам, в ходе которой посетил также Берлин. Хотя американскую администрацию проинформировали о моем увольнении, было объявлено, что господин Саммер Уэллес захотел побеседовать с четырьмя лицами: с Адольфом Гитлером, Германом Герингом, Риббентропом и доктором Шахтом. Мне

сообщил об этом МИД с явно выраженным изумлением по поводу намерения Уэллеса встретиться со мной.

Риббентроп явно хотел предотвратить разговор со мной Саммера Уэллеса тет-а-тет. Сначала он пригласил меня на завтрак в честь господина Уэллеса. Я мог бы побеседовать с американским гостем и тогда. Любопытно, однако, что завтрак отменили. В любом случае явное желание господина Уэллеса поговорить со мной нельзя было просто проигнорировать. Когда поверенный в делах США пригласил меня на чай для беседы с господином Уэллесом, глава протокольного отдела МИДа послал за мной и предложил мне взять с собой переводчика.

С некоторым ехидством я ответил:

— Не думаю, что это нужно. Я попросил бы обойтись без переводчика, поскольку полагаю, что господин Саммер Уэллес разговаривает как минимум на одном из трех основных европейских языков.

В воскресенье 3 марта 1940 года в пять часов пополудни я прибыл в резиденцию американского поверенного в делах господина Керка, где встретил гостей из дипломатического корпуса — очаровательную супругу итальянского посла сеньора Аттолико, бельгийского посла и министра Нидерландов со своими женами. Самого хозяина не было. В полдень он уехал с Саммером Уэллесом в Каринхалле повидаться с Германом Герингом. Поскольку они уехали между двенадцатью и часом дня, то рассчитывали на ланч с Герингом. Когда они вернулись в Грюнвальд вскоре после шести, то мы узнали, что в течение всего пребывания в Каринхалле им не было предложено не только ланча, но даже освежающих напитков. Прежде всего им хотелось что-нибудь поесть.

Из частного разговора с Саммером Уэллесом я сделал вывод, что Гитлер отнюдь не произвел на него неблагоприятного впечатления. Остается загадкой, почему Уэллеса так плохо принимали. Риббентроп, чье знание в совершенстве английского языка известно каждому, фактически не постеснялся принять господина Уэллеса в присутствии переводчика и выслушивать в переводе речь американца.

В ходе моего разговора с Уэллесом выяснилось, что он обсуждал с Гитлером возможность заключения мира при американском посредничестве. Гитлер выдвинул условие, что в случае заключения такого мира Германия должна остаться в

этнологическом единстве, то есть в границах 1914 года, с учетом аншлюса Австрии и Судетской области, но исключая Эльзас и Лотарингию. Меня особенно интересовали суждения Уэллеса по экономике.

— Мы можем предвидеть возможность заключения мира не больше, чем исход войны. Но ясно одно: как бы ни сложилась война, экономические проблемы останутся такими же, как прежде. Война не разрешит ни одной из них. Эти проблемы простираются за пределы воюющих стран. Вот почему Америка занимается подготовкой к решению этих проблем.

— Нахожу эти заявления чрезвычайно уместными, господин Уэллес, — сказал я в свою очередь. — По-моему, экономические проблемы, которые возникнут в конце войны, будут иметь гораздо большее значение, чем политические.

— Как раз поэтому мне поручили встретиться и поговорить с вами во время посещения Берлина, господин Шахт. Вы знаете, конечно, что в Америке вас высоко ценят как экономиста.

После продолжительного обмена мнениями по экономическим вопросам я не скрыл, что решительно настроен против войны, что американское посольство знает это с тех пор, как советник посольства Дональд Хит встретился со мной. Поэтому я буду очень рад, если американская администрация займется посредничеством.

Я видел Гитлера еще раз по одному официальному поводу, когда он вернулся после успешной кампании против Франции. Приветствовать Гитлера на вокзале Анхальт были приглашены все министры и партийные руководители. Мое отсутствие на встрече произвело бы очень плохое впечатление: не оставалось ничего другого, как принять приглашение. По пути на церемонию я подобрал на машине министра Альфреда Розенберга. Это был неизменно скрытный и молчаливый человек. У меня сложилось впечатление, что он боялся проявить недостаток интеллекта, если будет говорить слишком долго. Во время этой поездки от него невозможно было добиться ни слова.

На перроне в мундирах с позолоченными галунами собрались чиновники и партийные идеологи. Будучи единственным штатским лицом в обычном костюме, я, должно быть, производил странное впечатление. Но они привыкли к тому, что вызывало у меня смущение. Я никогда не надевал мун-

дира. Однажды я сказал Гитлеру, что никто не преуспеет в партии, пока не приобретет звания и не наденет мундир, и тот немедленно ответил:

— Вы можете получить от меня любой мундир.

Я поднял обе руки в знак протеста и воскликнул:

— Пожалуйста, лучше не надо!

Когда подошел поезд, Гитлер сошел на платформу и двинулся вдоль выстроившихся министров, пожимая каждому руку, кивая и улыбаясь. Он явно был в прекрасном настроении и останавливался перекинуться одним-двумя словами с тем или иным из встречавших официальных лиц. Подойдя ко мне, он горделиво взглянул на меня и воскликнул:

— Итак, господин Шахт, что вы скажете теперь?

На мгновение я не нашелся с ответом в смысле похвалы или осуждения. Просто пожал ему руку и сказал:

— Да хранит вас Господь.

Он прошел дальше без всякого ответа.

По окончании церемонии приветствия вся процессия автомашин двинулась в направлении Имперской канцелярии между шеренгами ликующей возбужденной толпы. Насколько мне известно, это был последний случай, когда Гитлер, переполненный гордостью в связи с победой над Францией, ехал, стоя в своей машине, перед лицом множества людей.

Моя машина остановилась у Имперской канцелярии. Я дал возможность выйти Розенбергу, отправлявшемуся на прием, который должен был последовать за встречей на вокзале. Он оглянулся и посмотрел на меня вопросительно, поскольку я оставался в машине.

— Это не для меня, — сказал я и поехал домой.

Я не скрывал своего неодобрения войны даже перед членами правительства. В декабре 1940 года госсекретарь МИДа господин фон Вайцеккер связался со мной и предупредил от имени министра иностранных дел, чтобы я воздерживался от пораженческих заявлений. Я спросил, перед кем именно я делал такие заявления. Мне ответили: перед министром экономики Функом. В связи с этим я написал ему письмо:

«Дорогой коллега!

Сегодня госсекретарь МИДа господин фон Вайцеккер поразил меня заявлением от имени господина фон Риббентропа о том, что я допустил пессимистические высказывания

о современной обстановке. В ответ на мою просьбу сообщить, откуда он узнал это, было названо ваше имя как источника информации. Очень хорошо помню, что обсуждал с вами один-два раза наше экономическое положение, когда вы желали узнать мои взгляды. Я рассказал вам о том, что исповедую несколько лет. А именно: что с экономической точки зрения мы не готовы для продолжительной войны. А что война с Англией будет весьма долгой, очевидно для каждого, кто знаком с англосаксонским менталитетом.

Поэтому возражения господина фон Риббентропа, должен сказать с сожалением, не вполне для меня ясны. Если он хотел, чтобы я изменил свое мнение, то должен был привести убедительные и веские причины, почему я должен делать то-то и то-то. Так обстоит дело. С другой стороны, не могу представить, чтобы господин фон Риббентроп желал сокрытия или искажения мной моих взглядов в профессиональных дискуссиях с советниками фюрера. Это даст превратное представление о моей лояльности к фюреру.

Я попросил господина фон Вайцеккера ответить господину фон Риббентропу, что, пока фюрер желает, чтобы я оставался министром рейха, мое право и долг отвечать на вопрос коллеги-министра так, как того требуют мои убеждения и истина.

В связи с тем, что господин фон Риббентроп ссылался на вас в этом отношении, не могу воздержаться от того, чтобы довести этот вопрос до вашего сведения».

Я послал копию этого письма господину фон Вайцеккеру с просьбой передать ее шефу.

30 января 1941 года, в восьмую годовщину «тысячелетнего рейха», газета *Völkischer Beobachter* посвятила несколько полных страниц хронике достижений национал-социализма в течение этих восьми лет. Упоминалась каждая малейшая подробность: имена ведущих деятелей, законы и постановления, празднества и церемонии, парады и выставки. Короче, все, что заслуживало упоминания, даже за весьма непродолжительный период.

В этой подробной хронике ни единым словом не упоминалось то, чего достиг я. Мое существование полностью игнорировалось, мое имя ни разу не упоминалось во всем длинном списке.

Такое глухое замалчивание — ужасное политическое оружие в руках тоталитарного тирана. Оно показывает, каким образом можно было держать немецкий народ в слепоте и неведении. Путь к публичности был закрыт любому, кто не желал раболепствовать перед системой. Ни один художник, творчество которого не устраивало Гитлера, не мог выставить свои картины на выставке, добиться какой-либо известности. Ни один книжный магазин не продавал книги, а театр не ставил пьесы того автора, чье произведение не было «одобрено» сверху.

Имелось немало мучеников гитлеровского режима, но они исчезали безвестно в тюремных камерах, могилах и концентрационных лагерях, и о них никто никогда не слышал. Но какая польза от самопожертвования в борьбе против власти, если оно остается неизвестным и не дает шанса, таким образом, воодушевить на борьбу других? Преступления, совершенные членами партии, — а имя им легион — никогда не позволяли оглашать, даже когда вердикты выносились судами общей юрисдикции. Когда в январе 1943 года мне удалось наконец добиться освобождения от формального поста министра без портфеля, об этом не было объявлено публично ни единым словом.

Полный контроль над печатными средствами и злоупотребление ими властью имущими являются величайшим злом, кому бы ни принадлежала эта власть — государственным, партийным группировкам или отдельным капиталистам. В любом разумном законодательстве в сфере прессы должно учитываться даже глухое замалчивание. Право на публикацию и долг публициста должны идти рука об руку.

В феврале 1941 года я снова нанес визит Гитлеру, так как счел своим долгом оповестить его о своем предстоящем втором браке. Когда я собирался покинуть кабинет, он окликнул меня:

— Год назад вы предложили съездить в Америку. Считаете ли вы возможным осуществить сейчас подобное намерение?

— Не думаю, что такая поездка возможна теперь. Поскольку закон о ленд-лизе вступил в силу, полагаю, нет шанса достичь каких-либо положительных результатов для Германии.

Это был последний раз, когда я видел Гитлера.

В начале марта 1941 года я женился вторично. Мы с женой совершили свадебное путешествие в Швейцарию, где встречались и беседовали не только с жившими там немцами, с представителями нашего посольства, но также со швейцарскими друзьями.

Наше свадебное путешествие, происходившее в атмосфере горьких событий того времени, выглядело оазисом. Оно позволило мне забыть о риске, которым угрожал молодой жене мой повторный брак. Ведь в любой момент я подвергался опасности разоблачения как предатель. Однако моя жена была готова к любым неожиданностям.

Отличаясь спокойным, приветливым характером, восприимчивая ко всему прекрасному и духовному, она интересовалась в основном искусством вааяния и архитектурой. К тому же увлекалась аналитикой и философией. Уже взрослой женщиной занялась изучением латыни. Ее способности критика-искусствоведа, знание истории искусства сослужили ей хорошую службу, когда открылся новый Дом искусств в Мюнхене. Она стала его сотрудником, переведясь туда из Национального музея Линденау в Альтенбурге (Тюрингия), где работала ассистентом.

Я познакомился с ней в Мюнхене, где мы встретились на дружеской вечеринке. Подобно многим другим, не знавшим меня лично, она представляла меня жестким, холодным, степенным субъектом и была поражена моим смехом от души и раскованностью в кабаре-шоу.

Меня же привлекли в ней не просто стройная фигура и красивые черты лица, вьющиеся белокурые волосы и голубые глаза, которые могли бы послужить образцом для ангелов в церкви Боденхаузена, но еще больше ее блестящий ум, возвышенная душа, неподдельная общительность и симпатия. Тем не менее прошло некоторое время, прежде чем мы наконец нашли взаимопонимание. У нее было много других поклонников. Она была на тридцать лет моложе меня и вполне устроилась в жизни. Мог ли я привлечь ее к себе, постоянно подвергаясь политическому риску? Наши отношения решились судьба и любовь. Мы не пожалели об этом. Но вместе с моей признательностью этой женщине за подаренное мне счастье позвольте мне выразить хоть толику нашей вечной благодарности женщинам Германии за их заботу о своих мужьях во время войны и в годы послевоенных испытаний.

Смелость перед лицом врага мы справедливо именуем героизмом, но еще больше героизма проявили наши женщины в борьбе с нищетой и нуждой, с унижением и неволей.

На недолгих три года я смог защитить свою жену от тревог и беспокойства. Затем начались ее страдания. При Гитлере меня арестовали с перспективой повесить за измену Родине. Тяжелые обвинения выдвинули против меня на Международном военном трибунале в Нюрнберге. Годами я сидел в заключении по приговорам немецких судов по денацификации, был осужден на восемь лет принудительного труда. Народ Германии поставил меня вне закона по наущению тех, кто не смог делать добро в условиях Веймарской республики, а сейчас снова выплыл на поверхность. Я подвергался серьезным угрозам со стороны коммунистов и социал-демократов. Моя профессиональная честь ставилась под сомнение социал-демократическими властями ганзейского города Гамбурга. Такие удары обрушились на мою молодую жену. Она выдержала их с беспрецедентной стойкостью, достоинством, бесстрашием и энергией.

Однако во время нашего свадебного путешествия в Швейцарию нас не беспокоили никакие дурные предчувствия. Мы предавались счастливым часам этого времени. С улыбками на лицах мы приветствовали наступление весны в Лугано и бродили по горным тропам Гандрии.

Швейцарские газеты относились к нам дружелюбно и освещали наше пребывание в стране заметками и фотографиями. У меня были дружеские беседы с представителями швейцарского правительства. Это происходило в 1941 году, когда я уже порвал связи с гитлеровским режимом. Я и не подозревал, что через десять лет Швейцария откажет мне во въездной визе на том основании, что я являюсь нежелательным иностранцем. Что изменилось во мне с 1941 года? Гитлер подозревал меня в измене, посадил в тюремную камеру и угрожал смертью, между тем в Нюрнберге союзники по диаметрально противоположным причинам хотели меня повесить за сговор с Гитлером. В течение всего этого десятилетия я оставался тем же самым: изменилось швейцарское правительство.

Во время свадебной поездки у меня состоялась интересная беседа с одним из ведущих швейцарских банкиров по вопросу, который горячо дебатировался в швейцарском правитель-

стве. Во время войны и до описываемого периода Швейцария была кровно заинтересована в крупных поставках товаров в Германию, включая, конечно, военные материалы, извлекая вместе с тем — как и в Первую мировую войну — весьма большие прибыли. Раньше германское правительство платило за эти поставки главным образом наличной валютой, теперь же рейх сам обращался с просьбами к Швейцарии о предоставлении крупного кредита. Вопрос состоял в том, предоставлять такой кредит или ограничиться поставками, оплачиваемыми за наличность. Что я думаю об этом?

Я сказал, что постараюсь ответить на этот вопрос целиком с точки зрения швейцарской экономики. С этой позиции для Швейцарии лучше всего продолжать поставки своих товаров в счет частичного кредита, нежели отказываться от поставок вовсе. Если существенная часть поставок прекратится, это будет означать, помимо прочих неприятностей, значительную безработицу в Швейцарии, которую придется финансировать из государственных средств. Весьма вероятно, что может последовать социальный протест с неприятными последствиями для внутренней политики страны, особенно в военное время, не говоря уже о соображениях внешней политики. Далее, общая сумма кредита не должна быть слишком большой, поскольку Германия осуществляла много ответных поставок в Швейцарию, которые не только покрывали часть кредита, но также по своей природе представляли собой важный фактор швейцарской экономической политики. Я ссылаясь, в частности, на уголь.

В ходе беседы я напомнил собеседнику, что однажды давал его стране хороший совет по важному экономическому вопросу, которым тогда швейцарское правительство, к сожалению, не воспользовалось. Это было в начале правления Гитлера, незадолго до того, как мы прекратили выплачивать проценты по иностранным долгам. Я предложил, чтобы швейцарское правительство импортировало из Германии достаточное количество угля для полного удовлетворения годовой потребности в нем. Отмечал, что Швейцария слишком зависела от Германии в поставках угля и для нее было бы полезно во время любого экономического и политического кризиса иметь угольные запасы для обеспечения транспорта и промышленных предприятий. Я был бы готов экспортировать достаточное количество угля в Швейцарию в счет таких

кредитов. Несмотря на очевидную выгодность этого предложения, швейцарское правительство его не приняло. Оно объясняло отказ тем, что невозможно уговорить швейцарских поставщиков угля пойти всем одновременно на этот шаг.

В начале апреля 1941 года мы вернулись из свадебного путешествия в наше загородное поместье Гюлен. В течение нескольких последующих дней я узнал через свои косвенные политические и военные связи о намерении Гитлера напасть на Россию.

Отношения между Германией и Россией, которые, казалось, приобрели дружественный характер после обоюдного соглашения в конце августа 1939 года, с течением времени не улучшились. Политическая атмосфера во время визита Молотова в Берлин была явно прохладной. Событие, которое привлекло мало внимания, указывало на недовольство в партии подписанием Гитлером пакта с Россией. Этот пакт так и не встретил понимания в партийных кругах. В течение многих лет велась идеологическая борьба с большевизмом интенсивными пропагандистскими методами — и вот ее заменила дружба. А идеологической войне нет места среди такого рода резких разворотов, перетасовок и перегруппировок.

Когда в Берлине ожидали Молотова, министр иностранных дел Риббентроп послал запрос начальнику штаба СА Лютце на обеспечение групп людей вдоль улиц, по которым поедет Молотов по прибытии в столицу. Лютце отверг этот запрос на том основании, что не может настаивать на участии в приеме в честь одного из главных представителей большевизма людей, настроенных против большевизма. Не знаю, докладывал ли Риббентроп Гитлеру об этом отказе. Во всяком случае, когда прибыл Молотов, шеренги людей вдоль улиц состояли исключительно из эсэсовцев в их черных мундирах.

Мы с друзьями были убеждены, что нападение на Россию было чистейшим безумием. Если до сих пор мы надеялись, что можно было предотвратить войну посредством каких-нибудь разумных мер, то включение России в ряды наших врагов обратило эту надежду в прах.

Отдельные партийные руководители, которые подозревали или знали о намерении Гитлера начать войну с Россией, тоже

приходили в ужас. Лучшим свидетельством этого является перелет Рудольфа Гесса в Англию, предпринятый без ведома Гитлера. Но если Гесс полагал, что сможет посредством своего полета помочь Германии избежать роковой судьбы, то это свидетельствует только о его полном невежестве во внешней политике, которым отличались почти все партийные лидеры.

Первыми военными сражениями с совершенно недостаточно подготовленными русскими войсками явились крупные бои на равнинах, которые принесли Гитлеру успехи и в которых миллионы русских попали в плен.

Я воспользовался этими первоначальными победами, чтобы написать письмо Гитлеру в сентябре 1941 года. В этом письме я доказывал, что поворотный пункт уже был достигнут. Гитлер в зените военных успехов. Союзники еще в значительной степени переоценивали силу Германии. Для Гитлера наступил момент взять на себя инициативу в проведении энергичной мирной политики. Я отмечал:

«Методика осуществления такой инициативы имеет первостепенное значение.

1) С самого начала необходимо исключить публичные речи.

2) Равным образом не следует стремиться к установлению контактов на политической основе, так как это будет рассматриваться как признак слабости. Скорее, надо начинать с экономических связей.

3) Установление контактов целесообразно только с Америкой, с которой мы не находимся официально в состоянии войны.

4) Я думаю, у страны еще сохраняется шанс лучшего будущего, даже сейчас, несмотря ни на что».

Гитлер отреагировал на статью в негативном духе. Госсекретарь Ламмерс писал мне: «Фюрер лично прочитал письмо и поручил мне передать вам благодарность».

Из конфиденциальных источников я узнал, что Гитлер сказал своим генералам: «Шахт все еще не понимает меня». Это было одно из его немногих верных замечаний.

Попытка Гитлера включить Испанию в свои военные расчеты потерпела провал. Война распространилась на Африку. Завоевание Москвы, на которое Гудериан отвел три месяца в

начале русской кампании, не состоялось. Русские собрались с духом. Благодаря широкой материальной помощи союзников их сопротивление постоянно усиливалось. Германская промышленность предпринимала все возможное, чтобы обеспечить себя поставками военных материалов, но отправление подкреплений из Германии становилось все труднее.

В феврале 1942 года вышел указ, запрещающий всем министрам рейха слушать зарубежные радиопередачи. Несмотря на мой протест, запрет распространялся и на меня. Шеф Имперской канцелярии Ламмерс писал мне:

«В целях содействия получения вами информации, касающейся зарубежной пропаганды по вопросам, которые имеют отношение к вашей профессиональной деятельности, я договорился с министром просвещения и пропаганды, что вам по запросу будет доставляться краткая сводка зарубежных новостей постольку, поскольку они затрагивают вашу профессиональную деятельность».

Гитлер отверг мой протест на том основании, что он несколько не вредит моему престижу. Мой ответ Гитлеру состоял в следующем:

«Запрет на прослушивание иностранных передач свидетельствует о неверии в мою лояльность и мои способности оценивать события. Оснований для того и другого нет. Мой престиж не пострадает. Престиж не даруется, но должен завоевываться.

Но если целью вашего решения было лишить меня возможностей получать информацию как *профессионала* и вашего доверия как *частного лица*, тогда я прошу немедленно освободить меня от должности министра рейха».

В ответ на инициативу Ламмерса, чтобы Геббельс снабжал меня информацией, я писал: «Сожалею, что не могу воспользоваться предложением министра просвещения и пропаганды, так как этот министр некомпетентен выражать мнение по материалу, который меня интересует».

Оставить должность мне не разрешили. Но эта переписка показывает, насколько возросла напряженность в отношениях между Гитлером и мной.

В ноябре 1942 года — очевидно, из-за недосмотра в Имперской канцелярии — мне в руки попал проект указа о при-

влечении учащихся старших классов средних школ к защите аэродромов и объектов противовоздушной обороны. Этот промах дал мне великолепную возможность снова выразить свои взгляды на политическую ситуацию. Это случилось, когда вокруг Сталинграда происходили ожесточенные бои, которые пока еще не принесли Гитлеру тех катастрофических результатов, которые последовали через несколько недель. Я послал Герману Герингу, который издал проект приказа, следующее письмо:

«Дорогой фельдмаршал!

Через Имперскую канцелярию я ознакомился с вашим проектом приказа, касающегося привлечения пятнадцатилетних школьников на военную службу. С конца 1937 года, как вы знаете, я был министром только номинально, без официальной сферы деятельности. С 1938 года не было никаких заседаний кабинета министров. Меня никогда не приглашали присутствовать на министерских дискуссиях. Я живу в стране в полной изоляции. Несколько месяцев назад мне запретили слушать зарубежные радиопередачи, так что единственным источником информации по военной, экономической и политической ситуации является для меня то, что доступно каждому дискриминируемому немцу, численность которых среди так называемых масс не следует недооценивать. Я не являюсь членом Национального совета обороны и не имею никакого отношения к разработке проекта приказа. Хотя, следовательно, я могу снять с себя малейшую долю ответственности, моя совесть и желание испробовать все возможности побуждают меня написать вам эти строки.

Предварительно могу констатировать, что с самого начала мое отношение к тем, кто занимает ответственные посты, заключалось в том, что с экономической точки зрения мы не оснащены в достаточной степени для *продолжительной* войны. То же, что война будет долгой, было очевидно всякому, кто знаком с англосаксонским менталитетом, после того, как Британия заявила о своей решимости рассматривать нападение Германии на Польшу как повод к войне. Ранее, в 1940 году, я предложил фюреру поехать в Соединенные Штаты с целью ослабить американскую военную помощь Британии и по возможности воспрепятствовать более широкому вовлечению Америки в войну. Министр иностранных дел от-

клонил это предложение, к которому фюрер отнесся положительно. Я снова поднял этот вопрос перед фюрером осенью 1941 года, когда мы достигли наивысших успехов, но безрезультатно.

С военной точки зрения, возможно, и надо призывать на службу пятнадцатилетних юнцов, но это подорвет веру немецкого народа в победу. Факты в том обличье, в каком их видят немцы, состоят в следующем:

1) Первоначальные расчеты на блицкриг не оправдались.
2) Обещанное быстрое подавление Британии посредством люфтваффе не осуществилось.

3) Прогнозы о том, что Германия будет защищена от авиационных налетов противника, не оправдались.

4) Постоянные заверения, что вооруженное сопротивление России окончательно сломлено, не подкреплены фактами.

5) Наоборот, поставки России от западных союзников и ее резервы в живой силе привели к мощным контратакам на Восточном фронте.

6) Несмотря на неоднократные усилия, первоначально победоносное наступление на Египет пока терпит провал.

7) Высадка союзников на западе и севере Африки, которая объявлялась невозможной, тем не менее состоялась.

8) Привлечение чрезвычайно большого числа десантных судов, необходимых для высадки, показало, что наших подводных лодок, несмотря на их значительные успехи, не хватает для пресечения такой операции.

Прибавьте к этому уменьшение персонала государственных учреждений, сокращение средств транспорта, военных материалов и рабочей силы, которые очевидны для каждого немца. Привлечение пятнадцатилетних школьников, скорее всего, усилит сомнения по поводу благоприятного исхода этой войны».

Письмо было громко зачитано скамье подсудимых американским главным обвинителем в Нюрнберге. Из его манеры чтения я был вынужден сделать вывод, что обвинитель ранее не смог прочесть письмо до конца либо достаточно внимательно, ибо оно полностью меня реабилитировало. В конце он не удержался от замечания: «Это очень хорошее письмо».

Это действительно хорошее письмо. Но оно было также весьма опасным для меня. Прошло семь недель, прежде чем

последовала на него реакция властей. 21 января 1943 года Ламмерс послал одного из глав отделов канцелярии, который вручил мне извещение о снятии меня Гитлером с должности министра без портфеля. Оно сопровождалось письмом самого главы канцелярии:

«Ввиду вашего общего отношения к нынешней мужественной борьбе немецкого народа фюрер решил прежде всего сместить вас с поста министра рейха».

То, что за этим увольнением вскоре последуют другие акции, я понял из слов «прежде всего». Мне не пришлось их долго ждать. Следующий шаг принял вид письма Геринга:

«В ответ на ваше пораженческое письмо, рассчитанное на подрыв воли немецкого народа к сопротивлению, я исключаю вас из Государственного совета Пруссии. Геринг, маршал Великого рейха».

Я не мог не улыбнуться, прочитав это письмо. Государственный совет Пруссии никогда не играл сколько-нибудь значительной роли. В последние полдесятка лет он не созывался. Исключение из этого органа, следовательно, не представляло очень уж тяжелого наказания. Забавнее всего, однако, было то, что мое конфиденциальное письмо Герингу подрывало волю к сопротивлению немецкого народа.

Дальнейшим развитием событий было то, что я получил письмо за подписью Мартина Бормана, обязывающее меня от имени фюрера вернуть почетную партийную золотую эмблему, которая вручалась 30 января 1937 года всем министрам, включая меня, в связи с четырехлетием существования правительства Гитлера. Я с особым удовольствием выполнил это требование.

Но следовало ожидать продолжения, и я постарался предупредить последствия как можно быстрее и основательнее. Отпраздновав свой день рождения 22 января в загородном доме, на следующий день я сразу же поехал в свою берлинскую резиденцию и заметил, что улица находится под наблюдением сотрудников гестапо, которые, по своей легко узнаваемой привычке, дефилировали рядом с моим домом с видом обычных прохожих.

Оттуда я поехал в дом племянника на Шлахтензее и по дороге понял, что за мной следует машина с сотрудниками гестапо.

Вернувшись в Берлин, все еще преследуемый гестаповцами, я как можно быстрее упаковал необходимые принадлежности в два чемодана и поехал через Шпандау в свой загородный дом. Неподалеку от Шпандау гестаповцы, видимо, поняли мои намерения и прекратили дальнейшее преследование. То, что последующие несколько месяцев я не покидал своего поместья, вероятно, побудило гестапо воздерживаться от явных попыток досадить мне. Разумеется, моя почта просматривалась, а телефон прослушивался.

События, последовавшие за моим увольнением, вынудили меня маскировать как можно тщательнее мои связи с людьми моего образа мышления. Раньше я поддерживал тесные контакты с Герделером, теперь, однако, потихоньку прекратил с ним все отношения, поскольку его поведение казалось мне слишком неосмотрительным. С другой стороны, старые друзья время от времени приходили навестить меня в моем загородном убежище. Особенно частыми гостями были капитан резерва Штрюнк с женой. Он работал в ведомстве Канариса и всегда делился ценной информацией. Поскольку он был заядлым охотником, его посещения всегда камуфлировались как отклики на приглашение поохотиться. Прямо или косвенно, я постоянно поддерживал связи среди прочих с Гизевиусом, доктором Францем Рейтером, министром финансов Пруссии Попицем, полицейским инспектором Небе, главным комиссаром полиции в Берлине графом Гельдорфом, главным докладчиком министерства экономики, кузеном и убежденным противником Германа Геринга Гербертом Герингом. Общался с фон Бисмарком, губернатором Пруссии и братом князя Бисмарка, а также с другими.

После того как обстановка вокруг меня несколько успокоилась, я еще раз совершил короткий визит в Берлин для участия в различных обсуждениях.

Летом 1943 года предпринял еще одну попытку вмешаться в ход событий. Написал Ламмерсу письмо:

«Судьбы Германии, национал-социализма и Гитлера столь тесно переплетены, что даже не самое лучшее отношение ко мне не может повлиять на мою лояльность и чувство долга.

Поэтому я был бы признателен, если бы вы сообщили мне, готов ли фюрер снова принять от меня короткое письменное послание по вопросу о политической обстановке».

19 августа 1943 года Ламмерс дал ответ:

«Я сообщил фюреру о вашем желании послать ему короткое письменное заявление о политической ситуации. Фюрер просит, чтобы вы воздержались от этого».

Я держался в стороне от роковых встреч с Герделером и министром финансов Попицем. Действия Герделера особенно привлекали слишком много внимания. Доктор Йозеф Мюллер (позднее министр юстиции Баварии) заявил на одном из заседаний суда по денацификации: «Герделер был похож на двигатель, который работает слишком шумно». Его заявление совпадает с моим впечатлением.

Я никогда не принимал участия в многочисленных обсуждениях Герделером программы будущего правительства и формирования нового кабинета. Вместе с Вицлебенем я уже в 1938 году решил для себя, что если нам удастся отстранить Гитлера от власти, то прежде всего должно быть установлено военное правительство с тем, чтобы обеспечить формирование последующего правительства посредством всеобщих выборов. Среди прочего мы предусматривали учреждение совета, состоявшего из хорошо известных представителей рабочих, который действовал бы в качестве совещательного органа при временном военном правительстве. Выработка воззваний к немецкому народу и программных манифестов будущего правительства — любимая работа Герделера — казалась мне глупым занятием. Для этого было бы достаточно времени, если бы событие свершилось. На это хватило бы двадцати четырех часов.

Одним из наших сторонников, который также служил в абвере Канариса, был член адвокатской коллегии, доктор фон Донаньи. В 1942 году он решил зачитать мне свою прокламацию, которая начиналась словами: «Гитлер мертв!» Я сразу прервал его, попросив дочитать ее, когда Гитлер будет действительно мертв.

Составлять списки министров и вверять их бумаге казалось мне еще более безумным, чем сочинение прокламаций.

Подходящих компетентных людей было не так много. Следовало держать в памяти немногих, которые заслуживали внимания, без записи их имен.

Я продолжал старательно избегать встреч с Герделером. Поэтому незадолго до покушения на Гитлера ко мне пришел бывший посол фон Хассель, чтобы справиться, готов ли я войти в кабинет Герделера. Я ответил, что такое предложение слишком преждевременно. Очевидно, однако, он хотел привязать меня к ним тем или иным способом, на что я заявил, что на данной стадии не собираюсь контактировать с Герделером никоим образом, поскольку не представляю, какую политику он намерен проводить. При образовании нового правительства я в любом случае посчитал бы своим долгом использовать свои зарубежные связи, чтобы немедленно наладить взаимопонимание с ним правительств стран западных союзников. Наш разговор происходил в парке Сан-Суси в Потсдаме. Фон Хассель покинул меня явно неудовлетворенным. Ему показалось, что я противлюсь его желанию стать министром иностранных дел.

Другая важная связь была установлена через старого друга моего сына Йенса, административного сотрудника Берлинского района обороны подполковника Гронау. Его сообщения представляли большую ценность. В первые месяцы 1944 года Гронау помог мне встретиться с генералом артиллерии Линдеманном, одним из нескольких высокопоставленных офицеров, неприязнь которых к режиму достигла уровня, когда вызрела решимость действовать. Вскоре после этого Линдемманна назначили начальником артиллерийско-технической службы Верховного командования сухопутных войск и поручили ему снабжение артиллерией и боеприпасами всех армий на Восточном фронте. В этом качестве он мог поддерживать тесные связи со штабом Верховного командования и вскоре установил контакты с некоторыми высокопоставленными офицерами, которые, подобно ему самому, были готовы свергнуть гитлеровский режим насильственным путем.

Наконец я нашел человека, который имел прямой доступ к Гитлеру! Этой возможности я давно лишился. Линдемманн находился на Востоке, но, когда бы он ни приезжал в Берлин, мы обсуждали подготовку покушения на Гитлера, и я пользовался каждой возможностью призвать к ускорению приготовлений.

Конечная стадия подготовки длилась несколько недель. Различные сроки покушения, которые мы назначали, откладывались, поскольку возникали те или иные препятствия из-за перемещений Гитлера. Становилось, однако, все яснее, что запланированная акция могла быть проведена примерно в середине июля.

17 июля я отвез двух своих малолетних детей от второго брака к дочери в Верхнюю Баварию, чтобы не подвергать их опасности дома. 20 июля я находился в мюнхенском отеле «Регина», когда узнал, что заговор провалился.

Наутро после покушения на Гитлера привратник обратил мое внимание на то, что за мной следят сотрудники гестапо, разместившиеся в отеле. Я решил, что будет лучше покинуть заведение, и 22 июля снова вернулся в свой загородный дом близ Берлина.

Весь день мы с женой провели вдвоем, слушая по радио сообщения об арестах и расстрелах. Лишь гораздо позднее я узнал о событиях, происшедших в Военном министерстве на Бендлерштрассе.

23 июля в семь часов утра наш повар разбудил меня, постучав в мою спальню и сообщив, что сотрудники гестапо хотят со мной поговорить. Я открыл дверь еще в пижаме.

Мне сообщили, что я арестован.

Спокойно одевшись, я сказал жене, чтобы она сделала то же самое. В присутствии полиции я передал ей самые нужные ключи.

Затем меня сопроводили вниз по лестнице к выходной двери, у которой уже стояло несколько машин. Я попрощался с женой и сказал, что вернусь домой через несколько дней. Ее лицо покрыла мертвенная бледность, и я увидел, что она не особенно верит в мое обещание.

Глава 53

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ

Процессия машин отвезла меня в концентрационный лагерь Равенсбрюк в Мекленбурге. Когда меня провели в тюремную камеру, охранники шутя заметили, что это та самая камера, которую раньше занимал мой племянник, отбывавший двухлетний срок заключения.

С того момента, как я ступил в камеру Равенсбрюка, до времени моего окончательного освобождения 2 сентября 1948 года — более чем четыре года — я менял тюрьмы не менее тридцати двух раз.

Более двух лет я провел в одиночном заключении. Камеры весьма походили одна на другую, порой составляя четыре квадратных метра площади, порой больше или меньше. Иногда туалет помещался в камере, иногда нет. Если нет, каждый раз приходилось вызывать охранника для сопровождения. Попадались камеры с водоснабжением, в других камерах его не было. Если не было, приходилось мыться под наблюдением. Охранники порой относились к узникам сносно, порой грубо, все зависело от характера этих людей. Потребности интеллектуального чтения удовлетворялись в очень незначительной степени.

В период неволи, который длился более четырех лет, я старался придумывать себе разные занятия. Пищи всегда хватало, но она сильно различалась по качеству и очень часто была чрезвычайно убогой. Это особенно справедливо для Равенсбрюка, где мне часто не давали ничего, кроме жидких щей или чего-нибудь подобного три дня подряд. В целом, однако, обращение со мной в Равенсбрюке было поначалу неплохим. Моего главного надзирателя можно было иногда уговорить оказать небольшие услуги в обмен на сигару из моего скудного запаса.

Пока я оставался в одиночном заключении, строго осуществлялась изоляция меня от других узников или соседей по лагерю. Лишь случайно мне удавалось заглянуть мельком в другую камеру во время прохождения по коридору или сквозь окошко в двери, которое открывалось, когда мне передавали еду. Здание, в котором нас поместили, являлось всего лишь малой частью очень большого лагеря, явно предназначенного для «политических» заключенных.

Когда нас выводили через тюремный двор на допрос, я понял, что существовал еще огромный лагерь для женщин. В этом месте, бывало, слышались одновременно до 15 тысяч голосов женщин. Из окна ванной комнаты, которой нам разрешалось пользоваться раз в неделю, я мог видеть отдельный тюремный двор. В нем толпились те матери, чьи дети родились во время тюремного заключения. Со временем я смог узнать «выдающихся» узников, среди которых был генерал Гальдер.

Меня стали допрашивать через несколько дней после ареста. Из первых же вопросов я понял, что против меня нет реальных улик и что метод допроса ничем не отличался от таможенных формальностей в наиболее элементарной полицейской процедуре.

На первый допрос меня повезли в машине из Равенсбрюка в Дреген. Именно здесь, как я узнал позднее, были интернированы Носке, социал-демократический министр обороны, и генерал фон Фалькенхаузен. Как-то раз во время перерыва в допросах мне позволили совершить небольшую прогулку вокруг лагеря. Я заметил идущую строевым шагом колонну людей, состоявшую большей частью из «ограбленных немцев», которых рекрутировали и перевозили из оккупированных восточных провинций.

Первый допрос начался с идентификации моей личности неким лейтенантом полиции по имени Йохан. Рядом с ним сидела женщина-машинистка. К моему удивлению, первым вопросом, или, скорее, первым приказом, было:

— Продиктуйте этой женщине подробности своей служебной карьеры.

После некоторого уточнения размеров и содержания текста я начал диктовать машинистке факты своей службы в той мере, какую считал возможной для гестаповцев. Диктовка заняла несколько часов, и содержание отпечатанного текста значительно отличалось от настоящих мемуаров.

Во время допроса на следующий день последовал приказ:

— Сообщите имена ваших знакомых и друзей.

Я немного подумал и ответил:

— Нет, этого я не буду делать.

Вслед за угрожающими жестами и словами, произнесенными в повышенном тоне, мне удалось объясниться:

— Несмотря на ваш приказ, я не буду этого делать по следующей причине: если я упомяну чье-либо имя, вы немедленно предположите, что названное лицо следует арестовать. Если же я случайно пропущу какое-нибудь имя, вы сразу заподозрите меня в преднамеренном желании скрыть его. Предлагаю вам другое. У меня дома, где я часто виделся с друзьями, хранится книга посетителей. Сходите туда и попросите мою жену показать вам книгу. Вы найдете там все имена, которые вас интересуют.

Я знал, что в этой книге записаны только имена моих гостей, которые ночевали в нашем доме. Те гости, которые приходили днем, не записывались в книгу посетителей. Многие недавние посетители с политическими целями были как раз среди дневных гостей, поэтому у меня не было опасений, что их имена станут известны гестапо.

Лейтенант полиции принял это предложение, и допрос был отложен на несколько дней. За это время господин Йохан лично сходил в наш дом за книгой посетителей, и, когда допрос возобновился, она лежала перед ним в открытом виде.

В течение всего моего четырехлетнего заключения моя жена оказывала мне огромную поддержку, полностью осознавая все опасности и обстоятельства. В данном случае она сразу же стала угощать господина Йохана чаем с пирогами, и в результате их бесед его отношение ко мне явно улучшилось.

Между тем мне удалось через своего доброго надзирателя Мошуса получать ежедневно *Völkischer Beobachter*. Как-то раз, однако, он не принес газету и объяснил, что она не вышла. На следующий день сказал, что потерял ее. Мобилизовав всю свою способность уговаривать, я сказал ему:

— Мошус, у меня осталась последняя из моих чудных сигар. Она станет твоей, если ты принесешь мне позавчерашний номер *Völkischer Beobachter*.

Обмен успешно состоялся, но затем я понял, почему он не давал мне именно этот номер газеты. Он содержал имена почти двадцати восьми официальных лиц и прочих людей, которые были замешаны в заговоре против Гитлера, наряду с информацией о том, сколько из них было расстреляно и сколько еще разыскивается. Среди последних был генерал Линдемманн, которому удалось скрыться.

При мысли о Линдемманне я испытал огромное облегчение. Я понимал, что в моей связи с Линдемманном таилась для меня огромная угроза, и надеялся также, что он в безопасности. Решил поэтому, что, если меня спросят о Линдемманне, буду отрицать всякие связи с ним.

Любопытно, однако, что в последующих допросах меня ни разу не спрашивали о том, знаком ли мне кто-нибудь из этих двадцати восьми лиц, хотя любой неоперившийся студент, изучающий криминологию, спросил бы об этом прежде всего.

Все последующие вопросы совершенно не относились к делу. Они касались моих взглядов на национал-социализм и подобные темы, на которые я мог ответить без сучка и задоринки.

28 августа обстановка неожиданно осложнилась. Рано утром мне приказали сдать одежду и облачиться в бело-голубую тюремную робу. Я надел на ноги большие деревянные башмаки, которые постоянно спали. Несмотря на все свои усилия, я не мог уговорить лагерного начальника — действительно закоренелого гестаповца комиссара Ланге — позволить мне носить гражданскую одежду. Никогда в своей жизни я не носил униформы, теперь же был вынужден надеть робу осужденного, хотя считался только так называемым «поднадзорным», то есть подлежащим допросу, но ни в коей мере не осужденным.

Реакция моего собственного «я» на тюремную робу была до крайности любопытна. Я не переживал по поводу деградации, присущей тюремному порядку, но сразу испытал нечто вроде комплекса неполноценности от того, что был не в силах помешать этим людям впихнуть меня в эту робу против моей воли. Я оказался на таком дне, где против злоупотребления властью не могли помочь ни право, ни справедливость, ни бунт. Это ощущение крепло во мне, тем более что весь тюремный персонал, надзиратели и охранники, стали немедленно обращаться со мной как с преступником.

Затем я подумал, сколько еще людей находится в таком же положении. Меня переполняло чувство солидарности с другими бело-голубыми полосатиками. Меня распирала потребность заставить надсмотрщика понять, что я не преступник. Как бывает тяжело отделить собственную индивидуальность от униформы!

Едва я надел робу преступника, как на моих руках защелкнули наручники и потащили меня в машину как товарный тук. Сам комиссар Ланге занимал переднее сиденье рядом с шофером. Меня перевезли в подземную тюрьму на Принц-Альбертштрассе, 9, при главной резиденции Службы госбезопасности в Берлине.

Вначале мне пришлось ожидать часами в пустой приемной без еды и питья. Наконец выяснилось, что под сводами подземелья не осталось ни одной свободной камеры. Оттуда меня повезли в Моабитскую тюрьму на Лертерштрассе. Мои

поработители забыли захватить чемоданчик с туалетными принадлежностями, и поскольку я не имел представления, что они намеревались со мной делать, то на первых порах не заметил его отсутствия.

Смена обстановки на обшарпанную камеру в Моабите стала подлинным мучением. Камеры освещались, поэтому надзиратель мог следить за узником все время через глазок в двери. По этой причине я спал на нарах лицом к стене и лежал так даже тогда, когда временами просыпался.

Проснувшись однажды, я увидел, как по стене ползет красно-коричневое пятнышко на расстоянии вытянутой руки. Луч электрического света падал прямо на него: через мгновение крохотное существо стало жертвой моего ногтя. Это был клоп. Последовали тревожные поиски. В эту первую ночь мне удалось уничтожить пять клопов. Днем я зачистил все четыре стены моей камеры. Там ползали большие и маленькие клопы. Интересно, однако, что стены были покрашены так, что охота за ними была нелегким занятием. Желтовато-земельный цвет был густо забрызган коричневыми пятнами, полосками и каплями, так что было трудно разобрать, где краска, а где клоп, особенно из-за того, что убитые клопы прилипали к стене.

Лишь на четвертый день, когда я вернулся на Принц-Альбертштрассе, где за этот промежуток времени освободилась камера, мне отдали мои вещи. Моя камера располагалась под одним из сводов. Маленькое окошко с решеткой почти у самого потолка было открыто для проветривания. Сама же камера была глубоко под землей. Я провел в ней четыре месяца без возможности выбраться наружу, чтобы подышать свежим воздухом. Мне было шестьдесят семь лет.

Заключение облегчалось тем, что мне снова разрешили носить гражданскую одежду, а жене — передавать мне книги, чистое белье и еду в добавление к моей обычной диете. В течение первых нескольких дней я мог покупать две небольшие сигары, которые просовывались сквозь глазок в двери.

В этой тюрьме вскоре возобновились допросы, которые проводил комиссар по имени Штавицки. Его вопросы были не менее глупыми, чем те, которые мне задавали в Равенсбрюке. Но я догадался по документам, лежавшим перед ним, в которые он заглядывал, что мой перевод из Равенсбрюка в более строгую тюрьму на Принц-Альбертштрассе стал резуль-

татом показаний, даваемых относительно меня Герделером. Эту догадку подтвердил позднее мой друг Шнивинд. В его дело по ошибке попала страница с текстом допроса Герделера. Когда он читал свои показания для подписи, то заметил этот текст.

Следующий фрагмент моей книги даст некоторое представление о характере допроса.

— Вы присутствовали на регулярных обсуждениях в комитете политической обстановки?

— Какой комитет вы имеете в виду?

— Председателем комитета был Ройш. Присутствовали Фоглер, Бюхер, Венцель и другие.

— Право, смешно, если вы полагаете, что на этом комитете обсуждалась политика. Там собиралось около двенадцати человек, половина из которых были промышленниками, другая же половина — сельскими предпринимателями. Они регулярно встречались, чтобы поговорить о проблемах, связанных с механизацией сельского хозяйства.

— Это неправда. Господин Герделер сообщил нам, что на комитете обсуждалась политика.

— Полагаю, что если меня арестовали как члена этого комитета, то других тоже задержали. Когда вы допросите этих господ, то убедитесь, что я говорю правду. Если кто-нибудь случайно обронил политическое замечание или что-нибудь подобное, то это происходило в личном разговоре и не имело отношения к общей дискуссии на комитете.

— Тринадцатого июля вы разговаривали с Гизевиусом в Берлине.

— Неправда.

— У нас есть доказательства этого.

— Это неправда. Не откажите в любезности ознакомить меня с этими доказательствами.

— Откажем. Но мы знаем, что в этот день вы встречались и говорили с Гизевиусом.

— Не знаю, как вы добыли эту информацию, но, если Гизевиус был в то время в Берлине, вы, конечно, арестовали его. Будьте добры, позвольте мне встретиться с ним лицом к лицу.

— Вы также обсуждали с Герделером план побега.

— Прошу провести очную ставку с господином Герделером, и вы поймете, что именно мы обсуждали.

Я не знал, что незадолго до покушения на Гитлера Гизевиус покинул Швейцарию, где жил все это время, и приехал в Берлин. Я думал, что он все еще в Швейцарии. В своей книге Гизевиус описал свою деятельность в эти дни, и я мог с удовлетворением убедиться, что внутри круга заговорщиков, к которому принадлежали Гизевиус и Штрюнк, любая информация, представлявшая угрозу разоблачения, тщательно охранялась даже от самых близких друзей и родственников. Я поступал так же.

Очную ставку между нами нельзя было провести по той простой причине, что Гизевиусу удалось скрыться от гестапо в укромном месте. Повторявшаяся мной неоднократно просьба — не только на упомянутом допросе, но и на следующих, — чтобы нас с Герделером свели лицом к лицу, так и не была удовлетворена.

Полный провал попыток добиться результатов в этих допросах только усиливал озлобление против меня комиссара гестапо. Однако на Принц-Альбертштрассе он не мог изливать на меня свой гнев, и лишь позднее, когда мы встретились в лагере Флоссенбюрг, я испытал на себе этот гнев в полной мере.

6 декабря, в день, когда моя жена впервые получила разрешение на свидание со мной, меня снова вызвали в кабинет комиссара тюрьмы, где сообщили, что переведут обратно в Равенсбрюк. Мне удалось дать знать ободряющим шепотом жене, с которой встретился в кабинете, что уголовное расследование закончилось. Теперь оставались лишь политические допросы. Когда жена попрощалась и пожала мне руки, она оставила в моей ладони небольшую упаковку таблеток аспирина. Она знала, что иногда я принимал аспирин от головной боли.

Условия пребывания в Равенсбрюке оставались такими же, как прежде. Через несколько дней после перевода сюда мне сообщили, что ко мне пришел посетитель. В Дрегене меня привели в ту же комнату, где допрашивали. Там я увидел, к своему удивлению, сына Йенса, теперь лейтенанта, который находился в Берлине, получив отпуск с фронта, и умудрился добыть разрешение на свидание со мной.

Встреча с сыном стала для меня очень важной. Перед переводом в Равенсбрюк жена прислала мне пакет с едой, в котором среди прочих продуктов были яйца, завернутые в об-

рывки газеты. Из них я вычитал, что «дезертир» генерал артиллерии Линдеманн арестован, что во время ареста он получил ранение в живот и был помещен в госпиталь. Информация оживила все мои тревоги, поскольку предполагала возможность очной ставки с Линдеманном.

Помимо сотрудника лагеря, которому поручили присутствовать при моей встрече с сыном, в комнате находилась также машинистка. Когда сотрудник стал обмениваться шутками с девушкой, я воспользовался моментом, чтобы тихонько шепнуть сыну:

— Линдеманн жив?

— Он мертв.

— Ты видел Гронау?

— Вчера утром.

— Послушай, Йенс, сходи к Гронау и скажи ему — в случае его допроса, — я никогда в жизни не видел Линдеманна.

Сын молча кивнул.

Ему удалось выполнить мою отчаянную просьбу и таким образом спасти мою жизнь. Свою собственную жизнь он отдал в конце войны.

В моем общении с генералом Линдеманном имелся один крайне опасный элемент: оно содержало столько явных улик, что я не избежал бы смертного приговора. То, что я знал Линдеманна, могло обнаружиться в любое время, если бы допросили Гронау или самого Линдеманна, поскольку ни тот ни другой не могли знать, какое заявление сделает или уже сделал напарник. Теперь, когда Линдеманн погиб, а Гронау был предупрежден, я чувствовал, что опасность миновала.

Через несколько дней комиссар Ланге вошел в мою камеру и сказал:

— Когда вас спрашивали о друзьях, вы упоминали Гронау, но ваша информация была неполной. Мы знаем гораздо больше о Гронау. Вас снова нужно срочно допросить. Ступайте со мной.

Гронау действительно арестовали несколькими днями раньше. Я определенно чувствовал, однако, что сын смог предупредить его.

С первого вопроса мне стало ясно, что власти знали не больше того, что я им сообщил, поэтому я стал придерживаться своих прежних, ни к чему не обязывающих ответов.

Допрос достиг кульминации, когда прозвучал вопрос, не допускал ли Гронау критики режима в моем доме.

Вопрос возбудил мое чувство юмора.

— Конечно, — ответил я — мы оба высказывали весьма критичные мысли — о крайне недостаточных поставках истребителей, единственного типа самолетов, который мог быть полезным для предотвращения бомбардировок немецких городов.

— Были в вашем доме случаи, когда Гронау допускал уничижительные высказывания о национал-социализме?

— В моем доме? Что вы обо мне думаете? Если бы он позволил себе что-нибудь подобное, я бы вышвырнул его из дома!

Меня вернули в камеру и оставили в покое на два месяца.

На Принц-Альбертштрассе мы покидали свои камеры только один раз, когда одевались по утрам. По двое зараз нас отводили в душевую, в то время как двое других узников стояли под холодным душем. Несмотря на ледяную воду, мы никогда не пропускали эту процедуру, поскольку она была для нас единственной возможностью обменяться шепотом несколькими словами. Туалет с рядом из четырех-пяти мест предоставлял гораздо меньше шансов для этого, поскольку кабины были без дверей и надзиратель постоянно ходил мимо нас взад и вперед.

Иногда мы покидали камеры, когда ходили на допрос или когда нас уводили в бомбоубежище после воздушной тревоги. Когда это случалось, мы стояли двумя рядами в узком проходе, зажатые между двумя стенами. Перешептываться или говорить друг с другом категорически запрещалось. Иногда можно было пройти мимо узника по пути в туалет или на допрос. Иначе говоря, наши посещения бомбоубежища давали возможность лишь поглядеть на товарищей по тюремному заключению. Среди них было много лиц, которые были знакомы мне в связи с прежними событиями, других я не знал. Я узнал генерала Томаса, доктора Йозефа Мюллера, Герберта Геринга, генерала Фромма, Венцеля-Тойченталя, адмирала Канариса, доктора Герделера, фон Шлабрендорфа, Штрюнка, фон Хофакера и других.

В бомбоубежище было нелегко что-нибудь прочитать на лице товарища по несчастью, поскольку каждый старался придать лицу пустое, каменное выражение. Многие из них демонстрировали лишь твердую решимость выстоять в духовном и психологическом противоборстве с тюремными комиссарами.

Из всех лиц, которые я наблюдал, ни одно не произвело на меня столь же тяжелого впечатления, как лица Канариса и Герделера. В последнее, сравнительно недавнее время, когда я видел Герделера, он был еще раскован, бдителен, уверен в себе, теперь же впал в полную прострацию. Его лицо выражало внутреннее разочарование и отчаяние. Канарис был патриотом до глубины души. Его лицо тоже выдавало то, как возникшая под гнетом необходимости мировоззренческая борьба потрясла его изнутри и нарушила душевное равновесие.

Я близко познакомился с Герделером в 1926 году на открытии нового здания Имперского банка в Кенигсберге, мэром которого он был. Он произнес приветственную речь в мою честь. Герделер воспользовался случаем, чтобы привлечь внимание к очень напряженному состоянию финансов города и убогим жилищным условиям многих беженцев. После церемонии Герделер отвез меня в некоторые из перенаселенных районов города, а также показал большую муниципальную гимназию, где живущие семьи были отделены друг от друга лишь подвешенными мешками. При виде этих негигиеничных, неприличных и аморальных условий жизни я испытал чувство стыда.

Город Кенигсберг был обязан внести 175 тысяч марок на строительство нового здания Имперского банка. По возвращении в Берлин я предложил правлению банка списать этот долг, чтобы город смог улучшить жилищные условия своих ютящихся в лачугах обитателей. С этих пор мы с Герделером поддерживали дружеские отношения. Когда он стал комиссаром по ценам, сначала при Брюнинге, затем при Гитлере, наша профессиональная деятельность также приводила нас в тесное взаимодействие.

Герделер был радикальным противником национал-социализма и в качестве комиссара по ценам и мэра Лейпцига считал своим долгом выполнять, как можно лучше, свои функции в соответствии с собственным экономическим видением, глубоко укорененным в либерализм. Когда нацистские запра-

вилы воспользовались отсутствием Герделера в городе в связи с отпуском, чтобы снести памятник Мендельсону у фасада концертного зала «Гевандхауз», Герделер в знак протеста подал в отставку с поста мэра Лейпцига.

После этого фирма Круппа в Эссене пожелала включить Герделера в свое правление. Господин Крупп фон Болен счел своим долгом уведомить Гитлера о своем желании и заполучить согласие фюрера. Гитлер отказал, и переговоры с Герделером были сорваны. Для некоторой компенсации разочарования Герделера Крупп отправил его в заграничную поездку с поручением присылать отчеты по экономическим и деловым проблемам. По просьбе Герделера я дал ему несколько рекомендательных писем, в которых характеризовал его своим друзьям как надежного партнера для переговоров.

Однажды утром вскоре после возвращения из-за рубежа Герделер появился в моем кабинете в здании Имперского банка в состоянии большого волнения с известием, что гестапо установило за ним слежку. Видимо, произошла какая-то утечка сведений о его переговорах с лондонскими друзьями, которые гестапо могло использовать как компромат против него. Он просил меня помочь. После получения подробной информации о содержании и участниках лондонских переговоров я немедленно отправил в Лондон осторожно сформулированное письмо, которое тем не менее дало знать кому нужно об опасности, возможно угрожавшей Герделеру.

Некая банковская фирма в Лондоне ответила с замечательной быстротой и пониманием. К тому времени наши зарубежные коллеги уже умели читать между строк подобного рода письма из Третьего рейха. Банк выразил энергичный протест в отношении подозрения, что его фирма вовлечена в политическую деятельность против национал-социализма, и подчеркнул, что не потерпит подобных обвинений. Ответ был так искусно составлен, что Герделер смог с его помощью предупредить дальнейшие попытки гестапо продолжать расследование.

Теперь, однако, рок настиг этого честного патриота и безупречного человека, который был слишком порядочен, слишком скрупулезен и совестлив, чтобы устраивать путчи или революции. Он стоял, прислонившись к стене бомбоубежища, бледный и потрясенный. Нам ничего не оставалось, кроме как в молчании глядеть друг на друга.

Рождество 1944 года и январь 1945 года прошли в тишине, если не считать постоянных бомбардировок Берлина, которые мы слышали иногда в отдалении. Большинство узников получили рождественские посылки от своих семей. Мы желали друг другу «счастливого» Рождества из-за дверей наших камер. К большой моей радости и удивлению, надзиратели, которым было положено официально праздновать Рождество, установили небольшую украшенную елку в коридоре. В своих камерах мы слышали, как они поют хрипылыми голосами: «Тихая ночь, святая ночь».

Моя жена получила новое разрешение на свидание со мной 3 февраля. Она прошла несколько миль с тяжелой упаковкой книг, еды и чистого белья. Мы побыли вместе двадцать минут — в присутствии надзирателя, — после чего мне приказали прямо сейчас вернуться в камеру. Там я узнал, что нас немедленно переводят из Равенсбрюка. Русские войска продвинулись к лагерю настолько близко, что было рекомендовано перевезти политических заключенных в другое место.

Жена прождала меня еще целый час, пока ей не сообщили о нашем переезде и не запретили повидаться со мной хотя бы на короткий миг.

К полудню нас повезли в одном из обычных тюремных фургонов, который берлинцы окрестили «зеленой Минной». Сделали остановку в Дрегене, где пополнили фургон генералом фон Фалькенхаузенем, Готфридом фон Бисмарком и некоторыми другими узниками, и поехали в направлении Берлина.

Это был день, когда Берлин перенес, возможно, самый жестокий воздушный налет. Едва мы достигли окраины города, как увидели повсюду пожары и разрушения. Правда, поскольку тюремный фургон имел только небольшое окошко сверху, закрытое решеткой, мы не видели ничего, кроме пламени и дыма, — ни улиц, ни домов. Мы буквально ехали среди моря огня. Каждую минуту фургон поворачивал, чтобы совершить объезд по боковым улицам, и прошло немало времени, прежде чем мы подъехали к хорошо знакомому зданию на Принц-Альбертштрассе, 9.

Подземелье на Принц-Альбертштрассе выглядело блеклым и безнадежным до крайности. Части здания, высившиеся над подземельем, почти разрушились под бомбежкой. Электроосвещение и водопровод больше не функционировали. Мы

раздевались при мигающем свете огарков свечей, но, несмотря на это, каждого из нас снова заключили в отдельную камеру. Для отправления естественных надобностей во дворе была вырыта глубокая яма, накрытая решеткой. Именно здесь на решетке, присев рядом, я в последний раз разговаривал с Дитрихом Бонхефером. Наши взгляды были устремлены на зарешеченное окно погреба, за которым в отчаянии заламывала руки какая-то женщина и умоляла нас знаками о помощи.

На следующее утро нас разбудили рано и после скудного, холодного завтрака загнали в автобус. Сквозь его окна мы, по крайней мере, могли видеть, куда едем. В автобусе ехали двенадцать интернированных и около двенадцати охранников в мундирах. Среди заключенных были генерал Остер, генерал Томас, федеральный канцлер Австрии Шушниг с женой и четырехлетней дочерью, Штрюнк, генерал Гальдер и я.

Дорога вела вдоль автобана на юг. Вблизи Байройта мы повернули на восток от автобана, но в сгущающихся сумерках не могли сказать определенно, куда едем. К одиннадцати часам подъехали к лагерю, окруженному колючей проволокой, где нам велели выходить из автобуса. Нас снова посадили в отдельные камеры.

Я не имел представления, что это за лагерь, но вся тягучая атмосфера и темнота способствовали разгадке его характера. Перед размещением в камеры, пока мы стояли в ожидании в проходе, я шепнул соседу: «Никто не выйдет из этого лагеря живым».

Мы находились в лагере смерти Флоссенбюрг близ Вайдена в Верхнем Палатинате.

Все мы теперь приготовились к концу, который, как понимали, ждет нас в этом месте. Надежды на спасение не было.

Лагерь располагался в совершенно изолированном месте, между скалами и лесом. Даже днем он выглядел серым и унылым. Видимо, он был полон узников. Здание, в котором нас разместили и которое явно предназначалось для важных заключенных, не позволяло нам увидеть подлинные размеры лагеря. Характер лагеря был очевиден из его внешнего вида, криков и выстрелов, которые мы слышали по ночам.

Каждый день нам позволяли выходить во двор на двадцать минут, отдельно друг от друга. Когда бы ни подходила моя очередь, я регулярно видел процессию санитаров, двигавших-

ся из лагеря вдоль края скалы к лесу. Они несли деревянные носилки, на которых можно было отчетливо различить тела умерших или убитых за ночь. Они были покрыты брезентом. Я часто насчитывал до тридцати носилок каждое утро.

Однажды утром в мою камеру вломился офицер в сопровождении двух других и крикнул: «Интересно, вы меня узнаете?»

Я узнал его: это был Штавицки, гестаповский комиссар из Берлина. Его назначили комендантом этого лагеря. Я почувствовал роковую судьбу, которая меня ожидает, еще острее. Свидетель на процессе по денацификации в Штутгарте показывал, что Штавицки сообщил ему, будто имеет приказ расстрелять меня, как только американская армия приблизится к лагерю Флоссенбург.

Чрезвычайно трудно выразить в словах внутренние ощущения, которые пережили я и, наверное, мои товарищи по заключению в течение двух месяцев пребывания во Флоссенбурге, когда мы отсчитывали каждый час до смерти. Многие люди, как показывают научные наблюдения, полагают, что не надо чрезмерно беспокоиться о жизни. Проблема же смерти уводит даже убежденных материалистов в область сверхчувственного, сверхъестественного.

Поэтому я тоже окинул взглядом всю свою жизнь в ретроспективе. Много приходило в голову мыслей об ошибках или бездействии. Этому я противопоставлял желание, которое всегда ощущал и пытался претворить в жизнь, — делать добро при любой возможности. Несколько стихов, в которых я подытожил свои впечатления в лагере смерти Флоссенбург, могут выразить это лучше, чем обычная проза:

Когда дневные тени исчезают в сумраке
И сумрак, в свою очередь, спасается бегством,
Долгие часы тьмы сгущаются в твоей душе,
Нависают и глумятся над тобой всю ночь.

Каждая гнетущая мысль и чувство
Тяготит тебя, твою душу, тяжелыми думами;
Сомнения, предчувствия в кошмарном хороводе
Преследуют тебя то во сне, то наяву.

«Вчера — в этот день — правильно ли я поступил,
Когда делал то-то и то-то, вел себя так-то и так-то?»
Как хищник, преследующий свою добычу ночью,
Самобичевание снова мучает тебя.

Отдохни, успокойся, моя душа; страх
Проходит на заре каждого нового дня;
Никто не свободен от грехов и ошибок
В борьбе на своем жизненном пути.

Нет, не так будет судить о тебе Вечность —
Какой путь ты прошел и сколько не покорил вершин:
Лишь тем Ее милость оценит тебя —
К чему стремился и что хотел сделать.

Прежде всего я думал о жене и детях. Моя смерть причинит им большое горе и оставит их в крайней нужде. Дети едва ли сохранят воспоминание обо мне: когда я расстался с ними, одной дочери было два с половиной года, другой — год с четвертью. Поэтому я решил записать те воспоминания, которые подчеркнут добрые и приятные аспекты моей жизни: я хотел сделать их счастливыми, даже когда был в беде.

Вечером 8 апреля, к моему несказанному удивлению, мне приказали приготовиться на следующее утро к поездке. Я узнал, что поедут и некоторые другие. Никто из нас не знал, конечно, цели «поездки» и не станет ли она ожидаемым концом нашего существования. Тем не менее приказ дал первый проблеск надежды.

Еще до рассвета генерала Томаса, генерала Гальдера, доктора Шушнига с женой и ребенком, а также меня затолкали в «зеленую Минну». Поведение охраны побудило нас предположить, что военная обстановка ухудшилась до чрезвычайности. Иностранные армии значительно продвинулись. Наша стража выглядела обеспокоенной.

Сначала мы остановились близ Штраубинга, где поели и к нам добавили других интернированных из местного лагеря. Фургон теперь был перегружен людьми и багажом.

Среди новичков были генерал фон Фалькенхаузен, двое англичан — Бест и Стивенс, — арестованные гестапо на датско-германской границе, а также племянник Молотова.

Поздним вечером мы прибыли во двор лагеря Дахау. Пришлось ждать в тюремном автобусе несколько часов, так как комендант лагеря, очевидно, не получал относительно нас указаний и затруднялся найти место, где нас поместить. Когда наконец нас выгрузили из фургона, подполковник — искусный мастер из Мюнхена — принял нас с большой учтивостью. Он извинился за то, что не смог подыскать для нас

подходящего места для проживания, к сожалению, нам придется обходиться тем, что есть.

Это отношение способствовало оживлению наших надежд. Нас поселили в камерах по одному или парами. Их двери оставались открытыми в коридор днем и ночью, так что мы могли общаться друг с другом в любое время. Днем нам позволяли гулять по двору без всяких препятствий. Создавалось впечатление, что это был действительно лагерь для именитых узников, мы видели, что наше здание целиком отгорожено от других.

Здесь я встретил Нимеллера, моего старого пастора из Дахлема; Нойхойзлера, будущего викарного епископа; Фрица Тиссена с женой; Леона Блюма с женой; и большие группы англичан, французов, греков, словаков, шведов, голландцев, австрийцев, многих из которых я знал лично. Обхождение и еда были хорошими. В семье Шушнига включали радио, и мы регулярно слушали новости за чашкой кофе, который фрау Шушниг готовила в довольно большой камере, где разместили семью. Так мы ознакомились с военной обстановкой и поняли причину услужливого поведения нашей охраны.

Охрана состояла большей частью из старых солдат и лишь небольшого числа гестаповцев. Они были явно заинтересованы в обеспечении себе «хороших отзывов» и в благополучном исчезновении, когда произойдет окончательный крах, который теперь не мог не предвидеть даже самый большой глупец.

Но нас особенно беспокоила судьба наших товарищей во Флоссенбюрге. Лишь гораздо позже мы узнали, что в то же утро, когда четверых из нас увезли, четверо других окончили жизнь на виселице; среди них были мои близкие друзья Штрюнк и Остер. Когда до меня дошли эти вести, я с содроганием вспомнил двор во Флоссенбюрге и виселицы, сооруженные в сарае, который был временно открыт.

Мы пробьли в Дахау около двух недель. Затем нас повезли дальше на юг, в барачный лагерь Райхенау близ Инсбрука. Сюда, в дополнение к нашим фургонам, прибыли другие транспортные средства с интернированными женщинами и детьми, так называемыми *Sippenhäftlinge* — женами, детьми и дальними родственниками тех, кто уже был казнен или ожидал казни. В этом месте мы, именитые узники, увеличили свою численность до ста тридцати человек. Через три дня нас доставили на автобусах в Нидерндорф в Пустертале.

Здесь мы ожидали американцев.

Часть шестая

ПЕРЕД СУДОМ ВСЕГО МИРА

Глава 54

В РУКАХ АМЕРИКАНЦЕВ

Наше окончательное освобождение от гестапо в долине Пустер позволило нам вновь вздохнуть свободно. До последнего момента всегда сохранялся шанс получить пулю в затылок. Теперь, однако, мы значительно продвинулись на пути возвращения к гражданской жизни. По крайней мере, так мы думали.

Нас переместили в отель «Прагзер Вильдзее». Там американский генерал заверил, что принес нам свободу. Солдаты передовых американских частей, которым поручили заботу о нас, выглядели как сама доброта. Они обеспечили нас едой, сигаретами и пополнили наш скудный багаж дополнительной одеждой.

Вечером мы сидели в гостиной отеля — что казалось невероятным после пребывания в неволе, — наслаждаясь пением Изы Вермерен. По воскресеньям мы посещали католические или протестантские богослужения. Днем мы наслаждались весенним солнцем и совершали прогулки в чудных лесах над Вильдзее. Несмотря на удручающие вести о крахе страны, мы стали оживать. Хозяйка «Прагзер Вильдзее» готовила нам лакомые блюда, а из ее погребов доставлялось много восхитительных напитков.

Эта дивная жизнь продолжалась лишь несколько дней. Неожиданно нас снова погрузили и повезли в Верону в составе колонны из почти сорока машин. Сказали, что нас увозят с линии фронта в тыл, где отпустят на свободу. В Вероне нас поселили в номерах отеля «Золотой голубь», где обходились с нами как с обычными клиентами. Когда я приехал в тот же

отель в 1951 году, меня сразу же узнали и припомнили вынужденный, но в то же время приятный первый визит.

Генерал понимал, что, освобождая нас, он освобождает группу убежденных противников Гитлера и нацистского режима, с которыми следует обходиться как с достаточно почетными гостями.

На следующее утро нас повезли на аэродром, посадили в три самолета и переправили беспосадочным перелетом в Неаполь. Когда мы подлетели к Риму, наши пилоты сделали широкий круг над городом, и мы любовались прекрасной панорамой при чудной погоде — необыкновенное зрелище для нас, лишь недавно ожидавших смерти в лагере Флоссенбург, где перед нами открывался вид на грязный двор и виселицы в ветхом сарае.

В Неаполе положение резко изменилось. Нас приняли офицеры американской базы, которые были совсем не похожи на тех, что представляли фронтовые части. Нас поместили в отеле «Герминус» и сообщили, что нам не следует больше считать себя гостями, а также покидать свои номера и отель. С нами стали обращаться бесцеремонно, если не сказать грубо.

Мы сопротивлялись Гитлеру с риском для жизни. Теперь, без всяких околичностей, нас смешали с обвиняемыми в сотрудничестве с гитлеровским режимом.

Многие из моих компаньонов в лагере Неаполя были генералами разгромленных германских армий. Некоторые из моих близких друзей и я сам просили лагерные власти разрешить присутствовать на воскресном богослужении и наблюдали, как большинство генералов демонстративно отсутствовали на нем. Это были люди, которые в течение шести долгих лет соглашались с каждой безумной авантюрой Гитлера. Они выполняли его приказы — часто вопреки своей большей компетенции, — пренебрегая миллионами человеческих жизней, которые приносились в жертву ради безумия фюрера. Позднее заключенными лагеря Крансберг в Таунусе были большей частью ученые и специалисты по вооружениям. И было обидно видеть, как победители эксплуатировали их статус заключенных, чтобы выжать из них информацию по военным и промышленным вопросам. Это был грабеж научных знаний беспомощных людей, интеллектуальная пыточная камера.

Человечество не извлекло уроков из Первой мировой войны. Как насчет уроков Второй такой войны? Никто, кажется,

не понимает, что обе эти войны стали колоссальным моральным поражением западного христианства. Разумеется, я сознаю, что большая доля вины лежит на немецком народе, но коренная причина зла находится в другом. Навязанный Версальский договор не принес мира. Решающим фактором стал не захват территорий и имущества: им стала политика морального позора — возвращающая назад, к периоду диких религиозных войн, когда противника клеймили как преступника, которого следует уничтожить любой ценой.

Победителям и побежденным не доставало в равной степени нравственной глубины. Они превратились в идолопоклонников святилища механической власти, ловкости ума, презирающих и игнорирующих духовную силу, которая однажды их победит. Ибо я твердо убежден, что из всего убожества этих войн возникнет новая моральная ориентация для человечества, которая будет сильнее технического мастерства.

По окончании примерно четырехнедельного периода некоторых из нас — в том числе Гальдера, Томаса и меня — снова погрузили в самолет, словно посылки без адреса. С нами отправили других интернированных, среди которых был Фриц Тиссен. Мы поняли наконец, что союзники вынашивают какие-то политические цели, которые побуждают их заклеить нас в качестве «участников преступлений гитлеровского режима». Уже планировалось создание трибунала военных преступников, и, очевидно, для достижения целей этого трибунала было важно, чтобы среди обвиняемых присутствовали известные немецкие экономисты и бизнесмены. Что касается меня, то я знал, что с самого начала войны американскую администрацию подробно информировали о моей антигитлеровской позиции. Я ожидал без страха грядущих событий, довольный хотя бы тем, что дело движется вперед.

После замечательного перелета над Лигурийским заливом и его островами к французскому побережью сквозь ужасную бурю на юге Франции мы произвели наконец посадку на аэродроме Орли близ Парижа. Всего нас было двенадцать интернированных. Это был первый этап полета, который закончился у замка Крансберг в горах Таунус. Во время войны Герман Геринг избрал этот замок в качестве западной штаб-квартиры люфтваффе. С этой целью Шпеер привел его в по-

рядок и сделал новую большую пристройку из нескольких комнат и большого зала с прекрасным камином.

Теперь замок, очевидно, использовался в качестве лагеря для ВИП-заключенных, особенно технических специалистов и ученых. Временами в нем содержалось 40—50 интернированных. Короче говоря, здесь происходила постоянно меняющаяся череда встреч с важными людьми, почти всех из которых я знал как представителей экономических и научных кругов Германии.

Вообще говоря, время с начала июля до конца сентября нельзя было назвать неприятным. Мы жили в чистых комнатах. Нас великолепно кормили: давали шоколад, фрукты, апельсины, табак и другие вещи в том количестве, в каком мы желали. Мы проводили время, играя в карты, слушая лекции, беседуя и обсуждая интересующие нас темы. Это происходило в большом зале. Днем мы прогуливались в небольшом, но хорошо спланированном саду, прилежавшем к замку. Но мы оставались заключенными.

Не мог комфорт Крансберга устранить мое глубокое беспокойство о семье, которое я переживал со времени пребывания во Флоссенбюрге. Именно там я после продолжительного перерыва получил последнюю записку от своей жены, которая была написана еще в нашем загородном доме близ Берлина. С того времени, то есть с марта 1945 года, я больше не имел о ней вестей. Я не имел никакого представления о том, живы ли члены моей семьи, где они, что с ними случилось после того, как русские заняли Берлин. Сообщения по радио и слухи, иногда доходившие до нас, были в высшей степени тревожными.

Сразу по прибытии в Крансберг я пытался связаться с женой. Британский подполковник обещал передать мое письмо. Дональд Хит, мой старый знакомый по посольству США в Берлине, торжественно обещал, что использует все свои дипломатические связи, чтобы сообщить жене обо мне. Никто из них не сдержал своего обещания.

Наконец к середине августа я получил весть по каналу, который обычно определяется словом «подпольный». Работу по дому выполняли несколько женщин-поденщиц, которые также пожелали стирать наше белье и приходили в замок из деревни

каждое утро. Как-то раз одна из этих женщин незаметно вызвала меня в умывальню. Там она вручила мне коробку сигар и письмо, которые принесла в деревню Крансберг какая-то незнакомка и передала этой женщине. Со времени краха Германии эта «незнакомка» жила в небольшом поместье моей замужней дочери в Баварии. Дочь узнала, что я нахожусь в замке Крансберг, и в письме, вложенном в коробку с сигарами, сообщила, что две маленькие дочери от моего второго брака находятся с нянькой в Люнебургской пустоши. О моей же жене дочь не имела сведений.

Во время последнего свидания я просил жену оставаться в нашем загородном доме в Гюлене и стараться сохранить его для нас до окончания войны. Моя голова была забита представлениями о Первой мировой войне, когда еще пользовалась уважением собственность других людей. Во всяком случае, я не мог не предположить после прочтения письма дочери, что жена осталась в Гюлене. Между тем к нам поступило достаточно известий о поведении русских в отношении немецких женщин, чтобы вызвать у меня большую тревогу за судьбу жены.

Затем, к концу августа, в Крансберг прибыл доктор Брандт, один из личных врачей Гитлера. Незадолго до того, как его арестовали американцы, он беседовал с моей женой и, по крайней мере, мог заверить меня, что она жива. Непосредственную весточку от жены я получил гораздо позже, когда уже был заключен в Нюрнбергскую тюрьму. Почти девять месяцев я оставался в неведении о всех ее испытаниях.

Глава 55

НЮРНБЕРГСКАЯ ТЮРЬМА

В Крансберге в конце августа мы услышали по радио о том, кто из немцев должен предстать перед Международным военным трибуналом в предстоящих процессах над военными преступниками. К моему величайшему удивлению, в их число включили и меня. Кроме Шпеера и меня, в Крансберге не было ни одного из обвиняемых. До сих пор мы полагали, что против нас не будут выдвигать обвинения.

В преддверии Нюрнберга меня отвезли на три недели в лагерь близ Оберурзеля. Он был широко и по праву известен

как «Клетка». Камеры фактически представляли собой клетки. Скамьями служили просто деревянные доски, покрытые одеялом. Пищу давали два раза в день: один раз утром, другой — в четыре часа пополудни. Она состояла большей частью из недоваренного гороха, с которым желудок едва справлялся. Пребывание на свежем воздухе ограничивалось десятью минутами в день. Ни книг, ни газет не было. Это были наилучшие условия заключения, в которых мне приходилось находиться.

По прошествии трех недель меня посадили в машину рядом с генералом Варлимонтом и с казначеем НСДАП Шварцем впереди. Снова нам не сообщили о пункте назначения. Лишь по указательным столбам мы угадывали направление движения и после полудня подъехали к тюрьме Дворца правосудия в Нюрнберге.

Даже по прибытии в Нюрнбергскую тюрьму со мной крайне невежливо обращался американский комендант тюрьмы полковник Эндрюс. Я объяснял, что не являюсь ни преступником, ни осужденным, но заключенным, ожидающим допроса, и что я невиновен. Он отвечал, что его это не касается.

Тюремный регламент, навязанный нам, доходил до того, что запрещалось подниматься на стул, чтобы посмотреть в зарешеченное окно, расположенное под самым потолком. Это мотивировалось необходимостью предотвратить подачу узнику сигнала снаружи. Первоначально в камерах были массивные, крепкие столы, на которых можно было писать. Но такие столы можно было использовать для того, чтобы дотянуться до окон. Поэтому позднее крепкие столы вынесли и заменили неустойчивыми деревянными сооружениями в виде хрупких верстаков, покрытых сверху тонким картоном. Писать на таких столах было настоящим мучением, поскольку поверхность не переставала колебаться. А между тем все одиннадцать месяцев, в течение которых длился трибунал, нам приходилось много писать хотя бы только для того, чтобы снабжать информацией защиту.

Камеры были оборудованы туалетами. Раз в неделю нас выводили в баню. Можно было получать книги из тюремной библиотеки, но так как в ней не было почти ничего, кроме нацистской литературы, которую новые власти позабыли выбросить, то я обычно обходился без книг. После оправдания

одна британская газета охарактеризовала меня как самого упрямого из всех узников Нюрнберга. Я горжусь этим.

Однажды полковник Эндрюс вошел в мою камеру, дыша алкогольным перегаром, и объявил, что в наказание я лишен на неделю ежедневных прогулок в тюремном дворе. На мой вопрос о причине наказания он ответил:

— За отказ от сотрудничества.

Я немедленно ответил:

— У меня нет никакого желания сотрудничать с вами, полковник.

В другом случае я сопротивлялся неоднократным попыткам журналистов фотографировать меня. Сначала меня незаметно сфотографировали за обедом в тот самый момент, когда я подносил ложку с супом от оловянной миски к широко открытому рту. Снимок неоднократно печатался в международной прессе, и так как все мы были без воротничков и выглядели несколько неопрятными, то впечатление снимок производил не очень лестное.

Однажды, когда журналисты возобновили свои приставания, я сказал американскому репортеру, что предпочел бы, чтобы меня не фотографировали во время еды. Он ушел, но, несмотря на мой отказ, через несколько минут вернулся и возобновил свои домогательства. Я крикнул, чтобы он замолк: если он попытается снова надоедать мне, то получит то, чего заслуживает. Через несколько минут американец предпринял третью попытку заставить меня согласиться на фотосъемку. Я схватил свою кружку, полную кофе, и выплеснул ее содержимое ему на голову.

Эффект был поразительным. Американская охрана за нашими спинами восприняла с громким хохотом атаку на «свободу печати», и фотограф был вынужден быстро ретироваться.

Когда неделей позже меня вызвали для принятия дисциплинарных мер в связи с моим поведением, то вердикт был коротким и резким:

— Вы нанесли оскорбление чести американского мундира.

— Фотограф не был в военной форме: он носил костюм, похожий на ваш мундир, полковник, но без знаков различия.

Больше мне нечего было сказать. Тем не менее я не избежал наказания. Меня лишили моих порций кофе. В последующие сразу же за этим инцидентом дни меня замучили

предложениями выпить кофе. Почти каждый сотрудник тюрьмы, немец или американец, спрашивал, когда проходил мимо открытой двери моей камеры, не хочу ли я кофе.

К тому времени, как я оказался в Нюрнбергской тюрьме, чтобы предстать перед Международным военным трибуналом, общий срок моего тюремного заключения составил шестнадцать месяцев, и я побывал в более чем дюжине тюрем.

В таких условиях главной потребностью человека является душевный комфорт и ободрение. Да, здесь имелся американский священник, говоривший на немецком языке и утешавший узников, но мне хотелось встречи с немецким пастором. Дело заключалось не столько в богослужениях и проповедях, сколько в возможности облегчить душу. В просьбе предоставить немецкого пастора нам было отказано, хотя сам американский духовник горячо поддержал ее. Он чувствовал сам, что нуждается в помощи немецкого коллеги. Он был обязан читать свои проповеди, но его знание немецкого языка не было достаточным, чтобы импровизировать, и поэтому ему было достаточно трудно вести с нами пасторскую беседу.

Тем не менее в пасторе Герике трогали усердие и преданность своему делу. Это был душевный, добрый, исключительно благожелательный человек, обладавший большим чувством такта. Надеюсь, если он прочтет эти строки, то еще раз удостоверится в глубокой благодарности нас всех.

Глава 56

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

20 октября 1945 года американский майор вручил мне проект обвинительного акта. Из него я узнал, что обвинение делится на четыре пункта. Во-первых, «участие в заговоре с целью разжечь войну». Во-вторых, «участие в подготовке к упомянутой войне». В-третьих, «совершение преступлений в ходе войны» и, в-четвертых, «преступления против человечности».

Из этого обвинения я впервые узнал о чудовищных преступлениях против человечности, прежде всего против евреев, самого Гитлера и по его приказам.

Обвинение носило отнюдь не просто общий характер. Оно было тщательно конкретизировано для каждого обвиняемого,

информируя его, по каким из четырех пунктов его обвиняют. Большинство обвинялось по всем четырем пунктам. В моем случае обвинения по третьему и четвертому пунктам — «военные преступления» и «преступления против человечности» — не предъявлялись. Меня обвиняли только по пунктам «заговор в целях войны» и «подготовка к войне».

На оба обвинения я мог отвечать с чистой совестью. Я знал, что имеются бесчисленные доказательства моей непричастности ни к планированию, ни к подготовке войны, но, наоборот, моего стремления предотвратить ее. С этого момента я понимал, что при условии судебного разбирательства в соответствии с правовыми нормами, а не ненависти и пристрастия заседания Нюрнбергского трибунала должны привести к моему оправданию. К счастью, так и случилось.

Среди обвиняемых было несколько человек, которых я знал как своих заклятых врагов. Но были также другие люди, которые, хотя и не отличались сильным характером, все же были внутренне настроены против гитлеровского режима и могли рассматриваться в обычной жизни как порядочные люди.

С моей точки зрения, дело Геринга представляло наибольшую трудность. Долгое время многие надеялись, что Геринг нащупает политически умеренный курс и будет ему следовать. В начале существования гитлеровского режима я тоже разделял эту надежду. Геринг не раз демонстрировал склонность двигаться в этом направлении. Его критика Гитлера до захвата тем власти представляла разительный контраст последующему явному выражению преданности фюреру. Когда он понял, что только через Гитлера сможет удовлетворить свою жажду власти и богатства, то подавил в себе чувства протеста.

В ходе Нюрнбергского трибунала Геринг проявил большую находчивость как в поведении, так и в репликах с места. В качестве свидетеля он обнаружил такую быстроту и остроту ума в ответах наряду с внешним проявлением такого величественного достоинства, что это произвело впечатление даже на обвинение.

Но даже это внешнее великолепие не могло прикрыть того, что Геринг занимался шантажом, убийствами, грабежами, воровством и совершал многие другие преступления. Лично я всегда смотрел на Геринга как на худшего среди обвиняемых по причине его происхождения из порядочной семьи и воспитания в приличных условиях. В отличие от Ге-

ринга, Штрайхер казался мне патологическим маньяком, а Кальтенбруннер — жестоким фанатиком.

С человеческой точки зрения Рудольф Гесс, видимо, являлся порядочным человеком с наилучшими намерениями. Он никогда сознательно не принимал участия и не соглашался совершать преступления. Но то, что он не всегда вел себя ответственно, в ходе трибунала нашло подтверждение. Наконец, большой вопрос состоял в том, мог ли он рассматриваться как человек, страдавший на сорок девять или пятьдесят один процент заторможенностью интеллекта. В тюрьме он выглядел совершенно апатичным и отчужденным.

Для Риббентропа было только одно оправдание, даже при самой благоприятной оценке, — это его непроходимая тупость. Для каждого дипломата существенны такие качества, как ум, такт, безупречные манеры, вежливость. Риббентроп не обладал ни одним из этих качеств.

Общее мнение о Кейтеле было, так сказать, единодушным: он был слепым и безответственным исполнителем воли своего хозяина.

Четвертым номером на скамье подсудимых сидел Альфред Розенберг, который со своей обычной сдержанностью был погружен в себя весь Нюрнбергский процесс и держался своих философских фантазий вплоть до момента казни.

Двухкомнатная камера на первом этаже была приспособлена под небольшую часовню, так что мы могли посещать церковь. Ни Розенберг, ни Штрайхер, ни Гесс никогда не присутствовали на богослужениях. В дни своего пребывания в тюрьме после оправдания я видел, как американский пастор-протестант настойчиво пытался вызвать Розенберга на разговор в коридоре, но был отвергнут холодно и категорично.

Геринг был наиболее ревностным посетителем богослужений, хотя и другие получали от них удовлетворение: частью из-за религиозных убеждений, частью из-за симпатий к священнику, частью из-за того, что служба давала возможность для взаимного общения.

От заключенных-католиков я слышал, что их священник, отец Сикстус, относился к узникам под его попечением наиболее заботливо. Ему не раз удавалось помочь им способами, которые были строго запрещены. Он связывался с их семьями, о чем не смел и помыслить наш добрый пастор Герике. Но наибольшим достижением отца Сикстуса, на наш взгляд,

было то, что он склонил к смиренному покаянию Франка, губернатора Польши, который более, чем кто-либо еще, был причастен к уничтожению евреев.

Мой преемник на посту председателя Имперского банка Функ представлял собой довольно печальное зрелище. Он был в общем-то приличным малым и не глупым, но ленился, ему не хватало также понимания сути возложенных на него обязанностей. Уверен, что он не знал многих вещей. Он был глубоким знатоком музыки и явно отдавал предпочтение литературе и искусству. К сожалению, он злоупотреблял алкогольными напитками, как и многие партийные лидеры. Показания давал слабым, плаксивым голосом.

Дениц и Редер, а также Йодль оправдывали свое поведение выполнением воинского долга. Уверен, что, если бы их снова судили сегодня, результат был бы иным по сравнению с периодом вскоре после окончания войны.

Ширак тоже производил характерное впечатление незрелости и нерешимости.

Папен, как и я, привлекался к суду первый и второй раз. Но ввиду того что трое из его ближайших коллег были убиты Гитлером при отсутствии его активного протеста, он не мог избежать сурового морального осуждения.

Зейсс-Инкварт и Шпеер — никого из них нельзя считать реальным злодеем — вели свою защиту весьма неуклюже. Последние заявления Шпеера имели отношение к проблеме, которая, должно быть, занимала его некоторое время. А именно: каким образом стало возможным, что диктатор держал немецкий народ в абсолютном неведении, с одной стороны, а с другой — обеспечивал выполнение своих планов и решений путем прямых приказов соответствующим лицам, даже занимавшим наиболее подчиненные посты? Эти наблюдения Шпеера относительно влияния современных средств коммуникации и информации, несомненно, заслуживают рассмотрения.

Ганс Фриче был включен в число важных заключенных, ибо — к счастью для него — русские, очевидно, пожелали способствовать увеличению их списка. В результате Фриче смог избежать роковой судьбы, которая ждала его во время заключения на Лубянке.

Двое из главных обвиняемых вовсе не появились на скамье подсудимых в Нюрнберге. Старый Крупп фон Болен лежал без сознания на ложе, которое должно было стать его смерт-

ным одром. И прежде чем суд даже начался, Роберт Лей — зажав уши и нос и заткнув в рот кляп — попытался повеситься на скрученном полотенце. Он привязал его к канализационной трубе в туалете и задохнулся до смерти. Лей был одним из моих злейших врагов в партии, хотя при встрече лицом к лицу демонстрировал свое дружелюбие. Это был горький пьяница, подверженный всяким эротическим излишествам и без малейшего чувства ответственности.

Самоубийство Лея имело своим следствием усиление надзора за нами в наших камерах, тем более что «глава национальной гигиены» Конти тоже покончил с собой в тюрьме. С этих пор день и ночь у открытого окошка двери каждой камеры дежурили охранники, которые менялись каждые два часа. Среди охранников, я имею основания считать, было несколько грубиянов, но также много добрых душ, которые были не против поговорить с узниками через открытое окошко в двери. Обращение неевропейцев было более добрым и уважительным, чем поведение солдат нашей расы.

Примечательно, что почти все охранники просили наши автографы. Спрос на них усилился до такой степени, что в ответ я приобрел привычку требовать сигарету за каждый автограф. Таким способом я вскоре собрал большой запас сигарет, которые позднее смог передать жене, снабдив ее тем самым единственно ценной валютой того периода.

В Соединенных Штатах способности индивида часто определяются коэффициентом интеллекта (IQ). Тест IQ превратился в науку, которая, на радость или на горе, распространится, возможно, на все человечество, и, кто знает, может, это произошло сейчас в Америке.

В течение всей работы Международного военного трибунала нас посещали в тюрьме врачи и другие специалисты, которые специализировались в области психологии. Они вели разговоры с каждым заключенным в его камере, чтобы проверять время от времени его душевное состояние, реакцию на условия заключения и ход судебного процесса. Право, то-скливые визиты.

Поскольку я считал себя полностью невиновным, то по сравнению с другими не испытывал каких-либо терзаний и не представлял для психологов интереса. Они не могли обнаружить во мне психических отклонений. С другой стороны, меня тем более забавлял тест IQ.

Имелось несколько версий теста: во-первых, образная интерпретация чернильных пятен. Мне удавалось находить в этих пятнах большое число картин и форм.

Второй тест состоял в немедленном повторении последовательности фигур. Наконец, нам предлагались логические игры — от складывания маленьких одноцветных блоков до сложных фигур. Среди всех заключенных я добивался наивысшего коэффициента умственного развития.

Моей жене удалось убедить бывшего председателя Германского правового общества доктора Юлиуса Дикса заинтересоваться моим делом. Еще раньше я связался с профессором Краусом из Геттингена, который также выразил готовность заняться моей защитой. Несколько лет он читал лекции в американских университетах и был одним из признанных экспертов в области международного права. Когда, однако, Дикс согласился меня защищать, я попросил Крауса стать вторым адвокатом защиты, поскольку знал Дикса как выдающегося адвоката по уголовным делам.

Мне не пришлось сожалеть о своем выборе. Я контактировал с Диксом несколько лет благодаря нашим сходным политическим взглядам, которые, возможно, лучше всего определить как «консервативная демократия». Дикс был человеком исключительного такта и прекрасным оратором. Его нелюбовь к излишне формальной работе компенсировалась высокой квалификацией и живым умом.

Как и все другие заключенные, я проходил психологическое обследование у молодого американца австрийского происхождения, профессора Гилберта. Первой обязанностью господина Гилберта было отмечать влияние на заключенных ежедневных судебных заседаний и тем самым добавлять материал для обвинения. Мои разговоры с ним происходили часто весьма оживленно.

С первого же дня мое впечатление о составе суда было благоприятным. Выбор британского и французского судей, несомненно, удался. С первого взгляда было очевидно, что они являлись типичными представителями своей профессии. Не могу с такой же легкостью сделать вывод об американских судьях. Русские же, единственные судьи, появившиеся в военной форме, представляли собой загадку.

Предварительный допрос находился исключительно в распоряжении обвинения, которое не только игнорировало любые факты, смягчающие вину, независимо от того, насколько четко они приведены, но, к сожалению, часто прибегало к искажениям и неправильным представлениям дел. Пример этого я смог выявить сам. Нам показали фильм, в котором фигурировали золотые вещи, изъятые у убитых евреев, в том числе печально известные золотые зубы и оправы от очков. Эти вещи извлекались из мешка, на котором крупными буквами были напечатаны слова «Имперский банк». Этот эпизод фильма воспроизвел с замечательной четкостью. Подобные мешки не могли использоваться для хранения золотых вещей. Эпизод, оказывается, к тому же был снят во Франкфурте-на-Майне. Позднее обнаружилось, что это была специальная «инсценировка», особым образом вставленная в фильм фотография.

Против таких методов мы, заключенные, были беспомощны. Кроме того, из-за полной невозможности контактов за пределами тюрьмы мы были не в состоянии представить такие документы и свидетельства, которые оправдывали бы нас. Возможности адвокатов заполучить такие документы и свидетельства были весьма ограничены, поскольку в это хаотическое время единственным способом для этого было личное участие в поисках.

Нас лишили доступа к обильному документальному материалу, который конфисковали союзники. Предварительное изучение материала ограничивалось частыми заслушиваниями представителей обвинения, среди которых большой процент составляли эмигранты. Один из моих следователей, перед которым я извинился за свой английский, ответил с очевидным скрытым сарказмом, присущим таким господам:

— О, вы говорите на английском гораздо лучше многих моих коллег.

Глава 57

НЮРНБЕРГСКИЙ ТРИБУНАЛ — 1

Утром 30 апреля 1946 года началось слушание Нюрнбергским трибуналом моего дела. Мой адвокат доктор Дикс обратился к председателю суда в особой манере, которую немецкие

адвокаты были обязаны принять в ходе этого примечательного процесса:

— Я начну свое участие в суде с показаний под присягой доктора Шахта и прошу вашу честь пригласить доктора Шахта занять место за трибуной.

Ни в какое другое время у меня не возникало столь незапного ощущения нереальности — можно было бы даже сказать, призрачной атмосферы — этого «Международного суда справедливости», как в те несколько минут, когда нужно было оставить скамью подсудимых и занять место за свидетельской трибуной. Огромный зал, в котором проходило заседание, был полностью лишен естественного света. Окна бывшего Суда ассизов в Нюрнберге были завешаны драпировками, чтобы исключить дневной свет. Лампы создавали какое-то болезненное, лишенное полутонов освещение. Несмотря на то что для обвиняемых решался вопрос об их жизни или смерти, место отправления правосудия напоминало беспокойный муравейник. Обвинителей различных стран окружали их помощники. Прибывали курьеры с сообщениями и документами. Зрелище американских секретарш, сидящих за стучащими пишущими машинками, производило впечатление оптического обмана. Наблюдение за ними, беспрестанно жующими жевательные резинки, порождало ощущение, будто они жуют каждое слово. Сектор прессы, находившийся как раз напротив свидетельской трибуны, был не менее шумным. Несколько немецких репортеров — единственных одетых в штатскую одежду и потому узнаваемых — держались ненавязчиво на заднем плане. Общая обстановка производила впечатление ночного кошмара. Многие обвиняемые страдали от нервной перегрузки. В самом здании раздавались пронзительные звуки американской легкой музыки: довольно любопытным хитом была в этот раз песня под названием «Отпусти меня» (*Don't fence me in*). Охрана ставила пластинку с этой песней раз за разом день и ночь.

Утром, а также в полдень делался короткий перерыв. Затем нам разрешалось сходить в туалет, проходя между шеренгами американской военной полиции. Иногда нас останавливали в коридоре. Военная полиция привлекалась, когда в зал судебного заседания немецкие официанты вносили для судей тяжелые серебряные подносы с чаем, коржами, пончиками и тому подобной снедью. Американские полицейские должны

были следить за тем, чтобы официанты не стащили по пути слишком много пончиков.

И вот инцидент, поразивший меня своей типичностью. В коридоре стояло около двухсот союзников в военных мундирах, которые имели то или иное дело к суду. Все они курили сигареты и старательно давили окурки под подошвами своих ботинок, поскольку ходили слухи о том, что немцы-уборщики имели обыкновение выметать коридор для сбора окурков. Позднее один немецкий журналист из британской зоны оккупации, который в начале работы трибунала занимал место в секторе прессы, рассказывал мне, что при виде этого места его военный опекун воскликнул (на ломаном немецком): «Ох! Это не дворец правосудия — это ярмарка!»

Чтобы продолжить далее повествование, хочу снова остановиться на методах судебного разбирательства. Они основывались на англосаксонской правовой системе. Подсудимый мог выбрать, осуществлять ли свою защиту в качестве свидетеля под присягой или отказываться от показаний. Естественно, я не отказывался, поскольку считал себя невиновным.

Мне не требовались наушники, через которые выступления на английском давались в переводах на французском, русском и немецком языках. Аппаратура часто давала сбои. Затем председатель суда восклицал чуть жалобным тоном: «Я не слышу ничего, кроме русского языка». Как ни странно, русский имел обыкновение господствовать над аппаратурой.

Сидя в свидетельской будке, я повторил за председателем суда слова присяги и в ответ на вопросы моего адвоката — конечно, согласованные заранее — коротко охарактеризовал свою жизнь до 1930 года, когда ушел в отставку с поста председателя Имперского банка.

Адвокат задал мне новый вопрос. Я рассказал, как в 1919 году принял участие в образовании Германской демократической партии, и затем описал свои первые контакты с Национал-социалистической партией и знакомство с ее идеологией.

Я сказал суду:

— Что касается книги «Майн кампф», то мое мнение о ней сегодня то же, что и прежде. Она написана на ужасном немецком языке. Это образец пропагандистского опуса полуобразованного человека, сильно увлеченного, нет, фанатично

одержимого политикой. Именно таким типом человека фактически Гитлер последовательно и неизменно показывал себя. В книге имеется одна черта и в какой-то степени партийная программа, которая дала мне много пищи для размышлений. И это полное незнание любого рода экономических проблем.

Во-первых, с точки зрения внешней политики я считал «Майн кампф» совершенно необоснованной, поскольку она постоянно обыгрывала идею, что расширение жизненного пространства Германии должно происходить *в Европе*. Если такие заявления и не отпугнули меня от работы в дальнейшем с национал-социалистическим канцлером, то лишь по той простой причине, что в «Майн кампф» было четко обрисовано расширение Германии на Восток при условии получения благословения на эту идею британского правительства. Я считал, что хорошо знаю британскую политику. Поэтому не существовало никакой опасности того, что мне придется принимать всерьез фантастическое теоретизирование Гитлера больше, чем я делал это до сих пор.

Для меня была совершенно ясна невозможность для Германии расширить свою территорию в Европе, поскольку этого не потерпят другие страны. В остальном, хотя «Майн кампф» содержала множество идиотских, напыщенных заявлений, в ней имелось несколько вполне разумных идей. Во-вторых — и это мне хочется подчеркнуть особо, — две идеи я целиком поддерживал. Первая заключалась в том, что если кто-либо расходится с правительством по политическим вопросам, то он должен донести свои взгляды до сведения правительства. Вторая же идея состояла в том, что, хотя правительство вождя должно заменить демократическое правительство — или скорее следует выразиться, парламентское правительство, — сам вождь сможет действовать только тогда, когда будет уверен в поддержке всей нации. Другими словами, даже вождь зависит от всеобщих выборов демократического типа.

Затем мой адвокат доктор Дикс поднял вопрос о том, что американское обвинение вменяет мне в вину оппозицию Версальскому договору. Американские обвинители явно считали преступлением само неприятие Версальского договора. Мне доставило огромное удовольствие дать ответ по этому поводу, который прозвучал в следующих словах:

— Я несколько удивлен услышать подобное обвинение из уст американского представителя. Заместитель прокурора, который только что выступал, видимо, слишком молод, чтобы пережить такое лично, но он мог узнать об этом в школе. Во всяком случае, для нас всех стал одним из величайших событий, когда-либо переживавшихся нами, отказ Америки от Версальского договора, и, кроме того, если не ошибаюсь, он был отвергнут с согласия подавляющего большинства американского народа. И что самое важное, по тем же самым причинам, по которым отвергаю его я. Ведь этот договор находился в прямом противоречии с программой из четырех пунктов, провозглашенной президентом Вильсоном, и в том, что касается политической экономии, он содержал много абсурдных предложений, которые, очевидно, не могли работать в мировой экономической системе. Но я не буду на этом основании обвинять американский народ в сочувствии нацистской идеологии.

Слышать это было выше всяких сил для американского судьи.

После полуденного перерыва (серебряные подносы, чай, пончики) адвокат спросил о моем отношении к нацистской идеологии «расы господ». Я немедленно осадил англосаксов замечанием:

— Я всегда считал такие выражения, как избранный народ, обетованная земля и тому подобное, образцами весьма ущербной ментальности.

Затем продолжил:

— Как убежденный приверженец христианской веры, я исповедую принцип любви к ближнему, которую питаю ко всем людям, независимо от расы или веры. Добавлю, что вся эта болтовня о расе господ, которой занимались некоторые партийные руководители, была предметом едкого сарказма со стороны немецкой общественности. И это неудивительно, поскольку большинство лидеров гитлеровской партии были далеки от идеальных типов нордической расы, и, насколько мне известно, низкорослому Геббельсу дали кличку Немецкий пигмей. Если оставаться справедливым, существовала лишь одна черта, которая роднила большинство партийных лидеров с древними германскими племенами, — они всегда были готовы перехватить лишнюю порцию алкоголя. Чрезмерное пьянство было характерной чертой нацистских идеологов.

Доктор Дикс перешел к еврейскому вопросу. На этот счет в отношении меня подобных обвинений не выдвигалось, но вопрос касался обвинения в приверженности нацистской идеологии, и мой адвокат справедливо делал вывод, что «практика оголтелого антисемитизма неразрывно связана с этой идеологией».

Итогом моего выступления было как раз то, чего мы ожидали. Американский обвинитель Джексон вскочил на ноги и прервал заседание возгласом:

— Мы допускаем, что доктор Шахт действительно оказывал помощь и поддержку отдельным евреям. Но мы утверждаем, что он придерживался взгляда, что немецкие евреи должны быть лишены своих гражданских прав, а также утверждаем, что доктор Шахт поддерживал и принимал участие в преследовании немецких евреев.

Доктор Дикс сразу же поставил вопрос: выдвигались ли против меня подобные обвинения в военных преступлениях на суше и на море и явствовало ли это из обвинения? Джексон сильно возбудился. Вмешался председатель суда. Обсуждение моих военных преступлений на суше и на море временно отложили, и мы вернулись к еврейскому вопросу.

— Еврейский вопрос, — сказал я, — возник в 1930 году, когда нью-йоркский банкир Джеймс Шпейер (уже покойный) объявил о своем визите в Германию. Я пошел к Гитлеру и сообщил ему: «Господин Джеймс Шпейер, один из наиболее уважаемых нью-йоркских банкиров и крупный спонсор своей бывшей страны, едет повидаться со мной, и я намерен дать банкет в его честь. Полагаю, что у вас нет возражений». На это он ответил очень решительным и твердым тоном: «Господин Шахт, вы можете поступать так, как хотите». Из этого я понял, что с этих пор он дал мне полную свободу действий в общении с моими еврейскими друзьями, чем я и воспользовался. Банкет состоялся. Я упоминаю об этом только потому, что это был первый раз, когда между нами обсуждался еврейский вопрос. Двух примеров будет достаточно, чтобы проиллюстрировать позицию, которую я занимал в каждом случае, касающемся евреев. Я постоянно искал случая продемонстрировать ее публично.

Затем я рассказал о случае в Арнсвальде — уже упоминавшемся — и о своем обращении к молодым сотрудникам во время рождественской вечеринки. Передал также содер-

жание своего разговора с Гитлером в июле 1934 года относительно беспрепятственной предпринимательской деятельности евреев.

Я почти через силу рассказывал о том, как помогал евреям, потому что поддерживать этих гонимых людей, хотя бы в глубине души, является долгом любого порядочного человека.

Мой адвокат полагал, что было бы неплохо ознакомить трибунал с моим мнением о Гитлере. Едва он выразил это мнение, как Герман Геринг — насколько был в состоянии — повернулся на скамье подсудимых ко мне спиной. Я сказал суду, что всегда рассматривал Гитлера опасным, малообразованным типом и придерживаюсь этого мнения до сих пор. Поза Геринга на скамье подсудимых выражала явное неодобрение, когда я продолжил свое выступление:

— Гитлер мало учился, но компенсировал это позднее беспорядочным чтением. Он приобрел большое количество книжных знаний и виртуозно пользовался этим во всех дебатах и речах. В некоторых отношениях он был, несомненно, гениален. Он был одержим идеями, которые никому другому не приходили в голову, которые были рассчитаны на преодоление больших препятствий либо своим поразительным примитивизмом, либо чаще всего своей ошеломляющей жестокостью. Это был, безусловно, дьявольский гений по силе психологического воздействия на массы. Генерал фон Вицлебен однажды подтвердил то, что никогда не могло обмануть меня и немногих других в личных беседах с Гитлером, — фюрер умудрялся оказывать поразительное влияние на других людей. Несмотря на свой хриплый, резкий голос и манеру, в какой этот голос срывался, а иногда доходил до крика, ему удавалось вызывать у громадных толп истеричный восторг. Мне кажется, что вначале им вряд ли руководили злые помыслы.

Геринг повернулся так, чтобы отчасти видеть меня, и выжидающе смотрел на меня, пока я продолжал:

— Несомненно, что Гитлер вначале руководствовался добрыми намерениями. Но постепенно он поддался тем самым чарам, которыми воздействовал на массы. Потому что, кто бы ни ставил себе целью вводить массы в заблуждение, кончает тем, что его самого вводят в заблуждение эти самые массы. По-моему, именно эта взаимозависимость — страсть

руководить и неспособность противостоять руководству другими — побудила его следовать под уклон стадного инстинкта, чего должен опасаться любой политический лидер, как чумы.

Я признал, что не мог не восхищаться некоторыми качествами Гитлера.

— Это был человек неукротимой энергии и воли, которая не считалась ни с какой оппозицией. По-моему, это было связано исключительно с этими факторами — массовой психологией и его собственной силой воли, благодаря которой Гитлер смог обеспечить себе поддержку сорока, а затем и пятидесяти процентов всего немецкого населения.

Затем к присяге в качестве свидетеля был приведен защитой Гизевуус. Он показывал прежде, что я проявлял заметную активность в попытках вызвать падение Гитлера. Доктор Дикс поинтересовался, когда я впервые осознал какую-то степень своей внутренней антипатии к Гитлеру.

Я сказал, что это случилось после путча Рема.

Доктор Дикс продолжил тему и пожелал знать, когда я превратился в «заговорщика» против Гитлера. Я обозначил срок делом Фрича.

В ходе разбирательства дела Фрича — не сразу, но в течение нескольких недель, даже месяцев — для меня стало ясным, что Гитлер хочет войны или, по крайней мере, не готов предпринять все возможное для ее предотвращения.

Я сказал буквально следующее:

— Любая возможность ведения политической пропаганды среди немецкого народа совершенно исключалась. Отсутствовали свобода собраний, свобода слова, свобода писательства. Невозможно было даже вести разговоры в небольшом интимном кругу. Страну наводнили шпионы и детективы. Каждое слово, произнесенное в присутствии более чем одного собеседника, могло угрожать жизни. Единственное, что оставалось, — противопоставить силу этому террору, который не допускал никаких демократических реформ и конструктивной критики. Постепенно я пришел к выводу, что единственный способ покончить с гитлеровским террором заключался в организации путча и покушении на жизнь Гитлера.

— Что вы думали о Гитлере в это время? Просто разочаровались в нем или полагали, что он вас обманывал? — спросил доктор Дикс. — Как вы реагировали на это?

— Разочарования в Гитлере не было, — отвечал я, — я не ожидал от него многого, поскольку знал о его характере. Но полагал, что он обманывает меня, что он лжет и обманывает меня направо и налево, поскольку все, что он обещал вначале немецкому народу, включая меня, впоследствии не выполнял. Он обещал равные права всем гражданам, но своим последователям — независимо от квалификации — дал больше прав, чем другим гражданам. Обещал, что законы, касающиеся иностранцев, будут действовать в отношении евреев, то есть они будут пользоваться такой же защитой, как и иностранцы. Он добился того, что евреев лишили всех прав и стали обращаться с ними как с людьми, объявленными вне закона.

Он обещал искоренить ложь в политике, но его политика — при содействии министра Геббельса — представляла собой не что иное, как ложь и трюкачество.

Он обещал немецкому народу поддерживать подлинное христианство, но принимал и поощрял лишь профанацию, поношение и отрицание церковных учреждений. Во внешней политике он последовательно отвергал идею войны на два фронта, но позднее допустил, чтобы развитие событий дошло до обстановки, когда такая война стала неизбежной. Он презирал и пренебрегал законами Веймарской республики, которые обязался под присягой соблюдать, когда стал канцлером.

Он использовал гестапо для подавления индивидуальной свободы. Препятствовал всякому свободному обмену информацией и обсуждению взглядов, прощал преступников и привлекал их на государственную службу. Делал все возможное, чтобы не выполнять своих обещаний. Он лгал и обманывал весь мир, Германию, меня — всех нас.

Следующий вопрос доктора Дикса вызвал раздражение обвинения. Он спросил, почему я, как депутат рейхстага, голосовал за закон, предоставляющий Гитлеру дополнительные полномочия. Он также поинтересовался тем, почему я немедленно вошел в кабинет Гитлера.

Я ответил, что никогда в жизни не был депутатом рейхстага. В этом можно убедиться, заглянув хотя бы один раз в «Справочник по рейхстагу». Далее, я не входил в кабинет сразу после «переворота».

Доктор Дикс был, кажется, удивлен.

— Но обвинение утверждает, что вы выступали в том и другом качестве! — воскликнул он.

— К сожалению, — ответил я, — в обвинительном акте против меня содержится много такого, что не соответствует действительности.

Представители обвинения принялись совещаться. Председатель сказал:

— Сейчас пять часов. На сегодня объявляется перерыв.

Доктор Дикс попросил меня объяснить, почему я вошел в кабинет в 1934 году в качестве министра экономики. В ответ я сказал, что если бы руководствовался соображениями личного покоя и комфорта, то мог бы укрыться в своем загородном доме. Но я спросил себя: каким образом такой поступок способствовал бы прогрессу политики Германии? Поэтому я вошел в кабинет Гитлера, и не из чувства энтузиазма, но из сознания важности продолжения работы для немецкого народа. Я понимал, что использование тормоза и очистительных мер возможно только в рамках участия в самом правительстве.

Судья и представители обвинения устремили на меня изумленные взгляды, когда я заявил, что, по моему мнению, конструктивные элементы обладали численным превосходством даже в самой партии. Они еще больше удивились, когда я сказал, что вначале массы порядочных молодых парней присоединились к СС по причине того, что Гиммлер представлял эту организацию неким инструментом борьбы за идеальный образ жизни.

Я отдавал себе отчет, что судьи слушают с живым интересом мои разъяснения о том, как Гитлер умел привязывать к себе своих соратников по партии. Он знал что-нибудь компрометирующее на каждого из них — какую-нибудь ошибку или проступок. Знал каждую подробность их жизни, и они боялись возможных разоблачений с его стороны.

К моему большому удовлетворению, доктор Дикс задал такой вопрос:

— Располагали вы информацией относительно каких-нибудь секретных договоренностей, секретных приказов или намеков, которые имели своей целью незаконное посягательство на мир и безопасность?

Я мог откровенно сказать, что ни сам, ни кто-либо из моих коллег в министерстве, ни какой-либо руководитель, не

принадлежавший к узкому кругу сподвижников Гитлера, не был в состоянии получить такую информацию.

Адвокат попросил меня объяснить суть моих взаимоотношений с Гитлером. Я ответил:

— В первое время он постоянно приглашал меня завтракать с ним и несколькими близкими сподвижниками по ведомству канцлера. Я принимал приглашения с перерывами дважды и должен признать, что был удручен не только интеллектуальным уровнем разговора и подобострастным отношением к персоне Гитлера, но также тем, что вся компания была чужда мне по духу. Больше я не посещал Гитлера ни официально, ни приватно.

Затем мне пришлось рассказывать о своих взаимоотношениях — частых или редких — с другими партийными бонзами. После этого доктор Дикс зачитал мне обвинительное заключение господина Джексона:

— Можно ли поверить, что Яльмар Шахт — сидевший в первом ряду участников конференции нацистской партии в 1935 году и носивший эмблему партии — был включен в нацистский пропагандистский фильм исключительно по соображениям кинематографического творчества? Поскольку этот великий мыслитель одолжил свое имя этому гнусному сборищу, то он придал ему определенную респектабельность в глазах любого самого непонятливого немца.

Сначала я выразил благодарность за комплимент. Быть «представительной величиной, великим мыслителем» очень приятно. Затем я привел Джексона и многочисленных сотрудников в немалое смущение. В 1935 году у меня не было никакого партийного значка — большая неприятность для американского обвинения. Просто и откровенно я объяснил, что участвовал в партийных мероприятиях в Нюрнберге в 1933 и 1934 годах. После этого доктор Дикс подключил свою тяжелую артиллерию. Он спросил, был ли представлен на этих партийных конференциях дипломатический корпус в лице глав соответствующих дипломатических миссий. Я ответил, что, за исключением советского и американского послов, присутствовали все ведущие дипломаты «в значительном числе, при полном параде и в первом ряду».

Это заявление немедленно произвело заметное шевеление в суде не только среди представителей обвинения, но также среди иностранных журналистов. Только русские сидели,

гордо выпрямившись. Я полностью отдавал себе отчет, что американское обвинение вмешается, чтобы помешать моему адвокату и мне, потому что очень легко было понять, куда мы клоним. Если британский и французский послы — не говоря о других — могли присутствовать на партийной конференции в качестве гостей Гитлера, то почему не мог я? Мой адвокат хотел знать, как объяснить присутствие на партийных конференциях в Нюрнберге иностранных дипломатов.

— Дипломатический корпус как таковой присутствует только на государственных мероприятиях. В данном случае это было чисто партийное мероприятие. Как объяснить присутствие иностранных дипломатов? — воскликнул он.

Джексон уже вскочил на ноги. Он протестовал против замечаний моего адвоката и моего собственного. Затем в виде необычного приговора он заявил, что все это его несколько не смущает, «если вообще здесь возможно какое-нибудь смущение». Мне пришло в голову, что он несколько запутался.

В зале поднялся шум. Помощник господина Джексона положил перед ним какие-то документы. Он взял их в руку, но не читал, вместо этого потрясал ими в воздухе и кричал:

— Нет ни малейшей ценности в показаниях этого свидетеля (то есть меня) относительно поведения послов других стран и в его оценках. Причины их присутствия на партийной конференции, к которой он присовокупил свое имя, как мне кажется, не имеют никакой ценности как свидетельства. Я не отрицаю, что они были там, но думаю, что если он говорит ради того, чтобы что-то сказать, без предоставления фактов... то хочу дать ясно понять, что не имею никакого желания возражать ни против любого факта в этом свидетельстве, ни против большинства мнений, о которых он распространялся так долго. Но я считаю, что его отношение к действиям иностранных послов не входит в число важных и существенных доказательств.

Я попытался что-то сказать. Доктор Дикс тоже. Председатель суда оборвал нас обоих. Русские, полные чувства собственного достоинства, бросали искоса взгляды на британских и французских судей. Наконец председатель позволил доктору Диксу продолжать. Но мой адвокат не собирался в данный момент менять тему. Он хотел ответить обвинителю Джексону и заверил суд, что задал вопрос не из упрямства, но потому, что важно было дать понять сложность положения

для немецкой защиты, когда представители зарубежных стран поднимают тему участия в партийной конференции.

Председательствующий судья был удовлетворен. Суть его замечания состояла в том, что если адвокат желал отметить участие дипломатов в партийной конференции, то против этого нечего возразить.

Господин Джексон переключился на другую столь же важную тему.

— Вы поддерживали перевооружение средствами Имперского банка. Почему?

— Союзные державы обещали всеобщее разоружение, — начал я. — Мне представлялось, что в политическом смысле Германия обладала равными правами с другими государствами. Поскольку они не выполняли своего обещания разоружаться, то я полагал, что и моя страна вынуждена вооружаться до обычного уровня.

Я рассказал о системе мефо-ваучеров, о вооружении Чехословакии и Польши в то время и о том, как в 1935 году Россия заявила о своем намерении довести общую численность своей армии в мирное время до миллиона человек. Я попотчевал американцев рассказом о разговоре, который имел с их послом в Москве — господином Дейвисом — во время его пребывания проездом в Берлине. Прочел фрагмент из «Воспоминаний» посла, в которых он упоминает этот разговор: «Шахт с ликованием буквально выпрыгнул из своего кресла, когда я изложил инициативу президента Рузвельта относительно того, что вооружение должно ограничиваться таким оборонительным оружием, которое человек способен нести на плече». Я процитировал другой отрывок из книги господина Дейвиса, согласно которому я всерьез высказывался за всеобщее разоружение. Все это время я держал в поле своего зрения Джексона с ощущением, что вскоре должно случиться нечто необычное. Доктор Дикс считал, что я должен рассказать суду о том, сколько денег, находившихся в распоряжении Имперского банка, выделил на перевооружение.

Господин Джексон снова вскочил на ноги. Это, утверждал он, не относится к делу. Никому не интересно, много или мало истратила Германия средств на перевооружение.

Господин Дикс спокойно возразил, что, наоборот, суду следует поинтересоваться этим: ведь, исходя из обширности

или ничтожности суммы военных расходов, можно будет уверенно определить, планировалась ли агрессивная война, или перевооружение служило исключительно целям обороны. Должен сознаться, что лично я не особо помог своему защитнику в этой дискуссии, поскольку ошибся в цитировании, упомянув миллионы вместо миллиардов. Скамья подсудимых отреагировала на эту ошибку едва заметной улыбкой.

Господин Дикс напомнил о другой претензии обвинения. Оно считает преступлением то, что в период моего пребывания в должности председателя Имперского банка Третьего рейха национальный долг увеличился втрое.

На это я бодро и спокойно ответил:

— Обвинение могло бы с тем же основанием упрекнуть меня в том, что в период моего пребывания на этом посту значительно выросла рождаемость в Германии. Хочу твердо заявить, что не вижу за собой вины в обоих случаях.

Французский судья слегка улыбнулся, другие оставались бесстрастными.

Последовали бурные дебаты вокруг сумм, затраченных на вооружение Германии в период, когда я контролировал финансы страны. Их ход сложился в мою пользу, и председательствующий судья признал это.

После полудня дискуссия сконцентрировалась вокруг вопроса, насколько мне была известна непосредственная заинтересованность Гитлера в войне.

В ее ходе прозвучало свидетельство Шпеера. Летом 1937 года он находился в горной резиденции Гитлера. Сидел на террасе и слушал через открытое окно, как мы с Гитлером спорили друг с другом. Шпеер видел, как я удаляюсь. Затем Гитлер вышел на террасу и сказал ему:

— Только что у нас с Шахтом был серьезный спор. Больше не могу работать с Шахтом. Он рушит все мои финансовые планы.

Это было совершенно справедливо. Я действительно рушил финансовые планы Гитлера, и по существенной причине. Я не желал, чтобы он готовился к агрессивной войне, и не собирался помогать ему в этом деле. Фактически я наложил эмбарго на использование тех средств Имперского банка, в которых был заинтересован Гитлер. Он был вынужден обращаться к крупным банкам, и легко представить его отно-

шение ко мне. Легко представить для немца, но мне нужно было прояснить это для других. Поэтому в ответ на вопрос моего адвоката доктора Дикса я разъяснил:

— Если бы я сказал Гитлеру, что больше не дам ему денег потому, что он готовит войну, то уже не был бы здесь и не имел бы удовольствие вести столь ободряющий разговор с вами, господин адвокат. Мне пришлось бы консультироваться со священником, и это было бы одностороннее действие, поскольку я лежал бы молчаливо в могиле, пока священник произносил молитву за упокой.

В четверг, 2 мая, обсуждался вопрос о моей отставке с поста председателя Имперского банка. Обвинение утверждало, что я «исхитрился» добиться своего увольнения с простой и единственной целью освободиться от финансовой ответственности. Прокурор заявил, что меморандум, который я вручил Гитлеру и в результате которого трое из нас были уволены, не содержал никакого упоминания о нашем отказе выделить Гитлеру средства на военные цели. Напротив, мы основывали свой отказ в дальнейших кредитах техническими аргументами, такими как избыточный спрос на рынке капиталов, невозможность повысить налоги и т. п. Я объяснил суду, что в условиях Третьего рейха просто не существовало возможности сказать господину Гитлеру: я не дам вам денег на войну. Рассказал также судьям, как Гитлер, когда получил меморандум, воскликнул: «Это же мятеж!»

Затем я пустился в подробности:

— В 1937 году я попытался установить, на поддержку каких группировок можно положиться, чтобы свергнуть гитлеровский режим. Могу заметить только, что ученые сидели смиренно и слушали наиболее абсурдные речи национал-социалистов без малейшей попытки возразить. Помню, как ведущие предприниматели покинули мою прихожую и устремились к Герингу, когда увидели, что я перестал что-то значить для делового мира. Короче говоря, опереться на эти группы было невозможно. Единственной надеждой оставались генералы, армия, тем более что можно было рассчитывать на оппозицию даже в преторианской гвардии СС.

В результате я сначала вышел на контакты с такими генералами, как Клюге, хотя бы для того, чтобы убедиться в существовании в армейских рядах людей, с которыми можно было поговорить откровенно. Я уже говорил об этом здесь и

не хотел бы повторяться. Этот первый шаг позволил мне связаться в ходе войны с различными генералами.

Доктор Дикс спросил, что я делал вслед за началом войны.

— Всю войну я искал подходы к генералам, которые могли принести хоть какую-то пользу.

Тема дискуссии на заседании после полудня сосредоточилась вокруг того, что сказал обо мне Гитлер после событий 20 июля 1944 года. Шпеер знал точно, что он сказал. 22 июля Гитлер лично подписал ордер на мой арест. Делая это, он пребывал в состоянии ярости, и его замечания обо мне носили явно злобный характер. Ему серьезно мешали мои «негативные действия». Для него было бы лучше расстрелять меня до начала войны.

Когда я рассказывал, как снова и снова увещевал другие страны проводить экономическую политику, дающую немецкому народу шансы на выживание, но эти страны не внимали этим увещеваниям, русский генерал Руденко потерял терпение и воскликнул:

— Господин председатель! В течение двух дней мы выслушиваем длинные, утомительные заявления подсудимого Шахта. Я придерживаюсь мнения, что заявления, которые делает сейчас подсудимый Шахт, ни в коей мере не являются ответами на конкретные вопросы, относящиеся к обвинению против него, но являются просто словоблудием. Мне кажется, что это лишь затягивает процесс.

Председатель, однако, заявил, что суд не желает мне мешать в осуществлении моей защиты.

Доктор Дикс задал уместный вопрос:

— Почему вы не эмигрировали?

На это я ответил:

— Если бы это был вопрос моей личной судьбы, ничего не было бы легче. Но мои личные дела к этому не имели отношения. После того как я посвятил себя с 1923 года служению общему благу, передо мной стоял один вопрос — вопрос выживания моего народа и страны в целом. Во всей истории я не знаю эмигрантов — конечно, речь идет о добровольных эмигрантах, а не ссыльных, — которые были бы полезны для своей страны.

Доктор Дикс припас напоследок еще несколько слов. Он вернулся к теме иностранных дипломатов. Суть его высказы-

ваний заключалась в том, что для людей, подобных мне, имело большое значение, что весь мир был в наилучших отношениях с Гитлером, в то время как я был против него — даже официально — с 1938 года.

Разумеется, последовали бурные дебаты о том, какой вопрос должен, а какой не должен обсуждаться в суде. Председатель суда и мой адвокат сошлись на следующем: моему защитнику будет позволено спросить: «Как признание нацистского правительства другими странами повлияло на группу заговорщиков, с которой был связан подсудимый Шахт?»

Но американский обвинитель Джексон возражал против этого. Он заявил:

— Мы постепенно приближаемся к ситуации, которую нельзя терпеть в суде, и я совершенно не могу понять, каким образом может служить смягчающим обстоятельством в защите Шахта указание на то, что иностранные правительства поддерживали контакты с германским рейхом даже в период деградации.

Он подытожил ситуацию правильно. Как показал итог суда, он действительно оказался в безвыходном положении.

Председатель объявил:

— Суд считает, что этот вопрос имеет значение.

Поэтому я подтвердил свое заявление о том, что иностранные государственные деятели и миссии поддерживали дружеские, даже сердечные отношения с Гитлером, в то время как я с ним уже поссорился.

Суд прервали на десять минут. Я понимал, что дело приобретет серьезный оборот, поскольку господин Джексон по возобновлении заседания начнет перекрестный допрос. Он добивался моего скальпа. Я не собирался с ним расставаться.

Глава 58

НЮРНБЕРГСКИЙ ТРИБУНАЛ — 2

Чтобы понять причину использования методов главного американского обвинителя господина Джексона после десятиминутного перерыва, необходимо вспомнить международную политическую обстановку в 1946 году. Союзники выиграли войну. Они гордились этим, и справедливо, поскольку

борьба была долгой и мучительной. К этому величайшему событию мировой истории примешивалось — по окончании войны — много мелких человеческих судеб. Кто именно выиграл эту войну? Как всегда, мировое общественное мнение по этому вопросу ориентировалось на имена крупных государственных деятелей и полководцев. Но имелось много незначительных личностей и «статистов», которые хотели сорвать листок с огромного лаврового венка, подвешенного над головами великих, чтобы и самим войти в историю. Американцы прежде всего путали временную славу с историческим бессмертием. Крупные американские газеты подавали Нюрнбергский трибунал как первостатейную новость. Они были очень высокого мнения о своем соотечественнике господине Джексоне. На время он воплощал в собственной персоне американскую общественность, которая хотела видеть повешенными «военных преступников». Воодушевленный такими настроениями, он продолжил свои атаки.

Первый вопрос прозвучал весьма многозначительно. Джексон пожелал знать, говорил я или не говорил своей соседке на званом обеде в 1938 году такие слова: «Дорогая госпожа, мы попали в руки преступников. Как я мог это предвидеть?»

Да, я, несомненно, говорил это.

— Уверен, — продолжил Джексон с явной озабоченностью, — уверен, что вы помогли бы суду, если бы сказали нам, кто эти преступники.

Я сразу понял, к чему он клонит, и сухо ответил:

— Гитлер и его помощники.

Джексон немедленно пустил в меня первую стрелу. Он заявил, что я сам был одним из помощников Гитлера.

— Хочу, чтобы вы назвали поименно всех подсудимых, которых вы считаете преступниками.

Я дал ответ, исходя из предпосылки, что не имею никакого представления о тех, кто входил в узкий круг Гитлера. Всегда считал одним из них Геринга и, со своей личной точки зрения, добавил бы сюда Гимmlера, Бормана и Гейдриха.

— Трое последних мертвы, — сердито сказал Джексон.

С этим поделаться я ничего не мог. Допустил, что фон Риббентроп, как министр иностранных дел, должно быть, знал о планах Гитлера. Помимо этого, сказал я, мне нечего ответить.

Джексон показал мне фотографии, на которых я заснят в компании с другими деятелями Третьего рейха. Я входил в эту компанию, настаивал он.

— Если бы вы засняли меня с другими знакомыми, с которыми мне приходилось встречаться так же часто, как с этими, — возразил я, — то компания была бы в десять раз больше.

По сектору прессы прокатился легкий рокот. Джексон поскорее поменял тему. Он обвинил меня в том, что я делал все возможное для обеспечения участия национал-социалистов в правительстве Германии. Я настаивал на том, что уже заявлял с абсолютной искренностью, а именно: что никакое правительство в демократической стране не может позволить себе игнорировать партию, обладающую большинством приверженцев. Это ведет — и на самом деле привело — к несчастным последствиям. Джексон привел в качестве примера речь, которую я произнес по случаю дня рождения Гитлера, и я ответил, что во всем мире принято произносить речи по случаю дня рождения главы государства, не особо взвешивая слова.

Я не носил свой золотой партийный значок ежедневно. Но, отметил Джексон, я надевал его на официальные мероприятия.

Я ответил, что ношение значка обеспечивало большие льготы в пользовании железнодорожным транспортом, в обслуживании автомобиля, бронировании номеров в отелях и т. д.

Наконец он задал невероятно глупый вопрос. Поинтересовался, сообщил ли я Гитлеру, когда входил в его правительство, что делаю это только для того, «чтобы тормозить выполнение его программ».

Даже сегодня я содрогаюсь при мысли о том, что могло бы случиться, если бы я сделал это. В Нюрнберге же я воскликнул тогда:

— О нет, я постарался не говорить ему об этом!

Ведя до последнего времени фронтальные атаки, господин Джексон вдруг повел наступление с тыла.

— Полагаю, во всяком случае, что вы допускаете свою частичную ответственность за поражение Германии в войне?

Я сказал, что считаю это весьма странным вопросом. Про себя думал: к чему он клонит? Предвосхищает ли он, что этот

«Международный суд» оправдает меня? Питает ли он ко мне личную неприязнь настолько, что хочет дискредитировать меня в глазах соотечественников?

— Я ни в коей мере не несу ответственности за развязывание войны, — ответил я, — поэтому не могу нести ответственность за ее исход. Я не хотел войны.

Джексон поменял тему и перешел к еврейскому вопросу. Мне удавалось излагать свою позицию связно и последовательно, несмотря на то что он вмешивался через каждые несколько слов.

— Касательно преобладающего влияния евреев в государственных, правовых или культурных делах я всегда придерживался определенного принципа. Не считаю, что это преобладающее влияние несет благо интересам Германии или немецкого народа — христианское государство опирается на христианское мировоззрение — или интересам самих евреев, поскольку возбуждает вражду между ними. Поэтому я всегда выступал за ограничение еврейской активности в различных областях до определенной степени — за численное ограничение, основывающееся не на абсолютных цифрах народонаселения, но на определенном процентном соотношении.

Джексон вменил мне в вину то, что я не выступил против параграфа, относящегося к арийскому происхождению государственных служащих, когда его возводили в закон. Кроме того, во время моего пребывания в ранге имперского министра всем еврейским адвокатам запрещалось появляться в суде. И я лично наряду с другими присвокупил свое имя к закону, запрещающему евреям сделки в иностранной валюте и участие в экономических комиссиях расследования.

— И не вы ли также одобрили закон, — воскликнул он, наконец, — предусматривавший смертную казнь для любого германского подданного, который переправлял германское имущество за рубеж или позволял этому имуществу оставаться там?

— Конечно, — резко ответил я.

— Но вы ведь знали, что этот закон будет карать евреев, выезжающих за рубеж, строже, чем кого-либо еще?

— Разумеется, — ответил я, — мне не приходило в голову, что евреи оказались бы бóльшими мошенниками, чем христиане.

Несмотря на то что на этой стадии допроса Джексон явно старался помешать моим подробным выступлениям, мне удалось объяснить, почему я принял участие во всех этих делах. Я поступал так потому, что при всей их спорности в моем представлении они не были настолько важными, чтобы вызвать мой полный разрыв с правительством Гитлера. Он поинтересовался, с какой целью я оставался в правительстве, что было достаточно важным для моего побуждения мириться с происходящим. Я ответил, что для меня крайне важным представлялось добиться равноправия Германии с другими державами с точки зрения экономических условий и вооружения. И добавил для внесения полной ясности:

— Так я считал тогда и продолжаю считать сегодня.

У меня возникло впечатление, что Джексон был озабочен теперь переходом к главному пункту обвинения, который вменял мне в вину причастность к подготовке агрессивной войны в связи с выделением на нее финансовых средств. Он поднял вопросы о мефо-ваучерах, обо всем, что только возможно. Он обвинял меня в поощрении экспорта с единственной целью приобретения достаточного количества иностранной валюты для импорта такого сырья, которое использовалось в военных целях. Наконец, он обвинил меня в принятии определенных мер для сохранения моего контроля над финансами страны.

Джексон процитировал отрывок из меморандума, который я передал Гитлеру: «Нижеследующие утверждения основаны на предпосылке, что долгом германской политики является осуществление программы вооружения в соответствии с намеченным графиком, что все остальное должно быть подчинено этой цели, пока главная цель не ставится под угрозу пренебрежением к другим проблемам».

Он спросил, писал ли я это.

— Не только писал, — ответил я, — но лично вручил меморандум Гитлеру. В мои обязанности входил контроль над партийными взносами и деньгами, которые повсюду изымались из карманов немцев. Я мог добиться от Гитлера согласия только словами: «Это делается в интересах перевооружения». Если бы я сказал ему, что это делается, к примеру...

Господин Джексон попытался прервать меня. Я попросил его дать мне закончить.

— Если бы я сказал ему, что это делается для строительства здания театра или чего-нибудь подобного, то это не произвело бы на него ни малейшего впечатления. Но если я говорил, что это должно быть сделано, ибо иначе мы не сможем вооружаться, то *этим* я мог заинтересовать Гитлера и поэтому поступал именно так.

Как ни странно, господин Джексон посчитал, что я «вводил в заблуждение» Гитлера. Пришлось ответить:

— Я бы не назвал это введением в заблуждение. Я бы назвал это руководством, господин Джексон.

— Но вашим побуждением было руководить кем-либо, не раскрывая реальных мотивов, не так ли?

— Если вам нужно руководить кем-либо, — ответил я, — то, мне кажется, больше шансов дает сокрытие реальных мотивов, чем их огласка.

Он вскочил на ноги с триумфальным видом.

— Благодарю вас за откровенное изложение своей идеологии, доктор Шахт. Я искренне очень обязан вам.

Господин Джексон принялся обсуждать финансовые детали перевооружения Германии и выглядел просто глупо. Журналисты покинули ложу. Судьи откровенно скучали. Это вполне меня устраивало, я ничего не предпринимал, чтобы развеять общую скуку.

Так прошло 2 мая.

3 мая началось с того, что председательствующий судья сэръ Джеффри Лоуренс сообщил господину Джексону и мне, что переводчики жалуются на чрезмерную быстроту нашего разговора. Главной персоной здесь был господин Джексон.

— Надо попросить переводчиков извинить меня. Очень трудно бросить привычку всей своей жизни.

Председатель согласился:

— Да, очень трудно.

Я промолчал: проблемы переводчиков меня не касались. Я в них не нуждался и не задумывался над тем, легко им или трудно.

Господин Джексон поднял вопрос о моих взаимоотношениях с Герингом. По его мнению, мы расхотелись с Герингом по личным и частным вопросам и не ладили вплоть до моего увольнения со всех официальных постов.

— Наоборот, — ответил я, — как раз до этого мы были в хороших отношениях.

— В самом деле? — воскликнул Джексон в удивлении.

— Да.

Затем он устроил мне ловушку.

— Значит, ваши расхождения с Герингом начались с соперничества за то, кто будет ответственным за военные приготовления?

— Нет... — начал возражать я, но Джексон прервал меня, прежде чем я смог сказать что-то еще. Я выразил протест в связи с этим вмешательством и заявил: — Расхождения, приведшие к моей отставке, вытекали из того факта, что Геринг хотел проводить экономическую политику, ответственность за которую лежала бы на мне.

Джексону пришлось доказывать, что я ушел со всех государственных постов только потому, что мне не позволили готовить агрессивную войну даже в больших масштабах, чем, по мнению обвинения, я уже пытался это делать в 1938 году. Обвинитель перепутал все факты, и я сказал, что он излагает дело не совсем «правильно».

Доводы Джексона не имели успеха, и он наконец уступил, заметив, что в данный момент его не интересует последовательность событий.

Тем не менее я был настороже. Он продолжил говорить о первых годах гитлеровского режима и громко зачитал то, что я однажды писал о Геринге:

«Я характеризовал Гитлера как аморального типа; но могу относиться как к аморальному и криминальному субъекту только к Герингу. Одаренный с детства определенным добродушием, которое умел использовать в интересах своей популярности, он был самым эгоцентричным созданием, какое только можно вообразить. Для него достижение политической власти являлось средством личного обогащения и роскоши. Его снедала зависть к успеху других. Его корысть не знала границ. Он питал невероятную страсть к драгоценным камням, золоту и бриллиантам. В нем совершенно отсутствовало чувство чести мундира. Пока кто-то был ему полезен — только пока, — он мог быть достаточно приветливым, но даже в этом случае он просто притворялся.

Знание Герингом всех предметов, которым должен владеть член правительства, равнялось нулю, особенно в области политэкономии. Он не имел ни малейшего представления об

экономических вопросах, которые Гитлер доверил ему осенью 1936 года, хотя создал огромный штат и злоупотреблял своей властью в экономике согласно всем правилам игры. Его личное появление было настолько театрализованным, что позволяло сравнивать его с Нероном. Одна женщина, которая приходила на чай к его второй жене, описывала, как он выходил одетым в нечто, подобное римской тоге, сандалиях, унизанных драгоценными камнями, с бесчисленными кольцами на пальцах, а в других случаях — украшенный драгоценностями, с макияжем на лице и губах».

Едва Джексон начал читать, как Геринг негодуяще заерзал. Я совершенно не понимал, что побудило господина Джексона зачитать вслух мою запись о Геринге. Неужели он надеялся, что Геринг располагает какой-то негласной информацией относительно моей причастности к подготовке агрессивной войны? Каков бы ни был его мотив, я немедленно выразил протест:

— Прошу вас не путаться снова в своих данных. Я узнал и пережил то, что вы упомянули, гораздо позднее, а не в 1936 году, как вы преподносите.

Только после этого Джексон прекратил манипулировать данными и перешел к следующему вопросу: привлекал ли я внимание Гитлера к вопросу о колониях?

Я: Конечно.

Д ж е к с о н: Что это за колонии?

Я: Наши колонии.

Д ж е к с о н: Где находятся эти колонии?

Я: Полагаю, вы знаете это так же хорошо, как и я.

Д ж е к с о н: *Вы* свидетель, доктор Шахт. Мне хочется знать то, что вы сказали Гитлеру, а не то, что я знаю.

До сих пор он не проронил ни слова о том, что я говорил Гитлеру.

Я: Что я сказал Гитлеру? Я сказал ему, что нам надо попытаться вернуть некоторые из наших колоний, которыми нам больше не разрешают управлять, чтобы мы смогли работать там.

Д ж е к с о н: Какие именно колонии?

Я: Я имел в виду, в частности, африканские колонии.

Д ж е к с о н: И вы считали, что эти африканские колонии необходимы для ваших будущих планов — для Германии?

Я ответил, что мои замечания о колониях касались только «нашей собственности».

Он решил, что подловил меня.

— Вашей собственностью, как вы называете это, были африканские колонии?

— Определение «собственность», — ответил я, — мне не принадлежит. Собственностью Германии эти колонии названы в Версальском договоре.

Его ответ отнюдь не выявил в нем большое присутствие духа.

— Можете называть это как угодно, — сказал он сердито.

Именно это я и делал.

Если, утверждал он, я домогался колоний, то, следовательно, выступал за перевооружение ВМФ, чтобы создать военно-морскую силу для обеспечения доступа в колонии.

— Это никогда не приходило мне в голову, — возразил я. — Каким образом вы пришли к такому выводу?

Он ответил вопросом на вопрос:

— Включал ли ваш колониальный план такое перевооружение, которое сделало бы Германию великой морской державой для обеспечения путей доступа в колонии?

— Нет, ни в малейшей степени.

Чуть повернувшись к сектору прессы, он саркастически заметил:

— Значит, ваш план имел целью оставить торговые пути незащищенными.

— О нет, — возразил я, — мне казалось, что они будут достаточно защищены международным правом.

По сектору прессы прокатился гул, но этот гул отнюдь не означал одобрения поведения Джексона. Мне показалось, что и судьи стали проявлять нетерпение.

Обвинителю ничего не оставалось, кроме как сменить тему. Опираясь на многие подробности и цитаты из разных моих речей, он обвинял меня в том, что я играл определенную роль в эшелонах власти Третьего рейха. Суть моих ответов неизменно заключалась в том, что я никогда не отрицал этого факта, но подчеркивал особые мотивы этого. Затем он предположил, что я, должно быть, сожалею о том, как Гитлер использовал вермахт.

Я согласился с этим.

Значит, я считаю вторжение в Польшу неспровоцированным актом агрессии?

Мой ответ состоял в единственном слове: вполне.

Д ж е к с о н: То же относится к вторжению в Люксембург?

Я: Вполне.

Д ж е к с о н: И в Голландию?

Я: Вполне.

Д ж е к с о н: И в Данию?

Я: Вполне.

Д ж е к с о н: И в Норвегию?

Я: Вполне.

Д ж е к с о н: И в Югославию?

Я: Вполне.

Д ж е к с о н: И в Россию?

Я: Вполне, уважаемый обвинитель, вы забыли упомянуть также Бельгию.

Затем он продолжал утверждать, что все эти нападения осуществлялись тем же вермахтом, который я помогал создавать в первые годы Третьего рейха, поскольку обеспечивал необходимые для этого средства.

Я только и мог ответить:

— Да, к сожалению.

После перерыва Джексон продемонстрировал фильм, в котором я вместе с другими официальными лицами встречал Гитлера, возвратившегося из Франции после ее капитуляции. Я был приглашен на церемонию в качестве министра без портфеля. Мне показалось, что Джексон собирался доказать, будто я тем не менее имел значительное влияние.

Когда фильм закончился, он спросил:

— Из чего состояло ваше министерство как министра без портфеля?

Я: Из ничего.

Д ж е к с о н: Какова была численность вашего штата?

Я: Одна секретарша.

Д ж е к с о н: Располагали вы офисом?

Я: Пара комнат в моем частном доме.

После дополнительных вопросов подобного рода, которые ни к чему не привели, он обратился к моему личному финансовому положению. Но здесь невозможно было набрать компромата, поскольку мне выплачивал зарплату Имперский банк, включая и министерский оклад.

Затем он поинтересовался:

— Вам причиталась зарплата и пенсия, одно шло в зачет другого — все дело в этом, не так ли? Условия были хороши, пока вы оставались представителем режима?

Я: Так принято и сегодня — это не имеет ничего общего с режимом. И надеюсь, я буду получать свою пенсию, иначе на что я буду жить?

— Увы, — сказал он не без юмора, но с недобрými нотками в голосе, — возможно, прожиточный минимум будет не слишком велик в вашем случае, доктор.

К концу своего допроса он сделал наскоро последнюю попытку опровергнуть то, что я поддерживал активные связи с участниками заговора 20 июля 1944 года.

Я снизил свою активность в защите, ибо если этому суду было суждено установить справедливость на самом деле, то факт моего участия в сопротивлении следовало доказывать показаниями свидетелей. Так это и случилось. Под конец он процитировал заявление, которое я когда-то сделал, и пришел к заключению, что я рассматривал генералов, которые оказывали Гитлеру откровенную и безоговорочную поддержку в его агрессивных войнах, в одинаковой степени виновными с ним. Я действительно говорил так и не собирался отрицать это.

Едва господин Джексон сообщил председательствующему судье, что больше не имеет ко мне вопросов, как доктор Ганс Латернер вскочил и выразил протест в отношении моих замечаний о генералах. Он защищал Генштаб и Верховное командование, которым было предъявлено обвинение в полном объеме.

Господин Джексон заявил, что он не будет использовать мой ответ против Генштаба и Верховного командования. Доктор Латернер снял свой протест.

Теперь же на сцене появился заместитель прокурора от Советского Союза генерал-майор А.Г. Александров.

Генерал сразу же повздорил с председателем суда, так как начал задавать вопросы, на которые я уже отвечал господину Джексону. Несколько раз я говорил ему:

— Я неоднократно давал показания по этому вопросу. Не угодно ли вам обратиться к ним.

Но перед генерал-майором Александровым лежал лист бумаги с записанными вопросами, которые он хотел или имел поручение зачитать. И он, очевидно, твердо решил выполнить это поручение. Снова и снова он говорил:

— Не будете ли вы любезны повторить это?

Председателю, однако, эта процедура все более надоедала, и он постановил:

— Если по этому вопросу показания даны, то этого достаточно.

Советский представитель снова заглянул в свой список и задал вопрос:

— И что заставило вас сотрудничать с Гитлером, если ваши убеждения расходились с его учением и учением германского фашизма?

Но в этот раз председатель суда разозлился всерьез.

— Генерал Александров! — воскликнул он. — Подсудимый уже говорил нам, почему он сотрудничал с Гитлером, — вам следовало слышать его.

Генерал-майор Александров, однако, захотел услышать еще раз, какую роль я играл в финансовых делах Германии. Я ответил:

— Но я ведь предоставил подробную информацию по этому вопросу.

Председатель суда, все больше и больше раздражаясь, запротестовал:

— Генерал Александров! Суд уже выслушал продолжительный перекрестный допрос и не желает снова иметь дело с теми же показаниями и фактами. Сообщите суду, пожалуйста, о том, хотите ли вы задать вопросы, представляющие для Советского Союза особый интерес и не прозвучавшие во время перекрестного допроса.

Теперь, однако, русский генерал тоже разозлился. Он утверждал, что я не дал «достаточно ясного» ответа на вопросы американского обвинителя. Спор между ним и председательствующим судьей достиг критической стадии. Судья был настроен решительно:

— Суд не намерен заслушивать вопросы, которые уже прозвучали.

Русский выглядел растерянным. Список его вопросов закончился и стал бесполезным. Казалось, он желал получить дальнейшие инструкции, поэтому предложил сделать перерыв на обед, хотя было еще довольно рано.

Председательствующий судья вновь разъярился. В этот час, сказал он, не может быть никакого перерыва. Генерал мог продолжать свой допрос. Он провел своим платком по лбу и сказал:

— Но вы, конечно, осуществляли полный контроль над экономическим обеспечением войны?

— Этот вопрос задавался уже десятки раз. — Я чувствовал себя так же, как председательствующий судья, — раздосадованным и усталым от бесконечного выслушивания одних и тех же вопросов.

— Я не слышал ответа на этот вопрос из ваших уст — ни разу! — воскликнул русский в изумлении.

Председателю это надоело. Он сказал генерал-майору Александрову:

— Подсудимый уже признал это, и совершенно ясно, что он полностью контролировал экономическое обеспечение войны. Ваш вопрос заключался в том, принимал ли он участие в этом с целью перевооружения для агрессивной войны, и он снова и снова отвечал, что это не было его целью, что его целью было достижение Германией равных прав. Вот что он сказал, и нам нужно убедиться, правда ли это. Но то, что он говорил это, вполне определено.

Вплоть до полуденного перерыва мы с русским генералом продолжали свои утомительные препирательства. Я постоянно возвращался к тому, что на все вопросы, которые он мне задавал, ответ уже дан господину Джексону. Держался этой линии, пока председатель не объявил, что суд делает перерыв на обед. Это было 3 мая 1946 года, в пятницу.

После перерыва генерал Александров заявил:

— Господин председатель суда! Из уважения к пожеланиям суда и в связи с тем, что подсудимый Шахт был подробно допрошен господином Джексонем, я просмотрел протоколы утреннего заседания и теперь готов значительно сократить число вопросов подсудимому Шахту в ходе перекрестного допроса. Теперь меня интересуют только два вопроса к подсудимому Шахту.

Оба этих вопроса не принимали во внимание то, что я уже говорил прежде, и даже сегодня меня озадачивает, какого рода проблемы теснились в голове генерала в то время, как в его присутствии происходило судебное разбирательство моего дела.

Его первый вопрос состоял в том, признаю ли я свое активное участие в подготовке агрессивной войны экономическими средствами.

Я дал отрицательный ответ.

Во-вторых, он поинтересовался — процитировав мое заявление, — не состояла ли моя позиция к 1938 году в том, чтобы создать впечатление моего согласия с Гитлером и его методами правления.

Мой ответ прозвучал следующим образом:

— Я был в полном согласии с ним, пока его политика соответствовала моей позиции. Впоследствии этого не было, и я порвал с ним.

Генерал Александров прекратил допрос, а мое место у свидетельской трибуны занял бывший директор Имперского банка и член его правления Вильгельм Вокке. Я вернулся на скамью подсудимых.

Вокке охарактеризовал мою работу в Имперском банке на раннем этапе и затем стал рассказывать заинтересованной аудитории о событиях, происшедших в 1936 году.

— В 1936 году, — сказал он, — правление Имперского банка получило телеграмму, помеченную грифом «Строго конфиденциально» то ли от Верховного главнокомандования, то ли от Генштаба, с указанием перевести золотые резервы банка, ценные бумаги и банкноты из пограничных территорий страны в центральные районы. Указание мотивировалось тем, что в случае нападения на Германию с двух фронтов Верховное главнокомандование намерено эвакуировать свои силы из пограничных территорий и сосредоточить их в центральной зоне, которую следовало защищать при любых обстоятельствах. Из карты, приложенной к телеграмме, в моей памяти сохранилось то, что линия обороны на востоке тянулась от Хофа вплоть до Штеттина. О западной границе у меня остались менее ясные воспоминания, но Баден и Рейнская область к ней примыкали. По получении этой информации руководство банка было чрезвычайно встревожено опасностью нападения на Германию с двух фронтов, в том числе угрозой утраты обширных районов германской территории, а также тем чудовищным предположением, что в случае иностранной оккупации банк оставит население оккупированных районов без всяких средств. На этом основании мы отвергли упомянутое требование, но согласились перевести золотые резервы в такие города, как Берлин, Нюрнберг и Мюнхен. В одном смысле не может быть никаких сомнений, а именно: наше перевооружение носило чисто оборонительный характер.

Для меня это заявление представляло чрезвычайно важное свидетельское показание. Оно доказывало суду, что в 1936 году военная верхушка напоминала Имперскому банку о возможности подобной отчаянной обороны. Кто после этого мог еще утверждать, что до 1936 года у меня было представление о том, что Гитлер планирует агрессивную войну?

Далее Вокке рассказал о случае, происшедшем в 1937 году:

— В этом году, когда экономическая система развивалась благодаря поступлению новых инвестиций, Шахт прибег к помощи немецких профессоров и экономистов. Он пригласил их на конференцию с целью добиться поддержки его политики экономии. Один из участников конференции неожиданно спросил Шахта: «Но предположим, начнется война?» Шахт поднялся и сказал: «Господа, в этом случае нам конец — с нами все будет кончено. Пожалуйста, давайте оставим эту тему — она не стоит того, чтобы ломать над ней голову».

Я с удовлетворением следил за тем, как суд прислушивается к достоверному и ясно высказанному свидетельству Вокке. Но заметил также, что Джексон теряет спокойствие.

Вокке продолжал свидетельствовать о первых днях после начала войны:

— Шахт пригласил к дискуссии тех директоров, которых считал надежными. Первое, что он сказал, были следующие слова: «Господа, это такое вероломство, какого еще не видел мир. Поляки так и не приняли немецкого предложения. Газеты лгут, чтобы внушить немцам ложное чувство безопасности. Поляки были захвачены врасплох. Гендерсон даже не получал предложения, он выслушал только короткую выдержку из ноты в устном изложении. Когда начинается война, то всегда возникает вопрос: кто несет ответственность за нее? Это самый очевидный случай вины за войну из всех, которые когда-либо встречались. Нельзя представить себе большего преступления».

Вокке вспомнил, как я воскликнул: «Наше перевооружение бесполезно! Нас обманывают жулики и мошенники. Происходит пустая трата денег».

Он рассказывал о моей общей концепции политики и о том, как я однажды заметил: «В долгосрочной перспективе внешняя политика без производства любых вооружений невозможна».

— Шахт, — продолжал он, — говорил также, что нейтралитет, которого он желал Германии, должен быть вооруженным нейтралитетом, раз уж возможны конфликты между великими державами. Он придерживался мнения, что Германии необходимо вооружиться, чтобы она не осталась совершенно безоружной среди вооруженных стран. Он не имел в виду какое-то конкретное нападение, но отмечал, что в каждой стране имеется партия войны, которая может прийти к власти сегодня или завтра. Да и соседи Германии в конечном счете не заинтересованы в ее полной беззащитности. Ведь тогда она будет представлять реальную угрозу миру и соблазн для других государств вторгнуться в нее рано или поздно.

После того как Вокке закончил свое свидетельство, господин Джексон попытался разнести его в пух и прах, но безуспешно. Свидетельство Вокке прозвучало публично. Оно явно произвело большое впечатление.

С 3 мая по 15 июля я должен был оставаться на скамье подсудимых и выслушивать порой тяжкое судебное разбирательство дел других подсудимых.

15 июля доктор Дикс начал свою защитительную речь таким образом:

— Уникальность дела Шахта очевидна с одного взгляда на скамью подсудимых, а также из истории его заключения и защиты. Как было установлено в суде, Шахта отправили в концентрационный лагерь по приказу Гитлера. Его обвиняли в измене гитлеровскому режиму. Народный суд приговорил бы его к смерти, если бы не поворот событий, который означал, что из узника Гитлера он превратился в пленника победоносных союзных держав. Летом 1944 года мне поручили защищать Шахта в Народном суде Адольфа Гитлера. Летом 1945-го попросили взяться за его защиту на Международном военном трибунале. Эти противоречащие друг другу события в том, что касается личности Шахта, побуждают к серьезному осмыслению всего, связанного с этим судом.

Очень немногие немцы, жившие в Германии, знали о балансе сил и их распределении среди тех группировок, которые явно или фактически были призваны приложить свои усилия к формированию политического мышления. Для большинства немцев знание положения дел станет откровением.

Насколько же невозможным было знание о нем для иностранца в то время, когда предпочитали оценивать социологические условия в гитлеровской Германии, особенно относящиеся к конституционному праву и внутренней политике, при помощи обвинений? Но оценивать их правильно необходимо для адекватного предъявления любого обвинения, основанного на фактических, действительных предпосылках. Я считаю, что в этом отношении обвинение сталкивается с нерешимой задачей.

Обвинение представило одного свидетеля против всей скамьи подсудимых, человека, который мог что-то сказать, — и этим человеком был бывший прусский министр Северинг, недавно скончавшийся. Когда он рассказывал судьям Нюрнбергского трибунала, как все начиналось, иностранцы немели от изумления, не отрывая от него глаз. Его свидетельства казались почти невероятными. 20 июля 1932 года, рассказывал он, два полицейских чиновника посетили его офис, сообщив, что их прислал президент рейха и что он — прусский министр внутренних дел — должен немедленно подать в отставку. Подобное требование никоим образом не было совместимо с конституцией, на которой принимал присягу фон Гинденбург. Северинг имел право — можно было бы сказать, и долг — сопротивляться. Прусская полиция, подчинявшаяся ему как министру внутренних дел, в то время была еще дисциплинированной и абсолютно надежной в том отношении, что в точности выполняла его указания.

Но что сделал господин Северинг? Он не оказал никакого сопротивления внезапному и неконституционному увольнению. Он покорно отправился домой, написал прошение об отставке и в течение всего существования Третьего рейха получал свою пенсию. Гитлер не считал его своим противником, не бросал его, как меня, в концентрационный лагерь. Он оставил его в покое и — как показала история — оказался прав.

Но это еще не все. Северинг был известным социал-демократом и играл важную роль, как лидер рабочих высокого ранга и титула. Именно немецкому рабочему классу посвятил эти слова поэт:

Перестанут вращаться колеса, затихнут,
Коль того пожелает твоя могучая рука.

Однажды в истории Германии все колеса действительно остановились, поскольку так захотела могучая рука. Это случилось во время путча Каппа. Тогда сила хорошо организованных войск не выдержала сопротивления профсоюзов, которые призвали к всеобщей забастовке. Но ни в 1932-м, ни в 1933 году Северинг не призывал профсоюзы сопротивляться. Он ничего не сделал для того, чтобы предотвратить безмолвный и полный распад. Он ничем не рискнул, не подвергал себя опасностям.

Однако из истории европейского рабочего класса известно, что было время — время отчаяния и беспредельной горечи, — когда рабочие выступили против германских войск. Речь идет о Голландии в период оккупации. Рабочие лидеры Голландии призвали к забастовке. В Германии же господин Северинг на это не решился. В Нюрнберге, к большому удовлетворению обвинения, он охарактеризовал меня как человека, «которому нельзя доверять», и сказал, что я «предал дело демократии».

По моему же мнению, демократия в Германии — во всяком случае, демократия разновидности Северинга — сдалась без борьбы.

Все судьи обратились в слух, когда доктор Дикс изложил свой взгляд, противопоставив полной пассивности Северинга активность, которую проявлял я.

— Шахт, — утверждал он, — оказался апостолом активности. Все, чего ему не хватало вначале, — это интуиции истинного понимания личности Гитлера и части его пособников. Но за это не наказывают, не является это и свидетельством преступного обмана. Интуиции недоставало большинству людей как внутри, так и вне Германии. Интуиция — дело случая, непредвиденный дар судьбы. У каждого человека, даже самого умного и мудрого, есть пределы. Шахт, несомненно, одарен умом, но в его случае ум превалировал над интуицией.

Затем Дикс продолжил оценку фактов, которые рассматривал суд, и в заключение сказал:

— После выборов в июле 1932 года стало ясно, что Гитлер возьмет то, что должен взять, — бразды правления — в свои руки. Прежде Шахт предупреждал другие страны о такой возможности: следовательно, не он ее вызвал. После того как Гитлер добился власти, перед Шахтом, как и перед любым другим

немцем, предстала альтернатива: либо остаться в стороне, либо принять активное участие в движении. Решение, которое он принял на этом перепутье, было чисто политическим, свободным от криминальных побуждений. Мы оцениваем и взвешиваем причины, которые побудили другие страны сотрудничать с Гитлером в гораздо более интенсивной и прогерманской манере, чем с прежним демократическим правительством Германии: точно так же мы должны признать честность тех немцев, которые верили, что могут оказать большую услугу своей стране и человечеству, присоединившись к движению — то есть либо вступив в партию, либо заняв какой-либо государственный пост, — вместо того чтобы оставаться ворчащим сторонним наблюдателем. Решение служить Гитлеру в качестве министра и председателя Имперского банка явилось политическим решением, политическую мудрость которого можно оспаривать сегодня задним числом, но которое не содержит абсолютно никакого криминального аспекта. Шахт всегда стойко держался фундаментального мотива своей решимости, а именно: встречать лицом к лицу любую форму радикализма и занимать позицию для эффективной борьбы с ним. Внешний мир, хотя и знавший о его позиции, не подал ему никакого сигнала поостеречься и не предложил помощи в его борьбе. Он понял только то, что мир продолжал доверять Гитлеру гораздо дольше, чем он сам, оказывал Гитлеру почести и приветствовал его успехи во внешней политике, что значительно затрудняло его работу, когда в течение долгого времени она была уже направлена на свержение Адольфа Гитлера и его режима. При смелости и последовательности, с которыми он вел эту борьбу, должно показаться чудом, что он остался жив — что он оказался в концентрационном лагере лишь после 20 июля 1944 года и избежал опасности погибнуть либо в результате постановления Народного суда, либо от рук какого-нибудь эсэсовского прохвоста. Шахт достаточно умен и самокритичен для понимания того, что с чисто политической точки зрения его портрет будет фигурировать в истории — во всяком случае, в ближайшем будущем — затушеванным партийным пристрастием или партийной ненавистью. В полном смирении он предает себя вердикту истории, даже если тот или иной историк может определить его позицию как ошибочную. И с сознанием чистой совести он предает себя вердикту этого высокого суда. Он стоит перед своими судьями с незапятнанными руками. Он

предает себя этому трибуналу с полным доверием, что уже констатировал в письме, адресованном суду до начала его заседаний. В этом письме он пишет, что приветствует возможность продемонстрировать суду и миру в целом свое поведение и поступки, а также мотивы, которыми он руководствовался. Он доверяет суду, поскольку знает, что в этом суде не имеют никакого влияния партийные пристрастия и предубеждения. Хотя сам он признает относительность политических решений в столь сложное время, тем не менее он полностью уверен в своей невиновности перед лицом уголовных обвинений, выдвинутых против него. И это справедливо. Ибо кто бы ни был признан судом в качестве лица, несущего уголовную ответственность за эту войну, за жестокости и геноцид, совершавшиеся в ходе этой войны, Шахт — после тщательного установления всех запротоколированных фактов в этом суде — может воскликнуть, подобно Вильгельму Теллю, сказавшему царубийце: «О Небеса, я поднимаю на тебя и твой поступок свои незапятнанные руки, проклиная тебя!»

Я, следовательно, прошу суд снять с Шахта все обвинения и оправдать его.

То, что Международный суд в Нюрнберге оправдал меня, стало историческим фактом. Мир засвидетельствовал мою невиновность перед тем, что явилось, вероятно, самым суровым судом справедливости, который когда-либо существовал. После того как этот трибунал оправдал меня и освободил от обвинений в любом преступлении, я попал в руки своих соотечественников.

Глава 59

СУДЫ ПО ДЕНАЦИФИКАЦИИ

Сразу после завершения суда надо мной в Нюрнберге, описанного в двух предыдущих главах, психиатр Гилберт нанес мне обычный визит для проверки моего душевного состояния. Он не обнаружил отклонений в моей психике. Мы завели разговор, в ходе которого я спросил:

— Почему американский обвинитель не снимает с меня обвинения? В конце концов, вопрос об осуждении не стоит, это было бесспорно установлено в ходе суда.

Гилберт пожал плечами, но не ответил.

— Вы могли бы, во всяком случае, предложить это Джексону, — настаивал я.

Психиатр из Вены с американским именем обещал это. Видимо, он сдержал свое слово и передал мое предложение Джексону, но американский обвинитель отклонил его.

Между окончанием судебного разбирательства и приговором прошло четыре недели, в течение которых мы только ждали и ничего не делали. Гуманный аспект этого трибунала состоял в том, что нам позволяли встречаться с семьями.

Только тот, кто был за тюремной решеткой или в концентрационном лагере, поймет, как я себя чувствовал, когда стоял лицом к лицу с женой и двумя дочерьми, Констанцей и Кордулой, впервые за период более двух лет. Констанце, очень похожей на мать, было пять лет. Она помнила меня смутно. Кордула — прозванная «пчелкой» — была на год младше сестры, типичная Шахт. Она не имела никакого представления об отце, поскольку, когда меня арестовало гестапо, ей было ровно полтора года.

Наша встреча проходила в той самой комнате, где мы, заключенные, консультировались со своими адвокатами. То есть нас с членами семьи разделяли проволочная сетка и стеклянные перегородки. Присутствовал служащий американской военной полиции со строгим лицом, с заряженным пистолетом в руке.

Легко представить наши чувства. Жена, которую я очень любил, мучилась тревогой, как бы меня не осудили. Дети, которые ничего не понимали, глазели на меня безучастно. Кордула спасла положение. Насколько она понимала, она видела отца впервые в жизни. Вдруг она встала на цыпочки и прошептала сквозь решетку: «Ты мне очень нравишься».

Это прозвучало как весть из другого мира.

Потом девочки отошли на задний план, поскольку теперь я впервые узнавал от жены, через какие мытарства она прошла после моего ареста.

Под властью национал-социалистов она жила сравнительно не очень плохо — если исключить постоянную тревогу относительно приговора Народного суда участникам заговора от 20 июля 1944 года. Позднее она говорила мне, что мы до определенной степени обязаны Гитлеру тем, что смогли сохранить часть своего имущества. Ибо, поскольку гестапо стало конфисковывать имущество заговорщиков, она переслала

некоторые картины и предметы старинной мебели в Мюнхен еще до окончания войны. Большие копии картин она бросила, так как к тому времени для них не было упаковочного материала.

В апреле 1945 года жена оставалась в Гюлене, как мы и договорились. Бои между русскими и немцами происходили уже на территории нашего поместья. В одном моем парке захоронено шестнадцать немецких солдат. Моей жене удалось сохранить присутствие духа при виде первого подразделения русских войск. Как только оно разместилось в поместье, она написала письмо русскому главнокомандующему генералу Жукову, по приказу которого был прислан адъютант, чтобы доставить ее со всеми моими документами к нему. В течение шести недель ее удерживали в резиденции штаба русских к востоку от Берлина. Условия проживания и еда были приличными. Ей сказали, что с ней обращаются так же, как с попавшим в плен генералом.

Ей сообщили во время ареста, что, возможно, ее отправят в Москву. Но в конечном счете после тщательного просмотра моих документов и основательного перекрестного допроса жены они, видимо, отказались от этой затеи. Супругу с моими документами препроводили назад в Гюлен, обеспечили телефонной связью с наставлением немедленно позвонить в случае опасности подвергнуться каким-либо посягательствам со стороны недисциплинированных войск.

То, что упустило сделать в свое время гестапо, сделали предприимчивые русские. Они обошли вокруг весь дом и окрестности с миноискателями и обнаружили контейнер, который я зарыл несколько лет назад. В нем содержалось много антигитлеровских книг, опубликованных за рубежом, моя рукопись 1942 года, в которой я последовательно описывал — и отвергал — национал-социализм. Там было все то, что до капитуляции могло быть вменено мне в вину. Позднее, в Крансберге, я попытался через американского переводчика убедить русских вернуть содержимое контейнера, поскольку эта рукопись сослужила бы мне огромную службу в освобождении от обвинений. К сожалению, я ее больше не видел и ничего не слышал о ней. Очевидно, русские не были заинтересованы в моем оправдании.

Жена оставалась в Гюлене следующие несколько месяцев и вела хозяйство вместе с оставшимися помощниками, пока в

Восточной зоне не была проведена так называемая земельная реформа, когда коммунисты отобрали дом и поместье. Осенью 1945 года ей сообщили, что она должна покинуть Гюлен в течение трех дней. Ей ничего не позволили взять с собой, кроме личных вещей. Ей дали один адрес в Мекленбурге и посоветовали ехать туда. Но она почуяла недоброе и отправилась с чемоданом в руке вместо Мекленбурга в Берлин, куда добиралась два дня пешком. Позднее она узнала, что все обитатели лагеря в Мекленбурге были депортированы в Россию.

Жена стала добиваться разрешения поселиться в нашем берлинском доме, но немецкие власти отказали. В течение нескольких недель ей пришлось останавливаться на ночлег у различных друзей и знакомых, пока наконец не удалось устроиться под чужим именем сотрудницей одной религиозной организации для сопровождения в Западную зону группы детей. Затем в маленькой деревушке Голленштедт в Люнебургской пустоши она встретилась с няней наших детей и ее семьей.

Это происходило почти год назад. Через несколько дней после ее прибытия к дому подъехал британский солдат и приказал жене ехать с ним. Поскольку у него был письменный ордер, ей пришлось подчиниться и оставить детей. Англичанин привез ее в Винсен-на-Луэ, где в течение пяти месяцев она была «заключена» в провинциальную гостиницу под названием «Дамманс Гастхауз», хозяйкой которой была благородная дама из Нижней Саксонии по имени Матильда Брунс. Англичанин приказал ей и ее мужу наблюдать за фрау Шахт днем и ночью.

— Зачем? — воскликнула Матильда на местном наречии, представлявшем собой смесь верхненемецкого и нижненемецкого диалектов.

— Она может совершить самоубийство, — ответил англичанин.

— Ты помышляла когда-нибудь о самоубийстве? — прервал я ее рассказ.

— Ни на мгновение, — ответила она. — Но англичанин, видимо, подумал, что единственным помыслом женщины в моем положении была смерть. В любом случае англичане хотели, чтобы Брунсы присматривали за мной...

Брунсы отказались по вполне понятным причинам. Сказали, что они слишком заняты хозяйством, чтобы следить за комнатой узницы по ночам каждые два часа. Наконец был

достигнут компромисс. Жену поместили в комнату с деревянной перегородкой. По другую сторону от перегородки находилась кровать, в которой спала дочь Брунсов. Девочке поручили немедленно сообщить, если в отделении моей жены будет происходить что-то необычное.

— Они имели в виду, чтобы она сообщила о том, как я мечусь в смертельной агонии, — сказала жена.

Наконец через пять месяцев ей разрешили вернуться к детям в Голленштедт. Из-за тесноты, однако, она не могла оставаться в одном доме с няней, поэтому ей выделили дачный домик. Воду нужно было носить из другого дома, расположенного в более чем двухстах метрах. На расстоянии примерно в сто метров в лесу находилась уборная.

— Романтика Люнебургской пустоши, — определила обстановку жена.

Здесь она провела две зимы и одно лето. За покупками самых необходимых товаров приходилось ходить по меньшей мере километра три. Кроме того, у нее не было ни гроша, а в те первые месяцы смуты было чрезвычайно трудно связаться с немецкими или зарубежными друзьями, которые могли бы помочь деньгами или посылками КАПЕ (Комитет американской помощи Европе).

Вот что мне рассказала жена. Теперь наконец она сидела напротив меня со слезами на глазах в Нюрнбергской тюрьме, с переживаниями из-за возможности моего осуждения, а также из-за своего и детей будущего. Дезориентирующие сообщения из здания суда в британской прессе настроили ее на пессимистический лад. В газетах не публиковалось и по радио не сообщалось ни об одном событии, указывающем на благоприятный приговор.

Естественно, я не имел никакого представления обо всем этом и, выражая абсолютную уверенность в благополучном исходе, был не в силах убедить ее. Вероятно, она принимала мой оптимизм за иллюзию, так что, несмотря на всю радость от нашей первой встречи после длительной разлуки, в глубине наших душ сохранялась горечь. В последующие дни я снова встречался с женой, пока ее посещения не были приостановлены.

Наконец наступило 1 октября, день моего оправдания.

Лишь после этого дня мы смогли обнять друг друга впервые за многие годы.

Приговор «виновен» или «невиновен» провозглашался в присутствии всех обвиняемых. Все как один воспринимали свои приговоры с бесстрастным видом. Можно было ожидать, что впервые прозвучавшие слова «невиновен» (мой собственный случай) могли вызвать какие-то эмоции. Но наоборот, я, как и все другие подсудимые, сохранял каменное выражение лица.

После оглашения приговора нас повели обедать, троих оправданных — Фриче, фон Папена и меня — поместили в отдельную комнату.

После полудня последовало оглашение наказаний, для чего каждого подсудимого по отдельности подводили к судьям. Я не присутствовал при этом.

Между тем троих из нас, которых оправдали, отвезли назад в тюрьму и сказали, чтобы мы предстали перед группой журналистов. Сначала я возражал против этого представления, но, конечно, не мог подвести своих компаньонов.

Огромный зал был набит представителями прессы. Американские солдаты предлагали нам сладости, напитки, сигареты. Журналисты задавали много малозначащих вопросов, на которые мы давали малозначащие ответы. Все это выглядело как ненужный — и, на мой взгляд, неприятный — спектакль.

Единственной примечательной чертой этого события стало то, что вниманием иностранных журналистов сразу завладел Ганс Фриче. Лично меня заинтересовало то, что Луи Локнер — который, как я полагал, был настроен в мою пользу — демонстративно держался позади толпы и не обращал на меня никакого внимания.

Вскоре я узнал, в чем дело. Меня ожидали новые тревоги и новые напасти.

Некоторые земельные министры, тогда занимавшие свои посты, публично выразили свое возмущение в связи с оправданием меня Нюрнбергским трибуналом. Во главе их выступил социал-демократ, баварский министр доктор Хегнер, который присутствовал как свидетель при казни приговоренных к смерти.

Баварское правительство заявило в печати и по радио, что немедленно арестует меня, как только я покину Нюрнберг-

скую тюрьму. Теперь мне было суждено предстать перед немецким судом по денацификации.

Я сообщил полковнику Эндрюсу, что желаю ехать в британскую зону оккупации. Хотя Международный военный трибунал постановил освободить меня немедленно, полковник потребовал, чтобы я сначала получил разрешение на въезд в эту зону. Меня попросили добровольно остаться в тюрьме, пока это разрешение не будет у меня на руках. Я согласился, поскольку мне угрожал со стороны доктора Хегнера арест, как только я выйду на свободу в Нюрнберге. Просьба на разрешение, адресованная главнокомандующему британской зоны, осталась без ответа. Чтобы подстраховаться, Эндрюс передал мне на подпись ходатайство, в котором я заявил, что остаюсь в тюрьме по собственной воле. Я подписал его.

Через три дня, однако, мне надоела эта каверза, и я потребовал немедленного освобождения.

Наконец в полночь меня посадили в фургон доставки и повезли в дом, где останавливалась моя жена, когда проживала в Нюрнберге. Как только я собирался войти в дом, два баварских полицейских, стоявшие у двери, объявили, что я арестован и мне запрещено покидать дом. Моя свобода длилась недолго — от американского фургона до входной двери.

Около двух часов ночи прибыл Шталь, начальник полиции Нюрнберга, и сообщил, что я должен немедленно проследовать с ним в ближайший полицейский участок. Мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Там начальник полиции отдал приказ, чтобы меня препроводили в тюрьму. Теперь, однако, я начал так скандалить и угрожать всем причастным к аресту, что господин Шталь был вынужден снова связаться с американцами. Через полтора часа меня снова отвезли в дом, где проживала моя жена, оставив там под наблюдением.

Затем дело приняло новый оборот. На следующее утро чиновник баварского министерства сообщил мне в присутствии моего адвоката Дикса, что правительство Баварии согласилось разрешить мне свободу передвижения по всей Германии при условии, что я буду являться время от времени в полицию и уведомлять ее о смене адреса. В связи с этим был составлен протокол.

Благодаря этому отрадному документу я смог на следующее утро сообщить американскому коменданту и начальнику полиции Нюрнберга, что намерен покинуть их негостеприимную Баварию и поселиться с женой в Зеппензене, сделав по пути короткую остановку, чтобы нанести кратковременный визит своему другу Ройшу в Вюртемберге.

Проезд через Вюртемберг, как выяснилось позже, был моей большой ошибкой. Вюртембергцы, с которыми я не имел каких-либо дел, оказались даже более нелюбезными и негостеприимными, чем баварцы. Фактически все, прочитавшие последующие страницы, получают живую картину германской действительности времени «короля-солнца», когда каждый мелкий князек делал в своем владении все, что хотел. В моем случае мелким князьком Вюртемберга был Рейнгольд Майер, премьер-министр «мелкого государства».

Мы заранее отправили детей и няню, а сами поехали в наемной машине. Приехали в дом моего друга и уже пили кофе с ним и его дочерью, когда неожиданно вломилась представительница штутгартской полиции. Несмотря на все протесты, несмотря на баварский пропуск, они арестовали меня и в тот же вечер доставили в штутгартскую тюрьму под стражей.

Все протесты на следующий день были бесполезны. Несмотря на то что разбирательство по вопросу моей денацификации уже началось в Нюрнберге и что с точки зрения закона о денацификации мне нельзя было что-либо предъявить в Вюртемберге, я был взят под стражу и против меня инициировали новое разбирательство. После продолжительного периода подготовки в конце апреля 1947 года суд состоялся и продолжался почти двадцать дней. Хотя вся моя биография и антигитлеровская деятельность были представлены во всех подробностях, суд умудрился осудить меня как «архипреступника» на восемь лет каторжных работ.

После вынесения приговора меня переправили в лагерь для интернированных в Людвигсбурге. Там меня, по крайней мере, поместили не в одиночную, а в общую камеру. Моя апелляция имела своим следствием новые судебные разбирательства, которые начались в апелляционном суде Людвигсбурга в августе 1948 года. По этому случаю в коллегия судей включили академически подготовленного председателя, а также предоставили двух вполне квалифицированных адво-

катов. Судебные заседания привели к моему оправданию. 2 сентября 1948 года я смог наконец выйти на свободу. Прошло еще два с половиной года после оправдания меня Международным трибуналом, прежде чем эти немецкие простофили осознали, что нельзя произвольно манипулировать законом. И даже после этого оправдания я еще не был реально свободным человеком, поскольку вслед за этим был «заключен» на пять месяцев в тюрьму британскими оккупационными властями. Лишь еще через два с половиной года я наконец вырвался из джунглей немецкой послевоенной юриспруденции.

Часть седьмая

ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ В СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ

Глава 60

СНОВА СВОБОДЕН

Когда меня освободили 2 сентября 1948 года из лагеря в Людвигсбурге, в моем кармане было ровно 2,5 марки. Добрый сокамерник записал мое имя в список работавших в течение последних нескольких дней, чтобы передать мне хотя бы малую сумму денег на транспортные расходы. Жена и дети жили все это время частью на помощь от друзей, частью на благотворительную помощь.

У меня больше ничего не было на балансе банка и никаких ценных бумаг. Различные мои счета велись Имперским банком в Берлине, и, как я узнал к своему огорчению, Имперский банк не смог перевести в безопасное место на Западе их фотографические копии. Я потерял все состояние: не было никакой возможности даже определить то, чем я когда-то владел.

Поместье Гюлен осталось в руках коммунистов. Три моих небольших дома в Западном Берлине, каждый из которых мог вместить целую семью, либо пострадали от бомбежки, либо были реквизированы в то время, когда проходили суды. Я очень задолжал своим адвокатам, которые защищали меня в Нюрнберге и Вюртемберге.

Я настолько нуждался, что с радостью принял предложение одного дружески настроенного британского журналиста довести нас с женой до Зеппензена в его машине.

Естественно, мне пришлось искать возможность заработка. Между тем жена уже связалась с гамбургским издателем Ровольтом, который проявил большой интерес к книге «Расплата с Гитлером», написанной мной в тюрьме. Мы встретились

с ним только через три дня после моего прибытия в Зеппензен. Мы обговорили условия, и я передал ему рукопись для публикации. Хотя книга писалась во время судебных разбирательств и, следовательно, в преимущественно оправдательной манере, она вышла тиражом в четверть миллиона экземпляров. Так был заложен фундамент для обеспечения моей семьи.

Между тем в Ганновере был получен вюртембергский ордер на арест и доставку меня. Ганноверские власти проявили явную склонность, вопреки всякому праву и справедливости, снова передать меня господину Рейнгольду Майеру, имевшему на это особые прерогативы. И снова меня спас полицейский — на этот раз начальник полиции Люнебурга. Он сообщил правительству Нижней Саксонии, что не имеет права лишать меня свободы и отправлять в Вюртемберг. Таким образом, ордер проигнорировали.

Затем поступила весть, что Вюртемберг не признает моего оправдания.

К этому времени я ослаб и утомился от всех этих преследований и попросил добровольно, чтобы меня подвергли денацификации. В возрасте семидесяти одного года мне было необходимо содержать семью, я нуждался в той свободе, которая позволяла искать работу в соответствии с правом каждого немца, живущего в федеративном демократическом государстве.

Как лицу, не прошедшему денацификацию, мне запрещалось заниматься своей профессией. Словом, я был обречен либо на голод, либо на зависимость от благотворительности своих друзей.

Англичане согласились, чтобы меня поместили в городке Винсен-на-Луэ, которому было явно суждено стать постоянным «местом заключения» семьи Шахт.

— Чем вы занимались все это время? — спрашивал меня впоследствии один журналист. — Работали?

— Работал над своим делом по денацификации, — ответил я. — И если вы будете переживать что-нибудь подобное, то поймете, что эта работа занимает не только свободное время, но весь день.

Наконец наступило время для слушаний дела о моей денацификации в Люнебурге. 9 ноября 1950 года я произнес последнее слово перед трибуналом в Люнебурге. Немецкие судьи меня оправдали.

Прошло семь лет, почти десятая часть моей жизни, в течение которых я прожил в заключении, поставленный вне закона волей разных правительств, в своей собственной стране.

Даже по германскому праву до Третьего рейха мой арест при Гитлере был законным и обвинение в государственной измене оправданным. То, что этого нельзя было доказать, — другая история. Но ведь закон о денацификации сформулировали оккупационные державы и навязали правителям страны, назначенным теми же оккупационными державами. С правовой точки зрения это было вопиющее проявление несправедливости и политической мести. Имена министров тех немецких земель, которые приняли этот закон как элемент немецкого права вместо оставления его в распоряжении администрации оккупационных держав, станут в истории примерами позорного поведения.

Теперь, однако, я снова мог водить машину, заниматься своей профессией, ездить туда, куда хочу, и владеть паспортом.

Во время периода моего «заключения» в Винсен-на-Луэ со мной встретился гамбургский издатель Отто Майснер. Он спросил, могу ли я что-нибудь написать для его фирмы.

— С удовольствием, — ответил я, — при условии, что вы снабдите меня письменным столом.

Майснер снабдил меня не только столом, но и целым домом.

Фирма Майснера арендовала у министерства юстиции Нижней Саксонии старинное здание в Блеккеде, ведущее происхождение с 1650 года и поэтому находившееся под защитой государства как историческое здание. Это был старый провинциальный замок со рвом, с амбаром над конюшнями, который Майснер приспособил под «резиденцию авторов».

У дома были покосившиеся стены, и, чтобы в него попасть, нужно было подняться по крутой лестнице. Окна амбара были очень маленькими, но государственная «защита» запрещала большие окна над крышей, поэтому место выглядело довольно мрачным в светлый день. Кроме того, крыша в нескольких местах протекала. По этой причине полиция так и не реквизировала здание.

Но мы жили в этом «нежилом» здании, принадлежавшем нашему недоброжелателю — министерству юстиции Нижней Саксонии, — по-домашнему и в комфорте. Боюсь, Майснер получал, должно быть, много нареканий на своих субарендаторов. Если это так, то он не показывал виду. Он всегда был добрым человеком. Впервые за долгие годы у меня был настоящий кабинет, в котором я писал книгу под немецким заглавием *Mehr Geld, mehr Kapital, mehr Arbeit*. В Германии она вышла тиражом в 16 тысяч экземпляров и была переиздана под названием «Золото для Европы» на английском, французском, итальянском и испанском языках.

Рядом с моим кабинетом — где также была моя спальня — находились гостиная, где спала жена, и комната для двух дочерей, которые посещали начальную школу в Блеккеде. Мы снова были настоящей семьей. Я смог выплатить некоторые долги, набранные в последние годы, и смотрел в будущее с чуть большим оптимизмом.

Как раз в этом доме в Блеккеде я впервые принял делегацию из Индонезии во главе с министром экономики этой восточной страны, который поинтересовался, не желаю ли я съездить в Индонезию.

Время для поездки за рубеж еще не настало — мы еще не обдумали этот вопрос достаточно основательно. Хотя я не собирался работать за границей неопределенно долго, все-таки мне очень хотелось поделиться с другими странами своим опытом. Поэтому я сказал делегации, что готов в оговоренный срок безвозмездно обеспечивать индонезийское правительство экспертным заключением по экономическим и финансовым вопросам, если это правительство возьмет на себя расходы на поездку и проживание.

Незадолго до отъезда я поскользнулся и сломал руку. Врачебный осмотр показал перелом плечевой кости чуть ниже сустава, а также повреждение сфероида. Семь недель мне пришлось ходить с наложенной шиной.

— Теперь вам нужны массаж, прогревание и теплые ванны, — сказал мне врач.

Я ни разу не воспользовался массажем, прогреванием или теплой ванной. Но в день выписки мы с женой сели в свой «фольксваген» и поехали через всю Германию в Меран. Здесь мы отдыхали четыре недели. Затем отправились в Рим. В итальянской столице мы поставили машину в гараж, поехали

на аэродром и сели на самолет компании KLM, отправляющийся в Каир. Египет стал нашим первым местом посадки во время перелета на Дальний Восток.

Глава 61

ПОЕЗДКА НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

В полете из Рима я стал перебирать свои прежние связи с Востоком. Прошло ровно двенадцать лет с тех пор, как я покинул Европу. За несколько месяцев до начала Второй мировой войны я находился на борту морского лайнера, направлявшегося в британскую Индию.

Ночь мы проспали в самолете. Ранним утром на следующий день крылатая машина плавно спланировала на каирский аэродром. Жена указала в окно на группу людей, собравшихся на аэродроме и явно ожидавших прибытия нашего самолета.

— Видно, — сказала она, — на борту у нас ВИП-персоны.

Когда мы спускались по ступенькам трапа, несколько египтян вышли к нам навстречу. Один из них подошел, поклонился и сообщил, что находится здесь, чтобы приветствовать нас от имени египетского правительства.

— Мое правительство, доктор Шахт, просит, чтобы во время остановки в Каире вы считали себя гостем нашей страны. Мы позаботились зарезервировать для вас апартаменты в отеле «Семирамис». Наши министры экономики и финансов будут рады встретиться с вами.

Я никогда не считал себя ВИП-персоной и не скрывал удивления в связи со столь замечательным приглашением. В Стране пирамид мы пробыли неделю. Военный переворот, свергнувший монархический режим короля Фарука, еще не произошел. Фарук в это время совершал одну из своих многочисленных зарубежных поездок.

После мучительных лет, которые мы пережили в Германии, эти семь дней напоминали сказку из «Тысячи и одной ночи». Нас взволновало столь трогательное гостеприимство. Нам показали все достопримечательности города, возили на экскурсии за город в сопровождении лучших экскурсоводов. Я обсуждал с представителями министерств экономики и финансов экономические вопросы. Мы завели много личных знакомств.

Мы не могли оторвать глаз от сокровищ Тутанхамона, экспонировавшихся в музее в великолепной и весьма впечатляющей манере.

Индонезийский министр доктор Сумитро Джоджохадику-сумо прилетел с нами из Рима, но сразу же продолжил полет в Индонезию, чтобы сделать приготовления перед нашим прибытием. В последующие месяцы доктор Сумитро проявил себя высокообразованным, культурным, знающим и активным государственным деятелем. Он весьма сердечно опекал нас во время всего пребывания в Индонезии и оказывал мне бесценные услуги в подготовке моего доклада по финансовому и экономическому положению страны.

Наш визит в Индонезию заслуживает отдельной главы, поэтому я расскажу заранее о нашем возвращении домой. На обратном пути мы пробыли три недели в Индии. Здесь я чувствовал себя в более знакомой обстановке и вспомнил много эпизодов из своих предвоенных поездок. Мне доставило особое удовлетворение показать жене места, которые тогда очаровали меня: знаменитую индийскую смоковницу в Ботаническом саду в Калькутте, места для ритуального сожжения покойников в Бенаресе, крепости моголов в Фатехпур-Сикри и Дели и, в не меньшей степени, Тадж-Махал в Агре. Благодаря гостеприимству господина Бирла мы смогли совершить полет в Дарджилинг у подножия Гималаев, где при чудной погоде любовались замечательными видами гор Эверест и Канчанджанга, бродили среди тибетских храмов и смотрели на людей. Дарджилинг является пунктом въезда в Индию тибетских жителей, которые приезжают сюда для торговли из Гималаев.

Из Дели мы вылетели в Кашмирскую долину, где находились несколько дней и любовались всем тем, что очаровало меня двенадцать лет назад. Останавливались у премьер-министра господина Абдуллы, а также у моего старого друга Мехты, который занимался в Сринагаре крупным фотографическим бизнесом. Снова и снова мы удивлялись встречам с немцами даже в этих крайне удаленных местах.

Но мы путешествовали не только ради удовольствия. Из Гулмарга, где мы лицезрели чудный вид гигантской горы Нанга-Парбат во всем ее лучезарном великолепии, мы вернулись в Дели, где я обсудил экономические и финансовые вопросы с рядом министров. Наиболее памятным стал мой

визит с женой к Неру и его очаровательной дочери. Неру оправдал впечатление, которое у меня сложилось о нем из рассказов других людей. Это был весьма гуманный, чрезвычайно просвещенный и мудрый человек. Его правая рука в политике, господин Ваджапай, объяснил международную позицию Индии очень откровенно и четко. Она не примыкает ни к материалистическому мировоззрению Запада, ни к русскому коммунизму. Я с глубоким удовлетворением слушал, как этот опытный зарубежный политик высказывал свои взгляды на необходимость объединения двух разделенных частей Германии и в то же время подчеркивал убежденность индийцев в выдающихся моральных качествах немцев. После многих яростных обвинений, которые из-за преступной диктатуры обрушивались в прошлые годы на немецкий народ, этот знак человеколюбия в отношении нашей нации выглядел подлинным благословением.

Не мог я упустить и возможность паломничества к гробнице Ганди.

Неру попросил меня провести несколько раундов обсуждения с членами Комитета по пятилетнему плану, проект которого только что опубликовали. В связи с этим я не мог обойтись в своих выступлениях одной вежливостью. Все эти четырехлетние, пятилетние и тому подобные планы неизменно казались мне чуть ли не бессмысленными. В данном случае я также не мог не выразить мнение, что обширная, рассчитанная на пять лет программа не может быть реализована за этот период. Еще меньше будут способствовать этому средства, выделенные на бумаге. Их придется увеличить вдвое или втрое, так же как вдвое или втрое возрастет срок осуществления программы.

Планы подобного рода полезны для внутренней пропаганды. Они рассчитаны на возбуждение надежд, отсрочку результатов, перспективы облегчения в будущем нынешних экономических трудностей. Но они достигают этих целей во все уменьшающейся степени. Общественность продолжает проявлять подозрительный интерес к тому, какая часть из этих замечательных планов была выполнена. Критицизм и неудовлетворенность будут всегда оставаться настороже, готовые воспользоваться любой возможностью, чтобы вырваться наружу. Мне кажется, что гораздо лучше выполнять определенную работу в течение года — даже если она мала — и дово-

дить ее до конца, чтобы, когда эта работа выполнена, можно было указать на нее как на пример прогресса и роста.

Во время обратного перелета из Калькутты в Рим произошел инцидент, который мог превратиться в трагедию. Мы хотели лететь самолетом KLM через Каир, но все места на этот рейс были забронированы, поэтому мы приняли предложение воспользоваться самолетом компании SAS. Но, согласившись на это предложение, мы не заметили, что полетим не через Каир, а через Тель-Авив. Мы поняли это только тогда, когда рано утром приземлились в аэропорту Лидды. Официально Израиль еще находился в состоянии войны с Германией. Пришлось отдать свои паспорта и перейти в зал ожидания аэропорта. Моя жена испугалась до смерти и не могла вымолвить ни слова. В отличие от нее, я делал все возможное, чтобы оставаться абсолютно спокойным. Съел не только свой завтрак, но и завтрак жены и старался, чтобы мое присутствие бросалось в глаза как можно меньше.

Когда официант-еврей пришел убирать стол, то спросил на чистейшем немецком языке:

— Вы довольны, господин председатель?

Я взглянул на него и ответил утвердительно. Через минуту-две официант вернулся.

— Не будете ли вы так любезны, господин председатель, дать мне свой автограф?

Через пару минут он снова вернулся и попросил автограф для своего коллеги. Я решил, что пора сказать несколько теплых слов.

— Где вы были до приезда сюда?

— Во Франкфурте, герр председатель.

— Там было лучше, чем здесь?

— О, герр председатель, если бы можно было туда вернуться!

Мы прошли к стойке, где выдавали паспорта. О радость! Последние два из них были наши. Мы взяли их и поспешили на аэродром.

В тот самый полдень, когда новость о нашей поездке стала известна, премьер-министр Бен-Гурион ответил на упрек депутата: «Если бы я знал, что доктор Шахт был в аэропорту, то приказал бы его сразу арестовать».

Впоследствии ко мне поступили приглашения от разных правительств, которые привели к новому визиту в Египет,

а затем в Тегеран и Сирию. В первой половине сентября 1952 года премьер-министр Моссадык пригласил меня обсудить ситуацию в Персии. Вместе со мной туда поехала жена, так же как позднее — в Каир и Дамаск.

В Персии я не был с 1937 года и был удивлен видом ее столицы с широкими улицами и современными дворцами — плодами деятельности Реза-шаха. Достижения этого достойного правителя оставили неизгладимый след в этом городе и всей стране.

В Моссадыке я увидел государственного деятеля высочайшего ума, искушенного в высшей степени в искусстве дипломатии, человека железной воли. Главной темой нашей беседы был, конечно, нефтяной вопрос. Я не мог не признать справедливыми требования Моссадыка. Даже сейчас глубоко сожалею, что западная дипломатия не разобралась, как — с применением определенной гибкости — следовало решать нефтяную проблему Персии. Иранский народ больше не потерпит господства иностранных держав в нефтяной промышленности страны, какой бы ни была конечная судьба Моссадыка.

Но есть другой вопрос, который кажется мне еще более важным. В череде стран, окружающих коммунистическую Россию и протянувшихся от Японии до Лиссабона, Персия занимает ключевую позицию, которая может оказаться благом или проклятием в случае определенного поворота политических событий. Пренебрежение этой точкой зрения нельзя оправдывать ходячими сентенциями или экономическими жертвами, которые в случае достижения соглашения с Ираном не будут в любом случае велики.

Помимо этих дискуссий, я возобновил старые связи с банком «Мелли» и уехал с окрепшей верой в будущее этой экономической территории Среднего Востока.

Я встречался с шахом в 1937 году, когда он был восемнадцатилетним юношей, жившим во дворце отца. Теперь я нанес визит ему самому и его супруге, отличавшейся красотой и обаянием. Имел возможность также поговорить с его младшим братом Абдул-Резой, который проявил глубокое знание экономических вопросов. Жена между тем провела чудесное время с супругой шаха и ее немецкой матерью.

Моя поездка в Египет в качестве гостя правительства страны пришлась на вторую половину сентября. Между тем произошла

революция. Во главе правительства оказался генерал Нагиб, прекрасно воплотивший в себе знание политики и искусство управления государством в нашем беспокойном мире. Мы с женой пришли к единому мнению, что не встречали политического лидера, умевшего так хорошо сочетать политическую умеренность с необходимой энергичной политикой. Кроме того, его личное обаяние и непринужденные манеры вызвали в нас искреннюю симпатию к Нагибу как к человеку.

В то время как моя жена знакомилась с достопримечательностями Каира, я проводил много времени с министром финансов аль-Амери и его коллегами за обсуждением экономических и финансовых вопросов. Кроме того, я связался с представителями частного делового мира, в первую очередь с членами Торговой палаты и — что особенно приятно — с членами общества ученых, которые все поголовно учились в Германии.

В декабре 1952 года я принял приглашение сирийского правительства посетить Дамаск. От меня хотели получить профессиональную оценку предложенного законопроекта о создании государственного центрального банка, ранее лицензия на создание центрального банка Сирии и Ливана принадлежала частному банку. Правительство предоставило мне возможность ознакомиться с большими частями территории страны. Мы летали над Пальмирой, мощными развалинами греко-арабской эры, над долиной Габ в Алеппо, а в другой раз посетили северо-восточный угол Сирии, где так называемая равнина Джазира простирается за Евфрат. Я представлял себе удивительные, невероятные возможности, которые открылись бы для Сирии, если бы в этой части страны внедрили искусственное орошение.

В сочельник 1952 года мы снова были в Мюнхене рядом с детьми.

Глава 62

ПОД КРЫЛЬЯМИ ГАРУДЫ

Над старой голландской колониальной империей Инсулиндой больше не развевается флаг Оранской династии. Повсюду нас приветствовала Гаруда, индонезийская птица Свободы (национальный герб. — *Пер.*).

Наш визит в Индонезию длился три месяца, в течение которых мы успели полюбить страну и ее народ. Страна является одним сплошным буйно-зеленым садом, в котором трудно найти хотя бы одну пядь земли без роскошной растительности. В саду нашего отеля, расположенного в современном деловом квартале города, деревья цвели красно-белым цветом, и со своей веранды мы почти могли дотянуться до растущих на них орхидей.

Нас предостерегали против тропического климата, но едва ли хоть раз мы действительно страдали от жары. В конце недели нам потребовалось полтора часа, чтобы добраться, главным образом на машине, до горного города Богора. Там правительство содержит гостевой дом в Тугу, расположенном 300 метрами выше, где ночью обычно холодно.

Тугу располагался на полпути к Бандунгу, в районе, где происходили частые нападения и стычки с бандитскими группировками. В стране еще было далеко не безопасно, главным образом на территории Западной Явы, а дорога на Тугу патрулировалась на ряде отрезков часовыми. Однако мы ни разу не сталкивались с какими-либо неприятностями. Сельское население всегда было настроено дружелюбно. Фактически доброта является характерной чертой всего индонезийского народа. Во время пребывания в стране мы часто проезжали без всяких происшествий по сельской местности в Бали, в Северной и Южной Суматре, а также в Центральной Яве. Посетили несколько плантаций в Северной Суматре, владельцы и управляющие которых говорили, что они вполне ладят с населением. Да, они утратили часть земли, захваченной рабочими, но в целом люди были старательными и трудолюбивыми.

Горожане проявляли искреннее стремление к образованию. Хорошо посещались средние школы. В крупных деревнях повсюду открывались начальные школы. С неграмотностью в Индонезии вскоре будет покончено.

В Индонезии сильны антиголландские настроения. Тем не менее ни одно голландское поместье не было экспроприировано. Голландские плантации и судоходные компании все еще играют большую роль, но их значение постепенно снижается. К сожалению, антиголландские настроения все еще влияют на отношение к иностранцам в целом. Во многих случаях ксенофобия доходит до уровня политического лозунга, им пользуются многие партии.

Министерство финансов выделило мне индонезийскую секретаршу, которая наряду с голландским и английским прекрасно говорила на немецком языке. Госпожа Сулия Яхья была стройной женщиной среднего роста, с бронзовым загаром. У нее было четверо сыновей, старшему из которых исполнилось двенадцать лет. Она была единственной женщиной своего поколения, посещавшей среднюю школу. Отличалась высокой образованностью, неизменным трудолюбием и активностью, а также неиссякаемой добротой и обаянием. Она сохраняла девичью фигуру и надевала саронги поразительных цветов, которые восхитительно гармонировали со всем ее обликом. Моя жена сразу же сильно увлеклась этими индонезийскими тканями, и в свободное от моей работы время мы вместе часами ходили по базарам Старого города. Как любой новичок, она позволяла себе очаровываться цветами, которые, как мне казалось, больше подходили смуглым индонезийкам, чем светловолосой женщине Севера. Вскоре ее утомила эта цветистость, она научилась различать и ценить подлинные образцы разных островов и племен. С помощью госпожи Яхья она также научилась торговаться с китайскими продавцами.

Правительство страны попросило меня подготовить доклад, но не в смысле общего обзора экономического положения. Оно хотело получить рекомендации и оценки способов и средств, которыми можно было бы преодолеть существующие трудности, а также финансовые и экономические проблемы страны в целом. Я подготовил такой доклад, который был опубликован правительством в форме буклета на немецком и индонезийском языках и передан для ознакомления каждому государственному чиновнику. В докладе я подчеркнул откровенно и отчетливо то, чего не хватало стране, выдвинул ряд предложений, которые, с моей точки зрения, могли быть весьма полезными молодому, еще не вполне оформившемуся государству. Некоторые выдержки из моего доклада, касающиеся общей ситуации, уместно привести здесь:

«Трудности, с которыми сталкивается молодая Республика Индонезия, проистекают из того, что страна с населением в 75 миллионов человек, со многими сильно отличающимися друг от друга языками, обычаями, образами жизни и примитивным социальным укладом претерпела внезапный переворот. Она была вырвана силой из сверхжесткого, иноземного,

но тем не менее бесперебойно функционирующего управления и предоставлена самой себе. Далее, на эти события повлияли такие политические лозунги, как Демократия, Свобода, Самоуправление, которые даже в высокоразвитых и образованных странах приобретают определенную ценность лишь с соответствующими ограничениями, но оказываются совершенно разрушительными, когда провозглашаются абсолютно невежественной, неграмотной толпой. Высочайшей похвалы заслуживает очень малочисленная, образованная, коренная элита, которая сегодня несет политическую ответственность за эту разнородную массу людей. Этот крохотный руководящий класс не должен считать унижением для своих коллег то, что они уступают предыдущей администрации в знаниях и опыте. Не их вина, что они могут только сейчас усваивать эти знания и опыт. Ответственность лежит не на нынешних индонезийских правящих кругах, но на бывших иностранных правителях страны...

То, что свобода республики слишком молода, позволяет легко понять, почему индонезийцы чрезвычайно озабочены сохранением суверенитета. Тем не менее стране следует осознать, что в дальнейшем развитии иностранная поддержка вполне совместима с отстаиванием суверенных прав — на самом деле она необходима. Это относится в первую очередь к государственному механизму...

Еще труднее обойтись без иностранного сотрудничества в экономических вопросах. Все развивающиеся страны, которые приняли европейские методы и европейскую цивилизацию, чтобы добиться собственных достижений, следовали по тому пути, по которому должна идти и Индонезия...

Страх перед возможными злоупотреблениями иностранного капитала во вред интересам Индонезии развил в индонезийцах комплекс неполноценности, который совершенно неоправдан. Формальные ограничения на ввоз иностранного капитала должны быть немедленно отменены. Нельзя забывать, что в колониальный период иностранный капитал действовал на основе иноземных законов, в то время как сейчас он подчиняется индонезийской юрисдикции. Единственное требование в этих изменившихся условиях состоит в том, чтобы с иностранным капиталом обходились так же, как с местным капиталом, без дискриминации, которая случается в ведущих цивилизованных государствах Запада...

Без помощи европейского капитала ни одна неевропейская страна не сможет развиваться на современной технической основе. До Первой мировой войны — то есть до 1914 года — Соединенные Штаты Америки, которые сегодня лидируют в технической цивилизации, были страной, в которую инвестировали от 8 до 10 миллиардов золотых долларов иностранного капитала. Сегодня в США все бывшие иностранные предприятия в американских руках. Железнодорожная сеть Аргентины с начала до конца строилась за счет британского капитала. Сегодня она в руках аргентинцев. В моей собственной стране — Германии — создание промышленности в земле Рейнланд-Вестфалия начиналось сто лет назад на средства бельгийского и британского капиталов. Прошли считанные десятилетия — и немцы выкупили всю иностранную собственность. Индонезия должна реализовать точно такую же возможность. Вот почему она должна широко открыть двери для иностранного капитала, чтобы индонезийское производство, промышленность и торговля смогли развиваться как можно быстрее на современном уровне...

Уровень жизни индонезийского населения очень низок. Спрос на элементарные предметы домашнего обихода, на одежду и продовольственные товары огромен. Верно, что правительство может помочь удовлетворить этот спрос и поднять жизненный уровень населения за счет накоплений, созданных трудом самих людей. Из всех содержательных докладов и наблюдений вытекает то, что производительность труда населения сегодня значительно отстает от той, что была в колониальный период. Требования высокой зарплаты со стороны трудящихся, сопровождавшиеся падением выпуска продукции, привели к тому, что многие плантации перестали приносить прибыль. Следует снова и снова доводить до сознания населения то, что предприятия, работающие убыточно, должны закрываться, а их персонал — увольняться. Более того, население должно ясно понимать, что между зарплатой и выпуском продукции существует фундаментальная связь. Там, где не производится прибыль, не может быть и распределения прибыли. Человек, производящий больше, должен получать более высокое вознаграждение, чем человек, производящий меньше. Свобода не является синонимом праздности. Свобода не дается даром: ее следует добывать ежедневно, на войне — силой оружия, в мирное время — работой ума и

рук. Кто стремится жить в лучших условиях, лучше одеваться и питаться, должен трудиться ради этого. Таково Божье повеление. Но это также существенное условие всякого экономического прогресса страны. Если процветающая Америка считается примером демократической свободы, то нам следует также считать американскую производительность труда примером достижения такого процветания и, следовательно, гарантии ее свободы. Восток достигнет равенства в цивилизации с Западом только тогда, когда усвоит те западные преимущества, которые до сих пор позволяют Западу пользоваться преимущественным положением в мире. Для этого требуется самодисциплина, чувство ответственности и готовность к труду. Западный мир движим не просто страстью к прибыли. Он достиг нынешнего положения заинтересованностью в творческом труде и в выпуске продукции, связанной с результатами этого труда. Западный мир знает, что работа связана с чувством ответственности перед обществом. Бездельнику не везет, хороший труженик достигает свободы и хорошей жизни как для себя, так и для других людей...

Идея государства всеобщего благоденствия под официальным руководством доброго благодетеля является посылкой, ведущей прямо к тоталитарному коммунизму, но не имеет ничего общего с чувством ответственности индивида. Когда первые англичане эмигрировали в Америку, то не обнаружили никаких готовых домов и садов, никаких дорог, улиц или систем водоснабжения, никаких больниц и спортплощадок. Они должны были сами обеспечить все это для себя. Они и их потомки превратили дикую местность в самую могущественную страну в мире без каких-либо предварительно существовавших социальных и санитарных служб и тому подобного. Государство существует не для того, чтобы сделать своих граждан счастливыми, — это дело самих граждан. Государство существует для защиты своих граждан. Дары и акты благотворительности — плохие учителя: людей формируют трудности и преграды...

Конечно, необходимо снова привести существующую железнодорожную сеть в рабочее состояние и как можно больше увеличить объем перевозок. Далее, транспортная политика должна быть направлена не на расширение железнодорожной сети, но, скорее, на строительство крупных шоссейных дорог для движения транспорта на дальние расстояния. В связи с

беспрецедентным развитием автомобильного транспорта, ростом числа не только частных автомобилей, но особенно грузовых можно смело утверждать, что эпоха железнодорожного транспорта отошла в прошлое. Развивающиеся страны имеют в этом отношении то преимущество перед старыми индустриальными странами, что они способны, так сказать, обойти дорогостоящее строительство железных дорог и сосредоточиться вместо этого на строительстве шоссейных магистралей. Дорожное строительство и транспорт дешевле железных дорог со сложным обслуживанием. За исключением импорта не очень дорогого оборудования, дорожное строительство может осуществляться с применением местных материалов и рабочей силы, в то время как в случае с железнодорожным строительством все — от рельсовых путей, локомотивов и вагонов до сложной сигнальной системы — должно импортироваться из-за рубежа за дорогостоящую иностранную валюту. Правительству нет необходимости заботиться об обеспечении транспортными средствами автодорожного движения. Обеспечение фургонами, грузовиками и автобусами легко можно возложить на частные предприятия, которые с удовольствием ухватятся за новые деловые возможности. Строительство новых дорог является также идеальной основой для заселения необжитых районов...

Молодое государство, нуждающееся для всего в капитале, постоянно подвергает себя опасности оказаться в зоне инфляции, поскольку ему приходится прибегать к кредитам центрального банка. Такое государство должно в первую очередь стремиться к жесткой экономии на расходах правительства. Оно может браться только за наиболее неотложные задачи и должно отказываться от всего, что не обеспечено необходимыми источниками дохода. Необходимость экономии противоречит понятному желанию парламентских представителей удовлетворять, насколько возможно, экономические потребности своих избирателей — потребности, которые всегда влекут за собой государственные расходы. Если министр финансов из-за нехватки средств лишен возможности удовлетворить их, то вина за это возлагается прежде всего на него, а не на депутатов, которые выдвигают финансово невыполнимые требования. По-настоящему эффективный министр финансов редко бывает популярным. Лишь в последующую эпоху ему будет отдана справедливость. Правительство не должно обсуждать никаких

статей расходов в парламенте до тех пор, пока не сможет указать, откуда можно взять средства для их компенсации. Сейчас в мире ведется много разговоров о так называемом «дефицитном расходовании», так много поддержки оказывается этой политике превышения бюджета с тем, чтобы преодолеть экономические нужды. Но каждая статья расходов, не обеспеченная бюджетным финансированием, должна тем или иным способом быть оплачена наличностью. Индонезия не располагает денежным рынком, где ее можно получить посредством выпуска краткосрочных векселей казначейства или другими аналогичными мерами. Обращение в центральный банк угрожает устойчивости национальной валюты. Поэтому Индонезия в своей финансовой политике должна при всех обстоятельствах стремиться поддерживать баланс доходов и расходов. Небольшой, хорошо оплачиваемый персонал сотрудников лучше, чем переполненный, низкооплачиваемый штат. В частности, вознаграждение, касающееся высших государственных должностей, должно рассчитываться так, чтобы лица, занимающие эти должности, не обременялись материальными заботами и могли целиком посвятить себя выполнению государственных функций. Оплата остального персонала также должна рассчитываться способом, исключаяющим его коррупцию. Каждый сотрудник должен сознавать, что в его руках — честь страны...

Народ Индонезии сообразителен, обязателен и, как все народы, близкие к природе, обладает развитым чувством справедливости. В результате длительного периода колониального правления ему не хватает самоконтроля. Но этому народу, который не может править собой, угрожает опасность оказаться под властью других. Народ Индонезии стоит перед жизненно важной альтернативой: выбрать ли правителей из собственной среды или снова попасть под иноземное влияние. Ответ не вызывает сомнений. Но если индонезийцы желают выбрать собственное правительство, они должны наделить его достаточной властью утверждать дисциплину и соблюдение законов. Демократические парламенты существуют не для того, чтобы обсуждать заранее каждую тактическую правительственную меру. Они должны задавать определенный стандарт поведения и подчиняться ограничениям, раз уж дают правительству свободу действий. Впоследствии они могут критиковать серьезные ошибки и просчеты и даже исправлять их, когда это требуется. Ошибки и просчеты проис-

ходят повсюду, но мы извлекаем уроки только из собственных ошибок. Правительство без полной власти не может вообще действовать. Парламенты — не место упражнениям в риторике, но доверители власти, полностью сознающие свою ответственность. В условиях беспорядка, отсутствия безопасности и дисциплины, распространенных в стране, Индонезия нуждается в правительстве, способном действовать волевым и силовым порядком, а также обладающем прерогативами карать и пресекать любой бунт против общественного порядка полновесной властью.

У индонезийского народа нет желания быть колониальным народом. Изречение «Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и вместе им не сойтись» претит ему. Он хочет равных прав с другими народами, не теряя национальных особенностей. Он отвергает навязывание ему иноземного образа жизни. Он ценит богатство, собственность и комфорт Запада, но дорожит также вещами, которые существуют не для продажи, — человеческим достоинством, чувством чести, национальным самосознанием, воспитанием, верой в Бога. Только тот, кто понимает эту философию, может реально помочь ему. Он признает и уважает человеческое сообщество так, как оно выражено Гете:

Восток и Запад принадлежат Господу,
Все земли к северу и югу
Покоятся в Его власти.

Личные контакты с министрами и другими высокопоставленными должностными лицами всегда осуществлялись на весьма дружелюбной и конфиденциальной основе. На нас особое впечатление произвел *Мердека* — официальный индонезийский государственный праздник, проходящий 17 августа на широкой площади перед президентским дворцом, где выстраиваются трибуны и скамейки. Когда занимают все места, за происходящим следит собрание в несколько тысяч человек. Кульминацией праздника Свободы становится подъем национального флага, который несет группа девочек, одетых в яркую униформу. Они подносят флаг к президенту, который отдает ему честь, и затем он поднимается по флагштоку в центре площади.

Вечером на площади у президентского дворца проходит фестиваль индонезийских национальных танцев. На нем при-

существуют весь дипломатический корпус и все высокопоставленные должностные лица, как это было и днем.

Это истинно индонезийский праздник, представляющий танцы со всех сильно различающихся островов. Играют оркестры *гамелан*. Танцоры — мужчины и женщины — качаются из стороны в сторону при свете факелов и свечей, их руки рисуют в темноте таинственные фигуры и извиваются, как змеи. Каждое движение, каждый шаг имеют собственное эзотерическое, мистическое значение. Между танцорами появляются демоны в свирепых масках, размахивающие мечами и стремящиеся одолеть добрых духов. Все это сопровождается приглушенными, мягкими, вибрирующими, волнообразными музыкальными звуками гамеланов, являющихся полной противоположностью жесткому, отрывистому ритму американского джаза.

Танцевальному представлению предшествовал смотр войск, который особенно нас порашил. Мы приехали из Германии, находящейся в состоянии хаоса. В течение семи лет мы жили вне закона в отечестве, где, казалось, были умышленно разрушены и растоптаны все традиции. И вдруг сейчас, в далекой Азии, перед нашими глазами появился воинский строй, который марширует под музыку индонезийского оркестра, исполняемую столь четко и уверенно, как это мог бы делать прусский военный оркестр. Мелодии, которые он играл, — знакомые нам прусские военные марши. Когда солдаты стали отбивать строевой шаг, чего мы не слышали около пятнадцати лет, флейты, барабаны и другие инструменты оркестра зазвучали один за другими точно так, как это было в мирное время на парадном плацу каждого немецкого гарнизона. Затаив дыхание, зрители слушали, как они играют могучий гимн «Молюсь силе любви» в тысяче миль от страны, где родилась эта музыка».

После завершения моего доклада я захотел подытожить свои впечатления посещением тех районов страны, где еще не был. Мы путешествовали на машине и самолетом в Бали, где западный мир все еще восхищают красоты пейзажа и люди. Мы летели над высочайшим вулканом на Суматре, вокруг которого наш пилот совершил полный круг, потому что перед нами открылся прекрасный вид, какой он видел всего раз за пять лет полетов на Суматре. Мы делали остановки в

Паданге и Палембанге и гуляли по каньону Букит-Тингги и по берегам озера Тоба.

Где бы я ни был, везде находил подтверждения своим наблюдениям. Индонезия является одной из богатейших стран мира. За исключением хлопка, выращивать который не позволяет здесь чересчур тропический климат, и шерсти, получать которую мешает отсутствие подходящих пастбищ для овец, в этой островной стране имеются все источники сырья, ожидающие своей разработки. Как воспользуется ими население в 75 миллионов человек, покажет только будущее.

Многие западные наблюдатели, возможно, будут разочарованы тем, что идеалы сегодняшней западной дипломатии не очень высоко ценятся. Это относится не только к Индонезии, но также почти ко всем магометанским странам. Естественно, у всех образованных и культурных людей эксцессы и преступления гитлеровского режима продолжают вызывать безусловное осуждение. Но социальные и экономические достижения первых лет правления Гитлера встретили любопытную реакцию со стороны некоторых из этих народов. К тому же все они понимают, что обязаны своим конечным освобождением от колониального правления Второй мировой войне. Очевидно, поэтому гитлеровский режим не осуждается здесь на сто процентов.

Само собой разумеется, что все народы Южной Азии приняли парламентскую систему правления. Это, однако, не заставило их рабски подражать Западу. Они опасаются, что излишняя вестернизация может нанести ущерб их традиционной культуре и религии. Их разделяют с Западом не столько политические интересы, сколько тревога за сохранение характерных черт своей культурной, интеллектуальной и религиозной жизни. Всякий, кто хочет сотрудничать с этими народами, обязан отучиться третировать их как забытые нации в англосаксонском духе, но должен принимать их с чувством, что они наделены теми же правами, какими владеет все остальное человечество.

Когда мы купались со своими индонезийскими друзьями в бассейне Тугу, один из них обронил замечание, которое я никогда не забуду. «Три года назад, — сказал он, — было бы невозможно белым и цветным людям купаться вместе в этом бассейне».

Действительно, на нас лежит большая вина, которую следует искупить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь я снова в Германии. На моем письменном столе лежит корректура этих мемуаров. Семьдесят шесть содержательных лет моей жизни включают в то же время семьдесят шесть лет истории Германии. Из всего того, что заслуживало внимания, я рассказал только случаи из своей жизни — по совести говоря, сумбурно, непоследовательно и достаточно противоречиво. Моя собственная жизнь, с ее взлетами и падениями, шла вровень со взлетами и падениями исторической эпохи. В отличие от многих других, я не уклонялся от них. Легкомысленное *Ubi bene ibi patria* («Где хорошо, там и родина». — *Пер.*) — не моя стихия. Я никогда не гонялся за роскошью и удовольствиями, но добивался благополучной жизни для своего народа.

Как бы глубоко я ни был укоренен в немецком народе, во мне никогда не было шовинизма. Для меня национализм неизменно означал такой образ жизни и работы, который другие уважают и которому подражают. То, что хорошо для нации, является хорошим, в моем представлении, и для семьи. Убежден, что только семья может оценить в полной мере ответственность человека перед всей нацией. Семья — зародыш, из которого вырастают нации. Именно из семьи развиваются цивилизованность и мораль нации.

Я создавал семью в своей жизни дважды. Сегодня моя дочь от первого брака является матерью четверых детей с собственными заботами и ответственностью. Прошло много времени с тех пор, как мы вместе поднимались на вершину горы Юнгфрау. Еще раньше, 11 ноября 1918 года, подписанное в Компьене соглашение о прекращении огня повлекло за собой

крушение Германской империи. В этот день я записал в гостевую книгу своей дочери стихи, которые выражают мои фундаментальные политические взгляды и которые стали эпиграфом к этим воспоминаниям:

Не насилие или сила денег
Формируют мир.
Нравственное воздействие, сила духа
Могут его изменить.

Я всегда питал отвращение к насилию. К деньгам я стремился только потому, что владение ими позволяло мне посвящать всю свою энергию достижению общего блага. Материальное благосостояние, которое я сохранил в условиях разрухи, последовавшей за Первой мировой войной, было достаточным для того, чтобы поступить на государственную службу. Полная потеря собственности после Второй мировой войны заставила меня снова заняться профессиональной деятельностью.

От первого брака родился мой единственный сын Йенс, который погиб в ходе рокового марша пленных на восток в последние дни войны. Он мог бы нести мое имя дальше. *Sans peur et sans reproche* (*фр.* без страха и упрека. — *Пер.*), с умом, простотой и приобретенным опытом, он подавал большие надежды. Врагов у него не было — только друзья. Он знал, что в обращении с людьми следует вести себя мягко и просто. Он мог бы стать одним из тех людей, в которых Германия сегодня особенно нуждается, — способным экономистом. Когда он начинал самостоятельную жизнь, я посвятил ему перевод поэмы Редьярда Киплинга, в которой воплотились мои и его взгляды на жизнь. Утрата Йенса стала величайшим горем всей моей жизни.

Величайшим счастьем я обязан второй своей жене, на которой женился в возрасте шестидесяти четырех лет и которая подарила мне двух дочерей, нашу радость и надежду. В течение семи лет жизни вне закона, политических преследований и опасностей мысли о жене и детях не раз утешали и поддерживали меня.

В годы этих преследований, как и во всей своей жизни, я не поддавался отчаянию. Если у меня была работа, я брался за нее, невзирая на благосклонность или зависть. Да, я совершил много ошибок, многого не понимал, но я никогда не шел против своих убеждений или против совести.

Имеется два сорта людей, которые мне кажутся бесполезными: те, кто увиливает от выполнения своих обязанностей, и те, кто силен задним умом. Они подходят под две категории, к которым можно применить эти стихи:

№ 1

Как к надоедливому ребенку, относился я всегда
К лодырю, лентяю и неучу.
Если бы могли, они съели бы меня целиком, хотя
Они знают,
Что не смогут переварить такую твердую старую фасоль.

№ 2

Как здорово знать
(Когда играем в бейсбол),
Что надо делать
С самого начала.
Если бы мы только выслушивали
Того или иного советчика,
То всегда — задним числом —
Были бы гораздо мудрее.

Взявшись за любую работу, по собственному выбору или по необходимости, я выполнял ее, не оглядываясь на партийную политику, в которой не находил никакого интереса. Там, где речь шла о благосостоянии моего народа, никакая партийная политика не могла отвратить меня от доведения дела до конца.

Помимо выполнения своих многочисленных мелких обязанностей, мне удавалось трижды участвовать не без успеха в формировании экономических и социальных условий.

Первый случай — когда была сразу устранена коммунистическая угроза посредством возвращения немецкому народу устойчивой валюты. Это было достигнуто не просто умозрительным решением ввести рентную, или ржаную, марку. Такое решение вызвало сопротивление, которое продолжалось несколько месяцев с целью поддержания стабильности имперской марки и кредитной политики, в течение нескольких лет сохранявшей стоимость упомянутой марки на одинаковом уровне.

Когда в начале 30-х годов цифра безработицы достигла 7 миллионов, снова встал вопрос о том, как выбить почву из-под ног коммунизма. Внедрение здравомыслящих, если не

сказать дерзких, методов финансирования позволило нам обеспечить работой всех безработных менее чем за три года без того, чтобы поставить под угрозу валюту. Финансовое положение страны улучшалось с каждым годом.

Третьим успехом стало восстановление торгового баланса посредством заключения двусторонних и компенсационных соглашений со странами, чья экономика дополняла экономику Германии. Одновременно мы отказались от господствовавшего до сих пор принципа политики «наибольшего благоприятствования», которая служила исключительно интересам стран, занимающих сильные экономические позиции.

Во всех трех случаях мне удалось проложить новые пути. Я отошел от так называемой «классической» дисконтной политики центрального банка. Перешел к программе повышения производительности труда, зависящей не от сбережений (то есть ограничения расходования капитала), но от реального производства новых денег. Я отверг торговые методы, завещанные нам классическими британскими экономическими теориями.

Эти успехи, однако, были омрачены трагическими историческими событиями. Мою монетаристскую политику подорвали безрассудное накапливание долгов правительством Веймарской республики и чрезмерные репарации наших оппонентов. Мои планы по созданию рабочих мест и улучшению торговли были сведены на нет манией Гитлера к войне.

Я мог еще внести свой вклад в отмену репараций, но мои усилия предотвратить развязывание войны потерпели неудачу. Человек, под властью которого мне удалось искоренить безработицу и восстановить торговый баланс, уничтожил все это позднее своей политикой войны. Мои критики ухватились за это как за повод для обличения моей работы в первые годы гитлеровского режима как преступления. Ну и пусть! По этому вопросу вынесет приговор история. Она спросит также, что делали мои критики для предотвращения катастрофы.

Читателей, возможно, заинтересует, что я думаю о будущем Германии. Я верю в него. Весь мир удивляется тому, как после жесточайших испытаний германский народ быстро и целеустремленно возрождается из руин и восстанавливает порядок и благоденствие.

Объяснение этого «чуда» следует искать в трудолюбии, цивилизованности немцев, их любви к порядку и развитию в условиях мира. С этой точки зрения я полон спокойствия и надежды. Жизнь индивида, такая как моя, мимолетна. Жизнь народа часто характеризуется как вечная. Это бывает только тогда, когда народ остается верен себе, каким я старался быть всю свою долгую жизнь.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
----------------	---

Часть первая ЮНОСТЬ

<i>Глава 1.</i> Семьи Шахтов и Эггерсов	14
<i>Глава 2.</i> Три города, начинающиеся с буквы «Х».....	28
<i>Глава 3.</i> Три императора в один год.....	40
<i>Глава 4.</i> Холера в Гамбурге	53
<i>Глава 5.</i> Встреча с Бисмарком	62
<i>Глава 6.</i> В университете	68
<i>Глава 7.</i> Неоплачиваемый помощник <i>Kleines Journal</i>	76
<i>Глава 8.</i> Париж на рубеже веков.....	82
<i>Глава 9.</i> Доктор философии.....	87

Часть вторая ПУТЬ НАВЕРХ

<i>Глава 10.</i> Торговые договоры.....	96
<i>Глава 11.</i> Встречи с крупными банкирами.....	104
<i>Глава 12.</i> Дрезднер-банк	108
<i>Глава 13.</i> Ближний Восток.....	118
<i>Глава 14.</i> Моя семья	124
<i>Глава 15.</i> Поворотный пункт Германии	129
<i>Глава 16.</i> Первая мировая война	136
<i>Глава 17.</i> Назначение директором банка.....	146

Часть третья ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

<i>Глава 18.</i> Основание партии	155
<i>Глава 19.</i> Член Совета рабочих и солдат.....	163

<i>Глава 20.</i> Инфляция	171
<i>Глава 21.</i> С Данат-банком	176
<i>Глава 22.</i> Секрет стабилизации марки	182
<i>Глава 23.</i> Председатель Имперского банка	194
<i>Глава 24.</i> Банк Англии	199
<i>Глава 25.</i> Очаг сепаратизма	207
<i>Глава 26.</i> Господин Пуанкаре	213
<i>Глава 27.</i> Трудное выздоровление	219

**Часть четвертая
В БОРЬБЕ ПРОТИВ РЕПАРАЦИЙ**

<i>Глава 28.</i> Имперский банк изнутри	228
<i>Глава 29.</i> Некоторые экономические последствия	233
<i>Глава 30.</i> Тучи на горизонте	240
<i>Глава 31.</i> Я подписываю план Янга	247
<i>Глава 32.</i> Далекоидущая идея	253
<i>Глава 33.</i> Я ухожу в отставку из Имперского банка	260
<i>Глава 34.</i> Частная жизнь	267
<i>Глава 35.</i> Конец репараций	273
<i>Глава 36.</i> Встреча с Гитлером	279
<i>Глава 37.</i> Банковский кризис	284
<i>Глава 38.</i> «Харцбургский фронт»	290
<i>Глава 39.</i> Снова председатель Имперского банка	297
<i>Глава 40.</i> Визит к Рузвельту	303
<i>Глава 41.</i> Конверсионный фонд и мефо-ваучеры	309
<i>Глава 42.</i> Оплот справедливости	317
<i>Глава 43.</i> Новый план	324
<i>Глава 44.</i> Главным образом о картинах	332
<i>Глава 45.</i> Разногласия с партией	336
<i>Глава 46.</i> Кенигсбергская речь	341
<i>Глава 47.</i> Еврейский и церковный вопросы	345
<i>Глава 48.</i> Перевооружение	353
<i>Глава 49.</i> Герман Геринг	358
<i>Глава 50.</i> Внешняя политика	370

**Часть пятая
СОПРОТИВЛЕНИЕ**

<i>Глава 51.</i> Я порываю с Гитлером	379
<i>Глава 52.</i> От попытки переворота до покушения на убийство	387
<i>Глава 53.</i> Концентрационные лагеря	410

Часть шестая
ПЕРЕД СУДОМ ВСЕГО МИРА

<i>Глава 54.</i> В руках американцев	427
<i>Глава 55.</i> Нюрнбергская тюрьма	431
<i>Глава 56.</i> Заключенные	434
<i>Глава 57.</i> Нюрнбергский трибунал — 1	440
<i>Глава 58.</i> Нюрнбергский трибунал — 2	456
<i>Глава 59.</i> Суды по денацификации	475

Часть седьмая
ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ В СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ

<i>Глава 60.</i> Снова свободен	484
<i>Глава 61.</i> Поездка на Дальний Восток	488
<i>Глава 62.</i> Под крыльями Гаруды	493
Заключение	504

Литературно-художественное издание
Шахт Яльмар
ГЛАВНЫЙ ФИНАНСИСТ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
ПРИЗНАНИЯ СТАРОГО ЛИСА
1923—1948

Ответственный редактор *Е.Л. Шведова*
Художественный редактор *И.А. Озеров*
Технический редактор *Н.Н. Должикова*
Корректоры *Т.В. Соловьева, О.Б. Бубликова*

Подписано в печать 19.07.2011.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская. Гарнитура «Ньютон».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,88.
Уч.-изд. л. 29,86 + вклейка = 30,29.
Тираж 3 000 экз. Заказ № 5986.

ЗАО «Центрполиграф»
121471, Москва, Можайское ш., дом 29/2

WWW.CENTRPOLIGRAF.RU

Отпечатано в ОАО ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Отпечатано с готовых файлов заказчика в «УЛЬЯНОВСКОМ ДОМЕ ПЕЧАТИ»,
филиале ОАО «Первая Образцовая типография». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

М Е М У А Р Ы

Яльмар Шахт

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСИСТ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

ПРИЗНАНИЯ СТАРОГО ЛИСА

1923—1948

Яльмар Шахт — один из крупнейших финансистов Третьего рейха, человек, с именем которого многие в Германии связывали свои надежды на стабильную жизнь, и тот, кто обеспечивал нацистов на их пути к власти поддержкой могущественных финансовых и промышленных кругов. Разочаровавшись в гитлеровской политике, Шахт оказался причастным к Июльскому заговору против фюрера, был арестован и содержался в концлагере до окончания Второй мировой войны. Мемуары Шахта — не только описание жизни автора, это мысли гениального финансиста об особенностях его эпохи. Прекрасный журналист и широкообразованный человек, Шахт живо и ярко описывает события, в которых принимал участие, и людей, с которыми его сводила судьба. Среди них Бисмарк, Мильеран, Пуанкаре, Гитлер, Геринг, Рувельт и другие крупнейшие политические и военные деятели.

ISBN 978-5-9524-4975-6



ЦЕНТРОЛИГРАФ®